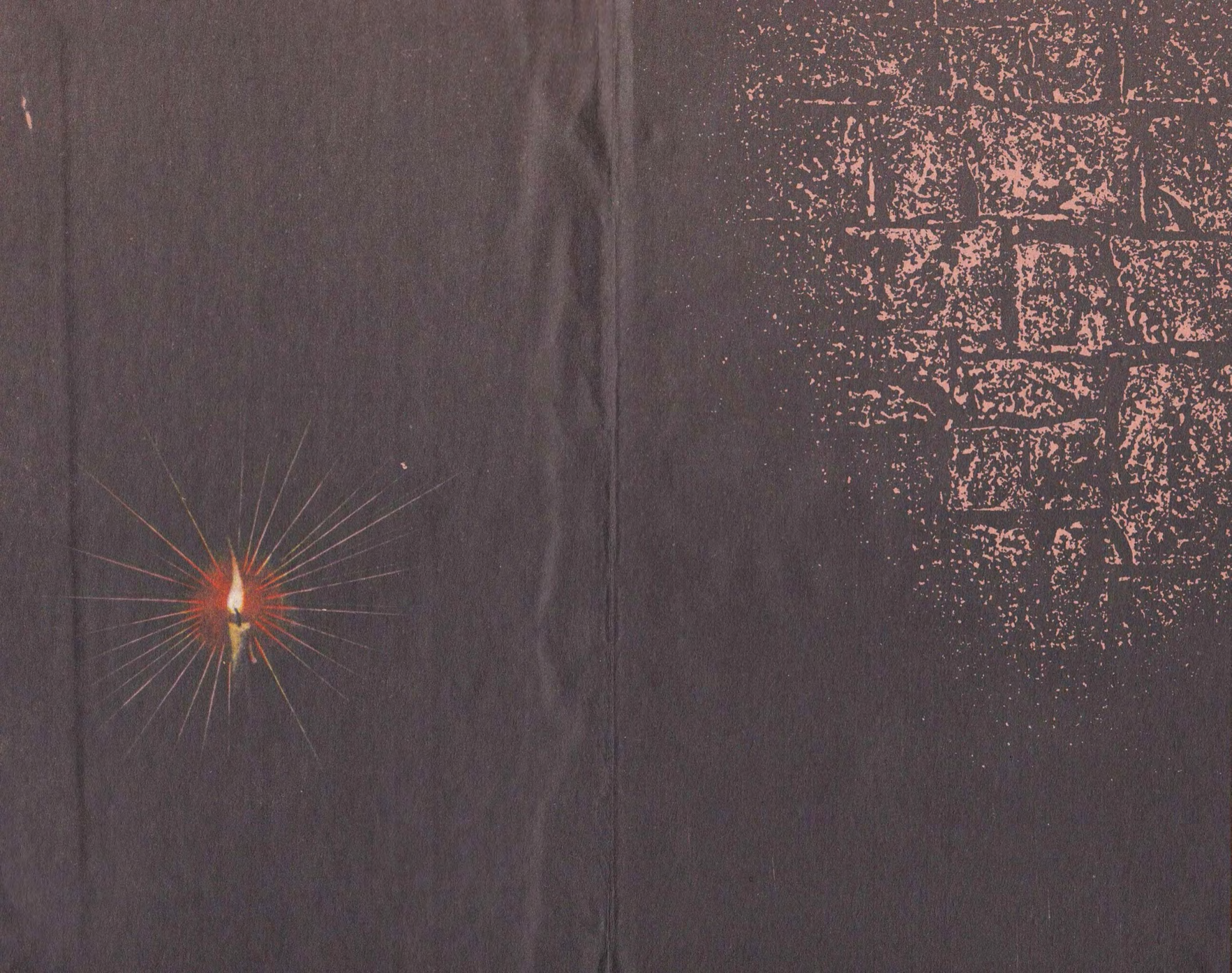




В.Г. КОРОЛЕНКО

ПОВЕСТИ  
И РАССКАЗЫ

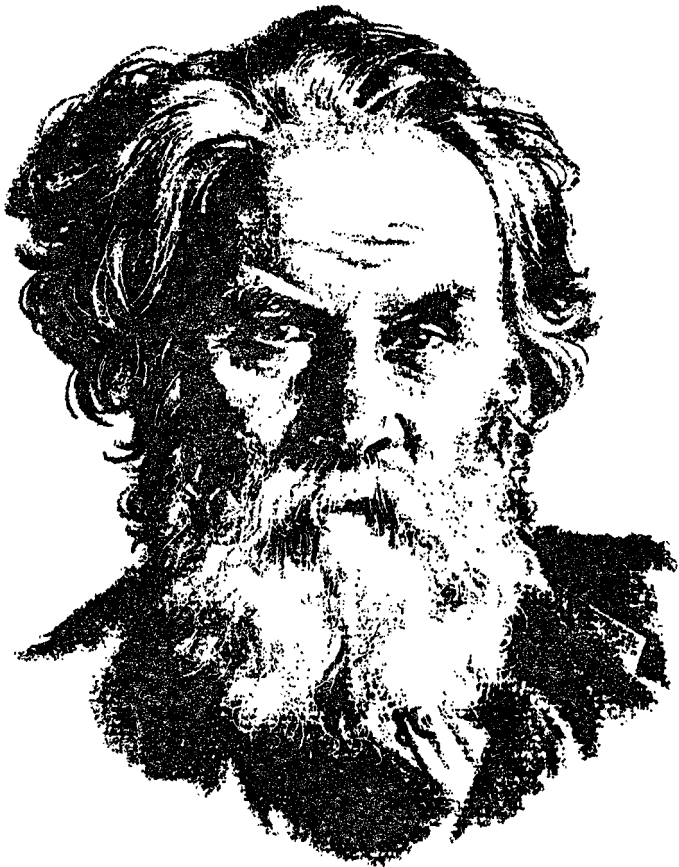




Scan Kreyder - 17.11.2019 - STERLITAMAK



У Ф А  
БАШКИРСКОЕ КНИЖНОЕ  
ИЗДАТЕЛЬСТВО  
1987



*Г. Короленко*

**В.Г. КОРОЛЕНКО**

**ПОВЕСТИ  
И РАССКАЗЫ**

УФА  
БАШКИРСКОЕ КНИЖНОЕ  
ИЗДАТЕЛЬСТВО  
1987

*Редакционная коллегия:*  
*Бикентаев А. Г., Гилязов М. Т., Рахимкулов М. Г.,*  
*Сафуанов С. Г., Филиппов А. П., Чванов М. А.*

Предисловие, составление и комментарии *М. Г. Рахимкулова*

К  $\frac{4702010100-80}{М 121(03) - 87}$  64-87

84Р1

## УФИМСКИЕ СТРАНИЦЫ КОРОЛЕНКО

Теплый солнечный июньский день. Тихие улицы Уфы благоухают запахами цветов и трав. Почти в каждом палисаднике густо зеленеют сады. Маленькие деревянные домики уютно смотрят оконцами в обрамлении ажурных наличников и распахнутых ставень. Не привлекая особого внимания редких прохожих, идет по сонной улице плотный широкогрудый мужчина. Судя по его неторопливой походке и обостренному интересу к не столь уж броским достопримечательностям, встречающимся на его пути, можно догадаться, что это приезжий. Да и одет он, кажется, не по погоде: сарпниновая рубаша синего цвета подпоясана кожаным ремнем, черные брюки заправлены в сапоги. Густая курчавая борода и богатая черная шевелюра, красиво обрамляя правильные черты привлекательного лица, как бы подчеркивают зоркость и мудрость спокойных карих глаз. И от всей коренастой, крепкой фигуры этого симпатичного человека веет удивительным спокойствием и уверенностью. Таким, вероятно, предстал перед уфимскими жителями почти сто лет тому назад Владимир Галактионович Короленко (1853—1921).

Выдающийся русский писатель В. Г. Короленко в июне 1891 года приезжал в Уфу, чтобы разыскать те места, где был лагерь видного пугачевского сподвижника Ивана Никифоровича Зарубина-Чики, получившего от Е. И. Пугачева титул «графа Чернышева».

Поездке в Уфу предшествовали следующие обстоятельства. 22 октября 1887 года В. Г. Короленко был избран членом Нижегородской архивной комиссии и увлеченно занялся историей, в частности внимательно перечитал все 29 томов «Истории России с древнейших времен» С. М. Соловьева. Последний том был доведен до 1775 года, то есть до разгрома Крестьянской войны под руководством Е. И. Пугачева. Именно это, надо полагать, послужило импульсом к пробуждению интереса В. Г. Короленко к пугачевской теме. К тому же в Нижегородском историческом архиве ему удалось найти некоторые материалы, относящиеся к восстанию Пугачева.

Размах величайшего в истории России народного движения, потрясшего основы екатерининской империи, незаурядная личность Пугачева увлекли В. Короленко, и он задумал написать повесть «Набеглый царь». Долгие годы писатель изучал историческую литературу о пугачевском движении, собирал архивные и фольклорные материалы о «народном царе». Кроме того, он писал своим многочисленным друзьям и знакомым в разные города России,



в том числе и в Уфу, запрашивая их об архивных и других данных, касающихся Крестьянской войны 1773—1775 годов.

Не ограничиваясь изучением отечественной истории по печатным и архивным источникам, а также информацией своих корреспондентов, В. Короленко совершил ряд поездок по Нижегородской губернии, Среднему Поволжью, Южному Уралу и Восточному Казахстану. В частности, вместе со своим другом—видным общественным деятелем-народником, членом редакции «Русского богатства» Николаем Федоровичем Анненским в конце июня 1891 года он ездил в Самарскую и Уфимскую губернии.

Племянница Н. Ф. Анненского, известная детская писательница Татьяна Александровна Богданович, автор повести «Горный завод Петра Третьего (Пугачевцы на Урале)», вспоминает об этой поездке: «Владимир Галактионович поехал вместе с ним в Уфу, чтобы найти там на месте данные о каком-то заинтересовавшем его движении Пугачева на Востоке. Я хорошо помню эту поездку, так как мы с тетей провожали Владимира Галактионовича и дядю на пароходе до Самары. Владимир Галактионович был тогда в прекрасном настроении, любовался Волгой и рассказывал о Пугачеве»<sup>1</sup>. (В то время Т. А. Богданович было 18 лет).

О поездке Короленко в июне 1891 года в Уфу с целью осмотра мест, связанных с восстанием Пугачева, известно и из других авторитетных источников, в частности примечаний к собраниям сочинений писателя, а также, как увидим ниже, из писем к нему уфимского литератора П. И. Добротворского, с которым Владимир Галактионович познакомился во время своего недолгого пребывания в Уфе, а затем около полутора десятков лет переписывался. Кроме того, в Отделе рукописей Государственной библиотеки СССР имени В. И. Ленина хранится записная книжка В. Г. Короленко, относящаяся к его поездке Волгой и Камой в Уфу. По крайней мере две записи в ней — «уфимские». «Дорога в Уфу, лагерь Чики», — гласит первая лаконичная запись, четко фиксирующая маршрут и цель путешествия. Вторая представляет карандашный набросок плана местности в районе Чесноковка — Уфа. Здесь упоминается река Белая, река Берсиян, Чесноковка, лагерь Чики, лабаз на берегу Белой, дорога в Уфу и Челябинск<sup>2</sup>. Эти краткие записи были, очевидно, сделаны Короленко во время посещения «лагеря Чики». О поездке Владимира Галактионовича в Уфу упоминается также в примечаниях к его записным книжкам. «Кроме материалов архива, — говорится в них, — интерес писателя к пугачевской старине питался и живыми впечатлениями, как это видно из его нижегородских записных книжек. Летом 1891 года он совершил поездку в Уфу для осмотра мест, где находился лагерь Чики, сподвижника Пугачева»<sup>3</sup>.

<sup>1</sup> Богданович Т. А. В. Г. Короленко в Нижнем. — В кн.: В. Г. Короленко в воспоминаниях современников. М., 1962, с. 102.

<sup>2</sup> Отдел рукописей Государственной библиотеки СССР имени В. И. Ленина, ф. 135, крат. 9, инв. № 483, л. 2; л. 2 об. — 3.

<sup>3</sup> Короленко В. Г. Записные книжки (1880—1900). Редакция и примечания С. В. Короленко и А. Л. Кривинской. М., 1935, с. 479.

Интенсивный сбор материалов о Пугачеве продолжался до 1905 года. Позднее Короленко вновь надеялся вернуться к взволновавшей его теме; во всяком случае, в канун Великой Октябрьской социалистической революции говорил жене: «Надо бы мне приняться за Пугачева»<sup>4</sup>. Однако большой подготовительный труд остался неиспользованным: повесть «Набеглый царь» не была завершена. Лишь малую толику своего «пугачевского архива» писатель использовал в очерках «У казаков» и «Пугачевская легенда на Урале».

По поводу «Пугачевской легенды» Короленко 26 октября 1900 года писал Н. Ф. Анненскому: «Она... по моему мнению, составляет лучшую и самую интересную главу из написанного до сих пор. Материалом для нее послужили отчасти печатные работы казака Железнова<sup>5</sup>, отчасти же собранные мною от старых казаков предания и частью — войсковой архив. Интересно, — что в то время, как «печатный» исторический Пугачев до сих пор остается человеком «без лица», Пугачев легенды — лицо живое, с чертами необыкновенно яркими и прямо-таки реальными, образ цельный, наделенный и недостатками человека и полумифическим величием «царя». Меня самого поразило это, когда я собрал воедино все эти рассказы. Нечего и говорить, что до сих пор его считают настоящим царем...»<sup>6</sup>

«Уфимских страниц» в жизни Короленко немного, прежде всего они связаны с творческой историей повести «Набеглый царь», посздками писателя по «дорогам Пугачева» и в какой-то мере отражены в его переписке. Особый интерес представляют письма уфимского литератора П. И. Добротворского к Короленко, широко отразившие быт и нравы «столицы дикой Башкирии».

В фонде В. Г. Короленко, хранящемся в Отделе рукописей Государственной библиотеки СССР имени В. И. Ленина, несколько лет назад мною были обнаружены письма к нему из Уфы от П. И. Добротворского. Всех писем 13, объем их — 26 листов тетрадного формата. Все письма — автографы, написаны рукой Добротворского. Почти полностью использованы обе стороны бумаги, так что фактический объем писем — 52 страницы. Письма датированы 1891, 1893; 1899, 1900, и 1903 — 1905 годами, адресованы в Петербург, Нижний Новгород и Полтаву<sup>7</sup>. Из писем видно, что Добротворский встречался с Короленко в Уфе, получал от него письма и дарственные книги. О том, что Короленко отвечал на письма, свидетельствуют и его пометки на полях некоторых из них. Так, на письме Добротворского от 17 октября 1903 года рукой Короленко записано: «Отв(ечено) 21 окт(ября) 1903»; на письме от 25 ноября 1903 года — «Отв(ечено) 8 — XII — 1903».

Корреспондент Короленко писатель-публицист Петр Иванович Добротворский (1839 — 1908) был уроженцем Симбирска, но с 1861 года до

<sup>4</sup> Там же, с. 486.

<sup>5</sup> И. И. Железнов (1824 — 1863) — уральский казак, писатель, автор очерков о быте уральских казаков в первой половине XIX века.

<sup>6</sup> Короленко В. Г. Собр. соч. в десяти томах. Т. 10. Письма, М.: ГИХЛ, 1956, с. 319 — 320.

<sup>7</sup> Письма П. И. Добротворского к В. Г. Короленко. — Отдел рукописей Государственной библиотеки СССР имени В. И. Ленина, ф. 135, разд. 11, карт. 23, д. 1, 26 лл. В дальнейшем цитируются без ссылок.

конца своей жизни жил в Уфе; долгие годы служил мировым посредником (судьей) в различных уездах Уфимской губернии. Он хорошо знал башкир и часто выступал в провинциальных и столичных газетах со статьями и корреспонденциями, смело разоблачал в них наглых расхитителей башкирских земель; написал ряд бытовых рассказов и очерков из жизни Башкирии, выпустил несколько книг. В своих произведениях он сочувственно и правдиво отразил нищенское существование представителей социальных низов Уфимской губернии. О его книге «В глуши Башкирии» (Екатеринбург, 1901) «Самарская газета» писала: «Сборник состоит из десяти небольших по объему, но больших по своим литературным достоинствам рассказов, написанных блестящим оригинальным пером человека, детально изучившего природу Башкирии, народную жизнь, ее течение, быт народа, его нравы, обычаи, религиозное мировоззрение, понимающего его экономические и духовные нужды и вложившего в эти рассказы всю свою любовь к ним»<sup>8</sup>.

Литературно-публицистическая деятельность Добротворского получила высокую оценку и в столичной прессе. Так, журнал «Исторический вестник» писал: «Башкирия осталась бы в конце концов без башкир, если бы над хищниками не грянул гром со столбцов «Санкт-Петербургских ведомостей», где выступил П. И. Добротворский... Письма Добротворского о башкирских дельцах были своего рода «Губернскими очерками», имея в виду то бесправие и грабеж, какие изобличались ими»<sup>9</sup>. Именно в разоблачении хищного чиновничества, грабившего народ, в защите бесправных и угнетенных башкир видел прежде всего смысл своего скромного литературно-журналистского труда и сам Добротворский.

Письма Добротворского к Короленко охватывают по существу почти 15-летний отрезок времени. Писем Короленко к Добротворскому пока, к сожалению, обнаружить не удалось, но трудно представить, чтобы они могли затеряться бесследно. Возможно, эта публикация явится нитью для поиска короленковских писем, о содержании которых пока что мы можем судить лишь предположительно по письмам Добротворского.

Первое из тринадцати сохранившихся писем датировано 10 августа 1891 года. Поблагодарив адресата за присланные книги (короленковские, разумеется, с автографами!), Добротворский продолжает: «Спасибо Вам еще раз за память и за посещение, которое как не коротко было, но доставило мне большое удовольствие. Вот окрепну немного, еще раз перечту Ваши работы. Вы собираетесь писать о Пугачеве — зачем? Это совсем не в Вашем роде — Вы психолог, тонкий психолог и пользуйтесь этим».

Как видно из этого и других писем, Короленко посетил Добротворского в июне 1891 года в Уфе. Добротворскому тогда было уже за пятьдесят, и как старейший уфимский писатель он пользовался авторитетом у начинающих молодых беллетристов — Александра Митрофановича Федорова, работавшего в ту пору над своим первым романом о Башкирии — «Степь сказала», и Василия Васильевича Брусянина, впоследствии плодовитого

---

<sup>8</sup> Самарская газета, Самара, 1902, №12.

<sup>9</sup> Исторический вестник, СПб., 1908, № 3, с. 1024, 1025.

литератора. Короленко приехал в Уфу, когда ему было неполных 38 лет.

Это была их первая и единственная встреча, но она произвела глубокое впечатление на Добротворского, и именно после нее завязалась их дружеская переписка. Цитированное письмо является ответом на просьбу Короленко (высказанную, возможно, еще при личной встрече, но, несомненно, изложенную в письме) — помочь в разыскании материалов о Пугачеве и его сподвижниках. Не одобряя намерения Короленко писать о Пугачеве, Добротворский тем не менее пытался найти интересующие его именитого коллегу материалы. Видимо, Короленко и позднее обращался к Добротворскому с аналогичной просьбой. Во всяком случае, 25 ноября 1903 года (через 12 лет) Добротворский пишет: «В Уфимском архиве мне обещали навести справку — нет ли чего там о пугачевщине. Что узнаю, сообщу в непродолжительном времени». И в следующем же письме, датированном 31 декабря 1903 года, сообщает: «Посылаю Вам, дорогой Владимир Галактионович, документальные доказательства, что поручение Ваше исполнено, но ничего здесь для Вас путного не нашел. Из здешних архивов все уже давно выбрано и было отправлено в архивы: Оренбургский и Московский. Старик Гурвич по этой части знаток. Он был у меня и такой дал ответ: «Здесь нет ничего». И далее Добротворский делает приписку: «Письма посылаю, чтобы не излагать подробно, как я собирал сведения». Видимо, «письма» — это официальные ответы уфимских учреждений на запросы Добротворского.

На другой же день (1 января 1904 года) Добротворский снова пишет Короленко и, продолжая мысли, высказанные накануне, приглашает: «Приезжайте-ка к нам весною в Уфу. Увидите, где близ Уфы Чика стоял. Здесь, говорят, каких-то двух пугачевцев казнили. От старика Гурвича много можно услышать, — видно, что вопрос этот его интересовал, и он о нем много читал». (Упомянутый в письмах Н. А. Гурвич, врач и журналист, долгие годы был членом Уфимского губернского статистического комитета, а с 1864 года — его секретарем; им издано много справочных книг по Уфе и губернии).

Как видим, Добротворский мало чем смог помочь Короленко, и все же стало по крайней мере известно, что в Уфе нет дела о Пугачеве и что бывшие уфимские материалы о нем надо искать в Москве и Оренбурге. Кроме того, Короленко узнал, что уфимец Н. А. Гурвич «по этой части знаток». И Короленко незамедлительно пишет Гурвичу в Уфу. Это письмо датировано 12 января 1904 года (хранится в том же архиве, где и цитируемые нами письма Добротворского к Короленко), оно было перепечатано в 1972 году в № 9 альманаха «Прометей».

Вот это письмо:

«Милостивый государь Николай Александрович.

От Петра Ив(ановича) Добротворского я узнал, что Вы заняты работой о пугачевцах. В таком случае, без сомнения, Вам известно содержание двух дел о пугачевцах, которые, говорят, сохранились в уфимском архиве. Был бы очень признателен Вам, если бы Вы нашли возможным сообщить мне, что собственно заключается в этих делах, есть ли в них указания, характерные для Чики-Зарубина и его сподвижников, а также нет ли чего о Белобородове

и (особенно для меня интересно) загадочном Хлопуше. Все это мне нужно для работы чисто беллетристической. В свою очередь, если у Вас есть вопросы, на которые я мог бы ответить, — был бы очень рад. Я довольно основательно ознакомился с теми остатками, правда, очень разрозненными, которые сохранились от пугачевских дел в Уральском войсковом архиве.

Прошу принять уверения в совершенном уважении

Вл. Короленко».

Н. А. Гурвич не замедлил с ответом, он оповестил Короленко о том, что в «Уфимском архиве никогда не было существенных материалов», да и те «профильтрованы и распечатаны».

Короленко интересовался также материалами о других выдающихся пугачевцах, в частности Салавате Юлаеве. Один из активных корреспондентов Короленко, наш замечательный земляк, автор романа «Амеля» и многочисленных рассказов о Башкирии Николай Александрович Крашенинников в письме от 13 марта 1902 года сообщал: «Глубокоуважаемый Владимир Галактионович... легенду о Салавате я не знаю, но есть основания думать, что нечто похожее на это заключается в одной сказке, набросанной мною вчерне. Сказка называется Сала-Ввет (Салавет и Салавит) и повествует о герое, башкирском витязе, подчинившем (а ла Хмельницкий) башкир России при «Иване Сердитом». Легенда довольно любопытная, с оригинальным концом. Салавет после сражения провалился в пропасть на одной священной горе, полную драгоценностей, которые никто не может из смертных похитить»<sup>10</sup>.

Весьма примечательно, что несмотря на многолетнее общение с башкирами, Крашенинникову не довелось до революции узнать правду о Салавате Юлаеве. Царское самодержавие стремилось вытравить из сознания народа имя национального героя и подвергало преследованию исполнителей песен и рассказчиков легенд о Салавате как политических преступников. Песни же и легенды, разумеется, бытовали среди башкир, но они неохотно знакомили с ними русских «бояр». Башкиры, правда, весьма уважительно относились к Крашенинникову, ибо помнили, что ни дед, ни отец его «не брали» башкирских земель. Но все же, видимо, как дворянин Крашенинников не смог завоевать полного доверия сказителей, народных рассказчиков, и последние ограничились ознакомлением его с весьма туманной историей о некоем «башкирском витязе», произвольно сместив и время действия на два с лишним века назад, к эпохе Ивана Грозного, периоду присоединения Башкирии к России.

Как видим, поиски пугачевских материалов в Уфе и Оренбуржье были для Короленко недостаточно плодотворными. Но зато выдающийся русский писатель побывал в нашем городе, переписывался с наиболее интересными, духовно близкими ему людьми Уфы, из содержательных писем Добротворского, как увидим ниже, получил довольно ясное представление

---

<sup>10</sup> Отдел рукописей Государственной библиотеки СССР имени В. И. Ленина, ф. 135, разд. 2, № 27, д. 40.

о культурной и общественной жизни Башкирии на рубеже двух эпох. Что касается Добротворского, то для него личная встреча и многолетняя переписка с «честнейшим русским писателем» не могли не оказать благотворного влияния на демократизацию его творчества. На закате жизни уфимский публицист тяжело переживал духовное одиночество и страдал от частых и продолжительных физических недугов. Поэтому он с особенной теплотой вспоминал о своем знакомстве с Короленко и дорожил дружеской перепиской с ним. В книге «Моя исповедь» Добротворский писал: «Таких людей, в разговоре с которыми можно было бы отдохнуть душой, в Уфе не было, а если они являлись когда, то — как какие-нибудь светочи — являлись и исчезали; таков был приезд в Уфу В. Г. Короленко»<sup>11</sup>.

Несмотря на болезни, служебные и семейные неурядицы, Добротворский до глубокой старости продолжал заниматься литературой и оптимистически смотрел на будущее. «Мое настоящее положение меня не пугает, — пишет он Короленко 10 августа 1891 года, — я верю, что жизнь будет лучше, будут лучше и люди, но жить при настоящих условиях, право, невыносимо... Будете в Москве — справьтесь в редакции «Русских ведомостей» о моих работах — там их лежит много, неужели они все забракованы? Обращаю Ваше внимание на рассказы «Пасхальная ночь», «Простая душа». Первый рассказ положительно хорош... Анненскому и Елпатьевскому мой привет». Цитированное письмо — первое, и обращение Добротворского к Короленко с просьбой справиться в Москве о его рассказах может показаться странным. Тем более, что Добротворский был слишком скромным человеком, чтобы позволить себе панибратское отношение к большому писателю, которого высоко ценил и глубоко уважал. С такой просьбой, надо полагать, он мог обратиться к Короленко только потому, что за время уфимской встречи между ними установились дружеские отношения. Упоминаемый в письме Н. Ф. Анненский-видный журналист, по словам М. Горького, «человек острого и живого ума». С писателем-мемуаристом Сергеем Яковлевичем Елпатьевским, отбывавшим в 1880 — 1884 годах в Уфе политическую ссылку, Добротворский поддерживал деловые связи. Кстати, приветы им обоим он передает и в других письмах.

Своих литературных дел Добротворский касается во всех письмах, в одних подробно, в других — вскользь. В письме от 14 января 1903 года он сообщает, например, о том, что сорокалетие его литературно-публицистической деятельности было отмечено в Уфе преподнесением официального приветственного адреса, десятком поздравлений «из разных концов России» и статьей В. В. Брусянина в «Самарской газете». Юбиляр признается, что последняя доставила его самолюбию большое удовольствие, поскольку он «не избалован вниманием печати». Но ни равнодушие критики, ни цензурные притеснения, ни даже одинокая старость не лишают Добротворского бодрости духа: в течение всей жизни он был твердо уверен в общественной полезности своей скромной литературно-журналистской деятельности. Эта мысль проходит через все его письма. «А так я вполне удовлетво-

---

<sup>11</sup> Добротворский П. И. Моя исповедь. М., 1904, с. 33.

рен... — резюмирует он. — Читал я мои деревенские рассказы мужикам. «И отколь ты все это, Петр Иванович, знаешь, точно ты с нами в одной избе жил», — слышал я от них не раз. «Ты, хазрет (господин. — М. Р.) самый наша башкирский душа знаешь», — говорили мне башкиры, которым я читал рассказы из башкирской жизни. — «Петр Иваныч, не дадите ли вы какой-нибудь вашей книжки почитать. Больно вы уж хорошо пишете: вы ведь не сочиняете, как другие, а все правду пишете». Это ли еще не похвала?».

Последние несколько лет жизни Добротворский увлеченно занимался фотографией. С десяток своих фотокарточек послал он и Короленко. На одной из них, где Добротворский сидит на пеньке в садике, имеется надпись: «Владимиру Галактионовичу Короленко от подлинника Петра Добротворского. Столица Дикой Башкирии. 28 октября 1903 года».

В ряде писем Добротворский высказывает свои сокровеннейшие мысли о жизни, о назначении литературы, о ее гражданственности. «Есть немало у меня людей, которых я знаю давно, часто с ними вижусь, говорю (говорю я с немногими), но вот, подите же, чувствую, что они мне чужие: ни я не понимаю их, ни они меня. А вот Вы — как раз наоборот. Много ли мы с Вами говорили? Но я знаю, что Вы меня знаете, понимаете — и Вы мне как родной, — пишет он 14 января 1893 года. — Каждую статью Вашу я читаю с величайшим удовольствием, и верите ли, подчас мне кажется, что я знаю даже, что Вы добавили бы еще, если бы было можно писать все. Спасибо за присланную книгу — много я читал из того, что вошло в нее, нотут есть такие вещи, как например «Река играет», что не откажешься прочесть их два, три раза». Любопытно, что «Река играет» был любимым рассказом и М. Горького. 24 июля 1913 года Горький писал с острова Капри Короленко: «Посылаю Вам три мои книжки. «Проходящий». Ваше слово из рассказа «Река играет». Это любимый мой рассказ; я думаю, что он очень помог мне в понимании «русской души». Говорят, я довольно удачно читал рабочим реферат, темой которого была роль Тюлина (главный герой рассказа «Река играет». — М. Р.) в русской истории». Горький высоко оценивал значение этого рассказа для русской литературы. В предисловии к книге С. Подъячева «Жизнь мужицкая» Горький писал: «В художественной литературе первый сказал о мужике новое и верное слово В. Г. Короленко в рассказе «Река играет»<sup>12</sup>.

В письме от 30 ноября 1899 года Добротворский снова повторяет: «Дорогой мой Владимир Галактионович! До какой степени я чувствую себя одиноким посреди окружающих меня людей, лучше всего доказывает мое отношение к Вам — видел я Вас всего каких-нибудь два-три часа, перекинулся с Вами несколькими письмами, а знаю Вас лишь по Вашим сочинениям, и вот, подите же, лежит у меня к Вам сердце, часто думаю о Вас: «Эх, кабы повидаться с ним да поговорить, посоветоваться бы, пожалуй, что-нибудь и написать было можно». Аналогичные мысли содержатся и в приписке к новогоднему письму от 31 декабря 1903 года: «Я часто удивляюсь, видел

---

<sup>12</sup> Короленко В. Г. Собр. соч. в десяти томах, т. 3. М.: ГИХЛ, 1954, с. 458 («Примечания»).

я Вас всего несколько часов, имею с десяток Ваших писем, но вот, подите же, люблю Вас больше родного. В чем сила? Не иначе, как в Вашем таланте передавать впечатления, так как сродство душ тут не имеет места».

Письма, из которых приведены выдержки, отдалены друг от друга несколькими годами, целым десятилетием, но смысл их один: все они говорят о большом уважении Добротворского к Короленко. На первый взгляд, эти высказывания однотипны, но если внимательно вдуматься в их смысл, то кое-чем они и отличаются. За десятилетие, отделяющее первое откровение от последнего, уважение Добротворского к Короленко значительно возросло, и он взволнованно признавался: «Люблю Вас больше родного».

Разумеется, творчество Короленко импонировало Добротворскому не только благодаря большому таланту известного писателя-народника, но и созвучностью его идей взглядам и убеждениям уфимского обличителя, то есть здесь все-таки имеет место и «сродство душ», которое, возможно из скромности, отрицается в письме Добротворского. Говоря о своих творческих принципах, он постоянно подчеркивает, что главное для него — искренность, честность, правдивость. Он описывает только то, что сам видел, переживал, ничего не выдумывает, «не сочиняет», как многие писатели. Вот что пишет он, например, в одном из писем к Короленко о своей книге, разоблачающей пошлость провинциальной интеллигенции: «Записную книжку больного человека» считают пустяковиной, но я смотрю не так, ведь это не одна уфимская интеллигенция — это все те люди, которые сейчас, да и не сейчас только, заправляют всем делом в провинции...». Иначе говоря, описывая поступки отдельных, конкретных лиц, Добротворский стремится отобразить типические явления современной ему действительности.

Мучительно размышлял Добротворский о смысле своей литературно-публицистической деятельности и горько сознавал тщетность многолетних усилий, направленных на улучшение положения народа. Действительно, критика не удостоивала его вниманием, в большую литературу он не пробился, существенно помочь народу не смог, чиновничий бюрократизм был гораздо сильнее, чем казалось ему. «Обидно, — сетует он в одном из писем к Короленко, — ни славы писателя мне не нужно, ни денег — дороже мне те мысли, которые я вкладываю в каждый рассказ мой». Писателя угнетает необходимость постоянно подлаживаться к цензурным притеснениям или прихотям порой не очень-то сведущих в литературе редакторов. Послал по Вашему совету один рассказ в «Журнал для всех» — «День доктора Мамина» (прием больных у доктора) — не нравится редактору, — жалуется он Короленко в письме от 30 ноября 1899 года. — Переделывать не стал: я уже и так немало грешил, приделывая концы к некоторым моим рассказам, подлаживаясь к требованиям редакции, а иногда, быть может, и просто ко вкусу господина редактора. Чтобы писать, по моему мнению, нужно, прежде всего, завоевать себе известное положение в литературном мире. А впрочем, разве господин Катков (царство ему небесное) не требовал от графа Толстого, чтобы тот изменил конец «Анны Карениной»? Здесь и имя не спасло! Не думайте, однако ж, что я мню о себе много как о писателе — я писатель маленький, но своеобразный, прямолинейный — я не умею



сочинять, пишу лишь то, что диктует мне в данную минуту мое сердце. Как же тут изменять что-нибудь? Изменяя, будешь изменять себе». Здесь Добrotворский формулирует, правда несколько упрощенно, свои эстетические взгляды, сводящиеся к честному, реалистическому изображению жизни.

В письмах к Короленко образно и правдиво выражены также политические убеждения Добrotворского. Рассказав в письме от 14 января 1903 года о том, что ему приходится встречаться с людьми различных взглядов, он пишет не без юмора: «Приходят разные люди, вот, например, сошлись два человека — монархист и республиканец — увидели друг друга у Добrotворского и удивились, а Добrotворский им: «Господа! Успокойтесь. Ни ваша монархия ограничения и неограничения, ни те республики, какие я вижу, — меня не удовлетворяют. Везде ложь, везде корысть и человеконенавистничество». Добrotворский мечтал о каком-то новом государственном управлении, без чиновниче-бюрократического аппарата, ибо в последнем он видел одно из главных зол бедственного положения народных масс. Яснее о своих политических убеждениях он не высказывается. Но бесспорно то, что большие надежды в улучшении условий жизни в России он возлагал на просветительство и добрых интеллигентных людей (не последнее место здесь он отводил писателям), которые, как ему казалось, будут честно и бескорыстно служить народу.

Для воссоздания полной картины взаимоотношений Короленко и Добrotворского не достаёт писем Короленко. Тем не менее, имеющиеся письма не только разносторонне характеризуют Добrotворского как человека и писателя, но и проливают — пусть, может быть, и незначительный — свет и на Короленко, показывают его многолетний интерес к общественной и культурной жизни Уфы, а также огромный авторитет и благотворное влияние на провинциальных писателей. Точную оценку значения литературной деятельности Добrotворского дал Короленко в своей статье «Скромный юбилей»:

«В «Русских ведомостях» (19 января, №17) отмечено недавно исполнившееся 65-летие Петра Ивановича Добrotворского, беллетриста и, главное, провинциального публициста, оказавшего в свое время большое влияние на раскрытие знаменитой российской Панамы с башкирскими землями. С 65-летием почтенного писателя совпало 25-летие со времени уничтожения в Оренбургском крае генерал-губернаторства, на почве которого так пышно расцвело земельное хищение в благословенной Башкирии. Благодаря статьям П. И. Добrotворского были назначены две сенаторские ревизии — кн(язя) Шаховского и Ковалевского. «Первая из них, — говорит автор заметки, — не имела успеха, так как была парализована вмешательством генерал-губернатора Крыжановского, явившегося в последнюю минуту на выручку уфимского губернатора С. П. Ушакова. Зато вторая ревизия закончилась полным разгромом оренбургско-уфимского хищнического гнезда...».

Многим, конечно, еще памятна перипетия этой хищнической истории, разоблачение которой затронуло очень широкие круги. Конечно, хищни-

чество и после этого не прекратилось, так как общие наши порядки быстро затягивают следы разоблачений и общественной борьбы с ними. Обличительная литература нашего времени далеко не всесильна в этой борьбе, и средства одной только (да и то убогой) нашей гласности — ничтожны без коренного изменения тех условий, которые способствуют буйному произрастанию темных дел и хищений. Но если надежды русского общества оправдаются, то в близком будущем нам предстоит, без сомнения, пережить вспышку «обличительной горячки» посильнее той, какую видело уже пореформенное русское общество в 60-х годах. Теперь, после реформы, история должна отметить первые годы XX-го столетия, — обличительная литература, без сомнения, охватит наше отечество с еще большею силой, и надо надеяться, что в этом очистительном огне исчезнет много сорных трав, заглушающих теперь здоровые всходы русской жизни. Но если это и так, — с тем большею благодарностью мы должны приветствовать мужественных работников печати, которые поднимали свой голос в глухую пору торжества реакции и бюрократического своеволия и в самых глухих углах нашего отечества»<sup>13</sup>.

М. Горький считал Короленко своим учителем, указывал на его близость к нашей эпохе и выразил уверенность, что в «...великой работе строения новой России найдет должную оценку и прекрасный труд честнейшего русского писателя В. Г. Короленко, человека с большим и сильным сердцем»<sup>14</sup>.

МУРАТ РАХИМКУЛОВ

---

<sup>13</sup> Короленко В. Скромный юбилей. — Русское богатство, СПб., 1905, № 2, с. 158—159.

<sup>14</sup> Горький М. Из воспоминаний о В. Г. Короленко (1918). — Полн. собр. соч., т. 16. М.: Наука, 1973, с. 426.

## ПУГАЧЕВСКАЯ ЛЕГЕНДА НА УРАЛЕ

Одна выписка из следствия оренбургской секретной комиссии об Емельяне Пугачеве начинается так: «Место, где сей изверг на свет произник, есть казачья малороссийская Зимовейская станица; рожден и воспитан, по-видимому его злодеянию, так сказать, адским млеком от казака той станицы Ивана Михайловича Пугачева жены Анны Михайловой».

Все современные официальные характеристики Пугачева составались в том же канцелярски-проклинательном стиле и рисуют перед нами не реального человека, а какое-то невероятное чудовище, воспитанное именно «адским млеком» и чуть не буквально злопахаящее пламенем.

Этот тон установился надолго в официальной переписке.

Известно, как в то время относились ко всякого рода титулам, в которых даже подскоблить опisku считалось преступлением. У Пугачева тоже был свой официальный титул: «Известный государственный вор, изверг, злодей и самозванец Емелька Пугачев». Красно-речивые люди, обладавшие даром слова и хорошо владевшие пером, ухитрялись разукрасить этот титул разными, еще более выразительными надстройками и прибавлениями. Но уже меньше этого сказать (было) неприлично, а побалуй, даже неблагонадежно и опасно.

Литература не отставала от официального тона. Тогдашнее «образованное» общество, состоявшее из дворян и чиновников, чувствовало, конечно, что вся сила народного движения направлялась именно против него, и понятно, в каком виде представлялся ему человек, олицетворявший страшную опасность. «Ты подлый, дерзкий человек, — восклицал в пиитическом рвении Сумароков при известии о поимке Пугачева, —

Незапно коего природа  
Низвергла на блаженный век  
Ко бедству многого народа:  
Забыв и правду и себя,  
И только сатану любя,  
О боге мыслил без боязни...»

«Сей варвар, — говорит тот же поэт в другом стихотворении:

...не щадил ни возраста, ни пола,  
Пес тако бешеный, что встретит, то грызет,  
Подобно так на луг из блатистого дола  
Дракон шипя ползет».

За это, разумеется, и «казни нет ему достойные на свете», «то мало, чтоб его сожечь» и т. д. Чувства современников, конечно, легко объяснимы. К несчастью для последующей истории первоначальное

следствие о Пугачеве попало в руки ничтожного и совершенно бездарного человека, Павла Потемкина, который, по-видимому, прилагал все старания к тому, чтобы первоначальный облик изверга, воспитанного «адским млеком», как-нибудь не исказился реальными чертами. А так как в его распоряжении находились милостиво предоставленные ему великой Екатериной застенки и пытка, то понятно, что весь материал следствия сложился в этом предвзятом направлении: лубочный одноцветный образ закреплялся вынужденными показаниями, а действительный облик живого человека утопал под суздальской мазней застеночных протоколов. Бездарность этого «троюродного братца» всеильного временщика была так велика, что даже чисто фактические подробности важнейших эпизодов предшествовавшей жизни Пугачева (например, его поездки на Терек, где, по-видимому, он тоже пытался поднять смуту), стали известны из позднейших случайных находок в провинциальных архивах<sup>1</sup>. Павел Потемкин старался лишь о том, чтобы по возможности сгустить «адское млеко» и сохранить «сатанинский облик».

Нужно сказать, что задача была выполнена с большим успехом. Тотчас по усмирении бунта военный диктатор Панин, облеченный неограниченной властью, приказал расставить по дорогам у населенных мест по одной виселице, по одному колесу и по одному глаголю для вешания «за ребро» (!) не только бунтовщиков, но и всех, «кто будет оного злодея самозванца Емельку Пугачева признавать и произносить настоящим, как он назывался (то есть Петром III). А кто не «задержит и не представит по начальству таковых произносителей, тех селений все без изъятия (!) возрастные мужики... будут присланными командами переказнены мучительнейшими смертями, а жены и дети их отосланы в тягчайшие работы».

Совершенно понятно, какая гроза нависла после этого над всякими рассказами о Пугачеве, когда вдоль дорог стояли виселицы, колеса и глаголы с крючьями, по селам ходили команды, а в народе шныряли доносчики. Все, не отмеченное официально принятым тоном, все даже просто нейтральные рассказы становились опасны. Устное предание о событиях, связанных с именем Пугачева, разделилось: часть ушла в глубь народной памяти, подальше от начальства и господ, облекаясь постепенно мглою суеверия и невежества, другая, признанная и, так сказать, официальная, складывалась в мрачную, аляповатую и тоже однообразную легенду. Настоящий же облик загадочного человека, первоначальные пружины движения и многие чисто фактические его подробности исчезли, быть может, навсегда, в тумане прошлого. «Все еще начало выдумки сей, — писала Панину Екатерина, — остается закрытым». Остается оно неясным и до настоящего времени. Фактическая история бунта с внешней стороны разработана обстоятельно и подробно, но главный его герой остается загадкой. Первоначальный испуг «общества» наложил свою печать и на последующие взгляды, и на историю... Как истинно гениальный художник, Пушкин сумел отрешиться от шаблона своего

---

<sup>1</sup> Один из современников в письме к самому Павлу Потемкину указывал, что даже после побега из казанской тюрьмы до появления Пугачева на Яике остается не проследженной значительная часть походов самозванца.

времени настолько, что в его романе Пугачев, хотя и проходящий на втором плане, является совершенно живым человеком. Посылая свою историю Пугачевского бунта Денису Давыдову, поэт писал, между прочим:

Вот мой Пугач. При первом взгляде  
Он явлен: плут, казак прямой.  
В передовом твоём отряде  
Урядник был бы он лихой.

Между этим образом и не только сумароковским извергом, возлюбившим сатану, но даже и Пугачевым позднейших изображений (например, в «Черном годе» Данилевского) — расстояние огромное. Пушкинский плутоватый и ловкий казак, немного разбойник в песенном стиле (вспомним его разговор с Гриневым об орле и вороне) — не лишенный движений благодарности и даже великодушия, — настоящее живое лицо, полное жизни и художественной правды. Однако возникает большое затруднение всякий раз, когда приходится этого «лихого урядника» выдвинуть на первый план огромного исторического движения. Уже Погодин в свое время обращался к Пушкину с целым рядом вопросов, не разрешенных, по его мнению «Историей Пугачевского бунта». Многие из этих вопросов, несмотря на очень ценные последующие труды историков, ждут еще своего разрешения и в наши дни. И главный из них — это загадочная личность, стоявшая в центре движения и давшая ему свое имя. Историкам мешает громада фальсифицированного сознательно и бессознательно следственного материала. Художественная же литература наша после Пушкина сделала даже шаг назад в понимании этой крупной и во всяком случае интересной исторической личности. От «лихого урядника» и плутоватого казака мы подвинулись в направлении «адского млека» и лубочного злодея. И можно сказать без преувеличения, что в нашей писанной и печатной истории, в самом центре не очень удаленного от нас и в высшей степени интересного периода стоит какой-то сфинкс, человек — без лица.

Нельзя сказать того же о Пугачеве народных преданий, которые почти угасли уже во всей остальной России, но чрезвычайно живо сохранились еще на Урале, по крайней мере, в старшем казачьем поколении. Здесь ни строгие указы, ни глаголи и крючья Панина не успели вытравить из народной памяти образ «набеглого царя, оставшийся в ней неприкосновенным, в том самом, — правда, довольно фантастическом, виде, в каком этот «царь» явился впервые из загадочной степной дали среди разбитого, задавленного, оскорбленного и глубоко униженного старшинской стороной рядового казачества.

Попытаться собрать еще не вполне угасшие старинные предания, свести их в одно целое и, быть может, найти среди этого фантастического нагромождения живые черты, всколыхнувшие на Янке первую волну крупного народного движения, — было одной из целей моей поездки на Урал в 1900 году. Меня предупреждали, что при замкнутости казаков и недоверия их ко всякому «иногороднему», в особенности же наезжому из России, — задача эта трудно осуществима. И, действительно, однажды мне пришлось наткнуться на довольно комичную неудачу.

От одного из жителей Кругло-озерной станицы (Свистуна), старого и уважаемого казака Фил. Сидоровича Ковалева, я узнал, что в Уральске, в куренях, вблизи церкви живет внук Никифора Петровича Кузнецова (родного племянника Устиньи Петровны), Наторий (Енаторий) Фелисатович Кузнецов, человек грамотный и любознательный, сделавший будто бы какие-то записи со слов деда, любителя и хранителя преданий кузнецовского рода. Рассказами этого деда, Никифора Кузнецова, уже пользовался известный уральский писатель Иосиф Игн. Железнов, но мне было все-таки любопытно повидать его внука, живого преемника этого предания.

Я разыскал его действительно за собором в куренях, в старом, недавно обгоревшем домике. Однако, когда я объяснил ему цель своего прихода и даже сослался на указание Ф. С. Ковалева — Наторий Кузнецов только насупился.

— Ничего я не могу вам сказать. Приемный дедушка верно что рассказывал... Ну только я не могу.

— Почему же?

— Это есть речи политические...

Я искренне удивился.

— Позвольте, Наторий Фелисатович. Да ведь дедушка ваш рассказывал Железнову, и Железнов это напечатал. Однако никакой беды из этого для вашего дедушки не вышло.

— Железнов писал. Верно. Ну, только дедушка сказал ему, может быть, десятую часть...

Чтобы сломить это недоверие, я раскрыл нарочно захваченную с собой книгу Железнова и стал читать записанный автором рассказ Никифора Кузнецова. Наторий слушал и одобрительно кивал головой, вставляя свои замечания. Я уже стал надеяться, что лед будет сломан, но в это время с порога избушки (наш разговор происходил на дворе) поднялась жена Кузнецова, смуглая казачка с черными решительными глазами.

— Молчи, Наторий, — сказала она зловеще. — Кабы одна голова была... а то у тебя семейство.

На руках у нее заплакал грудной ребенок, и Наторий сразу осекся.

— Нет, невозможно, — сказал он, — речи политические... Когда бы меня уже не трясли...

— То есть как же это «трясли»?.. И за что?

— А вот за это самое, — за Пугачева...

— Что вы говорите! Кому теперь нужно.

— Видно, что нужно... Видите, как это дело было.

— Молчи, Наторий, — опять сказала казачка.

— Нет, что ж, это можно, ничего. Видите. Значит, еду я как-то по железной дороге до Переметной. В вагоне были еще разные народы, вроде купцов. Стали вот этак же промежду себя говорить: один, например, говорит: царь был настоящий, то есть, как выражал о себе, то была настоящая правда... Ну, другой ему напротив: «Вот, говорит, у Железнова писано: признается так, что донской казак». И про дедушку мово помянул. Я, как был тут же, и говорю: «Железнову, значит, мой дедушка рассказывал, ну и все. Если бы все, говорю, обсказал, то и Железнов написал бы другое». Говорим этак-то,

а тут кондуктор. Знакомый был. Дернул меня за рукав, отвел в сторону и говорит: «Ты, говорит, Наторий Фелисатов, не моги эти слова выражать». — «А что, мол?» — «Да так, не выражай этих речей. Речи, слышь, политические». Ну, я послушался. Только вдруг на одной станции — жандармы. Заперли вагон, никому чтобы не выходить, и говорят: «Кто здесь выражал политические речи?» Вот оно и дело-то... Договорились...

— Что ж, наверное ничего никому не сделали.

— То-то: они, значит, купцы, говорят: «Мы вот по книжке. Господин Железнов писал, офицер. Извольте посмотреть». Ну, а я, значит, спасибо кондуктору, в стороне. Только страхом отделался. А кабы я все выразил...

— Вот и теперь молчи, — отрезала жена.

— И то молчу.

Я был у него два раза. Оба раза он очень охотно разговаривал о своем дедушке, о прежнем жительстве Кузнецовых, об их родстве и при этом косвенно сообщил мне очень много любопытного и в бытовом и в историческом отношении. Но, как только разговор задевал прямее запретную тему, казачка опять понижывала его своими черными глазами, и он прикусывал язык.

— Не могу, политические речи, — повторял он упорно. — Кабы не трясли...

Впрочем, расстались мы с этим представителем «царицына рода» дружески, и я даже думаю, что едва ли он мог сообщить мне что-нибудь более характерное, чем этот маленький эпизод из нашей живой современности.

В других местах, особенно во время своей поездки по станицам, я был более счастлив. Престарелые казаки более храбры, чем молодежь, и более охотно делились своими сведениями и своим глубоким убеждением по этому предмету.

Собрав то, что удалось мне записать по личным отзывам и что записано другими, и просматривая этот материал подряд, — я был поражен замечательной цельностью того образа, который вырос из этих обрывков, а также глубокой верой рассказчиков в его реальность. Убеждение в том, что пришлец, поднявший роковую бурю в 1773 году, был настоящий Петр Федорович, держится на Урале не только в простом рядовом казачестве. Мне пришлось довольно близко познакомиться с исторической семьей Шелудяковых, предки которых принимали деятельное участие в роковой драме. Одного из Шелудяковых Пугачев очень любил и называл почему-то крестным батюшкой. Впоследствии он попал в плен под Оренбургом и был замучен в застенке. Таким образом в этой семье, как и во многих других на Урале, — к историческому интересу примешивается семейная традиция. Уже родители теперешних Шелудяковых были люди вполне интеллигентные, и, однако, когда отец умирал (в начале 70-х годов), то выражал сожаление, что не доживет до 1875 года, когда, по общему убеждению, печать тайны с пугачевского дела должна быть снята и тогда должно было обнаружиться, что Яик вообще и семья Шелудяковых в частности служили правому делу. Говорят, Пушкин, в свой приезд и кратковременное пребывание в Уральске, — пока-

зывает современникам бунта портрет настоящего Петра Федоровича, голштинская физиономия которого, как известно, нимало не походила на казацкий облик Пугачева. Однако теперь я слышал из нескольких уст, будто в этом портрете казаки признали как раз того самого человека, который был у них на Яике. Вообще, при указании на решительное отрицание историей всякой возможности этого тождества, даже у интеллигентных казаков вы встретите выражение колебания и скептицизма.

Нужно, впрочем, признаться, что, как уже сказано выше, писанная история страдает большими недомолвками, неполнотой, а иногда и прямо противоречиями. А главное — она оставляет центральную фигуру человека «без лица». С этим народное воображение не может, конечно, примириться. Ему, понятно, чужда историческая критика, но зато полуфантастический образ, рисуемый народным преданием, отличается замечательной полнотой и яркостью. Это живой человек со всеми достоинствами и недостатками реальной личности и, если к этим реальным чертам примешивается порой элемент мистический и таинственный, то это касается лишь его царского звания. Петр Федорович казачьих легенд — настоящий человек, с плотью и кровью, кипящий желаниями и страстями; царь Петр III — окружен нимбом таинственности и роковых, не вполне естественных влияний.

Причины его низвержения с престола рисуются с особенным реализмом. Казачье предание представляет Петра III широкой натурой, гулякой и неверным мужем. Поведение его из тех, которые приходится оправдывать известной поговоркой: быть молодцу не укор. Екатерина, наоборот, в это время изображается, хотя и довольно строптивой, но все же верной женой, старающейся унять мужа. На этой почве разыгрывается катастрофа. Однажды пришел иностранный корабль, и Петр Федорович отправился на него, да и загулял с дворянскую девицей Воронцовой. Указание этого имени, совпадающее с исторической действительностью, показывает, как широко, в сущности, распространялись в те времена разные придворные «комражи». «Ведь от нас, — говорил Железнову казак Бакирев, — испокон веку кажинный год ездили казаки в Москву и Питер с царским кусом... Так как же не знать. Шила в мешке не утаишь...» Шпионы донесли царице, что царь прокладается с Воронцовой. Той, как же не, это показалось обидно, она не стерпела и побегала туда сама. Пришла и говорит: «Не пора ли домой?» Но загулявший муж грубо прогнал ее: «Пошла сама домой, куда цела». Тогда оскорбленная Екатерина пригласила своих приверженцев, подняла образа и объявила себя царицей. Когда загулявший царь, с похмельем в победной головушке, решил, наконец, на третью или четвертую ночь, вернуться домой, — он нашел ворота запертыми, а часовой объявил, что царя нет, а есть царица. Он сунулся было в Кронштадт (опять черта историческая), но и там его не пустили. Тогда, страшась враждебных бояр, Петр Федорович решил скрыться...

Тут уж личность Петра Федоровича исчезает в тумане, а над царем водворяется мистическая власть высшей силы, какого-то таинственного предопределения. Оказывается, что где-то было положено



испокон веков, что царственному внуку Петра Великого предстоит познать много горя и страдать, как простому изгнаннику, гонимому и преследуемому в течение пятнадцати (по другим вариантам двенадцати) лет. Объявиться он должен был не ранее этого срока. Но царственный скиталец, узнавший на себе самом все страдания народа и всю неправду властей, попав вдобавок на Яик, в то время действительно «терпевший великую изневагу», стонавший под давлением вопиющей неправды и страшных репрессий, после дела Траубенберга, — не выдержал и, подчинившись опять, хотя и в другом уже направлении, своей бурной натуре, нарушил веления судьбы и объявился ранее.

Это нарушение веления высшей воли, вызванное состраданием и нестерпимой жалостью к измученному народу, является в преданиях тем трагическим двигателем, который определил судьбу движения. Все было за Пугачева, но выиграть свое дело он не мог именно потому, что начал не в срок. И он знал это. Чрезвычайно интересно, что семейное предание Кузнецовых связывает самую женитьбу набеглого царя с этим трагическим сознанием. В записанных Железновым рассказах женитьба эта мотивируется различными соображениями: во-первых, царям закон не писан; во-вторых, и закон позволяет жениться после семилетней разлуки; в-третьих, Екатерина явилась его гошительницей; в-четвертых, наконец, в это время на Яике ходили (верные, но запоздалые) слухи о намерении Екатерины выйти за Орлова. Но упомянутый выше Енаторий Кузнецов, среди своей сдержанной беседы, сообщил мне, что и Пугачев, и даже Устинья хорошо знали роковое значение этой свадьбы. Когда Пугачев стал явно выражать свои намерения относительно сватовства, то Устинья, веселая, разбитная и хорошая песенница, сложила будто бы песню, в которой очень смело говорила о муже, сватающемся от живой жены. Пугачев отвел ее в сторону и сказал: «Пусть лучше одна моя голова пропадет, чем пропадать всей России. Вот теперь идут из Питера ко мне войска и генералы; если ко мне пристанут, — тогда вся Россия загорится, дым станет столбом по всему свету. А когда я женюсь на казачке, — войска ко мне не пристанут, судьба моя кончится, и Россия успокоится». Повторение этого же трагического мотива я слышал и в других местах на Урале. Таким образом, — царь-странник, невольно нарушивший веления судьбы, покорно шел ей навстречу, а Устья шла навстречу его воле...

Публичная казнь Пугачева в Москве (10 января 1775 г.) в присутствии сотен тысяч народа несколько не поколебала этой веры. Наоборот, нужно сказать, что некоторые обстоятельства этой казни сопровождалась как раз теми неясностями мотивов и странностями, о которых я говорил выше и которые очень на руку стройному народному преданию. По сентенции, утвержденной Екатериной, Пугачев подлежал четвертованию. Сначала ему должны были отрубить руки и ноги и тогда уже голову. Однако известно, что это не было выполнено. По прочтении приговора и исполнении формальностей, палач схватил Пугачева сзади, его повалили и прежде всего отрубили голову. После этого среди водворившейся тишины послышался голос эзекутора, упрекающего палача и грозившего ему самому казнью

за нарушение приговора<sup>1</sup>. Этот неоспоримый факт, установленный и русскими и иностранными свидетельствами, служил предметом удивленных толков. Госпожа Биэльке, восторженная поклонница и корреспондентка Екатерины, прочитав об этом в иностранных газетах, высказывала в ближайшем письме предположение, что это было сделано, «согласно гуманной воле императрицы, а не по ошибке палача». Екатерина охотно пошла навстречу такому толкованию своей европейской поклонницы. — «Сказать правду, — писала она, — вы верно отгадали относительно промаха палача при казни Пугачева: я думаю, что генерал-прокурор и полицеймейстер помогли случиться этому промаху, потому что, когда первый уезжал из Петербурга, я сказала ему шутя: «Никогда не попадайтесь мне на глаза, если вы допустите малейшее мнение, что заставили *кого бы то ни было* претерпеть мучения, и я вижу, что он принял это к сведению»<sup>2</sup>.

Позволительно, однако, думать, что это объяснение не вполне точно. Что перед отъездом Вяземского у царицы были с ним разговоры, это, конечно, естественно; едва ли только они велись шутя. Что факт резкого нарушения приговора не мог объясняться также простой ошибкой палача, — в этом сомневаться едва ли возможно. Однако, если бы имелось в виду не допустить излишних страданий *кого бы то ни было*, — то, во-первых, у Екатерины было для этого прямое средство — в смягчении всех казней, и тогда гуманность коснулась бы не одного Пугачева. Между тем, в тот же день и на том же месте казнены другие пугачевские сообщники, и никто не упоминает о смягчении также и казни, например, Перфильева. Едва ли логично предполагать, что гуманность Екатерины коснулась одного лишь главного виновника и обошла второстепенных. А затем об этом, конечно, не мог бы не знать экзекутор, своим окриком по адресу палача только подчеркнувший отступление от приговора, которое без этого могло бы пройти менее замеченным.

Как бы то ни было, этот странный эпизод не только явился загадочным для сотен тысяч зрителей, собравшихся в день казни на Болоте, но остается не вполне разъясненным и для истории. К этому следует только прибавить, что среди многотысячной толпы войск и народа стояла также и Зимовая яицкая станица, состоявшая из «верных», то есть старшинской стороны казаков, которые, даже сражаясь с Пугачевым, по большей части все-таки считали его настоящим царем, воюющим против царицы... И возвратясь на Яик, казаки рассказали о странном эпизоде казни.

Легенда прекрасно воспользовалась этою загадкой. Она не знает недоговоренностей и противоречий. Она цельна, стройна, часто очень фантастична, порой нелепа, но совершенно последовательна и логична.

В казнь Пугачева уральское войско не поверило. Царя казнить нельзя. Человек, которого Болотов описывает на эшафоте «совер-

---

<sup>1</sup> Un d'entre-eux (то есть один из ближайших зрителей), que je crois avoir été in, des juges censura a haute voix le bourreau de sa méprise («Один из них, я полагаю — один из судей, бранил громким голосом палача за его ошибку», — корреспонденция очевидца в «Утрехтской газете» 3 марта 1775 г. Чт. в Об-ве Ист. и др): Болотов называет этого чиновника экзекутором.

<sup>2</sup> Сборник Историч. об-ва, XXVII, 32. — Курсив в цитате мой.

шенно несоответствующим таким деяниям, какие производил сей изверг», а скорее походившим «на какого-нибудь маркитантишку или харчевника плюгавого» — по мнению казаков и был совсем не тем, кого войско видело на коне и который одним своим появлением расстраивал ряды противников. Это было, по словам легенды, подставное лицо, какой-то заурядный преступник. И когда он хотел будто бы сказать, что умирает вместо настоящего царя, — ему потороплились отрубить голову...

К этому присоединился новый факт, исторически верный и поразивший воображение народа, а именно скоропостижная смерть Мартемьяна Бородина...

Мартемьян Бородин — самая видная фигура из казачьих противников Пугачева, игравший огромную, почти определяющую роль в допугачевском брожении на Урале, и прямая антитеза Пугачева в глазах «войска». Богач, захвативший неизмеримые пространства «общей» степи, владелец крепостных на вольных казачьих землях, насильник, грабитель, человек с железною волею, бурным темпераментом и в то же время хитрый дипломат, умевший задаривать и задабривать петербургское начальство, — он был душой ненавистной казакам старшинской партии, которая перед появлением Пугачева даже носила название «бородинской». Против него и его действий были направлены даже личные указы Екатерины, но он умел обратить их в ничто, искусно вызывая волнения, после которых оказывались виновны его противники. Можно предположить с большой долей вероятности, что, не будь на Яике Мартемьяна Бородина, не было бы и убийства Траубенберга, предшествовавшего пугачевщине, не было бы, может быть, и Пугачева... Но, как это часто бывает, Мартемьян, истинный виновник, вызвавший в войске общее недовольство и справедливый гнев, которые повели к вспышке, — потом борьбой с вызванным им же движением не только «заслужил» свои воровства и тяжкие вины, но и явился в глазах правительства в ореоле преданности и самоотвержения. В борьбе с Пугачевым для Мартемьяна шла речь о собственной голове, над которой тяготели обвинения и проклятия всего войска, но Мартемьян очень ловко выставил эту вражду к нему войска, как свои заслуги перед престолом. При самом появлении Пугачева Мартемьян понял опасность прежде всего для себя лично, — и кинулся киргизской степью в Оренбург... Впоследствии, когда Пугачев был уже посажен в железную клетку, екатерининские генералы знали, что Мартемьян будет лучшим его сторожем. И действительно, Мартемьяну было поручено сопровождать пленника в Москву...<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> «По преданиям казаков, — говорит Железнов (III, 203), — Бородин был в числе конвойных Пугачева, но по некоторым данным, до меня дошедшим, я заключаю, что он не конвоировал Пугачева, а приехал в Петербург уже в ноябре или даже декабре 1774». Это неверно. В числе выписок, сделанных мною из войскового архива, есть выписка из Указа Гл. Кригс-Комиссариата из конторы 1-ну премьер-майору Бородину от 22 дек. 1774 г., в котором приводится расчет денег, следующих «за приезд с Вами от войска Яицкого с рыбою також и для препровождения злодея Пугачева в Москву, находящейся в команде Вашей лхкой станции» (всего жалов., прогон, а также на ковши и сабли 633 р.). Таким образом, очевидно, в этом отношении казачье предание не ошибается, и Пугачева сопровождал в Москву Мартемьян Бородин.

Казачьи предания приводят много подробностей этого пути. Прежде всего, за городским валом и башкней по казанскому тракту, родня Бородина вышла, по обычаю, провожать его в дорогу. Стали пить водку и наливку. Пугач выглянул из клетки и сказал: «Мартемьян Михайлович! Поднеси-ка и мне». Но Мартемьян грубо отказал. Пугачев побледнел от оскорбления и говорит: «Хорошо же! Ты хочешь видеть мою смерть. Не удастся. Я скорее твою увижу». Немного погодя один из старшин, Михайлов, подошел к нему и поднес ему из своего стакана. Пугачев выпил и сказал: «Спасибо, дружище. Не забуду я тебя. Запомните, что я скажу, — сказал Пугач всем тут бывшим, — отныне род Михайлов возвысится, а род Бородина падет»<sup>1</sup>.

Дорогой Пугач тоже предостерегал Бородина и говорил ему с усмешкой: «Мартемьян Михайлович, одумайся, куда едешь, зачем?.. Эй, Мартемьян Михайлович. Поверни-ка оглобли назад, пока время есть...»

Престарелый казак Требухинской станицы, Ананий Иванович Хохлачев, с глубоким убеждением подтверждая мне все записанное от разных лиц Железновым, прибавил к этому еще несколько эпизодов, слышанных, по его словам, от самих участников или ближайших родственников. Между прочим, с Мартемьяном Бородиным, в качестве ординарца, ехал его любимец, молодой казак Михайло Тужилкин. Однажды, где-то на привале, во время роздыха, суровый атаман заставил Тужилкина искать у себя в голове. Находя эту минуту подходящей для интимного разговора, Тужилкин спросил:

— Скажите, Мартемьян Михайлович, кого мы это везем: царя или самозванца?

— Царя, Мишенька, — ответил будто бы Мартемьян.

Тужилкин пришел в ужас.

— Что же мы это делаем! — воскликнул он.

— Да что же делать-то было. Все равно ни его, ни наша сила не взыла, — ответил Бородин.

В Сакмарской крепости, куда будто бы прибыл поезд с Пугачевым в клетке, — навстречу им попался фельдъегерь из Петербурга<sup>2</sup>. Подойдя к клетке и увидя там Пугачева, фельдъегерь затрепетал и всплеснул руками (Ананий Иванович очень драматично и картинно изобразил ужас фельдегера и его жесты).

— Б-боже ты мой, что такое исделали! — закричал он, — отомкните, сейчас отомкните!.. Что ж теперь будет?..

Этот ужас объяснялся, разумеется, тем, что офицер узнал в клетке царя... Потом, выйдя с Бородиным на крепостной вал, тот же фельдъегерь долго уговаривал его распустить казаков и «просто» схватить Пугачевым в Петербург, к царице. В этом наивном предложении отражается указанная уже выше черта яицких легенд о «набеглом царе». Судьба его, как царя, уже была решена, дело его проиграно, он нарушил веления рока, и царство оставалось за Екатери-

---

<sup>1</sup> Железнов, т. III, стр. 205. Предсказание не вполне оправдалось. Сын Мартемьяна Бородина был войсковым атаманом. Впрочем, умер он бездетным и теперь прямых потомков Мартемьяна нет.

<sup>2</sup> Интересно, что, по казачьим преданиям, Пугачева везли, по-видимому, через Оренбург. Иначе поезд не мог бы попасть на Сакмару.

ной. Но особа его была священна, и притом он оставался мужем царицы и отцом царевича, наследника.

Бородин не послушался, и за это его действительно постигла казнь, как и предсказывал Пугач. Судьба покарала Петра Федоровича, нарушившего ее веления, но та же судьба не могла обойти и человека, посягнувшего на достоинство «царя» и везшего его в клетке, как зверя. О самой смерти Мартемьяна Бородина рассказывают различно, но большая часть преданий приписывает ее Павлу Петровичу<sup>1</sup>. Когда Мартемьян явился во дворец к наследнику, — рассказывал мне Ананий Иванович Хохлачев, — тот и говорит ему:

— Что тебе было, атаман господин, мово папу не принять? Ежели бы ты принял, то были бы теперь в Рассее папа мой, да я, да ты третий. Ну, а теперь, атаман господин, не взыщи.

И ударили в большой колокол. Зимовая яицкая станица стоит на площади у дворца, ждет своего походного атамана, но его все нет. И вдруг слышат: звонят в большой колокол, как на помин... Вышел на крыльцо адъютант и говорит казакам: «Нет вашего атамана. Помер атаман в одночасье. Поезжайте себе с богом».

Самый род смерти изображается тоже различно. В рассказах казачьих домоседов, не бывавших в столицах, говорится, будто Павел Петрович, разгневавшись, схватил дверную «запирку» (деревянный засов, которым задвигаются ворота) и ударил ею Бородина по голове. По другим вариантам, казнь была еще жесточе, — вплоть до сдирания кожи с живого. Здесь, очевидно, играла уже творческую роль глубокая ненависть тогдашнего войска к Мартемьяну. Наконец, некоторые предания приписывают гибель Бородина самой Екатерине, которая не могла простить грубого обращения с ее мужем. «Собрался Мартемьян Михайлович ехать из Питера (гласит одно предание, записанное Железновым) и пошел проститься с государыней, а денщику велел исподволь укладываться. Вдруг прибежал на квартиру испуганный, бледный, словно кто гнал за ним. «Беги скорей за подводами, едем». Дорогой Мартемьян все кричал ямщику: погоняй! Проехали сколько-то станций, Мартемьян говорит ямщику по-киргизски:

— Какое, братец, я чудо видел... Стою у матушки царицы в опочивальне, рассказываю ей, как мы сражались супротив злодея Амельки. А он, Пугач-то, вдруг из-за ширмы как выскочит, словно зверь лютый, да как ринется на меня с кулаками, я ндо обмер... Теперь, братец, вижу, что дал маху: не ездить бы мне совсем сюда. Бог бы с ними... Хоша и публиковали, что Амелька Пугачев, а выходит — вот он какой Пугач...

Не успел он досказать, как сзади нагоняет их фельдъегерь и требует Мартемьяна опять к царице.

Другой вариант рисует этот же эпизод с еще более реальными подробностями. Пугач лежит в опочивальне за белыми кисейными

---

<sup>1</sup> Всю дорогу Мартемьян перекорялся с Пугачом и попрекали друг друга. Мартемьян грозил ему царицей, а Пугач ему наследником. «Дай срок, — говорил Мартемьян, — доехать до царицы: задаст она тебе баню, до новых венников не забудешь». А Пугач ему: «Дай срок доехать до царевича Павла Петровича. Задаст он тебе такого жару, что небо с овчинку покажется» (Железнов).

занавесками, — «похоже, только что вышел из бани: волосы мокры, а лицо красно. У ног его, на стуле сидит царевич, а у окна царица. И все плачут, платочками слезы утирают. А у притолоки, словно вестовой солдат, стоит Мартемьян Михайлович, — стоит и дрожит, словно на морозе» (Железнов).

Ананий Иванович Хохлачев прибавляет к этому, будто вдова Бородина получила собственноручное письмо Екатерины и два платя бархатные: одно зеленое, другое черное. «А в письме было написано, что во твоём, дескать, горе я повинна, я грешница...» И сватья Апанья Ивановича, жившая там же, сама видела и письмо, и платя...

Надо заметить, что ни точная дата, ни даже год смерти Мартемьяна Бородина неизвестны, и это событие тоже покрыто какой-то неопределенностью. Железнов сомневается, что Бородин сопровождал Пугачева, как в этом уверяют казачьи предания. Он относит смерть Бородина к апрелю 1775 года на том основании, что в мае был назначен новым войсковой старшина Акутин. Но в данном случае ошибается Железнов, а предание право. Во-первых, Бородин не был войсковым, а только походным атаманом, но Пугачева сопровождал несомненно, и есть большое вероятие, что умер он во время этой поездки. В делах уральского войскового архива я нашел указание, что тысяча рублей, назначенная в награду Бородину, получена в Оренбурге, по доверенности вдовы Бородина, пятидесятским Григорием Телновым (о чем последовал указ оренбургской губерн. канцелярии от 28 ноября 1774 г.). Затем никаких упоминаний о Мартемьяне Бородине мне в делах уже не попадалось до августа 1775 г., когда в одном из прошений совершенно случайно упоминается об умершем майоре Бородине. Этот глухой и неопределенный промежуток производит странное впечатление после того, как прежде имя деятельного старшины попадалось на всяком шагу... Нет сомнения, что «вины» М. Бородина перед правительством были громадны. Екатерина писала указы, посылала генералов для прекращения злоупотреблений, но старшинская партия, душой которой был Бородин, задаривала генералов и превращала веления царицы в ничто, пока это не вызвало бунта и кровавого усмирения, подготовившего почву для пугачевщины. Эти злоупотребления и бессилие власти войско объяснило тем, что на престоле не настоящий царь, а женщина... И когда появился царь, войско встретило его с восторгом.

Вообще же пугачевское движение представляется мне по своей психологической основе одним из самых верноподданнических движений русского народа. Конечно, в самом зародыше его таился (и то довольно незаметно) сознательный обман. Когда в таинственном купце, одетом в плохой рубахе и простых портах, приходилось признать царя и объявить об этом войску, — то казак Мясников, пожал плечами, сказал: «Ладно. Мы из грязи сделаем князя». Но это думали далеко не все даже из первых участников. Когда же Пугачев, одетый в царскую одежду (кафтан подарил киргизский хан), на отличном коне, с двумя знаменами и отрядом выехал к форпостам, — тогда ему навстречу устремились искренняя вера и искреннее чувство, которые сопровождали его все время до плахи.

Замечательно при этом, что образ Екатерины (как известно, ненавистный и до сих пор народу в крестьянской России) уральское

предание окружает тоже какой-то почтительностью и мягкостью. Она была женщина, и это был ее недостаток на престоле. «Мы государыни не злословим, — говорили на собрании башкиры. — Она правосудна, но правосудие от нее не отошло и к нам не пришло». То же могли, конечно, сказать и казаки, депутаты которых не раз возвращались из Петербурга, напрасно обнадеженные самой Екатериной. Но это относилось к царице и к делам правления. Лично же предание относится к Екатерине довольно мягко. Оскорбленная как женщина и жена, она чувствует понятное негодование и решается на переворот. Но вместе с тем она не может простить грубого обращения с мужем и, когда, после стольких приключений, он возвращается, — она укладывает его в постель и плачет об его страданиях. Отношение ее к Устинье Кузнецовой (в действительности несимпатичное и жестокое: бедная Устя была пожизненно заключена в крепость) в предании казаков тоже отмечено великодушием и женственной добротой. Екатерина вызывает Устю в Петербург и обходится с ней очень ласково. Эта тема — встреча двух жен якобы одного и того же бедового мужа — разрабатывается подробно и охотно во многих рассказах, записанных Железновым. Я тоже слышал ее и из уст Анания Ивановича и, отчасти, Натория Кузнецова. Во всех рассказах упоминается одна черта: когда Устю, вместе с ее сестрой, привезли во дворец, Екатерина велела выводить к ней разных лиц и все спрашивали: не этот ли твой обрученник. Устя все отвечала отрицательно. Наконец вывели Пугача, и она кинулась ему на шею. — Ну, сказала Екатерина, — попросайся с ним, более никогда вы не увидите. — Пугача увели, а Усте Екатерина отвела дворец на Васильевском острове, где она жила долго и где у нее бывали нередко уральцы, приезжавшие в столицу.

Мне приходится еще отметить один цикл этих преданий, показывающий, какую страстную любовь питал Яик к образу своего «набеглого царя», стойвшего ему столько слез, горя и крови. Известно, что страстная любовь не мирится с фактом смерти любимого человека. И Пугачев, пойманный и даже казненный, все еще мелькал на Яике и являлся своим приверженцам то в степях, то в самом городе.

Эти предания о странствующем и вновь преследуемом Пугачеве уже совершенно фантастичны, но им нельзя отказать в своеобразной поэзии, полной тоски и грусти. Один из этих рассказов (записанный со слов старого илецкого казака С. В. Крылова, ныне, в 1900 г., живущего в Уральске) застаёт Пугачева скитающимся по Общему Сырту (после бегства из Берды). Пугачев с небольшим отрядом едет по степи и наезжает на большой камень. Приказав казакам стреножить лошадей и ждать его, Пугачев подходит к камню и падает на него с горькими слезами. Камень подымается, и Пугачев сходит под землю. Через некоторое время он выходит и зовет за собой казаков. В подземелье их встречает величественная женщина, которая приветствует казаков и предлагает им подкрепить свои силы. Для этого у нее есть лишь небольшая краюшка хлеба, но, когда она начинает ее резать, хлеба не убывает. Пугачев зовет ее теткой, и она в разговоре упрекает его, что он не дождался назначенного для испытания срока и, обьявившись ранее, — вдобавок женился. Странная женщина, неведомо какими путями перенесенная в Яицкие степи

и вдобавок под землю, — была Елизавета Петровна. Попрошавшись с теткой, Пугач опять поскакал со своими спутниками в степь навстречу таинственной судьбе...

Вечером, в тот самый день как увезли Пугача из Яицкого городка, — говорит другое предание, записанное Железновым, — Кузнецовы — его родня — сидели за ужином. Вдруг отворились двери, и входит купец (известно, что и в первый раз Пугачев появился на Яике в виде купца). — «Хлеб-соль», — сказал он, войдя, и все Кузнецовы вздрогнули, и ложки у них выпали из рук («это, значит, он был, по голосу узнали»). — «Не бойтесь, это я, — говорит купец. — Пришел вас успокоить... Я по милости божией не пропаду. Прощайте, живите подобру-поздорову». Сказал и был таков. Выбежали Кузнецовы на улицу, а его и след простыл, только колокольчик прозвенел...

В тот же вечер, часами двумя ранее, тот же купец был даже у атамана. И опять его сначала не узнали, а когда узнал другой купец, пришедший к атаману, то опять все так оторопели, что таинственный посетитель успел скрыться... Только опять колокольчик прозвенел по дороге к Чувашскому умету...

Эта вера в свое время была так сильна, что в бумагах войскового архива мне попадались дела, возникавшие именно на этой почве. Так, старшинская жена Прасковья Иванаева, бывшая кухаркой у «царицы Устиньи» и стряпавшая во «дворце» для Пугачева, два раза была бита плетью за то, что не верила в окончательное поражение «царя» и, при всякой ссоре с торжествующей «старшинской партией» (а старуха, по-видимому, была нрава строптивого), «говорила о самозванце для общества непристойное и богопротивное» и даже грозила новым его прибытием, о «чем якобы в то время славилось». Известно, наконец, что, вскоре по усмирении, начальство было встревожено появлением якобы вновь Пугачева, под именем Метлы или Заметайла. Но это оказалась простой разбойник, жалкая пародия, в которой не было ничего, что бы могло действительно расшевелить усталое народное чувство.

Таковы эти легенды, еще живые, но уже начинающие бледнеть в народной памяти на Урале. Мне они показались интересными. Все они отмечены глубокой верой в истинность царского достоинства Пугачева, и личность, которую они рисуют, очень далека от действительной и несомненной личности ничтожного Петра III. Казачий Петр Федорович нимало не похож на немца (хотя в некоторых рассказах и упоминается, что он был немец). Бурный, легкомысленный, несдержанный, он оскорбляет Екатерину, законную жену, за что вынужден странствовать и нести наказание. Очищенный этим испуительным периодом, он остается таким же несдержанным в своей страстной жалости к народу и нарушает веление судьбы (или «старых писаний»), являясь ранее назначенного срока. Затем он опять дает волю страстной натуре и женится на Устинье. От этого дело его гибнет. И, однако, борьба с ним и особенно оскорбление его личности является оскорблением мистически суеверного народного представления об истинном царе, и главный виновник этого преступления несет должное наказание... Для Яика это было только роковое столкновение двух представителей власти, трагически разделившей-



ся, но одинаково имевшей за себя большие основания... Царица победила благодаря тому, что пылкий царь нарушил веления рока...

Да, этот образ был только тень гонимого царя. Но тень эта потрясла Россию... Степное марево, привидение — и целый ряд завоеванных крепостей и выигранных сражений... Для этого недостаточно было чьего-нибудь адского коварства и крамолы. Для этого нужно было глубокое страдание и вера... И она была, правда, вся проникнутая невежеством и политическим суеверием, которые, к сожалению, долго еще жили в темных массах, как живут и теперь эти фантастические легенды на Урале.

*1900*

# СЛЕПОЙ МУЗЫКАНТ

## ГЛАВА ПЕРВАЯ

### I

Ребенок родился в богатой семье Юго-Западного края в глухую полночь. Молодая мать лежала в глубоком забытьи, но, когда в комнате раздался первый крик новорожденного, тихий и жалобный, она заметалась с закрытыми глазами в своей постели. Ее губы шептали что-то, и на бледном лице, с мягкими, почти детскими еще чертами, появилась гримаса нетерпеливого страдания, как у балованного ребенка, испытывающего непривычное горе.

Бабка наклонилась ухом к ее что-то тихо шептавшим губам.

— Отчего... отчего это он? — спрашивала больная едва слышно.

Бабка не поняла вопроса. Ребенок опять закричал. По лицу больной пробежало отражение острого страдания, и из закрытых глаз скользнула крупная слеза.

— Отчего, отчего? — по-прежнему тихо шептали ее губы.

На этот раз бабка поняла вопрос и спокойно ответила:

— Вы спрашиваете, отчего ребенок плачет? Это всегда так бывает, успокойтесь.

Но мать не могла успокоиться. Она вздрагивала каждый раз при новом крике ребенка и все повторяла с гневным нетерпением:

— Отчего... так... так ужасно?

Бабка не слыхала в крике ребенка ничего особенного и, видя, что мать говорит точно в смутном забытьи и, вероятно, просто бредит, оставила ее и занялась ребенком.

Юная мать смолкла, и только по временам какое-то тяжелое страдание, которое не могло прорваться наружу движениями или словами, выдавливалось из ее глаз крупные слезы. Они просачивались сквозь густые ресницы и тихо катились по бледным как мрамор щекам.

Быть может, сердце матери почуяло, что вместе с новорожденным ребенком явилось на свет темное, неисходное

горе, которое нависло над колыбелью, чтобы сопровождать новую жизнь до самой могилы.

Может быть, впрочем, что это был и действительный бред. Как бы то ни было, ребенок родился слепым.

## II

Сначала никто этого не заметил. Мальчик глядел тем тусклым и неопределенным взглядом, каким глядят до известного возраста все новорожденные дети. Дни уходили за днями, жизнь нового человека считалась уже неделями. Его глаза прояснились, с них сошла мутная поволока, зрачок определился. Но дитя не поворачивало головы за светлым лучом, проникавшим в комнату вместе с веселым щебетаньем птиц и с шелестом зеленых буков, которые покачивались у самых окон в густом деревенском саду. Мать, успевшая оправиться, первая с беспокойством заметила странное выражение детского лица, оставшегося неподвижным и как-то не по-детски серьезным. Молодая женщина смотрела на людей, как испуганная горлица, и спрашивала:

— Скажите же мне, отчего он такой?

— Какой? — равнодушно переспрашивали посторонние. — Он ничем не отличается от других детей такого возраста.

— Посмотрите, как странно ищет он что-то руками...

— Дитя не может еще координировать движений рук с зрительными впечатлениями, — ответил доктор.

— Отчего же он смотрит все в одном направлении?.. Он... он слеп? — вырвалось вдруг из груди матери страшная догадка, и никто не мог ее успокоить.

Доктор взял ребенка на руки, быстро повернул к свету и заглянул в глаза. Он слегка смутился и, сказав несколько незначущих фраз, уехал, обещая вернуться дня через два.

Мать плакала и билась, как подстреленная птица, прижимая ребенка к своей груди, между тем как глаза мальчика глядели все тем же неподвижным и суровым взглядом.

Доктор действительно вернулся дня через два, захватив с собой офтальмоскоп. Он зажег свечку, приближал и удалял ее от детского взгляда, заглядывал в него и наконец сказал с смущенным видом:

— К сожалению, сударыня, вы не ошиблись... Мальчик действительно слеп, и притом безнадежно...

Мать выслушала это известие с спокойной грустью.

— Я знала давно, — сказала она тихо.

### III

Семейство, в котором родился слепой мальчик, было немногочисленно. Кроме названных уже лиц оно состояло еще из отца и «дяди Максима», как звали его все без исключения домочадцы и даже посторонние. Отец был похож на тысячу других деревенских помещиков Юго-Западного края: он был добродушен, даже, пожалуй, добр, хорошо смотрел за рабочими и очень любил строить и перестраивать мельницы. Это занятие поглощало почти все его время, и потому голос его раздавался в доме только в известные, определенные часы дня, совпадавшие с обедом, завтраком и другими событиями в том же роде. В этих случаях он всегда произносил неизменную фразу: «Здорова ли ты, моя голубка?» — после чего усаживался за стол и уже почти ничего не говорил, разве изредка сообщал что-либо о дубовых валах и шестернях. Понятно, что его мирное и незатейливое существование мало отражалось на душевном складе его сына. Зато дядя Максим был совсем в другом роде. Лет за десять до описываемых событий дядя Максим был известен за самого опасного забияку не только в окрестностях его имения, но даже в Киеве на «Контрактах»<sup>1</sup>. Все удивлялись, как это в таком почтенном во всех отношениях семействе, каково было семейство пани Попельской, урожденной Яценко, мог выдаться такой ужасный братец. Никто не знал, как следует с ним держаться и чем ему угодить. На любезности панов он отвечал дерзостями, а мужикам спускал своеволие и грубости, на которые самый смирный из «шляхтичей» непременно бы отвечал оплеухами. Наконец, к великой радости всех благомыслящих людей, дядя Максим за что-то сильно осердился на австрийцев и уехал в Италию; там он примкнул к такому же забияке и еретiku Гарибальди, который, как с ужасом передавали паны-помещики, побратался с чертом и в грош не ставит самого папу. Конечно, таким образом Максим навеки погубил свою беспокойную схизматическую душу, зато «Контракты» проходили с меньшими скандалами и многие благородные мамы перестали беспокоиться за участь своих сыновей.

Должно быть, австрийцы тоже крепко осердились на дядю Максима. По временам в *Курьерке*, исстари любимой газете панов-помещиков, упоминалось в реляциях его имя в числе отчаянных гарибальдийских сподвижников, пока однажды из того же *Курьерка* паны не узнали, что Максим упал вместе

---

<sup>1</sup> «Контракты» — местное название некогда славной киевской ярмарки.

с лошадию на поле сражения. Разъяренные австрийцы, давно уже, очевидно, точившие зубы на заядлого волянца (которым, чуть ли не одним, по мнению его соотечественников, держался еще Гарибальди), изрубили его как капусту.

— Плохо кончил Максим, — сказали себе паны и приписали это специальному заступничеству св. Петра за своего наместника. Максима считали умершим.

Оказалось, однако, что австрийские сабли не сумели выгнать из Максима его упрямую душу, и она осталась, хотя и в сильно попорченном теле. Гарибальдийские забияки вынесли своего достойного товарища из свалки, отдали его куда-то в госпиталь, и вот через несколько лет Максим неожиданно явился в дом своей сестры, где и остался.

Теперь ему было уже не до дуэлей. Правую ногу ему совсем отрезали, и потому он ходил на костыле, а левая рука была повреждена и годилась только на то, чтобы кое-как опираться на палку. Да и вообще он стал серьезнее, угомонился, и только по временам его острый язык действовал так же метко, как некогда сабля. Он перестал ездить на «Контракты», редко являлся в общество и большую часть времени проводил в своей библиотеке за чтением каких-то книг, о которых никто ничего не знал, за исключением предположения, что книги совершенно безбожные. Он также писал что-то, но так как его работы никогда не являлись в *Курьерке*, то никто не придавал им серьезного значения.

В то время, когда в деревенском домике появилось и стало расти новое существо, в коротко остриженных волосах дяди Максима уже пробивалась серебристая проседь. Плечи от постоянного упора костылей поднялись, туловище приняло квадратную форму. Странная наружность, угрюмо сдвинутые брови, стук костылей и клубы табачного дыма, которыми он постоянно окружал себя, не выпуская изо рта трубки, — все это пугало посторонних, и только близкие к инвалиду люди знали, что в изрубленном теле бьется горячее и доброе сердце, а в большой квадратной голове, покрытой щетиной густых волос, работает неутомная мысль.

Но даже и близкие люди не знали, над каким вопросом работала эта мысль в то время. Они видели только, что дядя Максим, окруженный синим дымом, просиживает по временам целые часы неподвижно, с отуманенным взглядом и угрюмо сдвинутыми густыми бровями. Между тем изувеченный боец думал о том, что жизнь — борьба и что в ней нет места для инвалидов. Ему приходило в голову, что он навсегда выбыл уже из рядов и теперь напрасно загружает собой фурштат; ему казалось, что он рыцарь, выбитый из

седла жизнью и поверженный в прах. Не малодушно ли извиваться в пыли, подобно раздавленному червяку; не малодушно ли хвататься за стремя победителя, вымаливая у него жалкие остатки собственного существования.

Пока дядя Максим с холодным мужеством обсуждал эту жгучую мысль, соображая и сопоставляя доводы *за* и *против*, перед его глазами стало мелькать новое существо, которому судьба судила явиться на свет уже инвалидом. Сначала он не обращал внимания на слепого ребенка, но потом странное сходство судьбы мальчика с его собственной заинтересовало дядю Максима.

— Гм... да, — задумчиво сказал он однажды, искоса поглядывая на мальчишку, — этот малый тоже инвалид. Если сложить нас обоих вместе, пожалуй, вышел бы один лядащий человечешко.

С тех пор его взгляд стал останавливаться на ребенке все чаще и чаще.

#### IV

Ребенок родился слепым. Кто виноват в его несчастье? Никто! Тут не только не было и тени чьей-либо «злой воли», но даже самая причина несчастья скрыта где-то в глубине таинственных и сложных процессов жизни. А между тем при всяком взгляде на слепого мальчика сердце матери сжималось от острой боли. Конечно, она страдала в этом случае как мать отражением сыновнего недуга и мрачным предчувствием тяжелого будущего, которое ожидало ее ребенка; но кроме этих чувств в глубине сердца молодой женщины щемило также сознание, что *причина* несчастья лежала в виде грозной *возможности* в тех, кто дал ему жизнь... Этого было достаточно, чтобы маленькое существо с прекрасными, но незрячими глазами стало центром семьи, бессознательным деспотом, с малейшей прихотью которого сообразовалось все в доме.

Неизвестно, что вышло бы со временем из мальчика, предрасположенного к беспредметной озлобленности своим несчастьем и в котором все окружающее стремилось развить эгоизм, если бы странная судьба и австрийские сабли не заставили дядю Максима поселиться в деревне, в семье сестры.

Присутствие в доме слепого мальчика постепенно и нечувствительно дало деятельной мысли изувеченного бойца другое направление. Он все так же просиживал целые часы, дымя трубкой, но в глазах вместо глубокой и тупой боли виднелось теперь вдумчивое выражение заинтересованного наблюдателя. И чем более присматривался дядя Максим, тем

чаще хмурились его густые брови и он все усиленнее пыхтел своей трубкой. Наконец однажды он решился на вмешательство.

— Этот малый, — сказал он, пуская кольцо за кольцом, — будет еще гораздо несчастнее меня. Лучше бы ему не родиться.

Молодая женщина низко опустила голову, и слеза упала на ее работу.

— Жестоко напоминать мне об этом, Макс, — сказала она тихо, — напоминать без цели...

— Я говорю только правду, — ответил Максим. — У меня нет ноги и руки, но есть глаза. У малого нет глаз, со временем не будет ни рук, ни ног, ни воли... Пойми меня, Анна, — сказал Максим мягче. — Я не стал бы напрасно говорить тебе жестокие вещи. У мальчика тонкая нервная организация. У него пока есть все шансы развить остальные свои способности до такой степени, чтобы хотя отчасти вознаградить его слепоту. Но для этого нужно упражнение, а упражнение вызывается только необходимостью. Глупая заботливость, устраняющая от него необходимость усилий, убивает в нем все шансы на более полную жизнь.

Мать была умна и потому сумела победить в себе непосредственное побуждение, заставлявшее ее кидаться сломя голову при каждом жалобном крике ребенка. Спустя несколько месяцев после этого разговора мальчик свободно и быстро ползал по комнатам, настораживая слух навстречу всякому звуку, и с какою-то необычною в других детях живостью ощупывал всякий предмет, попадавший в руки.

## V

Мать он скоро научился узнавать по походке, по шелесту платья, по каким-то еще, ему одному доступным, неуловимым для других признакам: сколько бы ни было в комнате людей, как бы они ни передвигались, он всегда направлялся безошибочно в ту сторону, где она сидела. Когда она неожиданно брала его на руки, он все же сразу узнавал, что сидит у матери. Когда же его брали другие, он быстро начинал ощупывать своими ручонками лицо взявшего его человека и тоже скоро узнавал няньку, дядю Максима, отца. Но если он попадал к человеку незнакомому, тогда движения маленьких рук становились медленнее: мальчик осторожно и внимательно проводил ими по незнакомому лицу, и его черты выражали напряженное внимание; он как будто «вглядывался» кончиками своих пальцев.

По натуре он был очень живым и подвижным ребенком, но месяцы шли за месяцами, и слепота все более налагала свой отпечаток на темперамент мальчика, начинавший определяться. Живость движений понемногу терялась; он стал забиваться в укромные уголки и сидел там по целым часам смирно, с застывшими чертами лица, как будто к чему-то прислушиваясь. Когда в комнате бывало тихо и смена разнообразных звуков не развлекала его внимания, ребенок, казалось, думал о чем-то с неумелым и удивленным выражением на красивом и не по-детски серьезном лице.

Дядя Максим угадал: тонкая и богатая нервная организация мальчика брала свое и восприимчивостью к ощущениям осязания и слуха как бы стремилась восстановить до известной степени полноту своих восприятий. Всех удивляла поразительная тонкость его осязания. По временам казалось даже, что он не чужд ощущения цветов: когда ему в руки попадали ярко окрашенные лоскутья, он дольше останавливал на них свои тонкие пальцы и по лицу его проходило выражение удивительного внимания. Однако со временем стало выясняться все более и более, что развитие восприимчивости идет главным образом в сторону слуха.

Вскоре он изучил в совершенстве комнаты по их звукам: различал походку домашних, скрип стула под инвалидом дядей, сухое размеренное шорканье нитки в руках матери, ровное тиканье стенных часов. Иногда, ползая вдоль стены, он чутко прислушивался к легкому, не слышному для других шороху и, подняв руку, тянулся ею за бегавшею по обоям мухой. Когда испуганное насекомое снималось с места и улетало, на лице слепого являлось выражение болезненного недоумения. Он не мог отдать себе отчета в таинственном исчезновении мухи. Но впоследствии и в таких случаях лицо его сохраняло выражение осмысленного внимания: он поворачивал голову в ту сторону, куда улетела муха, — изощренный слух улавливал в воздухе тонкий звон ее крыльев.

Мир, сверкавший, двигавшийся и звучащий вокруг, в маленькую головку слепого проникал главным образом в форме звуков, и в эти формы отливались его представления. На лице застывало особенное внимание к звукам: нижняя челюсть слегка оттягивалась вперед на тонкой и удлинившейся шее. Брови приобретали особенную подвижность, а красивые, но неподвижные глаза придавали лицу слепого какой-то суровый и вместе трогательный отпечаток.

## VI

Третья зима его жизни приходила к концу. На дворе уже таял снег, звенели весенние потоки, и вместе с тем здоровье



мальчика, который зимой все прихварывал и потому всю ее провел в комнатах, не выходя на воздух, стало поправляться.

Вынули вторые рамы, и весна ворвалась в комнату с удвоенной силой. В залитые светом окна глядело смеющееся весеннее солнце, качались голые еще ветки буков, вдали чернели нивы, по которым местами лежали белые пятна тающих снегов, местами же пробивалась чуть заметною зеленью молодая трава. Всем дышалось вольнее и лучше, на всех весна отражалась приливом обновленной и бодрой жизненной силы.

Для слепого мальчика она врвалась в комнату только своим торопливым шумом. Он слышал, как бегут потоки весенней воды, точно вдгонку друг за другом, прыгая по камням, прорезаясь в глубину размякшей земли; ветки буков шептались за окнами, сталкиваясь и звеня легкими ударами по стеклу. А торопливая весенняя капель от нависших на крыше сосулек, прихваченных утренним морозом и теперь разогретых солнцем, стучала тысячью звонких ударов. Эти звуки падали в комнату подобно ярким и звонким камешкам, быстро отбивавшим переливчатую дробь. По временам сквозь этот звон и шум окрики журавлей плавно проносились с далекой высоты и постепенно смолкали, точно тихо тая в воздухе.

На лице мальчика это оживление природы сказывалось болезненным недоумением. Он с усилием сдвигал свои брови, вытягивал шею, прислушивался и затем, как будто встревоженный непонятною суетой звуков, вдруг протягивал руки, разыскивая мать, и кидался к ней, крепко прижимаясь к ее груди.

— Что это с ним? — спрашивала мать себя и других.

Дядя Максим внимательно вглядывался в лицо мальчика и не мог объяснить его непонятной тревоги.

— Он... не может понять, — догадывалась мать, улавливая на лице сына выражение болезненного недоумения и вопроса.

Действительно, ребенок был встревожен и беспокоен: он то улавливал новые звуки, то удивлялся тому, что прежние, к которым он уже начал привыкать, вдруг смолкли и куда-то терялись.

## VII

Хаос весенней неурядицы смолк. Под жаркими лучами солнца работа природы входила все больше и больше в свою колею, жизнь как будто напрягалась, ее поступательный ход становился стремительнее, точно бег разошедшегося поезда.

В лугах зазеленела молодая травка, в воздухе носился запах березовых почек.

Мальчика решили вывести в поле, на берег ближней реки.

Мать вела его за руку. Рядом на своих костылях шел дядя Максим, и все они направлялись к береговому холмику, который достаточно уже высушили солнце и ветер. Он зеленел густой муравой, и с него открывался вид на далекое пространство.

Яркий день ударил по глазам матери и Максима. Солнечные лучи согревали их лица, весенний ветер, как будто взмахивая невидимыми крыльями, сгонял эту теплоту, заменяя ее свежеею прохладой. В воздухе носилось что-то опьяняющее до неги, до истомы.

Мать почувствовала, что в ее руке крепко сжалась маленькая ручка ребенка, но опьяняющее веяние весны сделало ее менее чувствительной к этому проявлению детской тревоги. Она вздыхала полною грудью и шла вперед, не оборачиваясь; если бы она сделала это, то увидела бы странное выражение на лице мальчика. Он поворачивал открытые глаза к солнцу с немим удивлением. Губы его раскрылись; он вдыхал в себя воздух быстрыми глотками, точно рыба, которую вынули из воды; выражение болезненного восторга пробивалось по временам на беспомощно-растерянном личике, пробегало по нем какими-то нервными ударами, освещая его на мгновение, и тотчас же сменялось опять выражением удивления, доходящего до испуга и недоуменного вопроса. Только одни глаза глядели все тем же ровным и неподвижным незрячим взглядом.

Дойдя до холмика, они уселись на нем все трое. Когда мать приподняла мальчика с земли, чтобы посадить его поудобнее, он опять судорожно схватился за ее платье; казалось, он боялся, что упадет куда-то, как будто не чувствуя под собой земли. Но мать и на этот раз не заметила тревожного движения, потому что ее глаза и внимание были прикованы к чудной весенней картине.

Был полдень. Солнце тихо катилось по синему небу. С холма, на котором они сидели, виднелась широко разлившаяся река. Она пронесла уже свои льдины, и только по временам на ее поверхности плыли и таяли кое-где последние из них, выделяясь белыми пятнышками. На поемных лугах стояла вода широкими лиманами; белые облачка, отражаясь в них вместе с опрокинутым лазурным сводом, тихо плыли в глубине и исчезали, как будто и они таяли, подобно льдинам. Временами пробегала от ветра легкая рябь, сверкая на солнце. Дальше за рекой чернели разопревшие нивы и парили, застилая реюющею, колеблющеюся дымкой

дальние лачуги, крытые соломой, и смутно зарисовавшуюся синюю полосу леса. Земля как будто вздохнула, и что-то подымалось от нее к небу, как клубы жертвенного фимиама.

Природа раскинулась кругом точно великий храм, приготовленный к празднику. Но для слепого это была только необъятная тьма, которая необычно волновалась вокруг, шевелилась, рокотала и зеленела, протягиваясь к нему, прикасаясь к его душе со всех сторон не изведенными еще, необычными впечатлениями, от наплыва которых болезненно билось детское сердце.

С первых же шагов, когда лучи теплого дня ударили ему в лицо, согрели нежную кожу, он инстинктивно поворачивал к солнцу свои незрячие глаза, как будто чувствуя, к какому центру тяготеет все окружающее. Для него не было ни этой прозрачной дали, ни лазурного свода, ни широко раздвинутого горизонта. Он чувствовал только, как что-то материальное, ласкающее и теплое, касается его лица нежным согревающим прикосновением. Потом кто-то прохладный и легкий, хотя и менее легкий, чем тепло солнечных лучей, снимает с его лица эту негу и пробегает по нему ощущением свежей прохлады. В комнатах мальчик привык двигаться свободно, чувствуя вокруг себя пустоту. Здесь же его охватили какие-то странно сменяющиеся волны, то нежно ласкающие, то щекочущие и опьяняющие. Теплые прикосновения солнца быстро обмахивались кем-то, и струя ветра, звеня в уши, охватывая лицо, виски, голову до самого затылка, тянулась вокруг, как будто стараясь подхватить мальчика, увлечь его куда-то в пространство, которого он не мог видеть, унося сознание, навевая забывчивую истому. Тогда-то рука мальчика крепче сжимала руку матери, а его сердце замирало, и казалось, вот-вот совсем перестанет биться.

Когда его усадили, он как будто несколько успокоился. Теперь, несмотря на странное ощущение, персполнившее все его существо, он все же стал было различать отдельные звуки. Темные ласковые волны неслись по-прежнему не удержимо, и ему казалось, что они проникают внутрь его тела, так как удары его всколыхавшейся крови подымались и опускались вместе с ударами этих волн. Но теперь они приносили с собой то яркую трель жаворонка, то тихий шелест распутившейся березки, то чуть слышные всплески воды. Ласточка свистела крылом, описывая невдалеке причудливые круги, звенели мошки, и над всем этим пронеслся порой протяжный и печальный окрик пахаря на равнине, понукавшего волов над распахиваемой полоской.

Но мальчик не мог схватить этих звуков в их целом,

не мог соединить их, расположить в перспективу. Они как будто падали, проникая в темную головку, один за другим, то тихие, неясные, то громкие, яркие, оглушающие. По временам они толпились одновременно, неприятно смешиваясь в непонятную дисгармонию. А ветер с поля все свистел в уши, и мальчику казалось, что волны бегут быстрее и их рокот застилает все остальные звуки, которые несутся теперь откуда-то с другого мира, точно воспоминание о вчерашнем дне. И по мере того, как звуки тускнели, в грудь мальчика вливалось ощущение какой-то щекочущей истомы. Лицо подергивалось ритмически пробежавшими по нем переливами; глаза то закрывались, то открывались опять, брови тревожно двигались, и во всех чертах пробивался вопрос, тяжелое усилие мысли и воображения. Не окрепшее еще и переполненное новыми ощущениями сознание начинало изнемогать: оно еще боролось с нахлынувшими со всех сторон впечатлениями, стремясь устоять среди них, слить их в одно целое и таким образом овладеть ими, победить их. Но задача была не по силам темному мозгу ребенка, которому недоставало для этой работы зрительных представлений.

И звуки летели и падали один за другим, все еще слишком пестрые, слишком звонкие... Охватившие мальчика волны вздымались все напряженнее, налетая из окружающего звеневшего и рокотавшего мрака и уходя в тот же мрак, сменяясь новыми волнами, новыми звуками... быстрее, выше, мучительнее подымали они его, укачивали, баюкали... Еще раз пролетела над этим тускнеющим хаосом длинная и печальная нота человеческого окрика, и затем все сразу смолкло.

Мальчик тихо застонал и откинулся назад на траву. Мать быстро повернулась к нему и тоже вскрикнула: он лежал на траве бледный, в глубоком обмороке.

## VIII

Дядя Максим был очень встревожен этим случаем. С некоторых пор он стал выписывать книги по физиологии, психологии и педагогике и с обычной своей энергией занялся изучением всего, что дает наука по отношению к таинственному росту и развитию детской души.

Эта работа завлекала его все больше и больше, и поэтому мрачные мысли о непригодности к житейской борьбе, о «червяке, пресмыкающемся в пыли», и о «фурштате» давно уже незаметно улетучились из квадратной головы

ветерана. На их месте воцарилось в этой голове вдумчивое внимание, по временам даже розовые мечты согревали стареющее сердце. Дядя Максим убеждался все более и более, что природа, отказавшая мальчику в зрении, не обидела его в других отношениях; это было существо, которое отзывалось на доступные ему внешние впечатления с замечательною полнотою и силой. И дяде Максиму казалось, что он призван к тому, чтобы развить присущие мальчику задатки, чтоб усилием своей мысли и своего влияния уравновесить несправедливость слепой судьбы, чтобы вместо себя поставить в ряды бойцов за дело жизни нового рекрута, на которого без его влияния никто не мог бы рассчитывать.

«Кто знает, — думал старый гарибальдиец, — ведь бороться можно не только копьём и саблей. Быть может, несправедливо обиженный судьбою подымет со временем доступное ему оружие в защиту других обездоленных жизнью, и тогда я недаром проживу на свете, изувеченный старый солдат...»

Даже свободным мыслителям сороковых и пятидесятих годов не было чуждо суеверное представление о «таинственных предначертаниях» природы. Не мудрено поэтому, что по мере развития ребенка, выказывавшего недюжинные способности, дядя Максим утвердился окончательно в убеждении, что самая слепота есть лишь одно из проявлений этих «таинственных предначертаний». «Обездоленный за обиженных» — вот девиз, который он выставил заранее на боевом знамени своего питомца.

## IX

После первой весенней прогулки мальчик пролежал несколько дней в бреду. Он то лежал неподвижно и безмолвно в своей постели, то бормотал что-то и к чему-то прислушивался. И во все это время с его лица не сходило характерное выражение недоумения.

— Право, он глядит так, как будто старается понять что-то и не может, — говорила молодая мать.

Максим задумывался и кивал головой. Он понял, что странная тревога мальчика и внезапный обморок объяснялись обилием впечатлений, с которыми не могло справиться сознание, и решил допускать к выздоравливавшему мальчику эти впечатления постепенно, так сказать, расчлененными на составные части. В комнате, где лежал больной, окна были плотно закрыты. Потом, по мере выздоровления, их открывали на время, затем его водили по комнатам,

выводили на крыльцо, на двор, в сад. И каждый раз, как на лице слепого являлось тревожное выражение, мать объясняла ему поражавшие его звуки.

— Рожок пастуха слышен за лесом, — говорила она. — А это из-за щебетания воробьиной стаи слышен голос малиновки. Аист клекочет на своем колесе<sup>1</sup>. Он прилетел на днях из далеких краев и строит гнездо на старом месте.

И мальчик поворачивал к ней свое лицо, светившееся благодарностью, брал ее за руку и кивал головой, продолжая прислушиваться с вдумчивым и осмысленным вниманием.

## Х

Он начинал расспрашивать обо всем, что привлекало его внимание, и мать или, еще чаще, дядя Максим рассказывали ему о разных предметах и существах, издававших те или другие звуки. Рассказы матери, более живые и яркие, производили на мальчика большее впечатление, но по временам впечатление это бывало слишком болезненно. Молодая женщина, страдающая сама, с растроганным лицом, с глазами, глядевшими с беспомощною жалобой и болью, старалась дать своему ребенку понятие о формах и цветах. Мальчик напрягал внимание, сдвигал брови, на лбу его являлись даже легкие морщинки. Видимо, детская головка работала над непосильною задачей, темное воображение билось, стремясь создать из косвенных данных новое представление, но из этого ничего не выходило. Дядя Максим всегда недовольно хмурился в таких случаях, и когда на глазах матери являлись слезы, а лицо ребенка бледнело от сосредоточенных усилий, тогда Максим вмешивался в разговор, отстранял сестру и начинал свои рассказы, в которых по возможности прибегал только к пространственным и звуковым представлениям. Лицо слепого становилось спокойнее.

— Ну а какой он? Большой? — спрашивал он про аиста, отбивавшего на своем столбе ленивую барабанную дробь.

И при этом мальчик раздвигал руки. Он делал это обыкновенно при подобных вопросах, а дядя Максим указывал ему, когда следовало остановиться. Теперь он совсем раздвинул свои маленькие ручонки, но дядя Максим сказал:

— Нет, он еще гораздо больше. Если бы привести его

---

<sup>1</sup> В Малороссии и в Польше для аистов ставят высокие столбы и надсают на них старые колеса, на которых птица завивает гнездо.

в комнату и поставить на полу, то голова его была бы выше спинки стула.

— Большой... — задумчиво произнес мальчик. — А малиновка — вот! — И он чуть-чуть развел сложенные вместе ладони.

— Да, малиновка такая... Зато большие птицы никогда не поют так хорошо, как маленькие. Малиновка старается, чтобы всем было приятно ее слушать. А аист — серьезная птица, стоит себе на одной ноге в гнезде, озирается кругом, точно сердитый хозяин на работников, и громко ворчит, не заботясь о том, что голос у него хриплый и его могут слышать посторонние.

Мальчик смеялся, слушая эти описания, и забывал на время о своих тяжелых попытках понять рассказы матери. Но все же эти рассказы привлекали его сильнее, и он предпочитал обращаться с расспросами к ней, а не к дяде Максиму.

## ГЛАВА ВТОРАЯ

### I

Темная голова ребенка обогащалась новыми представлениями; посредством сильно изоощренного слуха он проникал все дальше в окружающую его природу. Над ним и вокруг него по-прежнему стоял глубокий, непроницаемый мрак; мрак этот навис над его мозгом тяжелой тучей, и хотя он залег над ним со дня рождения, хотя, по-видимому, мальчик должен был свыкнуться с своим несчастьем, однако детская природа по какому-то инстинкту беспрестанно силилась освободиться от темной завесы. Эти не оставлявшие ребенка ни на минуту бессознательные порывы к незнакомому ему свету отпечатлевались на его лице все глубже и глубже выражением смутного страдающего усилия.

Тем не менее бывали и для него минуты ясного довольства, ярких детских восторгов, и это случалось тогда, когда доступные для него внешние впечатления доставляли ему новое сильное ощущение, знакомили с новыми явлениями невидимого мира. Великая, могучая природа не оставалась для слепого совершенно закрытою. Так, однажды, когда его свели на высокий утес над рекой, он с особенным выражением прислушивался к тихим всплескам реки далеко под ногами и с замиранием сердца хватался за платье матери, слушая, как катились вниз обрывавшися из-под

ноги его камни. С тех пор он представлял себе глубину в виде тихого ропота воды у подножия утеса или в виде испуганного шороха падавших вниз камешков.

Даль звучала в его ушах смутно замиравшею песней; когда же по небу гулко перекатывался весенний гром, заполняя собою пространство и с сердитым рокотом теряясь за гучами, слепой мальчик прислушивался к этому рокоту с благоговейным испугом, и сердце его расширялось, а в голове возникало величавое представление о просторе поднебесных высот.

Таким образом, звуки были для него главным непосредственным выражением внешнего мира; остальные впечатления служили только дополнением к впечатлениям слуха, в которые отливались его представления как в формы.

По временам в жаркий полдень, когда вокруг все смолкало, когда затихало людское движение и в природе устанавливалась та особенная тишина, под которой чувствуется только непрерывный бесшумный бег жизненной силы, на лице слепого мальчика являлось характерное выражение. Казалось, под влиянием внешней тишины из глубины его души подымались какие-то ему одному доступные звуки, к которым он будто прислушивался с напряженным вниманием. Можно было подумать, глядя на него в такие минуты, что зарождающаяся неясная мысль начинает звучать в его сердце как смутная мелодия песни.

## II

Ему шел уже пятый год. Он был тонок и слаб, но ходил и даже бегал свободно по всему дому. Кто смотрел на него, как он уверенно выступал в комнатах, поворачивая именно там, где надо, и свободно разыскивал нужные ему предметы, тот мог бы подумать, если это был незнакомый человек, что перед ним не слепой, а только странно сосредоточенный ребенок с задумчивыми и глядевшими в неопределенную даль глазами. Но уже по двору он ходил с большим трудом, постукивая перед собой палкой. Если же в руках у него не было палки, то он предпочитал ползать по земле, быстро исследуя руками попадавшие на пути предметы.

## III

Был тихий летний вечер. Дядя Максим сидел в саду. Отец по обыкновению захлопотался где-то в дальнем поле. На дворе и кругом было тихо; селение засыпало, в людской



тоже смолк говор работников и прислуги. Мальчика уже с полчаса уложили в постель.

Он лежал в полудремоте. С некоторых пор у него с этим тихим часом стало связываться странное воспоминание. Он, конечно, не видел, как темнело синее небо, как черные верхушки деревьев качались, рисуясь на звездной лазури, как хмурились лохматые «стрехи» стоявших кругом двора строений, как синяя мгла разливалась по земле вместе с тонким золотом лунного и звездного света.

Но вот уже несколько дней он засыпал под каким-то особенным, чарующим впечатлением, в котором на другой день не мог дать себе отчета.

Когда дремота все гуще застилала его сознание, когда смутный шелест буков совсем стихал и он переставал уже различать и дальний лай деревенских собак, и шелканье соловья за рекой, и меланхолическое позвякивание бубенчиков, подвязанных к пасшемуся на лугу жеребенку, — когда все отдельные звуки стусшевывались и терялись, ему начинало казаться, что все они, слившись в одну стройную гармонию, тихо влетают в окно и долго кружатся над его постелью, напевая неопределенные, но удивительно приятные грезы. Наутро он просыпался разнеженный и обращался к матери с живым вопросом:

— Что это было... вчера? Что это такое?..

Мать не знала, в чем дело, и думала, что ребенка волнуют сны. Она сама укладывала его в постель, заботливо крестила и уходила, когда он начинал дремать, не замечая при этом ничего особенного. Но на другой день мальчик опять говорил ей о чем-то, приятно тревожившем его с вечера.

— Так хорошо, мама, так хорошо! Что же это такое?

В этот вечер она решила остаться у постели ребенка подольше, чтобы разъяснить себе странную загадку. Она сидела на стуле рядом с его кроваткой, машинально перебирая петли вязания и прислушиваясь к ровному дыханию своего Петруся. Казалось, он совсем уже заснул, как вдруг в темноте послышался его тихий голос:

— Мама, ты здесь?

— Да, да, мой мальчик...

— Уйди, пожалуйста, *оно* боится тебя и до сих пор *его* нет. Я уж совсем было заснул, а этого все нет...

Удивленная мать с каким-то странным чувством слушала этот полусонный жалобный шепот... Ребенок говорил о своих сонных грезях с такою уверенностью, как будто это что-то реальное. Тем не менее мать встала, наклонилась к мальчику, чтобы поцеловать его, и тихо вышла,

решившись незаметно подойти к открытому окну со стороны сада.

Не успела она сделать своего обхода, как загадка разъяснилась. Она услышала вдруг тихие переливчатые тоны свирели, которые неслись из конюшни, смешиваясь с шорохом южного вечера. Она сразу поняла, что именно эти нехитрые переливы простой мелодии, совпадавшие с фантастическим часом дремоты, так приятно настраивали воспоминания мальчика.

Она сама остановилась, постояла с минуту, прислушиваясь к задушевым напевам малорусской песни, и, совершенно успокоенная, ушла в темную аллею сада к дяде Максиму.

«Хорошо играет Иохим, — подумала она. — Странно, сколько тонкого чувства в этом грубоватом на вид «хлопе».

#### IV

А Иохим действительно играл хорошо. Ему нипочем была даже и хитрая скрипка, и было время, когда в корчме по воскресеньям никто лучше не мог сыграть «казака» или веселого польского «краковяка». Когда, бывало, он, усевшись на лавке в углу, крепко притиснув скрипку бритым подбородком и ухарски заломив высокую смушковую шапку на затылок, ударял кривым смычком по упругим струнам, тогда редко кто в корчме мог усидеть на месте. Даже старый одноглазый еврей, аккомпанировавший Иохиму на контрабасе, одушевлялся до последней степени. Его неуклюжий «струмент», казалось, надрывается от усилий, чтобы поспеть своими тяжелыми басовыми нотами за легкими, певучими и прыгающими тонами Иохимовой скрипки, а сам старый Янкель, высоко подергивая плечами, вертел лысой головой в ермолке и весь подпрыгивал в такт шаловливой и бойкой мелодии. Что же говорить о крещеном народе, у которого ноги устроены исстари таким образом, что при первых звуках веселого плясового напева сами начинают подгибаться и притопывать.

Но с тех пор, как Иохиму полюбилась Марья, дворовая девка соседнего пана, он что-то не залюбил веселую скрипку. Правда, что скрипка не помогла ему победить сердце вострой девки и Марья предпочла безусую немецкую физиономию барского камердинера усатой «пыке»<sup>1</sup> хохла музыканта. С тех пор его скрипки не слышали более в корчме

---

<sup>1</sup> «Пыка» — по-малороссийски ироническое название лица, физиономии.

и на вечерницах. Он повесил ее на колышке в конюшне и не обращал внимания на то, что от сырости и его нерадения на любимом прежде инструменте то и дело одна за другой лопались струны. А они лопались с таким громким и жалобным предсмертным звоном, что даже лошади сочувственно ржали и удивленно поворачивали головы к ожесточившемуся хозяину.

На место скрипки Иохим купил у прохожего карпатского горца деревянную дудку. Он, по-видимому, находил, что ее тихие задушевные переливы больше соответствуют его горькой судьбе, лучше выразят печаль его отвергнутого сердца. Однако горская дудка обманула его ожидания. Он перебрал их до десятка, пробовал на все лады, обрезал, мочил в воде и сушил на солнце, подвешивал на тонкой бечевочке под крышей, чтобы ее обдувало ветром, но ничто не помогало: горская дудка не слушалась хохлацкого сердца. Она свистела там, где нужно было петь, взвизгивала тогда, когда он ждал от нее томного дрожания, и вообще никак не поддавалась его настроению. Наконец он осердился на всех бродячих горцев, убедившись окончательно, что ни один из них не в состоянии сделать хорошую дудку, и затем решил сделать ее своими руками. В течение нескольких дней он бродил с насупленными бровями по полям и болотам, подходил к каждому кусту ивы, перебирал ее ветки, срезал некоторые из них, но, по-видимому, все не находил того, что ему было нужно. Его брови были по-прежнему угрюмо сдвинуты, и он шел дальше, продолжая розыски. Наконец он попал на одно место над струившеюся речкой. Вода чуть-чуть шевелила в этой заводи белые головки кувшинок, ветер не долетал сюда из-за густо разросшихся ив, которые тихо и задумчиво склонились к темной спокойной глубине. Иохим, раздвинув кусты, подошел к речке, постоял с минуту и как-то вдруг убедился, что именно здесь он найдет то, что ему нужно. Морщины на его лбу разгладились. Он вынул из-за голенища привязанный на ремешке складной ножик и, окинув внимательным взглядом задумчиво шептавшиеся кусты ивняка, решительно подошел к тонкому прямому стволу, качавшемуся над размытою кручей. Он зачем-то щелкнул по нему пальцем, посмотрел с удовольствием, как он упруго закачался в воздухе, прислушался к шепоту его листьев и мотнул головой.

— Ото ж воно самесенькое, — пробормотал Иохим с удовольствием и выбросил в речку все срезанные ранее прутья.

Дудка вышла на славу. Высушив иву, он выжег ей сердце раскаленной проволокой, прожиг шесть круглых

отверстий, прорезал наискось седьмое и плотно заткнул один конец деревянную затычкой, оставив в ней косую узенькую щелку. Затем она целую неделю висела на бечевке, причем ее грело солнцем и обдавало звонким ветром. После этого он старательно выстругал ее ножом, почистил стеклом и крепко обтер куском грубого сукна. Верхушка у нее была круглая, от середины шли ровные, точно отполированные грани, по которым он выжиг с помощью изогнутых кусочков железа разные хитрые узоры. Попробовав ее несколькими быстрыми переливами гаммы, он взволнованно мотнул головой, крикнул и торопливо спрятал в укромное местечко, около своей постели. Он не хотел делать первого музыкального опыта среди дневной суеты. Зато в тот же вечер из конюшни полились нежные, задумчивые, переливчатые и дрожащие трели. Иохим был совершенно доволен своей дудкой. Казалось, она была частью его самого; звуки, которые она издавала, лились будто из собственной его согретой и разнеженной груди, и каждый изгиб его чувства, каждый оттенок его скорби тотчас же дрожал в чудесной дудке, тихо срывался с нее и звучно несся вслед за другими среди чутко слушающего вечера.

## V

Теперь Иохим был влюблен в свою дудку и праздновал с ней свой медовый месяц. Днем он аккуратно справлял обязанности конюха, водил лошадей на водопой, запрягал их, выезжал с «паней» или с Максимом. По временам, когда он заглядывал в сторону соседнего села, где жила жестокая Марья, тоска начинала сосать его сердце. Но с наступлением вечера он забывал обо всем мире и даже образ чернобровой девушки застилался будто туманом. Этот образ терял свою жгучую определенность, рисовался перед ним в каком-то смутном фоне, и лишь настолько, чтобы придавать задумчиво-грустный характер напевам чудесной дудки.

В таком музыкальном экстазе, весь изливаясь в дрожащих мелодиях, лежал Иохим в конюшне и в тот вечер. Музыкант успел совершенно забыть не только жестокую красавицу, но даже потерял из виду собственное существование, как вдруг он вздрогнул и приподнялся на своей постели. В самом патетическом месте он почувствовал, как чья-то маленькая рука быстро пробежала легкими пальцами по его лицу, скользнула по рукам и затем стала как-то торопливо ощупывать дудку. Вместе с тем он услы-

шал возле себя чье-то быстрое, взволнованное, короткое дыхание.

— Цур тобі, пек тобі! — произнес он обычное заклинание и тут же прибавил вопрос: — Чортове чи боже? — желая узнать, не имеет ли он дела с нечистой силой.

Но тотчас же скользнувший в открытые ворота конюшни луч месяца показал ему, что он ошибся. У его койки стоял слепой панич и жадно тянулся к нему своими ручонками.

Через час мать, пожелавшая взглянуть на спящего Петруся, не нашла его в постели. Она испугалась сначала, но вскоре материнская сметка подсказала ей, где нужно искать пропавшего мальчика. Иохим очень сконфузился, когда, остановившись, чтобы сделать передышку, он неожиданно увидел в дверях конюшни «милостивую пани». Она, по-видимому, уже несколько минут стояла на этом месте, слушая его игру и глядя на своего мальчика, который сидел на койке, укутанный в полушубок Иохима, и все еще жадно прислушивался к оборванной песне.

## VI

С тех пор каждый вечер мальчик являлся к Иохиму в конюшню. Ему не приходило и в голову просить Иохима сыграть что-нибудь днем. Казалось, дневная суэта и движение исключили в его представлении возможность этих тихих мелодий. Но как только на землю опускался вечер, Петрусь испытывал лихорадочное нетерпение. Вечерний чай и ужин служили для него лишь указанием, что желанная минута близка, и мать, которой как-то инстинктивно не нравились эти музыкальные сеансы, все же не могла запретить своему любимцу бежать к дударю и просиживать у него в конюшне часа два перед сном. Эти часы стали теперь для мальчика самым счастливым временем, и мать с жгучею ревностью видела, что вечерние впечатления владеют ребенком даже в течение следующего дня, что даже на ее ласки он не отвечает с прежнею безраздельностью, что, сидя у нее на руках и обнимая ее, он с задумчивым видом вспоминает вчерашнюю песню Иохима.

Тогда она вспомнила, что несколько лет назад, обучаясь в киевском пансионе пани Радецкой, она между прочими «приятными искусствами» изучала также и музыку. Правда, само по себе это воспоминание было не из особенно сладких, потому что связывалось с представлением об учительнице, старой немецкой девице Клапс,

очень тощей, очень прозаичной и, главное, очень сердитой. Эта чрезвычайно желчная дева, очень искусно «выламывавшая» пальцы своих учениц, чтобы придать им необходимую гибкость, вместе с тем с замечательным успехом убивала в своих питомцах всякие признаки чувства музыкальной поэзии. Это пугливое чувство не могло выносить уже одного присутствия девицы Клапс, не говоря об ее педагогических приемах. Поэтому, выйдя из пансионата и даже замужем, Анна Михайловна и не подумала о возобновлении своих музыкальных упражнений. Но теперь, слушая хохла дударя, она чувствовала, что вместе с ревностью к нему в ее душе постепенно пробуждается ощущение живой мелодии, а образ немецкой девицы тускнеет. В результате этого процесса явилась просьба пани Попельской к мужу выписать из города пианино.

— Как хочешь, моя голубка, — ответил образцовый супруг. — Ты, кажется, не особенно любила музыку.

В тот же день послано было письмо в город, но пока инструмент был куплен и привезен из города в деревню, должно было пройти не менее двух-трех недель.

А между тем из конюшни каждый вечер звучали мелодические призывы, и мальчик кидался туда, даже не спрашивая уже позволения матери.

Специфический запах конюшни смешивался с ароматом сухой травы и острым запахом сыромятных ремней. Лошади тихо жевали, шурша добываемыми из-за решетки клочьями сена; когда дударь останавливался для передышки, в конюшню явственно доносился шепот зеленых буков из сада. Петрик сидел как очарованный и слушал.

Он никогда не прерывал музыканта, и только когда тот сам останавливался и проходило две-три минуты в молчании, немое очарование сменялось в мальчике какой-то странною жадностью. Он тянулся за дудкой, брал ее дрожащими руками и прикладывал к губам. Так как при этом в груди мальчика захватывало дыхание, то первые звуки выходили у него какие-то дрожащие и тихие. Но потом он понемногу стал овладевать немудреным инструментом. Иохим располагал его пальцы по отверстиям, и хотя маленькая ручонка едва могла захватить эти отверстия, но все же он скоро свыкся с звуками гаммы. При этом каждая нота имела для него как бы свою особенную физиономию, свой индивидуальный характер; он знал уже, в каком отверстии живет каждый из этих тонов, откуда его нужно выпустить, и порой, когда Иохим тихо перебирал пальцами какой-нибудь несложный напев, пальцы мальчика

тоже начинали шевелиться. Он с полной ясностью представлял себе последовательные тоны расположенными по их обычным местам.

## VII

Наконец, ровно через три недели, из города привезли пианино. Петя стоял на дворе и внимательно слушал, как суетившиеся работники готовились нести в комнату привозную «музыку». Она была, очевидно, очень тяжелая, так как, когда ее стали подымать, телега трещала, а люди кричали и глубоко дышали. Вот они двинулись размеренными тяжелыми шагами, и при каждом таком шаге над их головами что-то странно гудело, ворчало и позванивало. Когда странную музыку ставили на пол в гостиной, она опять отозвалась глухим гулом, точно угрожая кому-то в сильном гневе.

Все это навредило на мальчика чувство, близкое к испугу, и не располагало в пользу нового неодушевленного, но вместе сердитого гостя. Он ушел в сад и не слышал, как установили инструмент на ножках, как приезжий из города настройщик заводил его ключом, пробовал клавиши и настраивал проволочные струны. Только когда все было кончено, мать велела позвать в комнату Петю.

Теперь, вооружившись венским инструментом лучшего мастера, Анна Михайловна заранее торжествовала победу над нехитрою деревенской дудкой. Она была уверена, что ее Петя забудет теперь конюшню и дударя и что все свои радости будет получать от нее. Она взглянула смеющимися глазами на робко вошедшего вместе с Максимом мальчика и на Иохима, который просил позволения послушать заморскую музыку и теперь стоял у двери, застенчиво потупив глаза и свесив чуприну. Когда дядя Максим и Петя уселись на кушетку, она вдруг ударила по клавишам пианино.

Она играла пьесу, которую в пансионе пани Радецкой и под руководством девицы Клапс изучила в совершенстве. Это было что-то особенно шумное, но довольно хитрое, требовавшее значительной гибкости пальцев; на публичном экзамене Анна Михайловна стяжала этой пьесой обильные похвалы и себе, и особенно своей учительнице. Никто не мог сказать этого наверное, но многие догадывались, что молчаливый пан Попельский пленился панной Яценко именно в ту короткую четверть часа, когда она исполняла трудную пьесу. Теперь молодая женщина играла ее с сознательным расчетом на другую победу: она желала сильнее

привлечь к себе маленькое сердце своего сына, увлеченного хохлацкою дудкой.

Однако на этот раз ее ожидания были обмануты: венскому инструменту оказалось не по силам бороться с куском украинской вербы. Правда, у венского пианино были могучие средства: дорогое дерево, превосходные струны, отличная работа венского мастера, богатство обширного регистра. Зато и у украинской дудки нашлись союзники, так как она была у себя дома, среди родственной украинской природы.

Прежде чем Иохим срезал ее своим ножом и выжег ей сердце раскаленным железом, она качалась здесь, над знакомою мальчику родною речкой, ее ласкало украинское солнце, которое согревало и его, и тот же обдавал ее украинский ветер, пока зоркий глаз украинца дударя подметил ее над размытою кручей. И теперь трудно было иностранному пришельцу бороться с простою местною дудкой, потому что она явилась слепому мальчику в тихий час дремоты, среди таинственного вечернего шороха, под шелест засыпавших буков, в сопровождении всей родственной украинской природы.

Да и пани Попельской далеко было до Иохима. Правда, ее тонкие пальцы были и быстрее и гибче, мелодия, которую она играла, сложнее и богаче, и много трудов положила девица Клапс, чтобы выучить свою ученицу владеть трудным инструментом. Зато у Иохима было непосредственное музыкальное чувство, он любил и грустил, и с любовью своей и с тоской обращался к родной природе. Его учили несложным напевам эта природа, шум ее леса, тихий шепот степной травы, задумчивая родная старинная песня, которую он слышал еще над своею детскою колыбелью.

Да, трудно оказалось венскому инструменту победить хохлацкую дудку. Не прошло и одной минуты, как дядя Максим вдруг резко застучал об пол своим костылем. Когда Анна Михайловна повернулась в ту сторону, она увидела на побледневшем лице Петрика то самое выражение, с каким в памятный для нее день первой весенней прогулки мальчик лежал на траве.

Иохим участливо посмотрел на мальчика, потом кинул пренебрежительный взгляд на немецкую музыку и удалился, стукая по полу гостиной своими неуклюжими «чоботьями».

## VIII

Много слез стоила бедной матери эта неудача, — слез и стыда. Ей, «милостивой пани» Попельской, слышавшей гром рукоплесканий «избранной публики», сознавать себя



так жестоко пораженной, и кем же? — простым конюхом Иохимом с его глупою свистелкой! Когда она вспоминала исполненный пренебрежения взгляд хохла после ее неудачного концерта, краска гнева заливала ее лицо и она искренно ненавидела «противного хлопа».

И, однако, каждый вечер, когда ее мальчик убежал в конюшню, она открывала окно, облакачивалась на него и жадно прислушивалась. Сначала слушала она с чувством гневного пренебрежения, стараясь лишь уловить смешные стороны в этом «глупом чирикание»; но мало-помалу — она и сама не отдавала себе отчета, как это могло случиться, — глупое чирикание стало овладевать ее вниманием, и она уже с жадностью ловила задумчиво-грустные напевы.

Спohватившись, она задала себе вопрос, в чем же их привлекательность, их чарующая тайна, и понемногу эти синие вечера, неопределенные вечерние тени и удивительная гармония песни с природой разрешили ей этот вопрос.

«Да, — думала она про себя, побежденная и завоеванная в свою очередь, — тут есть какое-то совсем особенное, истинное чувство... чарующая поэзия, которую не выучишь по нотам».

И это была правда. Тайна этой поэзии состояла в удивительной связи между давно умершим прошлым и вечно живущей и вечно говорящей человеческому сердцу природой, свидетельницей этого прошлого. А он, грубый мужик в смазных сапогах и с мозолистыми руками, носил в себе эту гармонию, это живое чувство природы.

И она сознавала, что гордая «пани» смиряется в ней перед конюхом-«хлопом». Она забывала его грубую одежду и запах дегтя, и сквозь тихие переливы песни вспоминалось ей добродушное лицо с мягким выражением серых глаз и застенчиво-юмористической улыбкой из-под длинных усов. По временам краска гнева опять прилиwała к лицу и вискам молодой женщины: она чувствовала, что в борьбе из-за внимания ее ребенка она стала с этим мужиком на одну арену, на равной ноге, и он, «хлоп», победил.

А деревья в саду шептались у нее над головой, ночь разгоралась огнями в синем небе и разливалась по земле синюю тьмой, и вместе с тем в душу молодой женщины лилась горячая грусть от Иохимовых песен. Она все больше смирялась и больше училась постигать нехитрую тайну непосредственной и чистой, безыскусственной поэзии.

Да, у мужика Иохима истинное, живое чувство! А у нее? Неужели у нее нет ни капли этого чувства? Отчего же так жарко в груди, и так тревожно бьется в ней сердце, и слезы поневоле подступают к глазам?

Разве это не чувство, не жгучее чувство любви к ее обездоленному слепому ребенку, который убегает от нее к Иохиму и которому она не умеет доставить такого же живого наслаждения?

Ей вспомнилось выражение боли, вызванное ее игрой на лице мальчика, и жгучие слезы лились у нее из глаз, по временам она с трудом сдерживала подступавшие к горлу и готовые вырваться рыдания.

Бедная мать! Слепота ее ребенка стала и ее вечным, неизлечимым недугом. Он сказался и в болезненно-преувеличенной нежности, и в этом всю ее поглотившем чувстве, связавшем тысячью невидимых струн ее изболевшее сердце с каждым проявлением детского страдания. По этой причине то, что в другой вызвало бы только досаду, — это странное соперничество с хохлом дударем, — стало для нее источником сильнейших преувеличенно-жгучих страданий.

Так шло время, не принося ей облегчения, но зато и не без пользы: она начала сознавать в себе приливы того же живого ощущения мелодии и поэзии, которое так очаровало ее в игре хохла. Тогда в ней ожила и надежда. Под влиянием внезапных приливов самоуверенности она несколько раз подходила к своему инструменту и открывала крышку с намерением заглушить певучими ударами клавишей тихую дудку. Но каждый раз чувство нерешимости и стыдливого страха удерживало ее от этих попыток. Ей вспоминалось лицо ее страдающего мальчика и пренебрежительный взгляд хохла, и щеки пылали в темноте от стыда, а рука только пробегала в воздухе над клавиатурой с боязливою жадностью...

Тем не менее изо дня в день какое-то внутреннее сознание своей силы в ней все возрастало, и, выбирая время, когда мальчик играл перед вечером в дальней аллее или уходил гулять, она садилась за пианино. Первыми опытами она осталась не особенно довольна: руки не повиновались ее внутреннему пониманию, звуки инструмента казались сначала чуждыми овладевшему ею настроению. Но постепенно это настроенне переливалось в них с большею полнотой и легкостью; уроки хохла не прошли даром, а горячая любовь матери и чуткое понимание того, что

именно захватывало так сильно сердце ребенка, дали ей возможность так быстро усвоить эти уроки. Теперь из-под рук выходили уже не трескучие мудреные «пьесы», а тихая песня, грустная украинская думка звенела и плакала в темных комнатах, размягчая материнское сердце.

Наконец она приобрела достаточно смелости, чтобы выступить в открытую борьбу, и вот по вечерам между барским домом и Иохимовой конюшней началось странное состязание. Из затаенного сарая с нависшею соломенной стрехой тихо вылетали переливчатые трели дудки, а навстречу им из открытого окна усадьбы, сверкавшей сквозь листву буков отражением лунного света, неслись певучие, полные аккорды фортепьяно.

Сначала ни мальчик, ни Иохим не хотели обращать внимания на «хитрую» музыку усадьбы, к которой они питали предубеждение. Мальчик даже хмурил брови и нетерпеливо понукал Иохима, когда тот останавливался:

— Э! Играй же, играй!

Но не прошло и трех дней, как эти остановки стали все чаще и чаще. Иохим то и дело откладывал дудку и начинал прислушиваться с возрастающим интересом, а во время этих пауз и мальчик тоже заслушивался и забывал понукать приятеля. Наконец Иохим произнес с задумчивым видом:

— Ото ж як гарно... Бач, яка воно штука...

И затем, с тем же задумчиво-рассеянным видом прислушивающегося человека, он взял мальчика на руки и пошел с ним через сад к открытому окну гостиной.

Он думал, что «милостивая пани» играет для собственного своего удовольствия и не обращает на них внимания. Но Анна Михайловна слышала в промежутках, как смолкла ее соперница дудка, видела свою победу, и ее сердце билось от радости.

Вместе с тем ее гневное чувство к Иохиму улеглось окончательно. Она была счастлива и сознавала, что обязана этим счастьем ему: он научил ее, как опять привлечь к себе ребенка, и если теперь ее мальчик получит от нее целые сокровища новых впечатлений, то за это оба они должны быть благодарны ему, мужику-дударю, их общему учителю.

## Х

Лед был сломан. Мальчик на следующий день с робким любопытством вошел в гостиную, в которой не бывал с тех пор, как в ней поселился странный городской гость,

показавшийся ему таким сердито-крикливым. Теперь вчерашние песни этого гостя подкупили слух мальчика и изменили его отношение к инструменту. С последними следами прежней робости он подошел к тому месту, где стояло пианино, остановился на некотором расстоянии и прислушался. В гостиной никого не было. Мать сидела с работой в другой комнате на диване и, притаив дыхание, смотрела на него, любуясь каждым его движением, каждой сменой выражения на нервном лице ребенка.

Протянув издала руки, он коснулся полированной поверхности инструмента и точас же робко отодвинулся. Повторив раза два этот опыт, он подошел поближе и стал внимательно исследовать инструмент, наклоняясь до земли, чтобы ощупать ножки, обходя кругом по свободным сторонам. Наконец его рука попала на гладкие клавиши.

Тихий звук струны неуверенно дрогнул в воздухе. Мальчик долго прислушивался к исчезнувшим уже для слуха матери вибрациям и затем, с выражением полного внимания, тронул другую клавишу. Проведя после этого рукой по всей клавиатуре, он попал на ноту верхнего регистра. Каждому тону он давал достаточно времени, и они один за другим, колыхаясь, дрожали и замирали в воздухе. Лицо слепого вместе с напряженным вниманием выражало удовольствие: он, видимо, любовался каждым отдельным тоном, и уже в этой чуткой внимательности к элементарным звукам, составным частям будущей мелодии, сказывались задатки артиста.

Но при этом казалось, что слепой придавал еще какие-то особенные свойства каждому звуку: когда из-под его руки вылетала веселая и яркая нота высокого регистра, он подымал оживленное лицо, будто провожая кверху эту звонкую летучую ноту. Наоборот, при густом, чуть слышном и глухом дрожании баса он наклонял ухо: ему казалось, что этот тяжелый тон должен непременно низко раскатиться над землею, рассыпаясь по полу и теряясь в дальних углах.

## XI

Дядя Максим относился ко всем этим музыкальным экспериментам только терпимо. Как это ни странно, но так явно обнаружившиеся склонности мальчика порождали в инвалиде двойственное чувство. С одной стороны, страстное влечение к музыке указывало на несомненно присущие мальчику музыкальные способности и, таким образом, определяло отчасти возможное для него будущее.

С другой — к этому сознанию примешивалось в сердце старого солдата неопределенное чувство разочарования.

«Конечно, — рассуждал Максим, — музыка тоже великая сила, дающая возможность владеть сердцем толпы. Он, слепой, будет собирать сотни разряженных франтов и барынь, будет им разыгрывать разные там... вальсы и ноктюрны (правду сказать, дальше этих «вальсов» и «ноктюрнов» не шли музыкальные познания Максима), а они будут утирать слезы платочками. Эх, черт возьми, не того бы мне хотелось, да что же делать! Малый слеп, так пусть же станет в жизни тем, чем может. Только все же лучше бы уж песня, что ли? Песня говорит не одному неопределенно разнеживающемуся слуху. Она дает образы, будит мысль в голове и мужество в сердце».

— Эй, Иохим, — сказал он одним вечером, входя вслед за мальчиком к Иохиму. — Брось ты хоть один раз свою свистелку! Это хорошо мальчишкам на улице или подпаску в поле, а ты все же таки взрослый мужик, хоть эта глупая Марья и сделала из тебя настоящего теленка. Тьфу, даже стыдно за тебя, право! Девка отвернулась, а ты и раскис. Свистишь, точно перепел в клетке!

Иохим, слушая эту длинную рацею раздосадованного пана, ухмылялся в темноте над его беспричинным гневом. Только упоминание о мальчишках и подпаске несколько расшевелило в нем чувство легкой обиды.

— Не скажите, пане, — заговорил он. — Такую дуду не найти вам ни у одного пастуха в Украине, не то что у подпаска... То все свистелки, а это... вы вот послушайте.

Он закрыл пальцами все отверстия и взял на дудке два тона в октаву, любуясь полным звуком. Максим плюнул.

— Тьфу, прости боже! Совсем поглупел парубок! Что мне твоя дуда? Все они одинаковы — и дудки, и бабы с твоей Марьей на придачу. Вот лучше спел бы ты нам песню, коли умеешь, — хорошую старую песню.

Максим Яценко, сам малоросс, был человек простой с мужиками и дворней. Он часто кричал и ругался, но как-то необходимо, и потому к нему относились люди почтительно, но свободно.

— А что ж? — ответил Иохим на предложение пана. — Пел когда-то и я не хуже людей. Только, может, и наша мужицкая песня тоже вам не по вкусу придется, пане? — уязвил он слегка собеседника.

— Ну, не брешы по-пустому, — сказал Максим. — Песня хорошая — не дудке чета, если только человек умеет петь как следует. Вот послушаем, Петрусю, Иохимову песню. Поймешь ли ты только, малый?

— А это будет «хлопская» песня? — спросил мальчик. — Я понимаю «по-хлопски».

Максим вздохнул. Он был романтик и когда-то мечтал о новой сечи.

— Эх, малый! Это не «хлопские» песни... Это песни сильного, вольного народа. Твои деды по матери пели их на степях по Днепру и по Дунаю, и на Черном море... Ну, да ты поймешь это когда-нибудь, а теперь, — прибавил он задумчиво, — боюсь я другого...

Действительно, Максим боялся другого непонимания. Он думал, что яркие образы песенного эпоса требуют непременно зрительных представлений, чтобы говорить сердцу. Он боялся, что темная голова ребенка не в состоянии будет усвоить картинного языка народной поэзии. Он забыл, что древние баяны, что украинские кобзари и бандуристы были по большей части слепые. Правда, тяжкая доля, увечье заставляли нередко брать в руки лиру или бандуру, чтобы просить с нею подаяния. Но не все же это были только нищие и ремесленники с гнусавыми голосами, и не все они лишились зрения только под старость. Слепота застилает видимый мир темною завесой, которая, конечно, ложится на мозг, затрудняя и угнетая его работу, но все же из наследственных представлений и из впечатлений, получаемых другими путями, мозг творит в темноте свой собственный мир, грустный, печальный и сумрачный, но не лишенный своеобразной, смутной поэзии.

## XII

Максим с мальчиком уселись на сене, а Иохим прилег на свою лавку (эта поза наиболее соответствовала его артистическому настроению) и, подумав с минуту, запел. Случайно или по чуткому инстинкту выбор его оказался очень удачным. Он остановился на исторической картине:

Ой, там, на горі, тай женці жнуть.

Всякому, кто слышал эту прекрасную народную песню в надлежащем исполнении, наверное, врезался в памяти ее старинный мотив, высокий, протяжный, будто подернутый грустью исторического воспоминания. В ней нет событий, кровавых сеч и подвигов. Это и не прощание казака с милой, не удалой набег, не экспедиция в чайках по синему морю и Дунаю. Это только одна мимолетная картина, всплывшая мгновенно в воспоминании украинца как смутная греза, как отрывок из сна об историческом про-

шлом. Среди будничного и серого настоящего дня в его воображении встала вдруг эта картина, смутная, туманная, подернутая тою особенною грустью, которая веет от исчезнувшей уже родной старины. Исчезнувшей, но еще не бесследно! О ней говорят еще высокие могилы-курганы, где лежат казацкие кости, где в полночь загораются огни, откуда слышатся по ночам тяжелые стоны. О ней говорит и народное предание, и смолкающая все более и более народная песня:

Ой, там, на горі, тай жєніцї жнуть,  
А по-під горою, по-під зеленою  
Козаки ідуть!...  
Козаки ідуть!..

На зеленой горе жнецы жнут хлеб. А под горой, внизу, идет казачье войско.

Максим Яценко заслушался грустного напева. В его воображении, вызванная чудесным мотивом, удивительно сливающимся с содержанием песни, всплыла эта картина, будто освещенная меланхолическим отблеском заката. В мирных полях, на горе, беззвучно наклоняясь над нивами, виднеются фигуры жнецов. А внизу бесшумно проходят отряды один за другим, сливаясь с вечерними тенями долины.

Попереду Дорошенко  
Веде своє військо, військо запорожске  
Хорошенько.

И протяжная нота песни о прошлом колышется, звенит и смолкает в воздухе, чтобы зазвенеть опять и вызвать из сумрака все новые и новые фигуры.

### XIII

Мальчик слушал с омраченным и грустным лицом. Когда певец пел о горе, на которой жнут жнецы, воображение тотчас же переносило Петруся на высоту знакомого ему утеса.

Он узнал его по тому, что внизу плещется речка чуть слышными ударами волны о камень. Он уже знает также, что такое жнецы, он слышит позвякивание серпов и шорох падающих колосьев.

Когда же песня переходила к тому, что делается под горой, воображение слепого слушателя тотчас же удаляло его от вершин в долину...

Звон серпов смолк, но мальчик знает, что жнецы там, на горе, что они остались, но они не слышны, потому что они высоко, так же высоко, как сосны, шум которых он

слышал, стоя под утесом. А внизу, над рекой, раздается частый ровный топот конских копыт... Их много, от них стоит неясный гул там, в темноте, под горой. Это «идут козаки».

Он знает также, что значит козак. Старика «Хведька», который заходит по временам в усадьбу, все зовут «старым козаком». Он не раз брал Петруся к себе на колени, гладил его волосы своею дрожущею рукой. Когда же мальчик по своему обыкновению ощупывал его лицо, то осязал своими чуткими пальцами глубокие морщины, большие, обвисшие вниз усы, впалые щеки и на щеках старческие слезы. Таких же козаков представлял себе мальчик под протяжные звуки песни там, внизу под горой. Они сидят на лошадях такие же, как «Хведько», усатые, такие же сгорбленные, такие же старые. Они тихо подвигаются бесформенными тенями в темноте и так же, как «Хведько», о чем-то плачут, быть может оттого, что и над горой и над долиной стоят эти печальные, протяжные стоны Иохимовой песни, — песни о «необычном козачине», что променял молодую женку на походную трубку и на боевые невзгоды.

Максиму достаточно было одного взгляда, чтобы понять, что чуткая натура мальчика способна откликнуться, несмотря на слепоту, на поэтические образы песни.

## ГЛАВА ТРЕТЬЯ

### I

Благодаря режиму, который был заведен по плану Максима, слепой во всем, где это было возможно, был предоставлен собственным усилиям, и это принесло самые лучшие результаты. В доме он не казался вовсе беспомощным, ходил всюду очень уверенно, сам убирал свою комнату, держал в известном порядке свои игрушки и вещи. Кроме того, насколько это было ему доступно, Максим обращал внимание на физические упражнения: у мальчика была своя гимнастика, а на шестом году Максим подарил племяннику небольшую и смирную лошадку.

Мать сначала не могла себе представить, чтоб ее слепой ребенок мог ездить верхом, и она называла затею брата чистым безумием. Но инвалид пустил в дело все свое влияние, и через два-три месяца мальчик весело скакал в седле рядом с Иохимом, который командовал только на поворотах.

Таким образом, слепота не помешала правильному физическому развитию, и влияние ее на нравственный склад



ребенка было по возможности ослаблено. Для своего роста он был высок и строен: лицо его было несколько бледно, черты тонки и выразительны. Черные волосы оттеняли еще более белизну лица, а большие темные неподвижные глаза придавали ему своеобразное выражение, как-то сразу приковывавшее внимание. Легкая складка над бровями, привычка несколько подаваться головой вперед и выражение грусти, по временам пробегавшее какими-то облаками по красивому лицу, — это все, чем сказалась слепота в его наружности. Его движения в знакомом месте были уверенны, но все же было заметно, что природная живость подавлена и проявляется по временам довольно резкими, нервными порывами.

## II

Теперь впечатления слуха окончательно получили в жизни слепого преобладающее значение, звуковые формы стали главными формами его мысли, центром умственной работы. Он запоминал песни, вслушиваясь в их чарующие мотивы, знакомился с их содержанием, окрашивая его грустью, весельем или раздумчивостью мелодии. Он еще внимательнее ловил голоса окружающей природы и, сливая смутные ощущения с привычными родными мотивами, по временам умел обобщить их свободной импровизацией, в которой трудно было отличить, где кончается народный, привычный уху мотив и где начинается личное творчество. Он и сам не мог отделить в своих песнях этих двух элементов, так цельно слились в нем они оба. Он быстро заучивал все, что передавала ему мать, учившая его игре на фортепьяно, но любил также и Иохимову дудку. Фортепьяно было богаче, звучнее и полнее, но оно стояло в комнате, тогда как дудку можно было брать с собой в поле, и ее переливы так нераздельно сливались с тихими вздохами степи, что порой Петрусь сам не мог отдать себе отчета, ветер ли навевает издали смутные думы или это он сам извлекает их из своей свирели.

Это увлечение музыкой стало центром его умственного роста; оно заполняло и разнообразило его существование. Максим пользовался им, чтобы знакомить мальчика с историей его страны, и вся она прошла перед воображением слепого, сплетенная из звуков. Заинтересованный песней, он знакомился с ее героями, с их судьбой, с судьбой своей родины. Отсюда начался интерес к литературе, и на девятом году Максим приступил к первым урокам. Умелые уроки Максима (которому пришлось изучить для этого специаль-

ные приемы обучения слепых) очень нравились мальчику. Они вносили в его настроение новый элемент — определенность и ясность, уравновешивавшие смутные ощущения музыки.

Таким образом, день мальчика был заполнен, нельзя было пожаловаться на скудность получаемых им впечатлений. Казалось, он жил полною жизнью, насколько это возможно для ребенка. Казалось также, что он не сознает и своей слепоты.

А между тем какая-то странная, недетская грусть все-таки сквозила в его характере. Максим приписывал это недостатку детского общества и старался пополнить этот недостаток.

Деревенские мальчики, которых приглашали в усадьбу, дичились и не могли свободно развернуться. Кроме непривычной обстановки их немало смущала также и слепота «панича». Они пугливо посматривали на него и, сбившись в кучу, молчали или робко перешептывались друг с другом. Когда же детей оставляли одних в саду или в поле, они становились развязнее и затевали игры, но при этом оказывалось, что слепой как-то оставался в стороне и грустно прислушивался к веселой возне товарищей.

По временам Иохим собирал ребят вокруг себя в кучу и начинал рассказывать им веселые присказки и сказки. Деревенские ребята, отлично знакомые и с глуповатым хохлацким чертом и с плутовками ведьмами, пополняли эти рассказы из собственного запаса, и вообще эти беседы шли очень оживленно. Слепой слушал их с большим вниманием и интересом, но сам смеялся редко. По-видимому, юмор живой речи в значительной степени оставался для него недоступным, и не мудрено: он не мог видеть ни лукавых огоньков в глазах рассказчика, ни смеющихся морщин, ни подергивания длинными усами.

### III

Незадолго до описываемого времени в небольшом соседнем имении переменился «посессор»<sup>1</sup>. На место прежнего беспокойного соседа, у которого даже с молчаливым паном Попельским вышла тяжба из-за какой-то потравы, теперь в ближней усадьбе поселился старик Яскульский

---

<sup>1</sup> В Юго-Западном крае довольно развита система арендований имений: арендатор (по-местному «посессор») является как бы управителем имения. Он выплачивает владельцу известную сумму, а затем от его предприимчивости зависит извлечение большего или меньшего дохода.

с женою. Несмотря на то что обоим супругам в общей сложности было не менее ста лет, они поженились сравнительно недавно, так как пан Якуб долго не мог сколотить нужной для аренды суммы и потому мыкался в качестве «эконома» по чужим людям, а пани Агнешка в ожидании счастливой минуты жила в качестве почетной «покоювки» у графини Потоцкой. Когда наконец счастливая минута настала и жених с невестой стали рука об руку в костеле, то в усах и в чубе молодцеватого жениха половина волос были совершенно седые, а покрытое стыдливым румянцем лицо невесты было также обрамлено серебристыми локонами.

Это обстоятельство не помешало, однако, супружескому счастью, и плодом этой поздней любви явилась единственная дочь, которая была почти ровесницей слепому мальчику. Устроив под старость свой угол, в котором они, хотя и условно, могли считать себя полными хозяевами, старики зажили в нем тихо и скромно, как бы вознаграждая себя этою тишиной и уединением за суетливые годы тяжелой жизни «в чужих людях». Первая их аренда оказалась не совсем удачной, и теперь они несколько сузили дело. Но и на новом месте они тотчас же устроились по-своему. В углу, занятом иконами, перевитыми плющом, у Яскульской вместе с вербой и «громницей»<sup>1</sup> хранились какие-то мешочки с травами и корнями, которыми она лечила мужа и приходивших к ней деревенских баб и мужиков. Эти травы наполняли всю избу особенным специфическим благоуханием, которое неразрывно связывалось в памяти всякого посетителя с воспоминанием об этом чистом маленьком домике, об его тишине и порядке и о двух стариках, живших в нем какою-то обычною в наши дни тихою жизнью.

В обществе этих стариков росла их единственная дочь, небольшая девочка с длинною русой косой и голубыми глазами, поражавшая всех при первом же знакомстве какою-то странною солидностью, разлитую во всей ее фигуре. Казалось, спокойствие поздней любви родителей отразилось в характере дочери этою недетскою рассудительностью, плавным спокойствием движений, задумчивостью и глубиной голубых глаз. Она никогда не дичилась посторонних, не уклонялась от знакомства с детьми и принимала участие в их играх. Но все это делалось с такою искреннею снисходительностью, как будто для нее лично это было

---

<sup>1</sup> «Громницей» называется восковая свеча, которую зажигают в сильные бури, а также дают в руки умирающему.

вовсе не нужно. Действительно, она отлично довольствовалась своим собственным обществом, гуляя, собирая цветы, беседуя со своею куклой, и все это с видом такой солидности, что по временам казалось, будто перед вами не ребенок, а крохотная взрослая женщина.

#### IV

Однажды Петрик был один на холмике над рекой. Солнце садилось, в воздухе стояла тишина, только мычание возвращавшегося из деревни стада долетало сюда, смягченное расстоянием. Мальчик только что перестал играть и откинулся на траву, отдаваясь полудремотной истоме летнего вечера. Он забылся на минуту, как вдруг чьи-то легкие шаги вывели его из дремоты. Он с неудовольствием приподнялся на локоть и прислушался. Шаги остановились у подножия холмика. Походка была ему незнакома.

— Мальчик! — услышал он вдруг возглас детского голоса. — Не знаешь ли, кто это тут сейчас играл?

Слепой не любил, когда нарушали его одиночество. Поэтому он ответил на вопрос не особенно любезным тоном:

— Это я...

Легкий удивленный возглас был ответом на это заявление, и тотчас же голос девочки прибавил тоном простодушного одобрения:

— Как хорошо!

Слепой промолчал.

— Что же вы не уходите? — спросил он затем, слыша, что непрошенная собеседница продолжает стоять на месте.

— Зачем же ты меня гонишь? — спросила девочка своим чистым и простодушно-удивленным голосом.

Звуки этого спокойного детского голоса приятно действовали на слух слепого; тем не менее он ответил в прежнем тоне:

— Я не люблю, когда ко мне приходят...

Девочка засмеялась:

— Вот еще!.. Смотрите-ка! Разве вся земля твоя и ты можешь кому-нибудь запретить ходить по земле?

— Мама приказала всем, чтобы сюда ко мне не ходили.

— Мама? — переспросила задумчиво девочка. — А моя мама позволила мне ходить над рекой.

Мальчик, несколько избалованный всеобщей уступчивостью, не привык к таким настойчивым возражениям.

Вспышка гнева прошла по его лицу нервной волной; он приподнялся и заговорил быстро и возбужденно:

— Уйдите, уйдите, уйдите!

Неизвестно, чем кончилась бы эта сцена, но в это время от усадьбы послышался голос Иохима, звавшего мальчика к чаю. Он быстро сбежал с холмика.

— Ах, какой гадкий мальчик! — услышал он за собой искренне негодующее замечание.

## V

На следующий день, сидя на том же месте, мальчик вспомнил о вчерашнем столкновении. В этом воспоминании теперь не было досады. Напротив, ему даже захотелось, чтоб опять пришла эта девочка с таким приятным спокойным голосом, какого он никогда еще не слышал. Знакомые ему дети громко кричали, смеялись, дрались и плакали, но ни один из них не говорил так приятно. Ему стало жаль, что он обидел незнакомку, которая, вероятно, никогда более не вернется.

Действительно, дня три девочка совсем не приходила. Но на четвертый Петрусь услышал ее шаги внизу, на берегу реки. Она шла тихо: береговая галька легко шуршала под ее ногами; и она напевала вполголоса польскую песенку.

— Послушайте! — окликнул он, когда она с ним поравнялась. — Это опять вы?

Девочка не ответила. Камешки по-прежнему шуршали под ее ногами. В деланной беззаботности ее голоса, напевавшего песню, мальчику слышалась еще не забытая обида.

Однако, пройдя несколько шагов, незнакомка остановилась. Две-три секунды прошло в молчании. Она перебирала в это время букет полевых цветов, который держала в руках, а он ждал ответа. В этой остановке и последовавшем за нею молчании он уловил оттенок умышленного пренебрежения.

— Разве вы не видите, что это я? — спросила она наконец с большим достоинством, покончив с цветами.

Этот простой вопрос больно отозвался в сердце слепого. Он ничего не ответил, и только его руки, которыми он упирался в землю, как-то судорожно схватились за траву. Но разговор уже начался, и девочка, все стоя на том же месте и занимаясь своим букетом, опять спросила:

— Кто тебя выучил так хорошо играть на дудке?

— Иохим выучил, — ответил Петрусь.

— Очень хорошо! А отчего ты такой сердитый?

— Я.. не сержусь на вас, — сказал мальчик тихо.

— Ну так и я не сержусь... Давай играть вместе.

— Я не умею играть с вами, — ответил он потупившись.

— Не умеешь играть?.. Почему?

— Так.

— Нет, почему же?

— Так, — ответил он чуть слышно и еще более потупился.

Ему не приходилось еще никогда говорить с кем-нибудь о своей слепоте, и простодушный тон девочки, предлагавшей с наивною настойчивостью этот вопрос, отозвался в нем опять тупую болью.

Незнакомка поднялась на холмик.

— Какой ты смешной, — заговорила она с снисходительным сожалением, усаживаясь рядом с ним на траве. — Это ты, верно, оттого, что еще со мной незнаком. Вот узнаешь меня, тогда перестанешь бояться. А я не боюсь никого.

Она говорила это с беспечною ясностью, и мальчик услышал, как она бросила к себе в передник груды цветов.

— Где вы взяли цветы? — спросил он.

— Там, — мотнула она головой, указывая назад.

— На лугу?

— Нет, там.

— Значит, в роще. А какие это цветы?

— Разве ты не знаешь цветов?.. Ах, какой ты странный... право, ты очень странный...

Мальчик взял в руку цветок. Его пальцы быстро и легко тронули листья и венчик.

— Это лютик, — сказал он, — а вот это фиалка.

Потом он захотел тем же способом ознакомиться и со своею собеседницею: взяв левою рукой девочку за плечо, он правой стал ощупывать ее волосы, потом веки и быстро пробежал пальцами по лицу, кое-где останавливаясь и внимательно изучая незнакомые черты.

Все это было сделано так неожиданно и быстро, что девочка, пораженная удивлением, не могла сказать ни слова; она только глядела на него широко открытыми глазами, в которых отражалось чувство, близкое к ужасу. Только теперь она заметила, что в лице ее нового знакомого есть что-то необычайное. Бледные и тонкие черты застыли на выражении напряженного внимания, как-то не гармонировавшего с его неподвижным взглядом. Глаза мальчика глядели куда-то без всякого отношения к тому, что он делал, и в них странно переливался отблеск закатывав-

шегоя солнца. Все это показалось девочке на одну минуту просто тяжелым кошмаром.

Высвободив свое плечо из руки мальчика, она вдруг вскочила на ноги и заплакала.

— Зачем ты пугаешь меня, гадкий мальчишка? — заговорила она гневно сквозь слезы. — Что я тебе сделала?.. Зачем?..

Он сидел на том же месте, озадаченный, с низко опущенной головой, и странное чувство — смесь досады и унижения — наполнило болью его сердце. В первый раз еще пришлось ему испытать унижение калеки; в первый раз узнал он, что его физический недостаток может внушать не одно сожаление, но и испуг. Конечно, он не мог отдать себе ясного отчета в угнетавшем его тяжелом чувстве, но оттого, что сознание это было неясно и смутно, оно доставляло не меньше страдания.

Чувство жгучей боли и обиды подступило к его горлу; он упал на траву и заплакал. Плач этот становился все сильнее, судорожные рыдания потрясали все его маленькое тело, тем более что какая-то врожденная гордость заставляла его подавлять эту вспышку.

Девочка, которая сбежала уже с холмика, услышала эти глухие рыдания и с удивлением повернулась. Видя, что ее новый знакомый лежит лицом к земле и горько плачет, она почувствовала участие, тихо взошла на холмик и остановилась над плачущим.

— Послушай, — заговорила она тихо, — о чем ты плачешь? Ты, верно, думаешь, что я нажалуюсь? Ну, не плачь, я никому не скажу.

Слово участия и ласковый тон вызвали в мальчике еще большую нервную вспышку плача. Тогда девочка присела около него на корточки; просидев с полминуты, она тихо тронула его волосы, погладила его голову и затем с мягкою настойчивостью матери, которая успокаивает наказанного ребенка, приподняла его голову и стала вытирать платком заплаканные глаза.

— Ну, ну, перестань же! — заговорила она тоном взрослой женщины. — Я давно не сержусь. Я вижу, ты жалеешь, что напугал меня...

— Я не хотел напугать тебя, — ответил он, глубоко вздыхая, чтобы подавить нервные приступы.

— Хорошо, хорошо! Я не сержусь!.. Ты ведь больше не будешь. — Она приподняла его с земли и старалась усадить рядом с собою.

Он повиновался. Теперь он сидел, как прежде, лицом к стороне заката, и когда девочка опять изглянула на

это лицо, освещенное красноватыми лучами, оно опять показалось ей странным. В глазах мальчика еще стояли слезы, но глаза эти были по-прежнему неподвижны; черты лица то и дело передергивались от нервных спазмов, но вместе с тем в них виднелось недетское, глубокое и тяжелое горе.

— А все-таки ты очень странный, — сказала она с задумчивым участием.

— Я не странный, — ответил мальчик с жалобной гримасой. — Нет, я не странный... Я... Я — слепой!

— Слепо-ой! — протянула она нараспев, и голос ее дрогнул, как будто это грустное слово, тихо произнесенное мальчиком, нанесло неизгладимый удар в ее маленькое женственное сердце. — Слепо-ой! — повторила она еще более дрогнувшим голосом, и, как будто ища защиты от охватившего всю ее неодолимого чувства жалости, она вдруг обвила шею мальчика руками и прислонилась к нему лицом.

Пораженная внезапною печального открытия, маленькая женщина не удержалась на высоте своей солидности, и, превратившись вдруг в огорченного и беспомощного в своем огорчении ребенка, она в свою очередь горько и неутешно заплакала.

## VI

Несколько минут прошло в молчании.

Девочка перестала плакать и только по временам еще всхлипывала, перемогаясь. Полными слез глазами она смотрела, как солнце, будто вращаясь в раскаленной атмосфере заката, погружалось за темную черту горизонта. Мелькнул еще раз золотой обрез огненного шара, потом брызнули две-три горячие искры, и темные очертания дальнего леса всплыли вдруг непрерывной синеватой чертой.

С реки потянуло прохладой, и тихий мир наступающего вечера отразился в лице слепого; он сидел с опущенною головой, видимо удивленный этим выражением горячего сочувствия.

— Мне жалко... — все еще всхлипывая, вымолвила наконец девочка в объяснение своей слабости.

Потом, несколько овладев собой, она сделала попытку перевести разговор на посторонний предмет, к которому они оба могли отнестись равнодушно.

— Солнышко село, — произнесла она задумчиво.

— Я не знаю, какое оно, — был печальный ответ. — Я его только... чувствую...



— Не знаешь солнышка?

— Да.

— А... а свою маму... тоже не знаешь?

— Мать знаю. Я всегда издали узнаю ее походку.

— Да, да, это правда. И я с закрытыми глазами узнаю свою мать.

Разговор принял более спокойный характер.

— Знаешь, — заговорил слепой с некоторым оживлением, — я ведь чувствую солнце и знаю, когда оно закатилось.

— Почему ты знаешь?

— Потому что... видишь ли... Я сам не знаю почему...

— А-а! — протянула девочка, по-видимому совершенно удовлетворенная этим ответом, и они оба помолчали.

— Я могу читать, — первый заговорил опять Петрусь, — и скоро выучусь писать пером.

— А как же ты?.. — начала было она и вдруг застенчиво смолкла, не желая продолжать щекотливого допроса. Но он ее понял.

— Я читаю в своей книжке, — пояснил он, — пальцами.

— Пальцами? Я бы никогда не выучилась читать пальцами... Я и глазами плохо читаю. Отец говорит, что женщины плохо понимают науку.

— А я могу читать даже по-французски.

— По-французски!.. И пальцами... какой ты умный! — искренно восхитилась она. — Однако я боюсь, как бы ты не простудился. Вон над рекой какой туман.

— А ты сама?

— Я не боюсь; что мне сделается.

— Ну и я не боюсь. Разве может быть, чтобы мужчина простудился скорее женщины? Дядя Максим говорит, что мужчина не должен ничего бояться: ни холода, ни голода, ни грома, ни тучи.

— Максим?.. Это который на костылях?.. Я его видела. Он страшный!

— Нет, он несколько не страшный. Он добрый.

— Нет, страшный! — убежденно повторила она. — Ты не знаешь, потому что не видел его.

— Как же я его не знаю, когда он меня всему учит.

— Бьет?

— Никогда не бьет и не кричит на меня... Никогда...

— Это хорошо. Разве можно бить слепого мальчика? Это было бы грешно.

— Да ведь он никого не бьет, — сказал Петрусь не-

сколько рассеянно, так как его чуткое ухо слышало шаги Иохима.

Действительно, рослая фигура хохла зарисовалась через минуту на холмистом гребне, отделявшем усадьбу от берега, и его голос далеко раскатился в тишине вечера:

— Па-ны-чууу!

— Тебя зовут, — сказала девочка, поднимаясь.

— Да. Но мне не хотелось бы идти.

— Иди, иди! Я к тебе завтра приду. Теперь тебя ждут и меня тоже.

## VII

Девочка точно исполнила свое обещание и даже раньше, чем Петрусь мог на это рассчитывать. На следующий же день, сидя в своей комнате за обычным уроком с Максимом, он вдруг поднял голову, прислушался и сказал с оживлением:

— Отпусти меня на минуту. Там пришла девочка.

— Какая еще девочка? — удивился Максим и пошел вслед за мальчиком к выходной двери.

Действительно, вчерашняя знакомка Петруся в эту самую минуту вошла в ворота усадьбы и, увидя проходившую по двору Анну Михайловну, свободно направилась прямо к ней.

— Что тебе, милая девочка, нужно? — спросила та, думая, что ее прислали по делу.

Маленькая женщина солидно протянула ей руку и спросила:

— Это у вас есть слепой мальчик?.. Да?

— У меня, милая, да, у меня, — ответила пани Попельская, любясь ее ясными глазами и свободой обращения.

— Вот, видите ли... Моя мама отпустила меня к нему. Могу я его видеть?

Но в эту минуту Петрусь сам подбежал к ней, а на крыльце показалась фигура Максима.

— Это вчерашняя девочка, мама! Я тебе говорил, — сказал мальчик, здороваясь. — Только у меня теперь урок.

— Ну, на этот раз дядя Максим отпустит тебя, — сказала Анна Михайловна, — я у него попрошу.

Между тем крохотная женщина, чувствовавшая себя, по-видимому, совсем как дома, отправилась навстречу подходившему к ним на костылях Максиму и, протянув ему руку, сказала тоном снисходительного одобрения:

— Это хорошо, что вы не бьете слепого мальчика. Он мне говорил.

— Неужели, сударыня? — спросил Максим с комической важностью, принимая в свою широкую руку маленькую ручку девочки. — Как я благодарен моему питомцу, что он сумел расположить в мою пользу такую прелестную особу.

И Максим рассмеялся, поглаживая ее руку, которую держал в своей. Между тем девочка продолжала смотреть на него своим открытым взглядом, сразу завоевавшим его женоненавистническое сердце.

— Смотри-ка, Аннуся, — обратился он к сестре с странною улыбкой, — наш Пегр начинает заводить самостоятельные знакомства. И ведь согласишься, Аня... несмотря на то что он слеп, он все же сумел сделать недурной выбор, не правда ли?

— Что ты хочешь этим сказать, Макс? — спросила молодая женщина строго, и горячая краска залила все ее лицо.

— Шучу! — ответил брат лаконически, видя, что своей шуткой он тронул больную струну, вскрыл тайную мысль, зашевелившуюся в предусмотрительном материнском сердце.

Анна Михайловна еще более покраснела и, быстро наклонившись, с порывом страстной нежности обняла девочку; последняя приняла неожиданную бурную ласку все с тем же ясным, хотя и несколько удивленным взглядом.

## VIII

С этого дня между посессорским домиком и усадьбой Попельских завязались ближайшие отношения. Девочка, которую звали Эвелиной, приходила ежедневно в усадьбу, а через некоторое время она тоже поступила ученицей к Максиму. Сначала этот план совместного обучения не очень понравился пану Яскульскому. Во-первых, он полагал, что если женщина умеет записать белье и вести домашнюю расходную книгу, то этого совершенно достаточно; во-вторых, он был добрый католик и считал, что Максиму не следовало воевать с австрийцами вопреки ясно выраженной воле «отца папежа». Наконец, его твердое убеждение состояло в том, что на небе есть бог, а Вольтер и вольтерианцы кипят в адской смоле, каковая судьба, по мнению многих, была уготсвана и пану Максиму. Однако при ближайшем знакомстве он должен был сознаться, что этот еретик и забияка — человек очень приятного нрава и большого ума, и вследствие этого посессор пошел на компромисс.

Тем не менее некоторое беспокойство шевелилось в глубине души старого шляхтича, и потому, приведя девочку для первого урока, он счел уместным обратиться к ней с торжественною и напыщенною речью, которая, впрочем, больше назначалась для слуха Максима.

— Вот что, Веля... — сказал он, взяв дочь за плечо и поглядывая на ее будущего учителя. — Помни всегда, что на небе есть бог, а в Риме святой его «папезж». Это тебе говорю я, Валентин Яскульский, и ты должна мне верить потому, что я твой отец, — это *primo*<sup>1</sup>.

При этом последовал новый внушительный взгляд в сторону Максима; пан Яскульский подчеркивал свою латынь, давая понять, что и он не чужд в науке и в случае чего его провести трудно.

— *Secundo*<sup>2</sup>, я — шляхтич славного герба, в котором вместе с «копной и вороной» недаром обозначается крест в синем поле. Яскульские, будучи хорошими рыцарями, не раз меняли мечи на требники и всегда смыслили кое-что в делах неба, поэтому ты должна мне верить. Ну а в остальном, что касается *orbis terrarum*<sup>3</sup>, то есть всего земного, слушай, что тебе скажет пан Максим Яценко, и учись хорошо.

— Не бойтесь, пан Валентин, — улыбаясь, ответил на эту речь Максим, — мы не вербуем паненок для отряда Гарибальди.

## IX

Совместное обучение оказалось очень полезным для обоих. Петрусь шел, конечно, впереди, но это не исключало некоторого соревнования. Кроме того, он помогал ей часто выучивать уроки, а она находила иногда очень удачные приемы, чтобы объяснить мальчику что-либо труднопонятное для него, слепого. Кроме того, ее общество вносило в его занятия нечто своеобразное, придавало его умственной работе особый тон приятного возбуждения.

Вообще эта дружба была настоящим даром благосклонной судьбы. Теперь мальчик не искал уже полного уединения; он нашел то общение, которого не могла дать любовь взрослых, и в минуту чуткого душевного затишья ему приятна была ее близость. На утес или на реку они всегда отправлялись вдвоем. Когда он играл, она слушала его

---

<sup>1</sup> *Primo* (лат.) — во-первых.

<sup>2</sup> *Secundo* (лат.) — во-вторых.

<sup>3</sup> *Orbis terrarum* (лат.) — земной шар.

с наивным восхищением. Когда же он откладывал дудку, она начинала передавать ему свои детски-живые впечатления от окружающей природы; конечно, она не умела выражать их с достаточной полнотой подходящими словами, но зато в ее несложных рассказах, в их тоне он улавливал характерный колорит каждого описываемого явления. Так, когда она говорила, например, о темноте раскинувшейся над землей сырой и черной ночи, он будто слышал эту темноту в сдержанно звучащих тонах ее робющего голоса. Когда же, подняв кверху задумчивое лицо, она сообщала ему: «Ах, какая туча идет, какая туча темная-претемная!» — он ощущал сразу будто холодное дуновение и слышал в ее голосе пугающий шорох ползущего по небу, где-то в далекой высоте, чудовища.

## ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ

### I

Есть натуры, будто заранее предназначенные для тихого подвига любви, соединенной с печалью и заботой, — натуры, для которых эти заботы о чужом горе составляют как бы атмосферу, органическую потребность. Природа заранее наделила их спокойствием, без которого немислим будничным подвиг жизни, она предусмотрительно смягчила в них личные порывы, запросы личной жизни, подчинив эти порывы и эти запросы господствующей черте характера. Такие натуры кажутся нередко слишком холодными, слишком рассудительными, лишенными чувства. Они глухи на страстные призывы грешной жизни и идут по грустному пути долга так же спокойно, как и по пути самого яркого личного счастья. Они кажутся холодными, как снежные вершины, и так же, как они, величавы. Житейская пошлость стелется у их ног; даже клевета и сплетни скатываются по их белоснежной одежде, точно грязные брызги с крыльев лебедя...

Маленькая знакомка Петра представляла в себе все черты этого типа, который редко вырабатывается жизнью и воспитанием; он, как талант, как гений, дается в удел избранным натурам и проявляется рано. Мать слепого мальчика понимала, какое счастье случай послал ее сыну в этой детской дружбе. Понимал это и старый Максим, которому казалось, что теперь у его питомца есть все, что ему еще недоставало, что теперь душевное развитие

слепого пойдет тихим и ровным, ничем не смущаемым ходом...

Но это была горькая ошибка.

## II

В первые годы жизни ребенка Максим думал, что он совершенно овладел душевным ростом мальчика, что этот рост совершается если не под прямым его влиянием, то, во всяком случае, ни одна новая сторона его, ни одно новое приобретение в этой области не избегнет его наблюдения и контроля. Но когда настал в жизни ребенка период, который является переходной гранью между детством и отрочеством, Максим увидел, как неосновательны эти гордые педагогические мечтания. Чуть не каждая неделя приносила с собой что-нибудь новое, по временам совершенно неожиданное по отношению к слепому, и когда Максим старался найти источники иной новой идеи или нового представления, появлявшихся у ребенка, то ему приходилось теряться. Какая-то неведомая сила работала в глубине детской души, выдвигая из этой глубины неожиданные проявления самостоятельного душевного роста, и Максиму приходилось останавливаться с чувством благоговения перед таинственными процессами жизни, которые вмешивались таким образом в его педагогическую работу. Эти толчки природы, ее даровые откровения, казалось, доставляли ребенку такие представления, которые не могли быть приобретены личным опытом слепого, и Максим угадывал здесь неразрывную связь жизненных явлений, которая проходит, дробясь в тысяче процессов, через последовательный ряд отдельных жизней.

Сначала это наблюдение испугало Максима. Видя, что не он один владеет умственным строем ребенка, что в этом строе сказывается что-то, от него не зависящее и выходящее из-под его влияния, он испугался за участь своего питомца, испугался возможности таких запросов, которые могли бы послужить для слепого только причиной неутолимых страданий. И он пытался разыскать источники этих, откуда-то пробивающихся родников, чтоб... навсегда закрыть их для блага слепого ребенка.

Не ускользнули эти неожиданные проблески и от внимания матери.

Однажды утром Петрик прибежал к ней в необыкновенном волнении.

— Мама, мама! — закричал он. — Я *видел* сон.

— Что же ты *видел*, мой мальчик? — спросила она с печальным сомнением в голосе.

— Я видел во сне, что... я вижу тебя и Максима, и еще... что я все вижу... Так хорошо, так хорошо, мамочка!

— Что же еще ты видел, мой мальчик?

— Я не помню.

— А меня помнишь?

— Нет, — сказал мальчик в раздумье. — Я забыл все... А все-таки я видел, право же, видел... — добавил он после минутного молчания, и его лицо сразу омрачилось. На незрячих глазах блеснула слеза...

Это повторялось еще несколько раз, и всякий раз мальчик становился грустнее и тревожнее.

### III

Однажды, проходя по двору, Максим услышал в гостиной, где обыкновенно происходили уроки музыки, какие-то странные музыкальные упражнения. Они состояли из двух нот. Сначала от быстрых, последовательных, почти слившихся ударов по клавише дрожала самая высокая яркая нота верхнего регистра, затем она резко сменялась низким раскатом баса. Полюбопытствовав узнать, что могли означать эти странные экзерциции, Максим заковылял по двору и через минуту вошел в гостиную. В дверях он остановился как вкопанный перед неожиданною картиной.

Мальчик, которому шел уже десятый год, сидел у ног матери на низеньком стуле. Рядом с ним, вытянув шею и поводя по сторонам длинным клювом, стоял молодой прирученный аист, которого Иохим подарил паничу. Мальчик каждое утро кормил его из своих рук, и птица всюду сопровождала своего нового друга-хозяина. Теперь Петрусь придерживал аиста одной рукой, а другую тихо проводил вдоль его шеи и затем по туловищу с выражением усиленного внимания на лице. В это самое время мать, с пылающим, возбужденным лицом и печальными глазами, быстро ударяла пальцем по клавише, вызывая из инструмента непрерывно звеневшую высокую ноту. Вместе с тем, слегка перегнувшись на своем стуле, она с болезненной внимательностью вглядывалась в лицо ребенка. Когда же рука мальчика, скользя по ярко-белым перьям, доходила до того места, где эти перья резко сменяются черными на концах крыльев, Анна Михайловна сразу переносила руку на другую клавишу, и низкая басовая нота глухо раскатывалась по комнате.

Оба, и мать и сын, так были поглощены своим занятием, что не заметили прихода Максима, пока он, в свою очередь очнувшись от удивления, не прервал сеанс вопросом:

— Аннуся! Что это значит?

Молодая женщина, встретив испытующий взгляд брата, застыдилась, точно застигнутая строгим учителем на месте преступления.

— Вот видишь ли, — заговорила она смущенно, — он говорит, что различает некоторую разницу в окраске аиста, только не может ясно понять, в чем эта разница... Право, он сам первый заговорил об этом, и мне кажется, что это правда...

— Ну так что же?

— Ничего, я только хотела ему... немножко... объяснить эту разницу различием звуков... Не сердись, Макс, но, право, я думаю, что это очень похоже...

Эта неожиданная идея поразила Максима таким удивлением, что он в первую минуту не знал, что сказать сестре. Он заставил ее повторить свои опыты и, присмотревшись к напряженному выражению лица слепого, покачал головой.

— Послушай меня, Анна, — сказал он, оставшись наедине с сестрою. — Не следует будить в мальчишке вопросов, на которые ты никогда не в состоянии будешь дать полного ответа.

— Но ведь это он сам заговорил первый, право... — прервала Анна Михайловна.

— Все равно. Мальчику остается только свыкнуться со своей слепотой, а нам надо стремиться к тому, чтобы он забыл о свете. Я стараюсь, чтобы никакие внешние вызовы не наводили его на бесплодные вопросы, и если бы удалось устранить эти вызовы, то мальчик не сознавал бы недостатка в своих чувствах, как и мы, обладающие всеми пятью органами, не грустим о том, что у нас нет шестого.

— Мы грустим, — тихо возразила молодая женщина.

— Аня!

— Мы грустим... — ответила она упрямо. — Мы часто грустим о невозможном...

Впрочем, сестра подчинилась доводам брата, но на этот раз он ошибался; заботясь об устранении внешних вызовов, Максим забывал те могучие побуждения, которые были заложены в детскую душу самою природою.

#### IV

«Глаза, — сказал кто-то, — зеркало души». Быть может, вернее было бы сравнить их с окнами, которыми вливаются в душу впечатления яркого, сверкающего цветного мира.



Кто может сказать, какая часть нашего душевного склада зависит от ощущений света?

Человек — одно звено в бесконечной цепи жизни, которая тянется через него из глубины прошедшего к бесконечному будущему. И вот в одном из таких звеньев, слепом мальчике, роковая случайность закрыла эти окна: жизнь должна пройти вся в темноте. Но значит ли это, что в его душе порвались навеки те струны, которыми душа откликается на световые впечатления? Нет, и через это темное существование должна была протянуться и передаться последующим поколениям внутренняя восприимчивость к свету. Его душа была цельная человеческая душа, со всеми ее способностями, а так как всякая способность носит в самой себе стремление к удовлетворению, то и в темной душе мальчика жило неутолимое стремление к свету.

Нетронутыми лежали где-то в таинственной глубине полученные по наследству и дремавшие в неясном существовании «возможностей» силы, с первым светлым лучом готовые подняться ему навстречу. Но окна остаются закрытыми: судьба мальчика решена — ему не видать никогда этого луча, его жизнь вся пройдет в темноте!..

И темнота эта была полна призраков.

Если бы жизнь ребенка проходила среди нужды и горя — это, быть может, отвлекло бы его мысль к внешним причинам страдания. Но близкие люди устранили от него все, что могло бы его огорчать. Ему доставили полное спокойствие и мир, и теперь самая тишина, царившая в его душе, способствовала тому, что внутренняя неудовлетворенность слышалась яснее. Среди тишины и мрака, его окружавших, вставало смутное неумолкающее сознание какой-то потребности, искавшей удовлетворения, являлось стремление оформить дремлющие в душевной глубине, не находившие исхода, силы.

Отсюда — какие-то смутные предчувствия и порывы, вроде того стремления к полету, которое каждый испытывал в детстве и которое сказывается в этом возрасте своими чудными снами.

Отсюда, наконец, вытекали инстинктивные потуги детской мысли, отражавшиеся на лице болезненным вопросом. Эти наследственные, но не тронутые в личной жизни «возможности» световых представлений вставали точно призраки в детской головке, бесформенные, неясные и темные, вызывая мучительные и смутные усилия.

Природа подымалась бессознательным протестом против индивидуального «случая» за нарушенный общий закон.

Таким образом, сколько бы ни старался Максим устранять все внешние вызовы, он никогда не мог уничтожить внутреннего давления неудовлетворенной потребности. Самое большее, что он мог достигнуть своею осмотрительностью, — это не будить ее раньше времени, не усиливать страданий слепого. В остальном тяжелая судьба ребенка должна была идти своим чередом, со всеми ее суровыми последствиями.

И она надвигалась темною тучей. Природная живость мальчика с годами все более и более исчезала, подобно убывающей волне, между тем как смутно, но непрерывно звучащее в душе его грустное настроение усиливалось, сказываясь на его темпераменте. Смех, который возможно было слышать во время его детства при каждом особенно ярком новом впечатлении, теперь раздавался все реже и реже. Все смеющееся, веселое, отмеченное печатью юмора было ему малодоступно; но зато все смутное, неопределенно-грустное и туманно-меланхолическое, что слышится в южной природе и отражается в народной песне, он улавливал с замечательною полнотою. Слезы являлись у него каждый раз на глазах, когда он слушал, как «в полі могила з вітром говорыла», и он сам любил ходить в поле слушать этот говор. В нем все больше и больше вырабатывалась склонность к уединению, и, когда в часы, свободные от занятий, он уходил один на свою одинокую прогулку, домашние старались не ходить в ту сторону, чтобы не нарушить его уединения. Усевшись где-нибудь на кургане в степи, или на холмике над рекой, или, наконец, на хорошо знакомом утесе, он слушал лишь шелест листьев да шепот травы или неопределенные вздохи степного ветра. Все это особенным образом гармонировало с глубиной его душевного настроения. Насколько он мог понимать природу, тут он понимал ее вполне и до конца. Тут она не тревожила его никакими определенными и неразрешимыми вопросами; тут этот ветер вливался ему прямо в душу, а трава, казалось, шептала ему тихие слова сожаления, и, когда душа юноши, настроившись в лад с окружающей тихою гармонией, размягчалась от теплой ласки природы, он чувствовал, как что-то подымается в груди, прибывая и разливаясь по всему его существу. Он припадал тогда к сыровой прохладной траве и тихо плакал, но в этих слезах не было горечи. Иногда же он брал дудку и совершенно забывался, подбирая задумчивые мелодии к своему настроению и в лад с тихою гармонией степи.

Понятно, что всякий человеческий звук, неожиданно врывающийся в это настроение, действовал на него болезненным, резким диссонансом. Общение в подобные минуты возможно только с очень близкою, дружескою душой, а у мальчика был только один такой друг его возраста, именно — белокурая девочка из посessorской усадьбы.

И эта дружба крепла все больше, отличаясь полною взаимностью. Если Эвелина вносила в их взаимные отношения свое спокойствие, свою тихую радость, сообщала слепому новые оттенки окружающей жизни, то и он, в свою очередь, давал ей... свое горе. Казалось, первое знакомство с ним нанесло чуткому сердцу маленькой женщины кровавую рану: выньте из раны кинжал, нанесший удар, и она истечет кровью. Впервые познакомившись на холмике в степи со слепым мальчиком, маленькая женщина ощутила острое страдание сочувствия, и теперь его присутствие становилось для нее все более необходимым. В разлуке с ним рана будто раскрывалась вновь, боль оживала, и она стремилась к своему маленькому другу, чтобы неустанною заботой утолить свое собственное страдание.

## VI

Однажды в теплый осенний вечер оба семейства сидели на площадке перед домом, любясь звездным небом, синевшим глубокою лазурью и горевшим огнями. Слепой по обыкновению сидел рядом с своею подругой около матери.

Все на минуту смолкли. Около усадьбы было совсем тихо; только листья по временам, чутко вострепнувшись, бормотали что-то невнятное и тотчас же смолкали.

В эту минуту блестящий метеор, сорвавшись откуда-то из глубины темной лазури, пронесся яркою полосой по небу, оставив за собой фосфорический след, угасший медленно и незаметно. Все подняли глаза. Мать, сидевшая об руку с Петриком, почувствовала, как он вострепнулся и вздрогнул.

— Что это... было? — повернулся он к ней взволнованным лицом.

— Это звезда упала, дитя мое.

— Да, звезда, — прибавил он задумчиво. — Я так и знал.

— Откуда же ты мог знать, мой мальчик? — переспросила мать с печальным сомнением в голосе.

— Нет, это он говорит правду, — вмешалась Эвелина. — Он многое знает... «так»...

Уже эта все развивавшаяся чуткость указывала, что мальчик заметно близится к критическому возрасту между отрочеством и юношеством. Но пока его рост совершался довольно спокойно. Казалось даже, будто он свыкся с своей долей, и странно уравновешенная грусть без просвета, но и без острых порываний, которая стала обычным фоном его жизни, теперь несколько смягчилась. Но это был лишь период временного затишья. Эти роздыхи природа дает как будто нарочно; в них молодой организм устает и крепнет для новой бури. Во время этих затиший незаметно набираются и зреют новые вопросы. Один толчок — и все душевное спокойствие всколеблется до глубины, как море под ударом внезапно налетевшего шквала.

## ГЛАВА ПЯТАЯ

### I

Так прошло еще несколько лет.

Ничего не изменилось в тихой усадьбе. По-прежнему шумели буки в саду, только их листва будто потемнела, сделалась еще гуще; по-прежнему белели приветливые стены, только они чуть-чуть покривились и осели; по-прежнему хмурились соломенные стрехи, и даже свирель Иохима слышалась в те же часы из конюшни; только теперь уже и сам Иохим, остававшийся холостым конюхом в усадьбе, предпочитал слушать игру слепого панича на дудке или на фортепьяно — безразлично.

Максим поседел еще больше. У Попельских не было других детей, и потому слепой первенец по-прежнему остался центром, около которого группировалась вся жизнь усадьбы. Для него усадьба замкнулась в своем тесном кругу, довольствуясь своею собственною тихою жизнью, к которой примыкала не менее тихая жизнь посессорской «хатки». Таким образом, Петр, ставший уже юношей, вырос как тепличный цветок, огражденный от резких сторонних влияний далекой жизни.

Он, как и прежде, стоял в центре громадного темного мира. Над ним, вокруг него, всюду протянулась тьма без конца и пределов; чуткая тонкая организация подымалась, как упруго натянутая струна, навстречу всякому впечатлению, готовая задрожать ответными звуками. В настроении слепого заметно сказывалось это чуткое ожидание; ему казалось, что вот-вот эта тьма протянется к нему своими невидимыми руками и тронет в нем что-то

такое, что так томительно дремлет в душе и ждет пробуждения.

Но знакомая добрая и скучная тьма усадьбы шумела только ласковым шепотом старого сада, навевая смутную, баюкающую, успокоительную думу. О далеком мире слепой знал только из песен, из истории, из книг. Под задумчивый шепот сада, среди тихих будней усадьбы, он узнавал лишь по рассказам о бурях и волнениях далекой жизни. И все это рисовалось ему сквозь какую-то волшебную дымку как песня, как былина, как сказка.

Казалось, так было хорошо. Мать видела, что огражденная будто стеной душа ее сына дремлет в каком-то заколдованном полусне, искусственном, но спокойном. И она не хотела нарушать этого равновесия, боялась его нарушить.

Эвелина, выросшая и сложившаяся как-то совершенно незаметно, глядела на эту заколдованную тишь своими ясными глазами, в которых можно было по временам подметить что-то вроде недоумения, вопроса о будущем, но никогда не было и тени нетерпения. Попельский-отец привел имение в образцовый порядок, но до вопросов о будущем его сына доброму человеку, конечно, не было ни малейшего дела. Он привык, что все делается само собой. Один только Максим по своей натуре с трудом выносил эту тишь, и то как нечто временное, входившее поневоле в его планы. Он считал необходимым дать душе юноши устояться, окрепнуть, чтобы быть в состоянии встретить резкое прикосновение жизни.

Между тем там, за чертой этого заколдованного круга, жизнь кипела, волновалась, бурлила. И вот наконец наступило время, когда старый наставник решился разорвать этот круг, отворить дверь теплицы, чтобы в нее могла ворваться свежая струя наружного воздуха.

## II

Для первого случая он пригласил к себе старого товарища, который жил верстах в семидесяти от усадьбы Попельских. Максим иногда бывал у него и прежде, но теперь он знал, что у Ставрученки гостит приезжая молодежь, и написал ему письмо, приглашая всю компанию. Приглашение это было охотно принято. Старики были связаны давнею дружбой, а молодежь помнила довольно громкое некогда имя Максима Яценка, с которым связывались известные традиции. Один из сыновей Ставрученка был студент киевского университета по модному тогда

филологическому факультету. Другой изучал музыку в петербургской консерватории. С ними приехал еще юный кадет, сын одного из ближайших помещиков.

Ставрученко был крепкий старик, седой, с длинными казацкими усами и в широких казацких шароварах. Он носил кисет с табаком и трубку привязанными у пояса, говорил не иначе как по-малорусски и рядом с двумя сыновьями, одетыми в белые свитки и расшитые мало-российские сорочки, очень напоминал гоголевского Бульбу с сыновьями. Однако в нем не было и следов романтизма, отличавшего гоголевского героя. Наоборот, он был отличный практик, помещик, всю жизнь превосходно ладивший с крепостными отношениями, а теперь, когда эта «неволя» была уничтожена, сумевший хорошо приноровиться и к новым условиям. Он знал народ, как знали его помещики, то есть он знал каждого мужика своей деревни и у каждого мужика знал каждую корову и чуть не каждый лишний карбованец в мужицкой мошне.

Зато если он и не дрался с своими сыновьями на кулачки, как Бульба, то все же между ними происходили постоянные и очень свирепые стычки, которые не ограничивались ни временем, ни местом. Всюду, дома и в гостях, по самому ничтожному поводу между стариком и молодежью вспыхивали нескончаемые споры. Начиналось обыкновенно с того, что старик, посмеиваясь, дразнил «идеальных паничей»; те горячились, старик тоже разгорячался, и тогда подымался самый невообразимый галдеж, в котором обеим сторонам доставалось не на шутку.

Это было отражение известной розни «отцов и детей»; только здесь это явление сказывалось в значительно смягченной форме. Молодежь, с детства отданная в школы, деревню видела только в короткое каникулярное время, и потому у ней не было того конкретного знания народа, каким отличались отцы-помещики. Когда поднялась в обществе волна «народолюбия», заставшая юношей в высших классах гимназии, они обратились к изучению родного народа, но начали это изучение с книжек. Второй шаг привел их к непосредственному изучению проявлений «народного духа» в его творчестве. Хождение в народ паничей в белых свитках и расшитых сорочках было сильно распространено в Юго-Западном крае. На изучение экономических условий не обращалось особенного внимания. Молодые люди записывали слова и музыку народных думок и песен, изучали предания, сверяли исторические факты с их отражением в народной памяти, вообще смотрели

на мужика сквозь поэтическую призму национального романтизма.

От этого, пожалуй, не прочь были и старики, но все же они никогда не могли договориться с молодежью до какого-либо соглашения.

— Вот, послушай ты его, — говорил Ставрученко Максиму, лукаво подталкивая его локтем, когда студент ораторствовал с раскрасневшимся лицом и сверкающими глазами. — Вот, собачий сын, говорит как пишет!.. Подумаешь, и в самом деле голова! А расскажи ты нам, ученый человек, как тебя мой Нечипор надул, а?

Старик поводил усами и хохотал, рассказывая с чисто хохлацким юмором соответствующий случай. Юноши краснели, но в свою очередь не оставались в долгу. «Если они не знают Нечипора и Хведька из такой-то деревни, зато они изучают весь народ в его общих проявлениях; они смотрят с высшей точки зрения, при которой только и возможны выводы и широкие обобщения. Они обнимают одним взглядом далекие перспективы, тогда как старые и заматерелые в рутине практики из-за деревьев не видят всего леса».

Старику не было неприятно слушать мудреные речи сыновей.

— Так и видно, что недаром в школе учились, — говаривал он, самодовольно поглядывая на слушателей. — А все же, я вам скажу, мой Хведько вас обоих и введет, и выведет как телят на веревочке, вот что!.. Ну а я и сам его, шельму, в свой кисет уложу и в карман спрячу. Вот и значит, что вы передо мною все равно что щенята перед старым псом.

### III

В данную минуту один из подобных споров только что затих. Старшее поколение удалилось в дом, и сквозь открытые окна слышно было по временам, как Ставрученко с торжеством рассказывал разные комические эпизоды и слушатели весело хохотали.

Молодые люди оставались в саду. Студент, подстлав под себя свитку и заломив смушковую шапку, разлегся на траве с несколько тенденциозною непринужденностью. Его старший брат сидел на завалинке рядом с Эвелиной. Кадет в аккуратно застегнутом мундире помещался с ним рядом, а несколько в стороне, опершись на подоконник, сидел, спустив голову, слепой; он обдумывал только что смолкшие и глубоко взволновавшие его споры.

— Что вы думаете обо всем, что здесь говорилось, панна Эвелина? — обратился к своей соседке молодой Ставрченко. — Вы, кажется, не проронили ни одного слова.

— Все это очень хорошо, то есть то, что вы говорили отцу. Но...

— Но... что же?

Девушка ответила не сразу. Она положила к себе на колени свою работу, разгладила ее руками и, слегка наклонив голову, стала рассматривать ее с задумчивым видом. Трудно было разобрать, думала ли она о том, что ей следовало взять для вышивки канву покрупнее, или же обдумывала свой ответ.

Между тем молодые люди с нетерпением ждали этого ответа. Студент приподнялся на локте и повернул к девушке лицо, оживленное любопытством. Ее сосед уставился на нее спокойным пытливым взглядом.

Слепой переменял свою непринужденную позу, выпрямился и потом вытянул голову, отвернувшись лицом от остальных собеседников.

— Но, — проговорила она тихо, все продолжая разглаживать рукой свою вышивку, — у всякого человека, господа, своя дорога в жизни.

— Господи! — резко воскликнул студент. — Какое благоразумие! Да вам, моя панночка, сколько лет, в самом деле?

— Семнадцать, — ответила Эвелина просто, но тотчас же прибавила с наивно-торжествующим любопытством: — А ведь вы думали, гораздо больше, не правда ли?

Молодые люди засмеялись.

— Если бы меня спросили мнение насчет вашего возраста, — сказал ее сосед, — я сильно колебался бы между тринадцатью и двадцатью тремя. Правда, иногда вы кажетесь совсем-таки ребенком, а рассуждаете порой, как опытная старушка.

— В серьезных делах, Гаврило Петрович, нужно и рассуждать серьезно, — произнесла маленькая женщина докторальным тоном, опять принимаясь за работу.

Все на минуту смолкли. Иголка Эвелины опять мерно заходила по вышивке, а молодые люди оглядывали с любопытством миниатюрную фигуру благоразумной особы.

#### IV

Эвелина, конечно, значительно выросла и развилась со времени первой встречи с Петром, но замечание студента насчет ее вида было совершенно справедливо. При первом



взгляде на это небольшое худощавое созданище казалось, что это еще девочка, но в ее неторопливых, размеренных движениях сказывалась нередко солидность женщины. То же впечатление производило и ее лицо. Такие лица бывают, кажется, только у славянок. Правильные, красивые черты зарисованы плавными, холодными линиями; голубые глаза глядят ровно, спокойно; румянец редко является на этих бледных щеках, но это не та обычная бледность, которая ежеминутно готова вспыхнуть пламенем жгучей страсти; это скорее холодная белизна снега. Прямые светлые волосы Эвелины чуть-чуть оттенялись на мраморных висках и спадали тяжелою косой, как будто оттягивавшей назад ее голову при походке.

Слепой тоже вырос и возмужал. Всякому, кто посмотрел бы на него в ту минуту, когда он сидел поодаль от описанной группы, бледный, взволнованный и красивый, сразу бросилось бы в глаза его своеобразное лицо, на котором так резко отражалось всякое душевное движение. Черные волосы красивою волной склонялись над выпуклым лбом, по которому прошли ранние морщинки. На щеках быстро вспыхивал густой румянец и так же быстро разливалась матовая бледность. Нижняя губа, чуть-чуть оттянутая углами вниз, по временам как-то напряженно вздрагивала, брови чутко настораживались и шевелились, а большие красивые глаза, глядевшие ровным и неподвижным взглядом, придавали лицу молодого человека какой-то не совсем обычный мрачный оттенок.

— Итак, — насмешливо заговорил студент после некоторого молчания, — панна Эвелина полагает, что все, о чем мы говорили, недоступно женскому уму, что удел женщины — узкая сфера детской и кухни.

В голосе молодого человека слышались самодовольство (тогда эти словечки были совсем новенькие) и вызывающая ирония; на несколько секунд все смолкли, и на лице девушки проступил нервный румянец.

— Вы слишком торопитесь со своими заключениями, — сказала она. — Я понимаю все, о чем здесь говорилось, — значит, женскому уму это доступно. Я говорила только о себе лично.

Она смолкла и наклонилась над шитьем с таким вниманием к работе, что у молодого человека не хватило решимости продолжать дальнейший допрос.

— Странно, — пробормотал он. — Можно подумать, что вы распланировали уже свою жизнь до самой могилы.

— Что же тут странного, Гаврило Петрович? — тихо возразила девушка. — Я думаю, даже Илья Иванович

(имя кадета) наметил уже свою дорогу, а ведь он моложе меня.

— Это правда, — сказал кадет, довольный этим вызовом. — Я недавно читал биографию N. N. Он тоже поступал по ясному плану: в двадцать лет женился, а в тридцать пять командовал частью.

Студент ехидно засмеялся, девушка слегка покраснела.

— Ну вот, видите, — сказала она через минуту с какой-то холодной резкостью в голосе, — у всякого своя дорога.

Никто не возражал больше. Среди молодой компании водворилась серьезная тишина, под которую чувствуется так ясно недоумелый испуг: все смутно поняли, что разговор перешел на деликатную личную почву, что под простыми словами зазвучала где-то чутко натянутая струна...

И среди этого молчания слышался только шорох темнеющего и будто чем-то недовольного старого сада.

## V

Все эти беседы, эти споры, эта волна кипучих молодых запросов, надежд, ожиданий и мнений, — все это нахлынуло на слепого неожиданно и бурно. Сначала он прислушивался к ним с выражением восторженного изумления, но вскоре он не мог не заметить, что эта живая волна катится мимо него, что ей до него нет дела. К нему не обращались с вопросами, у него не спрашивали мнений, и скоро оказалось, что он стоит особняком, в каком-то грустном уединении, тем более грустном, чем шумнее была теперь жизнь усадьбы.

Тем не менее он продолжал прислушиваться ко всему, что для него было так ново, и его крепко сдвинутые брови, побледневшее лицо выказывали усиленное внимание. Но это внимание было мрачно, под ним таилась тяжелая и горькая работа мысли.

Мать смотрела на сына с печалью в глазах. Глаза Эвелины выражали сочувствие и беспокойство. Один Максим будто не замечал, какое действие производит шумное общество на слепого, и радушно приглашал гостей навещаться почаще в усадьбу, обещая молодым людям обильный этнографический материал к следующему приезду.

Гости обещали вернуться и уехали. Прощаясь, молодые люди радушно пожимали руки Петра. Он порывисто отвечал на эти пожатия и долго прислушивался, как стучали по дороге колеса их брички. Затем он быстро повернулся и ушел в сад.

С отъездом гостей в усадьбе все стихло, но эта тишина показалась слепому какою-то особенной, необычной и странной. В ней слышалось как будто признание, что здесь произошло что-то особенно важное. В смолкших аллеях, отзывавшихся только шепотом буков и сирени, слепому чуялись отголоски недавних разговоров. Он слышал также в открытое окно, как мать и Эвелина о чем-то спорили с Максимом в гостиной. В голосе матери он заметил мольбу и страдание, голос Эвелины звучал негодованием, а Максим, казалось, страстно, но твердо отражал нападение женщин. С приближением Петра эти разговоры мгновенно смолкали.

Максим сознательно беспощадно рукой пробил первую брешь в стене, окружавшей до сих пор слепого.

Гулкая, беспоконная первая волна уже хлынула в пролом, и душевное равновесие юноши дрогнуло под этим первым ударом.

Теперь ему казалось уже тесно в его заколдованном круге. Его тяготили спокойная тишь усадьбы, ленивый шепот и шорох старого сада, однообразие юного душевного сна. Тьма заговорила с ним своими новыми обольстительными голосами, заколыхалась новыми смутными образами, теснясь с тоскливою суетой заманчивого оживления.

Она звала его, манила, будила дремавшие в душе запросы, и уже эти первые призывы сказались в его лице бледностью, а в душе — тупым, хотя еще смутным страданием.

От женщин не ускользнули эти тревожные признаки. Мы, зрячие, видим отражение душевных движений на чужих лицах и потому приучаемся скрывать свои собственные. Слепые в этом отношении беззащитны, и потому на побледневшем лице Петра можно было читать как в интимном дневнике, оставленном открытым в гостиной... На нем была написана мучительная тревога. Женщины видели, что Максим тоже замечает все это, но это входит в какие-то планы старика. Обе они считали это жестокостью, и мать хотела бы своими руками оградить сына. «Теплица? — что ж такое, если ее ребенку до сих пор было хорошо в теплице? Пусть будет так и дальше, навсегда... Спокойно, тихо, невозмутимо...»

Эвелина не высказывала, по-видимому, всего, что было у нее на душе, но с некоторых пор она переменилась к Максиму и стала возражать против некоторых, иногда вовсе незначительных его предложений с небывалою резкостью.

Старик смотрел на нее из-под бровей пытливыми глазами, которые встречались порою с гнезным, сверкающим взглядом молодой девушки. Максим покачивал головой,

бормотал что-то и окружал себя особенно густыми клубами дыма, что было признаком усиленной работы мысли; но он твердо стоял на своем и порой, ни к кому не обращаясь, отпускал презрительные сентенции насчет неразумной женской любви и короткого бабьего ума, который, как известно, гораздо короче волоса; поэтому женщина не может видеть дальше минутного страдания и минутной радости. Он мечтал для Петра не о спокойствии, а о возможной полноте жизни. Говорят, всякий воспитатель стремится сделать из питомца свое подобие. Максим мечтал о том, что пережил сам и чего так рано лишился: о кипучих кризисах и о борьбе.

В какой форме — он не знал и сам, но упорно стремился расширить для Петра круг живых внешних впечатлений, доступных слепому, рискуя даже потрясениями и душевными переворотами. Он чувствовал, что обе женщины хотят совсем другого...

— Наседка! — говорил он иногда сестре, сердито стуча по комнате своими костылями... Но он сердился редко; большею же частью на доводы сестры он возражал мягко и с снисходительным сожалением, тем более что она каждый раз уступала в споре, когда оставалась наедине с братом; это, впрочем, не мешало ей вскоре опять возобновлять разговор. Но когда при этом присутствовала Эвелина, дело становилось серьезнее; в этих случаях старик предпочитал отмалчиваться. Казалось, между ним и молодой девушкой завязывалась какая-то борьба, и оба они еще только изучали противника, тщательно скрывая свои карты.

## VI

Когда через две недели молодые люди опять вернулись вместе с отцом, Эвелина встретила их с холодной сдержанностью. Однако ей было трудно устоять против обаятельного молодого оживления. Целые дни молодежь шаталась по деревне, охотилась, записывала в полях песни жниц и жнецов, а вечером вся компания собиралась на завалинке усадьбы, в саду.

В один из таких вечеров Эвелина не успела спохватиться, как разговор опять перешел на шекотливые темы. Как это случилось, кто начал первый, — ни она, да и никто не мог бы сказать. Это вышло так же незаметно, как незаметно потухла заря и по саду расползли вечерние тени, как незаметно завел соловей в кустах свою вечернюю песню.

Студент говорил пылко, с тою особенною юношескою страстью, которая кидается навстречу неизвестному будущему безрасчетно и безрассудно. Была в этой вере в будущее с его чудесами какая-то особенная чарующая сила, почти неодолимая сила привычки...

Молодая девушка вспыхнула, поняв, что этот вызов, быть может без сознательного расчета, был обращен теперь прямо к ней.

Она слушала, низко наклонясь над работой. Ее глаза заискрились, щеки загорелись румянцем, сердце стучало... Потом блеск глаз потух, губы сжались, а сердце стучало еще сильнее, и на побледневшем лице появилось выражение испуга.

Она испугалась оттого, что перед ее глазами будто раздвинулась темная стена, и в этот просвет блеснули далекие перспективы обширного кипучего и деятельного мира.

Да, он манит ее уже давно. Она не сознавала этого ранее, но в тени старого сада, на уединенной скамейке, она нередко просиживала целые часы, отдаваясь небывалым мечтам. Воображение рисовало ей яркие далекие картины, и в них не было места слепому...

Теперь этот мир приблизился к ней; он не только манит ее, он предъявляет на нее какое-то право.

Она кинула быстрый взгляд в сторону Петра, и что-то кольнуло ей сердце. Он сидел неподвижный, задумчивый, вся его фигура казалась отяжелевшей и осталась в ее памяти мрачным пятном. «Он понимает... все», — мелькнула у нее мысль, быстрая как молния, и девушка почувствовала какой-то холод. Кровь отлила к сердцу, и на лице она сама ощутила внезапную бледность. Ей представилось на мгновение, что она уже там, в этом далеком мире, а он сидит вот здесь один, с опущенною головой, или нет... Он там, на холмике, над речкой, этот слепой мальчик, над которым она плакала в тот вечер...

И ей стало страшно. Ей показалось, что кто-то готовится вынуть нож из ее давнишней раны.

Она вспомнила долгие взгляды Максима. Так вот что значили эти молчаливые взгляды! Он лучше ее самой знал ее настроение, он угадал, что в ее сердце возможны еще борьба и выбор, что она в себе не уверена... Но нет, он ошибается! Она знает свой первый шаг, а там она посмотрит, что можно будет взять у жизни еще...

Она вздохнула трудно и тяжело, как бы переводя дыхание после тяжелой работы, и оглянулась кругом. Она не могла бы сказать, долго ли длилось молчание, давно ли

смолок студент, говорил ли он еще что-нибудь... Она посмотрела туда, где за минуту сидел Петр...

Его не было на прежнем месте.

## VII

Тогда, спокойно сложив работу, она тоже поднялась.

— Извините, господа, — сказала она, обращаясь к гостям. — Я вас на время оставлю одних.

И она пошла вдоль темной аллеи.

Этот вечер был исполнен тревоги не для одной Эвелины. На повороте аллеи, где стояла скамейка, девушка услышала взволнованные голоса. Максим разговаривал с сестрой.

— Да, о ней я думал в этом случае не менее, чем о нем, — говорил старик сурово. — Подумай, ведь она еще ребенок, не знающий жизни! Я не хочу верить, что ты желала бы воспользоваться неведением ребенка.

В голосе Анны Михайловны, когда она ответила, слышались слезы.

— А что же, Макс, если... если она... Что же будет тогда с моим мальчиком?

— Будь что будет! — твердо и угрюмо ответил старый солдат. — Тогда посмотрим; во всяком случае, на нем не должно тяготеть сознание чужой испорченной жизни... Да и на нашей совести тоже... Подумай об этом, Аня, — добавил он мягче.

Старик взял руку сестры и нежно поцеловал ее. Анна Михайловна склонила голову:

— Мой бедный мальчик, бедный... Лучше бы ему никогда не встречаться с нею...

Девушка скорее угадала эти слова, чем расслышала, — так тихо вырвался этот стон из уст матери.

Краска залила лицо Эвелины. Она невольно остановилась на повороте аллеи... Теперь, когда она выйдет, оба они увидят, что она подслушала их тайные мысли...

Но через несколько мгновений она гордо подняла голову. Она не хотела подслушивать, и, во всяком случае, не ложный стыд может остановить ее на ее дороге. К тому же этот старик берет на себя слишком много. Она сумеет распорядиться своею жизнью.

Она вышла из-за поворота дорожки и прошла мимо обоих говоривших спокойно и с высоко поднятою головой. Максим с невольной торопливостью подобрал свой костыль, чтобы дать ей дорогу, а Анна Михайловна посмотрела на нее с каким-то подавленным выражением любви, почти обожания и страха.

Мать будто чувствовала, что эта гордая и белокурая девушка, которая только что прошла с таким гневно-вызывающим видом, пронесла с собой счастье или несчастье всей жизни ее ребенка.

## VIII

В дальнем конце сада стояла старая заброшенная мельница. Колеса давно уже не вертелись, валы обросли мхом, и сквозь старые шлюзы просачивалась вода несколькими тонкими, неумолчно звеневшими струйками. Это было любимое место слепого. Здесь он просиживал целые часы на парапете плотины, прислушиваясь к говору сочившейся воды, и умел прекрасно передавать на фортепьяно этот говор. Но теперь ему было не до того... Теперь он быстро ходил по дорожке с переполненным горечью сердцем, с искаженным от внутренней боли лицом. Заслышав легкие шаги девушки, он остановился; Эвелина положила ему на плечо руку и спросила серьезно:

— Скажи мне, Петр, что это с тобой? Отчего ты такой грустный?

Быстро повернувшись, он опять зашагал по дорожке. Девушка пошла с ним рядом.

Она поняла его резкое движение и его молчание и на минуту опустила голову.

От усадьбы слышалась песня:

З-за крутої горы  
Виліталы орлы,  
Виліталы, гуркоталы,  
Роскоши шукалы...

Смягченный расстоянием, молодой, сильный голос пел о любви, о счастье, о просторе, и эти звуки неслись в тишине ночи, покрывая ленивый шепот сада...

Там были счастливые люди, которые говорили об яркой и полной жизни; она еще несколько минут назад была с ними, опьяненная мечтами об этой жизни, в которой *ему* не было места. Она даже не заметила его ухода, а кто знает, какими долгими показались ему эти минуты одинокого горя...

Эти мысли прошли в голове молодой девушки, пока она ходила рядом с Петром по аллее. Никогда еще не было так трудно заговорить с ним, овладеть его настроением. Однако она чувствовала, что ее присутствие понемногу смягчает его мрачное раздумье.

Действительно, его походка стала тише, лицо спокойнее. Он слышал рядом ее шаги, и понемногу острая душевная

боль стихала, уступая место другому чувству. Он не отдавал себе отчета в этом чувстве, но оно было ему знакомо, и он легче подчинялся его благотворному влиянию.

— Что с тобой? — повторила она свой вопрос.

— Ничего особенного, — ответил он с горечью. — Мне только кажется, что я совсем лишний на свете.

Песня около дома на время смолкла, и через минуту послышалась другая. Она доносилась чуть слышно; теперь студент пел старую «думу», подражая тихому напеву бандуристов. Иногда голос, казалось, совсем смолкал, воображением овладевала смутная мечта, и затем тихая мелодия опять пробивалась сквозь шорох листьев...

Петр невольно остановился прислушиваясь.

— Знаешь, — заговорил он грустно, — мне кажется, что старики правы, когда говорят, что на свете становится с годами все хуже. В старые годы было лучше даже слепым. Вместо фортепьяно тогда бы я выучился играть на бандуре и ходил бы по городам и селам... Ко мне собирались бы толпы людей, и я пел бы им о делах их отцов, о подвигах и славе. Тогда и я был бы чем-нибудь в жизни. А теперь? Даже этот кадетик с таким резким голосом и тот — ты слышала? — говорит: жениться и командовать частью. Над ним смеялись, а я... а мне даже и это недоступно.

Голубые глаза девушки широко открылись от испуга, и в них сверкнула слеза.

— Это ты наслушался речей молодого Ставрученка, — сказала она в смущении, стараясь придать голосу тон беззаботной шутки.

— Да, — задумчиво ответил Петр и прибавил: — У него очень приятный голос. Красив он?

— Да, он хороший, — задумчиво подтвердила Эвелина, но вдруг, как-то гневно спохватившись, прибавила резко: — Нет, он мне вовсе не нравится. Он слишком самоуверен, и голос у него неприятный и резкий.

Петр выслушал с удивлением эту гневную вспышку. Девушка топнула ногой и продолжала:

— И все это глупости. Это все, я знаю, подстраивает Максим. О, как я ненавижу теперь этого Максима.

— Что ты это, Веля? — спросил удивленно слепой. — Что подстраивает?

— Ненавижу, ненавижу Максима! — упрямо повторяла девушка. — Он со своими расчетами истребил в себе всякие признаки сердца... Не говори, не говори мне о них... И откуда они присвоили себе право распоряжаться чужою судьбой?



Она вдруг порывисто остановилась, сжала свои тонкие руки так, что на них хрустнули пальцы, и как-то по-детски заплакала.

Слепой взял ее руки с удивлением и участием. Эта вспышка со стороны его спокойной и всегда выдержанной подруги была так неожиданна и необъяснима! Он прислушивался одновременно к ее плачу и к тому странному отголоску, каким отзывался этот плач в его собственном сердце. Ему вспомнились давние годы. Он сидел на холме с такою же грустью, она плакала над ним так же, как и теперь...

Но вдруг она высвободила руку, и слепой опять удивился: девушка смеялась.

— Какая я, однако, глупая! И о чем это я плачу?

Она вытерла глаза и потом заговорила растроганным и добрым голосом:

— Нет, будем справедливы, оба они хороше!.. И то, что он говорил сейчас, — хорошо. Но ведь это же не для всех.

— Для всех, кто может, — сказал слепой.

— Какие пустяки! — ответила она ясно, хотя в ее голосе вместе с улыбкой слышались еще недавние слезы. — Ведь вот и Максим воевал, пока мог, а теперь живет, как может. Ну и мы...

— Не говори: *мы!* Ты — совсем другое дело...

— Нет, не другое.

— Почему?

— Потому что... Ну да потому, что ведь ты на мне женишься, и, значит, наша жизнь будет одинакова.

Петр остановился в изумлении:

— Я?.. На тебе?.. Значит, ты за меня... замуж?

— Ну да, ну да, конечно! — ответила она с торопливым волнением. — Какой ты глупый! Неужели тебе никогда не приходило это в голову? Ведь это же так просто! На ком же тебе и жениться, как не на мне?

— Конечно, — согласился он с каким-то странным эгоизмом, но тотчас спохватился.

— Послушай, Веля, — заговорил он, взяв ее за руку. — Там сейчас говорили: в больших городах девушки учатся всему, перед тобой тоже могла бы открыться широкая дорога... А я...

— Что же ты?

— А я... слепой! — закончил он совершенно нелогично.

И опять ему вспомнились детство, тихий плеск реки, первое знакомство с Эвелиной и ее горькие слезы при слове

«слепой»... Инстинктивно почувствовал он, что теперь опять причиняет ей такую же рану, и остановился. Несколько секунд стояла тишина, только вода тихо и ласково звенела в шлюзах. Эвелины совсем не было слышно, как будто она исчезла. По ее лицу действительно пробежала судорога, но девушка овладела собой, и когда она заговорила, голос ее звучал беспечно и шутливо.

— Так что же, что слепой? — сказала она. — Но ведь если девушка полюбит слепого, так и выходить надо за слепого... Это уж всегда так бывает, что же нам делать?

— Полюбит... — сосредоточенно повторил он, и брови его сдвинулись — он вслушивался в новые для него звуки знакомого слова... — Полюбит? — переспросил он с возрастающим волнением...

— Ну да! Ты и я, мы оба любим друг друга... Какой ты глупый! Ну подумай сам: мог ли бы ты остаться здесь один, без меня?..

Лицо его сразу побледнело, и незрячие глаза остановились, большие и неподвижные.

Было тихо: только вода все говорила о чем-то, журча и звеня. Временами казалось, что этот говор ослабевает и вот-вот стихнет; но тотчас же он опять повышался и опять звенел без конца и перерыва. Густая черемуха шептала темною листвою; песня около дома смолкла, но зато над прудом соловей заводил свою...

— Я бы умер, — сказал он глухо.

Ее губы задрожали, как в тот день их первого знакомства, и она сказала с трудом слабым, детским голосом:

— И я тоже... Без тебя, одна... в далеком свете...

Он сжал ее маленькую руку в своей. Ему казалось странным, что ее тихое ответное пожатие так непохоже на прежние: слабое движение ее маленьких пальцев отражалось теперь в глубине его сердца. Вообще, кроме прежней Эвелины, друга его детства, теперь он чувствовал в ней еще какую-то другую, новую девушку. Сам он показался себе могучим и сильным, а она представилась плачущей и слабой. Тогда под влиянием глубокой нежности он привлек ее одною рукой, а другою стал гладить ее шелковистые волосы.

И ему казалось, что все горе смолкло в глубине сердца и что у него нет никаких порывов и желаний, а есть только настоящая минута.

Соловей, некоторое время пробававший свой голос, защелкал и рассыпался по молчаливому саду неистовою трелью. Девушка встрепенулась и застенчиво отвела руку Петра.

Он не противился и, отпустив ее, вздохнул полною грудью. Он слышал, как она оправляет свои волосы. Его сердце билось сильно, но ровно и приятно; он чувствовал, как горячая кровь разносит по всему телу какую-то новую, сосредоточенную силу. Когда через минуту она сказала ему обычным тоном: «Ну, теперь вернемся к гостям», он с удивлением вслушивался в этот милый голос, в котором звучали совершенно новые ноты.

## IX

Гости и хозяйева собрались в маленькой гостиной; недоставало только Петра и Эвелины. Максим разговаривал со своим старым товарищем, молодые люди сидели молча у открытых окон; в небольшом обществе господствовало то особенное тихое настроение, в глубине которого ощущается какая-то не для всех ясная, но всеми сознаваемая драма. Отсутствие Эвелины и Петра было как-то особенно заметно. Максим среди разговора кидал короткие выжидающие взгляды по направлению к дверям. Анна Михайловна с грустным и как будто виноватым лицом явно старалась быть внимательною и любезною хозяйкой, и только один пан Попельский, значительно округлевший и как всегда благодущный, дремал на своем стуле в ожидании ужина.

Когда на террасе, которая вела из сада в гостиную, раздались шаги, все глаза повернулись туда. В темном четырехугольнике широких дверей показалась фигура Эвелины, а за нею тихо подымался по ступенькам слепой.

Молодая девушка почувствовала на себе эти сосредоточенные внимательные взгляды, однако это ее не смутило. Она прошла через комнату своею обычною ровною поступью, и только на одно мгновение, встретив короткий, из-под бровей взгляд Максима, она чуть-чуть улыбнулась и ее глаза сверкнули вызовом и усмешкой. Пани Попельская вглядывалась в своего сына.

Молодой человек, казалось, шел вслед за девушкой, не сознавая хорошо, куда она ведет его. Когда в дверях показалось его бледное лицо и тонкая фигура, он вдруг приостановился на пороге этой освещенной комнаты. Но затем он перешагнул через порог и быстро, хотя с тем же полурассеянным, полусосредоточенным видом подошел к фортепьяно.

Хотя музыка была обычным элементом в жизни тихой усадьбы, но вместе с тем это был элемент интимный, так сказать, чисто домашний. В те дни, когда усадьба напол-

нялась говором и пением приезжей молодежи, Петр ни разу не подходил к фортепьяно, на котором играл лишь старший из сыновей Ставрученка, музыкант по профессии. Это воздержание делало слепого еще более незаметным в оживленном обществе, и мать с сердечной болью следила за темной фигурой сына, терявшегося среди общего блеска и оживления. Теперь в первый еще раз Петр смело и как будто даже не вполне сознательно подходил к своему обычному месту... Казалось, он забыл о присутствии чужих. Впрочем, при входе молодых людей в гостиную стояла такая тишина, что слепой мог считать комнату пустою...

Открыв крышку, он слегка тронул клавиши и пробежал по ним несколькими быстрыми легкими аккордами. Казалось, он о чем-то спрашивал не то у инструмента, не то у собственного настроения.

Потом, вытянув на клавишах руки, он глубоко задумался, и тишина в маленькой гостиной стала еще глубже.

Ночь глядела в черные отверстия окон; кое-где из сада заглядывали с любопытством зеленые группы листьев, освещенных светом лампы. Гости, подготовленные только что смолкшим смутным рокотом пианино, отчасти охваченные веянием странного вдохновения, витавшего над бледным лицом слепого, сидели в молчаливом ожидании.

А Петр все молчал, приподняв кверху слепые глаза, и все будто прислушивался к чему-то. В его душе подымались, как расколыхавшиеся волны, самые разнообразные ощущения. Прилив неведомой жизни подхватывал его, как подхватывает волна на морском берегу долго и мирно стоявшую на песке лодку... На лице виднелось удивление, вопрос, еще какое-то особенное возбуждение проходило по нем быстрыми тенями. Слепые глаза казались глубокими и темными.

Одну минуту можно было подумать, что он не находит в своей душе того, к чему прислушивается с таким жадным вниманием. Но потом, хотя все с тем же удивленным видом и все как будто не дождавшись чего-то, он дрогнул, тронул клавиши и, подхваченный новой волной нахлынувшего чувства, отдался весь плавным, звонким и певучим аккордам...

## Х

Пользоваться нотами слепому вообще трудно. Они отдавливаются, как и буквы, рельефом, причем тоны обозначаются отдельными знаками и ставятся в один ряд, как строчки книги. Чтобы обозначить тоны, соединенные

в аккорд, между ними ставятся восклицательные знаки. Понятно, что слепому приходится заучивать их наизусть, притом отдельно для каждой руки. Таким образом, это очень сложная и трудная работа; однако Петру и в этом случае помогала любовь к отдельным составным частям этой работы. Заучив на память по несколько аккордов для каждой руки, он садился за фортепьяно, и когда из соединения этих выпуклых иероглифов вдруг неожиданно для него самого складывались стройные созвучия, это доставляло ему такое наслаждение и представляло столько живого интереса, что этим сухая работа скрашивалась и даже увлекала.

Тем не менее между изображенною на бумаге пьесой и ее исполнением ложилось в этом случае слишком много промежуточных процессов. Пока знак воплощался в мелодию, он должен был пройти через руки, закрепиться в памяти и затем совершить обратный путь к концам играющих пальцев. Притом сильно развитое музыкальное воображение слепого вмешивалось в сложную работу заучивания и налагало на чужую пьесу заметный личный отпечаток. Формы, в какие успело отлиться музыкальное чувство Петра, были именно те, в каких ему впервые явилась мелодия, в какие отливалась затем игра его матери. Это были формы народной музыки, которые звучали постоянно в его душе, которыми говорила этой душе родная природа.

И теперь, когда он играл какую-то итальянскую пьесу с трепещущим сердцем и переполненной душой, в его игре с первых же аккордов сказалось что-то до такой степени своеобразное, что на лицах посторонних слушателей появилось удивление. Однако через несколько минут очарование овладело всеми безраздельно и только старший из сыновей Ставрученка, музыкант по профессии, долго еще вслушивался в игру, стараясь уловить знакомую пьесу и анализируя своеобразную манеру пианиста.

Струны звенели и рокотали, наполняя гостиную и разносясь по смолкшему саду... Глаза молодежи сверкали оживлением и любопытством. Ставрученко-отец сидел свесив голову и молчаливо слушал, но потом стал воодушевляться все больше и больше, поталкивал Максима локтем и шептал:

— Вот это играет так уж играет... Что? Не правду я говорю?

По мере того как звуки росли, старый спорщик стал вспоминать что-то, должно быть свою молодость, потому что глаза его заискрились, лицо покраснело, весь он выпрямился и, приподняв руку, хотел даже ударить кулаком

по столу, но удержался и отпустил кулак без всякого звука. Оглядев своих молодцов быстрым взглядом, он погладил усы и, наклонившись к Максиму, прошептал:

— Хотят стариков в архив... Брежут!.. В свое время и мы с тобой, братику, тоже... Да и теперь еще... Правду я говорю или нет?

Максим, довольно равнодушный к музыке, на этот раз чувствовал что-то новое в игре своего питомца и, окружив себя клубами дыма, слушал, качал головой и переводил глаза с Петра на Эвелину. Еще раз какой-то порыв непосредственной жизненной силы врвался в его систему совсем не так, как он думал... Анна Михайловна тоже кидала на девушку вопросительные взгляды, спрашивая себя: что это — счастье или горе звучит в игре ее сына... Эвелина сидела в тени от абажура, и только ее глаза, большие и потемневшие, выделялись в полумраке. Она одна понимала эти звуки по-своему: ей слышался в них звон воды в старых шлюзах и шепот черемухи в потемневшей аллее.

## XI

Мотив давно уже изменился. Оставив итальянскую пьесу, Петр отдался своему воображению. Тут было все, что теснилось в его воспоминании, когда он за минуту перед тем, молча и опустив голову, прислушивался к впечатлениям из пережитого прошлого. Тут были голоса природы, шум ветра, шепот леса, плеск реки и смутный говор, смолкающий в безвестной дали. Все это сплеталось и звенело на фоне того особенного, глубокого и расширяющего сердце ощущения, которое вызывается в душе таинственным говором природы и которому так трудно подыскать настоящее определение... Тоска?.. Но отчего же она так приятна?.. Радость? Но зачем же она так глубоко, так бесконечно грустна?

По временам звуки усиливались, вырастали, крепили. Лицо музыканта делалось странно суровым. Он как будто сам удивлялся новой и для него силе этих неожиданных мелодий и ждал еще чего-то... Казалось, вот-вот несколькими ударами все это сольется в стройный поток могучей и прекрасной гармонии, и в такие минуты слушатели замирали от ожидания. Но, не успев подняться, мелодия вдруг падала с каким-то жалобным ропотом, точно волна, рассыпавшаяся в пену и брызги, и еще долго звучали, замирая, ноты горького недоумения и вопроса.

Слепой смолкал на минуту, и опять в гостиной стояла тишина, нарушаемая только шепотом листьев в саду.

Обаяние, овладевшее слушателями и уносившее их далеко за эти скромные стены, разрушалось, и маленькая комната сдвигалась вокруг них, и ночь глядела к ним в темные окна, пока, собравшись с силами, музыкант не ударял вновь по клавишам.

И опять звуки крепили и искали чего-то, подымаясь в своей полноте выше, сильнее. В неопределенный перезвон и говор аккордов вплетались мелодии народной песни, звучавшей то любовью и грустью, то воспоминанием о минувших страданиях и славе, то молодою удалью разгула и надежды. Это слепой пробовал вылить свое чувство в готовые и хорошо знакомые формы.

Но и песня смолкала, дрожа в тишине маленькой гостиной тою же жалобною нотой неразрешенного вопроса.

## XII

Когда последние ноты дрогнули смутным недовольством и жалобой, Анна Михайловна, взглянув в лицо сына, увидела на нем выражение, которое показалось ей знакомым: в ее памяти встал солнечный день давней весны, когда ее ребенок лежал на берегу реки, подавленный слишком яркими впечатлениями от возбуждающей весенней природы.

Но это выражение заметила только она. В гостиной поднялся шумный говор. Ставрченко-отец что-то громко кричал Максиму, молодые люди, еще взволнованные и возбужденные, пожимали руки музыканта, предсказывали ему широкую известность артиста.

— Да, это верно! — подтвердил старший брат. — Вам удалось удивительно усвоить самый характер народной мелодии. Вы сжились с нею и овладели ею в совершенстве. Но скажите, пожалуйста, какую это пьесу играли вы вначале?

Петр назвал итальянскую пьесу.

— Я так и думал, — ответил молодой человек. — Мне она несколько знакома... У вас удивительно своеобразная манера... Многие играют лучше вашего, но так, как вы, ее не исполнял еще никто... Это... как будто перевод с итальянского музыкального языка на малорусский. Вам нужна серьезная школа, и тогда...

Слепой слушал внимательно. Впервые еще он стал центром оживленных разговоров, и в его душе зарождалось гордое сознание своей силы. Неужели эти звуки, доставившие ему на этот раз столько неудовлетворенности и страдания, как еще никогда в жизни, могут производить

на других такое действие? Итак, он может тоже что-нибудь сделать в жизни. Он сидел на своем стуле, с рукой, еще вытянутой на клавиатуре, и под шум разговоров внезапно почувствовал на этой руке что-то горячее прикосновение. Это Эвелина подошла к нему и, незаметно сжимая его пальцы, прошептала с радостным возбуждением:

— Ты слышал? У тебя тоже будет своя работа. Если бы ты видел, если бы знал, что ты можешь сделать со всеми нами...

Слепой вздрогнул и выпрямился.

Никто не заметил этой короткой сцены, кроме матери. Ее лицо вспыхнуло, как будто это ей был дан первый поцелуй молодой любви.

Слепой все сидел на том же месте. Он боролся с нахлынувшими на него впечатлениями нового счастья, а может быть, ощущал также приближение грозы, которая вставала уже бесформенною и тяжелою тучей откуда-то из глубины мозга.

## ГЛАВА ШЕСТАЯ

### I

На другой день Петр проснулся рано. В комнате было тихо, в доме тоже не начиналось еще движение дня. В окно, которое оставалось открытым на ночь, вливалась из сада свежесть раннего утра. Несмотря на свою слепоту, Петр отлично чувствовал природу. Он знал, что еще рано, что его окно открыто — шорох ветвей раздавался отчетливо и близко, ничем не отдаленный и не прикрытый. Сегодня Петр чувствовал все это особенно ясно: он знал даже, что в комнату смотрит солнце и что если он протянет руку в окно, то с кустов посыплется роса. Кроме того, он чувствовал еще, что все его существо переполнено каким-то новым, неизведанным ощущением.

Несколько минут он лежал в постели, прислушиваясь к тихому щебетанию какой-то пташки в саду и к странному чувству, нараставшему в его сердце.

«Что это было со мной?» — подумал он, и в то же мгновение в его памяти прозвучали слова, которые она сказала вчера, в сумерки, у старой мельницы: «Неужели ты никогда не думал об этом?.. Какой ты глупый!..»

Да, он никогда об этом не думал. Ее близость доставляла ему наслаждение, но до вчерашнего дня он не сознавал этого, как мы не ощущаем воздуха, которым дышим. Эти простые слова упали вчера в его душу, как падает



с высоты камень на зеркальную поверхность воды: еще за минуту она была ровна и спокойно отражала свет солнца и синее небо... один удар — и она всколебалась до самого дна.

Теперь он проснулся с обновленною душой, и она, его давняя подруга, являлась ему в новом свете. Вспоминая все, что произошло вчера, до малейших подробностей, он прислушивался с удивлением к тону ее «нового» голоса, который восстановило в его памяти воображение: «Полюбила...», «Какой ты глупый!..»

Он быстро вскочил, оделся и по росистым дорожкам сада побежал к старой мельнице. Вода журчала, как вчера, и так же шептались кусты черемухи, только вчера было темно, а теперь стояло яркое солнечное утро. И никогда еще он не «чувствовал» света так ясно. Казалось, вместе с душистою сыростью, с ощущением утренней свежести в него проникли эти смеющиеся лучи веселого дня, щековавшие его нервы.

## II

Во всей усадьбе стало как-то светлее и радостнее. Анна Михайловна как будто помолодела сама, Максим чаще шутил, хотя все же по временам из облаков дыма, точно раскаты проходящей стороной грозы, раздавалось его ворчание. Он говорил о том, что многие, по-видимому, считают жизнь чем-то вроде плохого романа, кончающегося свадьбой, и что есть на свете много такого, о чем иным людям не мешало бы подумать. Пан Попельский, ставший очень интересным круглым человеком, с ровно и красиво седеющими волосами и румяным лицом, всегда в этих случаях соглашался с Максимом, вероятно принимая эти слова на свой счет, и тотчас же отправлялся по хозяйству, которое у него, впрочем, шло отлично. Молодые люди усмехались и строили какие-то планы. Петру предстояло доканчивать серьезно свое музыкальное образование.

Однажды осенью, когда жнивá были уже закончены и над полями, сверкая золотыми нитками на солнце, лениво и томно носилось «бабье лето», Попельские всей семьей отправились к Ставрученкам. Имение Ставруково лежало верстах в семидесяти от Попельских, но местность на этом расстоянии сильно менялась: последние отроги Карпат, еще видные на Волыни и в Прибужье, исчезли, и местность переходила в степную Украину. На этих равнинах, перерезанных кое-где оврагами, лежали, утопая в садах и левадах, села, и кое-где по горизонту, давно запаханые

и охваченные желтыми жнивами, рисовались высокие могилы.

Такие далекие путешествия были вообще не в обычае семьи. За пределами знакомого села и ближайших полей, которые он изучил в совершенстве, Петр терялся, больше чувствовал свою слепоту и становился раздражителен и беспокоен. Теперь, впрочем, он охотно принял приглашение. После памятного вечера, когда он сознал сразу свое чувство и просыпающуюся силу таланта, он как-то смелее относился к темной и неопределенной дали, которую охватывал его внешний мир. Она начинала тянуть его, все расширяясь в его воображении.

Несколько дней промелькнули очень живо. Петр чувствовал себя теперь гораздо свободнее в молодом обществе. Он с жадным вниманием слушал умелую игру старшего Ставрученка и рассказы о консерватории, о столичных концертах. Его лицо вспыхивало каждый раз, когда молодой хозяин переходил к восторженным похвалам его собственному, необработанному, но сильному музыкальному чувству. Теперь он уже не стушевывался в дальних углах, а как равный, хотя и несколько сдержанно, вмешивался в общие разговоры. Недавняя еще холодная сдержанность и как бы настороженность Эвелины тоже исчезли. Она держала себя весело и непринужденно, восхищая всех небывалыми прежде вспышками неожиданного и яркого веселья.

Верстах в десяти от имения находился старый N-ский монастырь, очень известный в том крае. Когда-то он играл значительную роль в местной истории: не раз его осаждали, как саранча, загоны татар, посылавших через стены тучи своих стрел, порой пестрые отряды поляков отчаянно лезли на стены, или, наоборот, казаки бурно кидались на приступ, чтобы отбить твердыню у завладевших ее королевских жолнеров... Теперь старые башни осыпались, стены кое-где заменились простым частоколом, защищавшим лишь монастырские огороды от нашествия предприимчивой мужицкой скотины, а в глубине широких рвов росло просо.

Однажды в ясный день ласковой и поздней осени хозяева и гости отправились в этот монастырь. Максим и женщины ехали в широкой старинной коляске, качавшейся, точно большая ладья, на своих высоких рессорах. Молодые люди, и Петр в том числе, отправились верхами.

Слепой ездил ловко и свободно, привыкнув прислушиваться к топоту других коней и к шуршанию колес едущего впереди экипажа. Глядя на его свободную, смелую посадку, трудно было бы угадать, что этот всадник не видит дороги

я лишь привык так смело отдаваться инстинкту лошади. Анна Михайловна сначала робко оглядывалась, боясь чужой лошади и незнакомых дорог, Максим посматривал искоса с гордостью ментора и с насмешкой мужчины над бабьими страхами.

— Знаете ли... — сказал, подъезжая к коляске, студент. — Мне вот сейчас вспомнилась очень интересная могила, историю которой мы узнали, роясь в монастырском архиве. Если хотите, мы свернем туда. Это недалеко, на краю села.

— Отчего же это вам приходят в нашем обществе такие грустные воспоминания? — весело засмеялась Эвелина.

— На этот вопрос отвечу после! Сворачивай к Колодне, к леваяде Остапа; тут у перелаза остановишься! — крикнул он кучеру и, повернув лошадь, поскакал к своим отставшим товарищам.

Через минуту, когда рыдван, шурша колесами в мягкой пыли и колыхаясь, ехал узким проселком, молодые люди пронеслись мимо него и спешили впереди, привязав лошадей у плетня. Двое из них пошли навстречу, чтобы помочь дамам, а Петр стоял, опершись на луку седла, и, по обыкновению склонив голову, прислушивался, стараясь по возможности определить свое положение в незнакомом месте.

Для него этот светлый осенний день был темною ночью, только оживленную яркими звуками дня. Он слышал на дороге шуршание приближающейся кареты и веселые шутки встречавшей ее молодежи. Около него лошади, звеня стальными наборами уздечек, тянули головы за плетень, к высокому бурьяну огорода... Где-то недалеко, вероятно над грядами, слышалась тихая песня, лениво и задумчиво веявшая по легкому ветру. Шелестели листья сада, где-то скрипел аист, слышались хлопанье крыльев и крик как будто внезапно о чем-то вспомнившего петуха, легкий визг «журавля» над колодцем, — во всем этом сказывалась близость деревенского рабочего дня.

И действительно, они остановились у плетня крайнего сада. Из более отдаленных звуков господствующим был размеренный звон монастырского колокола, высокий и тонкий. По звуку ли этого колокола, по тому ли, как тянул ветер, или еще по каким-то, может быть и ему самому неизвестным, признакам Петр чувствовал, что где-то в той стороне, за монастырем, местность внезапно обрывается, быть может над берегом речки, за которой далеко раскинулась равнина с неопределенными, трудноуловимыми звуками тихой жизни. Звуки эти долетали до него отры-

вочно и слабо, давая ему слуховое ощущение дали, в которой мелькает что-то затянутое, неясное, как для нас мелькают очертания далее в вечернем тумане...

Ветер шевелил прядь волос, свесившуюся из-под его шляпы, и тянулся мимо его уха, как протяжный звон золотой арфы. Какие-то смутные воспоминания бродили в его памяти; минуты из далекого детства, которые воображение выхватывало из забвения прошлого, оживали в виде веяний, прикосновений и звуков... Ему казалось, что этот ветер, смешанный с дальним звоном и обрывками песни, говорит ему какую-то грустную старую сказку о прошлом этой земли, или о его собственном прошлом, или о его будущем, неопределенном и темном.

Через минуту подъехала коляска, все вышли и, переступив через перелаз в плетне, пошли в леваду. Здесь, в углу, заросшая травой и бурьяном, лежала широкая, почти вросшая в землю каменная плита. Зеленые листья репейника с пламенно-розовыми головками цветов, широкий лопух, высокий куколь на тонких стеблях выделялись из травы и тихо качались от ветра, и Петру был слышен их смутный шепот над заросшею могилой.

— Мы только недавно узнали о существовании этого памятника, — сказал молодой Ставрченко, — а между тем знаете ли, кто лежит под ним? — славный когда-то «лыцарь», старый ватажок Игнат Карый...

— Так вот ты где успокоился, старый разбойник? — сказал Максим задумчиво. — Как он попал сюда, в Колодию?

— В 17... году казаки с татарами осаждали этот монастырь, занятый польскими войсками... Вы знаете, татары были всегда опасными союзниками... Вероятно, осажденным удалось как-нибудь подкупить мирзу, и ночью татары кинулись на казаков одновременно с поляками. Здесь, около Колодни, произошла в темноте жестокая сеча. Кажется, что татары были разбиты и монастырь все-таки взят, но казаки потеряли в ночном бою своего атамана.

— В этой истории, — продолжал молодой человек задумчиво, — есть еще другое лицо, хоть мы напрасно искали здесь другой плиты. Судя по старой записи, которую мы нашли в монастыре, рядом с Карым похоронен молодой бандурист... слепой, сопровождавший атамана в походах...

— Слепой? В походах? — испуганно произнесла Анна Михайловна, которой сейчас же представился ее мальчик в страшной ночной сече.

— Да, слепой. По-видимому, это был славный на Запорожье певец... так по крайней мере говорит о нем запись,

излагающая на своеобразном польско-малорусско-церковном языке всю эту историю. Позвольте, я, кажется, помню ее на память: «А с ним славетный поэта казацкий Юрко, нигды не оставлявший Караго и от щирого сердца оным любимый. Которого убивши сила поганьская и того Юрка посекала нечестно, обычаем своей поганьской веры не маючи зваги на калецтво и великий талант до складу песенного и до гры струнной, од якои даже и волцы на степу размягчиться могли б, но поганьцы не пошановали в ночном нападe. И ту положены рядом певец и рыцарь, коим по честным конце незаводная и вечная слава во веки веков аминь...»

— Плита довольно широкая, — сказал кто-то. — Может быть, они лежат здесь оба...

— Да, в самом деле, но надписи съедены мхами... Посмотрите, вот вверху булава и бунчук. А дальше все зелено от лишаяев.

— Постойте, — сказал Петр, слушавший весь рассказ с захватывающим волнением.

Он подошел к плите, нагнулся над нею, и его тонкие пальцы впились в зеленый слой лишайников на поверхности плиты. Сквозь него он прощупывал твердые выступы камня.

Так он сидел с минуту, с поднятым лицом и сдвинутыми бровями. Потом он начал читать:

— «...Игнатий прозванием Карий... року божого... пострелен из сайдака стрелою татарскою...»

— Это и мы могли еще разобрать, — сказал студент.

Пальцы слепого, нервно напряженные и изогнутые в суставах, спускались все ниже.

— «Которого убивши...»

— «...сила поганьская...» — живо подхватил студент, — эти слова стояли в описании смерти Юрка... значит, правда: и он тут же, под одной плитой...

— Да, «сила поганьская», — прочитал Петр, — дальше все исчезло... Постойте, вот еще: «порубан шаблями татарскими...», кажется, еще какое-то слово... но нет, больше ничего не сохранилось.

Действительно, дальше всякая память о бандуристе терялась в широкой язве полуторастолетней плиты...

Несколько секунд стояло глубокое молчание, нарушаемое только шорохом листьев. Оно было прервано протяжным благоговейным вздохом. Это Остап, хозяин левады и собственник по праву давности последнего жилища старого атамана, подошел к господам и с великим удивлением смотрел, как молодой человек с неподвижными глазами,

устремленными вверх, разбирал ощупью слова, скрытые от зрячих сотнями годов, дождями и непогодами.

— Сыла господня, — сказал он, глядя на Петра с благоговением. — Сыла божая открывае слипенькому, чего зрячи не бачуть очима.

— Понимаете ли теперь, панночка, почему мне вспомнился этот Юрко-бандурист? — спросил студент, когда старая коляска опять тихо двигалась по пыльной дороге, направляясь к монастырю. — Мы с братом удивлялись, как мог слепой сопровождать Карого с его летучими отрядами. Допустим, что в то время он был уже не кошейой, а просто ватажко. Известно, однако, что он всегда начальствовал отрядом конных казаков-охотников, а не простыми гайдамаками. Обыкновенно бандуристы были старцы нищие, ходившие от села к селу с сумой и песней... Только сегодня при взгляде на вашего Петра в моем воображении как-то сразу встала фигура слепого Юрка, с бандурой вместо рушницы за спиной и верхом на лошади...

— И может быть, он участвовал в битвах... В походах, во всяком случае, и в опасностях также... — продолжал молодой человек задумчиво. — Какие бывали времена на нашей Украине!

— Как это ужасно, — вздохнула Анна Михайловна.

— Как это было хорошо, — возражал молодой человек.

— Теперь ничего подобного не бывает, — резко сказал Петр, подъехавший тоже к экипажу. Подняв брови и насторожившись к топоту соседних лошадей, он заставил свою лошадь идти рядом с коляской... Его лицо было бледнее обыкновенного, выдавая глубокое волнение... — Теперь все это уже исчезло, — повторил он.

— Что должно было исчезнуть — исчезло, — сказал Максим как-то холодно. — Они жили по-своему, вы ищите своего...

— Вам хорошо говорить, — ответил студент, — вы взяли свое у жизни...

— Ну и жизнь взяла у меня мое, — усмехнулся старый гарибальдиец, глядя на свои костыли.

Потом, помолчав, он прибавил:

— Вздыхал и я когда-то о сечи, об ее бурной поэзии и воле... Был даже у Садыка в Турции<sup>1</sup>.

— И что же? — спросили молодые люди живо.

— Вылечился, когда увидел ваше «вольное казачество»

---

<sup>1</sup> Чайковский, украинец-романтик, известный под именем Садыка-паши, мечтал организовать казачество как самостоятельную политическую силу в Турции.

на службе у турецкого деспотизма... Исторический маскарад и шарлатанство!.. Я понял, что история выкинула уже всю эту ветошь на задворки и что главное не в этих красивых формах, а в целях... Тогда-то я и отправился в Италию. Даже не зная языка этих людей, я был готов умереть за их стремления.

Максим говорил серьезно и с какою-то искренней важностью. В бурных спорах, которые происходили у отца Ставрученка с сыновьями, он обыкновенно не принимал участия и только посмеивался, благодушно улыбаясь на апелляции к нему молодежи, считавшей его своим союзником. Теперь, сам затронутый отголосками этой трогательной драмы, так внезапно ожившей для всех над старым мшистым камнем, он чувствовал, кроме того, что этот эпизод из прошлого странным образом коснулся в лице Петра близкого им всем настоящего.

На этот раз молодые люди не возражали, может быть, под влиянием живого ощущения, пережитого за несколько минут в левые Остапа — могильная плита так ясно говорила о смерти прошлого, — а может быть, под влиянием импонирующей искренности старого ветерана...

— Что же остается нам? — спросил студент после минутного молчания.

— Та же вечная борьба.

— Где? В каких формах?

— Ищите, — ответил Максим кратко.

Раз оставив свой обычный, слегка насмешливый тон, Максим, очевидно, был расположен говорить серьезно. А для серьезного разговора на эту тему теперь уже не оставалось времени... Коляска подъехала к воротам монастыря, и студент, наклонясь, придержал за повод лошадь Петра, на лице которого, как в открытой книге, виднелось глубокое волнение.

### III

В монастыре обыкновенно смотрели старинную церковь и взбирались на колокольню, откуда открывался далекий вид. В ясную погоду старались увидеть белые пятнышки губернского города и излучины Днепра на горизонте.

Солнце уже склонялось, когда маленькое общество подошло к запертой двери колокольни, оставив Максима на крыльце одной из монашеских келий. Молодой тонкий послушник, в рясе и остроконечной шапке, стоял под сводом, держась одной рукой за замок запертой двери... Невдалеке, точно распуганная стая птиц, стояла кучка

детей; было видно, что между молодым послушником и этой стайкой резвых ребят происходило недавно какое-то столкновение. По его несколько воинственной позе и по тому, как он держался за замок, можно было заключить, что дети хотели проникнуть на колокольню вслед за господами, а послушник отгонял их. Его лицо было сердито и бледно, только на щеках пятнами выделялся румянец.

Глаза молодого послушника были как-то странно неподвижны... Анна Михайловна первая заметила выражение этого лица и глаз и нервно схватила за руку Эвелину.

— Слепой, — прошептала девушка с легким испугом.

— Тише, — ответила мать, — и еще... Ты замечаешь?

— Да...

Трудно было не заметить в лице послушника странного сходства с Петром. Та же нервная бледность, те же чистые, но неподвижные зрачки, то же беспокойное движение бровей, настораживавшихся при каждом новом звуке и бегавших над глазами, точно щупальца у испуганного насекомого... Его черты были грубее, вся фигура угловатее, — но тем резче выступало сходство. Когда он глухо закашлялся, схватившись за впалую грудь, Анна Михайловна смотрела на него широко раскрытыми глазами, точно перед ней вдруг появился призрак...

Перестав кашлять, он отпер дверь и, остановясь на пороге, спросил несколько надтреснутым голосом:

— Ребят нет?.. Кыш, проклятые! — мотнулся он в их сторону всем телом и притом, пропуская вперед молодых людей, сказал голосом, в котором слышалась какая-то вкрадчивость и жадность: — Звонарю пожертвуйте сколько-нибудь?.. Идите осторожно — темно...

Все общество стало подыматься по ступеням. Анна Михайловна, которая прежде колебалась перед неудобным и крутым подъемом, теперь с какою-то покорностью пошла за другими.

Слепой звонарь запер дверь... Свет исчез, и лишь через некоторое время Анна Михайловна, робко стоявшая внизу, пока молодежь, толкаясь, подымалась по извилинам лестницы, — могла разглядеть тусклую струйку сумеречного света, лившуюся из какого-то косоного пролета в толстой каменной кладке. Против этого луча слабо светилось несколько пыльных, неправильной формы камней.

— Дядько, дядюшка, пустить, — раздались из-за двери тонкие голоса детей. — Пустить, дядюшка, хороший.

Звонарь сердито кинулся к двери и неистово застучал кулаками по железной обшивке.

— Пошли, пошли, проклятые... Чтоб вас громом уби-



ло! — кричал он, хрипя и как-то захлебываясь от злости...

— Слепой черт, — ответили вдруг несколько звонких голосов, и за дверью раздался быстрый топот десятка босых ног...

Звонарь прислушался и перевел дух.

— Погибели на вас нет... на проклятых,, чтоб вас всех передушила хвороба... Ох, господи! Господи ты боже мой! Вскую мя оставил еси... — сказал он вдруг совершенно другим голосом, в котором слышалось отчаяние истрадавшего и глубоко измученного человека.

— Кто здесь?.. Зачем остался? — резко спросил он, наткнувшись на Анну Михайловну, застывшую у первых ступенек. — Идите, идите. Ничего, — прибавил он мягче. — Постойте, держитесь за меня... Пожертвование с вашей стороны звонарю будет? — опять спросил он прежним неприятно-вкрадчивым тоном.

Анна Михайловна вынула из кошелька и в темноте подала ему бумажку. Слепой быстро выхватил ее из протянутой к нему руки, и под тусклым лучом, к которому они уже успели подняться, она видела, как он приложил бумажку к щеке и стал водить по ней пальцем. Странно освещенное и бледное лицо, так похожее на лицо ее сына, исказилось вдруг выражением наивной и жадной радости.

— Вот за это спасибо. Вот спасибо. Столбовка настоящая... Я думал — вы на смех... посмеяться над слепеньким... Другие, бывает, смеются...

Все лицо бедной женщины было залито слезами. Она быстро отерла их и пошла кверху, где, точно падение воды за стеной, слышались гулкие шаги и смешанные голоса опередившей ее компании.

На одном из поворотов молодые люди остановились. Они поднялись уже довольно высоко, и в узкое окно вместе с более свежим воздухом проникла более чистая, хотя и рассеянная струйка света. Под ней на стене, довольно гладкой в этом месте, роились какие-то надписи. Это были по большей части имена посетителей.

Обмениваясь веселыми замечаниями, молодые люди находили фамилии своих знакомых.

— А вот и сентенция, — заметил студент и прочитал с некоторым трудом: — «Мнози суть начинающии, кончающии же в мале...» Очевидно, дело идет об этом восхождении, — прибавил он шутливо.

— Понимай как хочешь, — грубо ответил звонарь, поворачиваясь к нему ухом, и его брови заходили быстро и тревожно. — Тут еще стих есть, пониже. Вот бы тебе прочитать...

— Где стих? Нет никакого стиха.

— Ты вот знаешь, что нет, а я тебе говорю, что есть. От вас, зрячих, тоже сокрыто многое...

Он спустился на две ступеньки вниз и, пошарив рукой в темноте, где уже терялись последние слабые отблески дневного луча, сказал:

— Вот тут. Хороший стих, да без фонаря не прочитаете...

Петр поднялся к нему и, проведя рукой по стене, легко разыскал суровый афоризм, врезанный в стену каким-то, может быть более столетия уже умершим, человеком:

Помни смертный час,  
Помни трубный глас,  
Помни с жизнью разлуку,  
Помни вечную мýку...

— Тоже сентенция, — попробовал пошутить студент Ставрученко, но шутка как-то не вышла.

— Не нравится, — ехидно сказал звонарь. — Конечно, ты еще человек молодой, а тоже... Кто знает. Смертный час приходит яко тать в нощи... Хороший стих, — прибавил он опять как-то по-другому. — «Помни смертный час, помни трубный глас...» Да, что-то вот там будет, — закончил он опять довольно злобно.

Еще несколько ступеней, и они все вышли на первую площадку колокольни. Здесь было уже довольно высоко, но отверстие в стене вело еще более неудобным проходом выше. С последней площадки вид открылся широкий и восхитительный. Солнце склонилось на запад к горизонту, по низине легла длинная тень, на востоке лежала тяжелая туча, даль терялась в вечерней дымке, и только кое-где косые лучи выхватывали у синих теней то белую стену мазаной хатки, то загоревшееся рубином оконце, то живую искорку на кресте дальней колокольни.

Все притихли. Высокий ветер, чистый и свободный от испарений земли, тянулся в пролеты, шевеля веревки, и, заходя в самые колокола, вызывал по временам протяжные отголоски. Они тихо шумели глубоким металлическим шумом, за которым ухо ловило что-то еще, точно отдаленную невнятную музыку или глубокие вздохи меди. От всей расстилавшейся внизу картины веяло тихим спокойствием и глубоким миром.

Но тишина, водворившаяся среди небольшого общества, имела еще другую причину. По какому-то общему побуждению, вероятно вытекавшему из ощущения высоты и своей беспомощности, оба слепа подошли к углам пролетов

и стали, опершись на них обеими руками, повернув лица навстречу тихому вечернему ветру.

Теперь ни от кого уже не ускользнуло странное сходство. Звонарь был несколько старше; широкая ряса висела складками на тощем теле, черты лица были грубее и резче. При внимательном взгляде в них проступали и различия: звонарь был блондин, нос у него был несколько горбатый, губы тоньше, чем у Петра. Над губами пробивались усы, и кудрявая бородка окаймляла подбородок. Но в жестах, в нервных складках губ, в постоянном движении бровей было то удивительное, как бы родственное сходство, вследствие которого многие горбуны тоже напоминают друг друга лицом, как братья.

Лицо Петра было несколько спокойнее. В нем виднелась привычная грусть, которая у звонаря усиливалась острою желчностью и порой озлоблением. Впрочем, теперь и он, видимо, успокаивался. Ровное веяние ветра как бы разглаживало на его лице все морщины, разливая по нем тихий мир, лежавший на всей скрытой от незрячих взоров картине... Брови шевелились все тише и тише.

Но вот они опять дрогнули одновременно у обоих, как будто оба слышали внизу какой-то звук из долины, не слышный никому другому.

— Звонят, — сказал Петр.

— Это у Егорья за пятнадцать верст, — пояснил звонарь. — У них всегда на полчаса раньше нашего вечера... А ты слышишь? Я тожу слышу — другие не слышат... Хорошо тут, — продолжал он мечтательно. — Особливо в праздник. Слышали вы, как я звоню?

В вопросе звучало наивное тщеславие.

— Приезжайте послушать. Отец Памфилий... Вы не знаете отца Памфилия? Он для меня нарочно эти два подголоска выписал.

Он отделился от стены и любовно погладил рукой два небольших колокола, еще не успевших потемнеть, как другие.

— Славные подголоски... Так тебе и поют, так и поют... Особливо на пасху.

Он взял в руки веревки и быстрыми движениями пальцев заставил задрожать оба колокола мелкою мелодической дробью; прикосновения языков были так слабы и вместе так отчетливы, что перезвон был слышен всем, но звук, наверное, не распространялся дальше площадки колокольни.

— А тут тебе вот этот — бу-ух, бу-ух, бу-ух...

Теперь его лицо осветилось детской радостью, в которой, однако, было что-то жалкое и болезненное.

— Колокол-то вот выписал, — сказал он со вздохом, — а шубу новую не сошьет. Скупой! Простыл я на колокольне... Осенью всего хуже... Холодно...

Он остановился и, прислушавшись, сказал:

— Хромой вас кличет снизу. Ступайте, пора вам.

— Пойдем, — первая поднялась Эвелина, до тех пор неподвижно глядевшая на звонаря точно завороженная.

Молодые люди двинулись к выходу, звонарь остался наверху. Петр, шагнувший было вслед за матерью, круто остановился.

— Идите, — сказал он ей повелительно. — Я сейчас.

Шаги стихли, только Эвелина, пропустившая вперед Анну Михайловну, осталась, прижавшись к стене и затаив дыхание.

Слепые считали себя одинокими на вышке. Несколько секунд они стояли, неловкие и неподвижные, к чему-то прислушиваясь.

— Кто здесь? — спросил затем звонарь.

— Я...

— Ты тоже слепой?

— Слепой. А ты давно ослеп? — спросил Петр.

— Родился таким, — ответил звонарь. — Вот другой есть у нас, Роман, — тот семи лет ослеп... А ты ночь ото дня отличить можешь ли?

— Могу.

— И я могу. Чувствую, брезжит. Роман не может, а ему все-таки легче.

— Почему легче? — живо спросил Петр.

— Почему? Не знаешь почему? Он свет видал, свою матку помнит. Понял ты: заснет ночью, она к нему во сне и приходит... Только она старая теперь, а снится ему все молодая... А тебе снится ли?

— Нет, — глухо ответил Петр.

— То-то нет. Это дело бывает, когда кто ослеп. А кто уж так родился!..

Петр стоял сумрачный и потемневший, точно на лицо ему надвинулась туча. Брови звонаря тоже вдруг поднялись высоко над глазами, в которых виднелось так знакомое Эвелине выражение слепого страдания..

— И ты согрешаешь не однажды... Господи, создателю, божья мать пречистая!.. Дайте вы мне хоть во сне один раз свет-радость увидеть...

Лицо его передернулось судорогой, и он сказал с прежним желчным выражением:

— Так нет, не дают... Приснится что-то, забрезжит, а встанешь — не помнишь...

Он вдруг остановился и прислушался. Лицо его побледнело, и какое-то судорожное выражение исказило все черты.

— Чертенят впустили, — сказал он со злостью в голосе.

Действительно, снизу, из узкого прохода, точно шум наводнения, неслись шаги и крики детей. На одно мгновение все стихло — вероятно, толпа выбежала на среднюю площадку и шум выливался наружу. Но затем темный проход загудел, как труба, и мимо Эвелины, перегоняя друг друга, пронеслась веселая гурьба детей. У верхней ступеньки они остановились на мгновение, но затем один за другим стали шмыгать мимо слепого звонаря, который с искаженным от злобы лицом совал наудачу сжатыми кулаками, стараясь попасть в кого-нибудь из бежавших.

В проходе вынырнуло вдруг из темноты новое лицо. Это был, очевидно, Роман. Лицо его было широко, изрыто оспой и чрезвычайно добродушно. Закрытые веки скрывали впадины глаз, на губах играла добродушная улыбка.

Пройдя мимо прижавшейся к стене девушки, он поднялся на площадку. Размахнувшаяся рука его товарища попала ему сбоку в шею.

— Брат! — окликнул он приятным грудным голосом. — Егорий, опять воюешь?

Они столкнулись и ощупали друг друга.

— Зачем бисенят впустил? — спросил Егорий по-малорусски, все еще со злостью в голосе.

— Нехай соби, — благодушно ответил Роман... — Пташки божи. Ось як ты их налякав. Де вы тут, бисенята...

Дети сидели по углам у решеток, притаившись, и их глаза сверкали лукавством, а отчасти страхом.

Эвелина, неслышно ступая в темноте, сошла уже до половины первого прохода, когда за ней раздались уверенные шаги обоих слепых, а сверху донесся радостный визг и крики ребят, кинувшихся целую стаей на оставшегося с ними Романа.

Компания тихо выезжала из монастырских ворот, когда с колокольни раздался первый удар. Это Роман зазвонил к вечерне.

Солнце село, коляска катилась по потемневшим полям, провожаемая ровными меланхолическими ударами, замедлившимися в синих сумерках вечера.

Все молчали всю дорогу до самого дома. Вечером долго

не было видно Петра. Он сидел где-то в темном углу сада, не откликаясь на призывы даже Эвелины, и прошел ощупью в комнату, когда все легли...

#### IV

Попельские прожили еще несколько дней у Ставрученков. К Петру по временам возвращалось его недавнее настроение, он бывал оживлен и по-своему весел, пробовал играть на новых для него инструментах, коллекция которых у старшего из сыновей Ставрученка была довольна обширна и которые очень занимали Петра — каждый со своим особенным голосом, способным выражать особенные оттенки чувства. Но все же в нем была заметна какая-то омраченность, и минуты обычного состояния духа казались вспышками на общем все более темнеющем фоне.

Точно по безмолвному уговору, никто не возвращался к эпизоду в монастыре и вся эта поездка как будто выпала у всех из памяти и забылась. Однако было заметно, что она запала глубоко в сердце слепого. Всякий раз, оставшись наедине или в минуты общего молчания, когда его не развлекали разговоры окружающих, Петр глубоко задумывался и на лицо его ложилось выражение какой-то горечи. Это было знакомое всем выражение, но теперь оно казалось более резким и... сильно напоминало слепого звонаря.

За фортепьяно, в минуты наибольшей непосредственности, в его игру часто вплетался теперь мелкий перезвон колоколов и протяжные вздохи меди на высокой колокольне.. И то, о чем никто не решался заговорить, ясно вставало у всех в воображении: мрачные переходы, тонкая фигура звонаря с чахоточным румянцем, его злые окрики и желчный ропот на судьбу... А затем оба слепца в одинаковых позах на вышке, с одинаковым выражением лица, одинаковыми движениями чутких бровей... То, что близкие до сих пор считали личной особенностью Петра, теперь являлось общей печатью темной стихии, простиравшей свою таинственную власть одинаково на всех своих жертв.

— Послушай, Аня, — спросил Максим у сестры по возвращении домой. — Не знаешь ли ты, что случилось во время нашей поездки? Я вижу, что мальчик изменился именно с этого дня.

— Ах, это все из-за встречи со слепым, — ответила Анна Михайловна со вздохом.

Она недавно еще отослала в монастырь две теплые бараньи шубы и деньги с письмом к отцу Памфилию, прося его облегчить по возможности участь обоих слепцов.

У нее вообще было доброе сердце, но сначала она забыла о Ромаше, и только Эвелина напомнила ей, что следовало бы позаботиться об обоих. «Ах, да, да, конечно», — ответила Анна Михайловна, но было видно, что ее мысли заняты одним. К ее жгучей жалости примешивалось отчасти суевверное чувство: ей казалось, что этой жертвой она умиловит какую-то темную силу, уже надвигающуюся мрачной тенью над головой ее ребенка.

— С каким слепым? — переспросил Максим с удивлением.

— Да с этим... на колокольне...

Максим сердито стукнул костылем:

— Какое проклятье — быть безногим чурбаном! Ты забываешь, что я не лазаю по колокольням, а от баб, видно, не добьешься толку. Эвелина, попробуй хоть ты сказать разумно, что же такое было на колокольне?

— Там, — тихо ответила тоже побледневшая за эти дни девушка, — есть слепой звонарь... И он...

Она остановилась. Анна Михайловна закрыла ладонями пылающее лицо, по которому текли слезы.

— И он очень похож на Петра.

— И вы мне ничего не сказали! Ну что же дальше? Это еще недостаточная причина для трагедий, Аня, — прибавил он с мягким укором.

— Ах, это так ужасно, — ответила Анна Михайловна тихо.

— Что же ужасно? Что он похож на твоего сына?

Эвелина многозначительно посмотрела на старика, и он смолк. Через несколько минут Анна Михайловна вышла, а Эвелина осталась со своей всегдашней работой в руках.

— Ты сказала не все? — спросил Максим после минутного молчания.

— Да. Когда все сошли вниз, Петр остался. Он велел тете Ане (она так называла Попельскую с детства) уйти за всеми, а сам остался со слепым. И я... тоже осталась.

— Подслушивать? — сказал старый педагог почти машинально.

— Я не могла... уйти... — ответила Эвелина тихо. — Они разговаривали друг с другом, как...

— Как товарищи по несчастью?

— Да, как слепые... Потом Егор спросил у Петра, видит ли он во сне мать? Петр говорит: «Не вижу». И тот тоже не видит. А другой слепец, Роман, видит во сне свою мать молодую, хотя она уже старая...

— Так! Что же дальше?

Эвелина задумалась и потом, поднимая на старика свои синие глаза, в которых теперь виднелись борьба и страдание, сказала:

— Тот, Роман, добрый и спокойный. Лицо у него грустное, но не злое... Он родился зрячим... А другой... Он очень страдает, — вдруг свернула она.

— Говори, пожалуйста, прямо, — нетерпеливо перебил Максим, — другой озлоблен?..

— Да. Он хотел прибить детей и проклинал их. А Романа дети любят...

— Зол и похож на Петра... понимаю, — задумчиво сказал Максим.

Эвелина еще помолчала и затем, как будто эти слова стоили ей тяжелой внутренней борьбы, проговорила совсем тихо:

— Лицом оба не похожи... черты другие. Но в выражении. Мне казалось, что прежде у Петра бывало выражение немножко как у Романа, а теперь все чаще виден тот, другой... и еще... Я боюсь, я думаю...

— Что ты боишься? Поди сюда, моя умная крошка, — сказал Максим с необычной нежностью. И когда она, ослабевая от этой ласки, подошла к нему со слезами на глазах, он погладил ее шелковистые волосы своей большой рукой и сказал:

— Что же ты думаешь? Скажи. Ты, я вижу, умеешь думать.

— Я думаю, что... он считает теперь, что... все слепорожденные злые... И он уверял себя, что он тоже... непременно.

— Да, вот что... — проговорил Максим, вдруг отнимая руку. — Дай мне мою трубку, голубушка... Вон она там, на окне.

Через несколько минут над его головой взвилось синее облако дыма.

— Гм... да... плохо, — ворчал он про себя... — Я ошибся. Аня была права: можно грустить и страдать о том, чего не испытал ни разу. А теперь к инстинкту присоединилось сознание, и оба пойдут в одном направлении. Проклятый случай... А впрочем, шила, как говорится, в мешке не спрячешь... Все где-нибудь выставится...

Он совсем потонул в сизых облаках... В квадратной голове старика кипели какие-то мысли и новые решения.

## V

Пришла зима. Выпал глубокий снег и покрыл дороги, поля, деревни. Усадьба стояла вся белая, на деревьях ле-



жали пушистые хлопья, точно сад опять распустился белыми листьями... В большом камине потрескивал огонь, каждый входящий со двора вносил с собой свежесть и запах мягкого снега...

Поэзия первого зимнего дня была по-своему доступна слепому. Просыпаясь утром, он ощущал всегда особенную бодрость и узнавал приход зимы по топанию людей, входящих в кухню, по скрипу дверей, по острым, едва уловимым струйкам, разбегавшимся по всему дому, по скрипу шагов на дворе, по особенной «холодности» всех наружных звуков. И когда он выезжал с Иохимом по первопутку в поле, то слушал с наслаждением звонкий скрип саней и какие-то гулкие щелканья, которыми лес из-за речки обменивался с дорогой и полем.

На этот раз первый белый день повеял на него только большею грустью. Надев с утра высокие сапоги, он пошел, прокладывая рыхлый след по девственным еще дорожкам, к мельнице.

В саду было совершенно тихо. Смерзшаяся земля, покрытая пушистым мягким слоем, совершенно смолкла, не отдавая звуков, зато воздух стал как-то особенно чуток, отчетливо и полно переноса на далекие расстояния и крик вороны, и удар топора, и легкий треск обломавшейся ветки... По временам слышался странный звон, точно от стекла, переходивший на самые высокие ноты и замиравший как будто в огромном удалении. Это мальчишки кидали камни на деревенском пруду, покрывшемся к утру тонкой пленкой первого льда.

В усадьбе пруд тоже замерз, но речка у мельницы, отяжелевшая и темная, все еще сочилась в своих пушистых берегах и шумела на шлюзах.

Петр подошел к плотине и остановился, прислушиваясь. Звон воды был другой — тяжелее и без мелодии. В нем как будто чувствовался холод помертвевших окрестностей...

В душе Петра тоже было холодно и сумрачно. Темное чувство, которое еще в тот счастливый вечер поднималось из глубины души каким-то опасением, неудовлетворенностью и вопросом, теперь разрослось и заняло в душе место, принадлежавшее ощущениям радости и счастья.

Эвелины в усадьбе не было. Яскульские собрались с осени к «благодетельнице», старой графине Потоцкой, которая непременно требовала, чтобы старики привезли также дочь.

Эвелина сначала противилась, но потом уступила настояниям отца, к которым очень энергично присоединился Максим.

Теперь Петр, стоя у мельницы, вспоминал свои прежние ощущения, старался восстановить их прежнюю полноту и цельность и спрашивал себя, чувствует ли он ее отсутствие. Он его чувствовал, но сознавал также, что и присутствие ее не дает ему счастья, а приносит особенное страдание, которое без нее несколько притупилось.

Еще так недавно в его ушах звучали ее слова, вставляли все подробности первого объяснения, он чувствовал под руками ее шелковистые волосы, слышал у своей груди удары ее сердца. И из всего этого складывался какой-то образ, наполнявший его радостью. Теперь что-то бесформенное, как те призраки, которые населяли его темное воображение, ударило в этот образ мертвящим дуновением, и он разлетелся. Он уже не мог соединить свои воспоминания в ту гармоничную цельность чувства, которая переполняла его в первое время. Уже с самого начала на дне этого чувства лежало зернышко чего-то другого, и теперь это «другое» расстилось над ним, как стелется грозовая туча по горизонту.

Звуки ее голоса угасли, и на месте ярких впечатлений счастливого вечера зияла пустота. А навстречу этой пустоте из самой глубины души слепого подымалось что-то с тяжелым усилием, чтобы ее заполнить.

Он хотел ее видеть!

Прежде он только чувствовал тупое душевное страдание, но оно откладывалось в душе неясно, тревожило смутно, как ноющая зубная боль, на которую мы еще не обращаем внимания.

Встреча со слепым звонарем придала этой боли остроту сознанного страдания...

Он ее полюбил и хотел ее видеть!

Так шли дни за днями в притихшей и занесенной снегом усадьбе.

По временам, когда мгновения счастья вставляли перед ним, живые и яркие, Петр несколько оживлялся и лицо его прояснялось. Но это бывало ненадолго, а со временем даже эти светлые минуты приняли какой-то беспокойный характер: казалось, слепой боялся, что они улетят и никогда уже не вернуться. Это делало его обращение неровным: минуты порывистой нежности и сильного нервного возбуждения сменялись днями подавленной, беспросветной печали. В темной гостиной по вечерам рояль плакала и надрывалась глубокою и болезненною грустью, и каждый ее звук отзывался болью в сердце Анны Михайловны. Наконец худшие ее опасения сбылись: к юноше вернулись тревожные сны его детства.

Одним утром Анна Михайловна вошла в комнату сына. Он еще спал, но его сон был как-то странно тревожен: глаза полуоткрылись и тускло глядели из-под приподнятых век, лицо было бледно, и на нем виднелось выражение беспокойства.

Мать остановилась, окидывая сына внимательным взглядом, стараясь открыть причину странной тревоги. Но она видела только, что эта тревога все вырастает и на лице спящего обозначается все яснее выражение напряженного усилия.

Вдруг ей почудилось над постелью какое-то едва уловимое движение. Яркий луч ослепительного зимнего солнца, ударявший в стену над самым изголовьем, будто дрогнул и слегка скользнул вниз. Еще и еще... светлая полоска тихо прокрадывалась к полуоткрытым глазам, и по мере ее приближения беспокойство спящего все возрастало.

Анна Михайловна стояла неподвижно, в состоянии, близком к кошмару, и не могла оторвать испуганного взгляда от огненной полосы, которая, казалось ей, легкими, но все же заметными толчками все ближе надвигается к лицу ее сына. И это лицо все больше бледнело, вытягивалось, застывало в выражении тяжелого усилия. Вот желтоватый отблеск заиграл в волосах, затеплился на лбу юноши. Мать вся подалась вперед, в инстинктивном стремлении защитить его, но ноги ее не двигались, точно в настоящем кошмаре. Между тем веки спящего совсем приподнялись, в неподвижных глазах заискрились лучи, и голова заметно отделилась от подушки навстречу свету. Что-то вроде улыбки или плача пробежало судорожною вспышкой по губам, и все лицо опять застыло в неподвижном порыве.

Наконец мать победила оковавшую ее члены неподвижность и, подойдя к постели, положила руку на голову сына. Он вздрогнул и проснулся.

— Ты, мама? — спросил он.

— Да, это я.

Он приподнялся. Казалось, тяжелый туман застилал его сознание.

Но через минуту он сказал:

— Я опять видел сон... Я теперь часто вижу сны, но... ничего не помню...

## VI

Беспросветная грусть сменялась в настроении юноши раздражительной нервностью, и вместе с тем возрастала

замечательная тонкость его ощущений. Слух его чрезвычайно обострился; свет он ощущал всем своим организмом, и это было заметно даже ночью; он мог отличать лунные ночи от темных и нередко долго ходил по двору, когда все в доме спали, молчаливый и грустный, отдаваясь странному действию мечтательного и фантастического лунного света. При этом его бледное лицо всегда поворачивалось за плывшим по синему небу огненным шаром и глаза отражали искристый отблеск холодных лучей.

Когда же этот шар, все выраставший по мере приближения к земле, подергивался тяжелым красным туманом и тихо скрывался за снежным горизонтом, лицо слепого становилось спокойнее и мягче и он уходил в свою комнату.

О чем он думал в эти долгие ночи, трудно сказать. В известном возрасте каждый, кто только изведал радости и муки вполне сознательного существования, переживает в большей или меньшей степени состояние душевного кризиса. Останавливаясь на рубеже деятельной жизни, человек старается определить свое место в природе, свое значение, свои отношения к окружающему миру. Это своего рода «мертвая точка», и благо тому, кого размах жизненной силы проведет через нее без крупной ломки. У Петра этот душевный кризис еще осложнялся; к вопросу: «Зачем жить на свете?» — он прибавлял: «Зачем жить именно слепому?» Наконец, в самую эту работу нерадостной мысли вдвигалось еще что-то постороннее, какое-то почти физическое давление неутоленной потребности, и это отражалось на складе его характера.

Перед рождеством Яскульские вернулись, и Эвелина, живая и радостная, со снегом в волосах и вся обвеянная свежестью и холодом, прибежала из посессорского хутора в усадьбу и кинулась обнимать Анну Михайловну, Петра и Максима. В первые минуты лицо Петра осветилось неожиданною радостью, но затем на нем появилось опять выражение какой-то упрямой грусти.

— Ты думаешь, я люблю тебя? — резко спросил он в тот же день, оставшись наедине с Эвелиной.

— Я в этом уверена, — ответила девушка.

— Ну а я не знаю, — угрюмо возразил слепой. — Да, я не знаю. Прежде и я был уверен, что люблю тебя больше всего на свете, но теперь не знаю. Оставь меня, послушайся тех, кто зовет тебя к жизни, пока не поздно.

— Зачем ты мучишь меня? — вырвалась у нее тихая жалоба.

— Мучу? — переспросил юноша, и опять на его лице появилось выражение упрямого эгоизма.

— Ну да, мучу. И буду мучить. И буду мучить таким образом всю жизнь, и не могу не мучить. Я сам не знал этого, а теперь знаю. И я не виноват. Та самая рука, которая лишила меня зрения, когда я еще не родился, вложила в меня эту злобу... Мы все такие, рожденные слепыми. Оставьте меня... бросьте меня все, потому что я могу дать одно страдание взамен любви... Я хочу видеть — понимаешь? — хочу видеть и не могу освободиться от этого желания. Если б я мог увидеть таким образом мать, отца, тебя и Максима, я был бы доволен... Я запомнил бы, унес бы это воспоминание в темноту всей остальной жизни...

И он с замечательным упорством возвращался к этой идее. Оставаясь наедине, он брал в руки различные предметы, ощупывал их с небывалою внимательностью и потом, отложив их в сторону, старался вдумываться в изученные формы. Точно так же вдумывался он в те различия ярких цветных поверхностей, которые при напряженной чуткости нервной системы он смутно улавливал посредством осязания. Но все это проникало в его сознание именно только как различия, в своих взаимных отношениях, но без определенного чувственного содержания. Теперь даже солнечный день он отличал от ночной темноты лишь потому, что действие яркого света, проникавшего к мозгу недоступными сознанию путями, только сильнее раздражало его мучительные порывы.

## VII

Однажды, войдя в гостиную, Максим застал там Эвелину и Петра. Девушка казалась смущенной. Лицо Петра было мрачно. Казалось, разыскивать новые причины страдания и мучить ими себя и других стало для него чем-то вроде потребности.

— Вот он спрашивает, — сказала Эвелина Максиму, — что может означать выражение «красный звон»? Я не могу ему объяснить.

— В чем дело? — спросил Максим коротко, обращаясь к Петру.

Тот пожал плечами:

— Ничего особенного. Но если у звуков есть цвета и я их не вижу, то, значит, даже звуки не доступны мне во всей полноте.

— Пустяки и ребячество, — ответил Максим резко. — И ты сам хорошо знаешь, что это неправда. Звуки доступны тебе в большей полноте, чем нам.

— Но что же значит это выражение?.. Ведь должно же оно обозначать что-нибудь?

Максим задумался.

— Это простое сравнение, — сказал он. — Так как и звук и свет, в сущности, сводятся к движению, то у них должно быть много общих свойств.

— Какие же тут разумеются свойства? — продолжал упрямо допрашивать слепой. — «Красный» звон... какой он именно?

Максим задумался.

Ему пришло в голову объяснение, сводящееся к относительным цифрам колебаний, но он знал, что юноше нужно не это. При том же тот, кто первый употребил световой этикет, в применении к звуку, наверное, не знал физики, а между тем уловил какое-то сходство. В чем же оно заключается?

В уме старика зародилось некоторое представление.

— погоди, — сказал он. — Не знаю, впрочем, удастся ли мне объяснить тебе как следует... Что такое красный звон, ты можешь знать не хуже меня: ты слышал его не раз в городах в большие праздники, только в нашем краю не принято это выражение...

— Да, да, погоди, — сказал Петр, быстро открывая пианино.

Он ударил своею умелою рукой по клавишам, подражая праздничному колокольному перезвону. Иллюзия была полная. Аккорд из нескольких невысоких тонов составлял как бы фон поглубже, а на нем выделялись, прыгая и колеблясь, высшие ноты, более подвижные и яркие. В общем, это был именно тот высокий и возбужденно-радостный гул, который заполняет собою праздничный воздух.

— Да, — сказал Максим, — это очень похоже, и мы с открытыми глазами не сумели бы усвоить это лучше тебя. Вот, видишь ли... когда я смотрю на большую красную поверхность, она производит на мой глаз такое же беспоконное впечатление чего-то упруго-волнующегося. Кажется, будто эта краснота меняется: оставляя под собой более глубокий, темный фон, она кое-где выделяется более светлыми, быстро всплывающими и так же быстро упдающими взмахами, волнами, которые очень сильно действуют на глаз, — по крайней мере на мой глаз.

— Это верно, верно! — живо сказала Эвелина. — Я чувствую то же самое и не могу долго смотреть на красную суконную скатерть...

— Так же, как иные не выносят праздничного трезвона. Пожалуй, что мое сравнение и верно, и мне даже приходит в голову дальнейшее сопоставление: существует

также «малиновый» звон, как и малиновый цвет. Оба они очень близки к красному, но только глубже, ровнее и мягче. Когда колокольчик долго был в употреблении, то он, как говорят любители, вызванивается. В его звуке исчезают неровности, режущие ухо, и тогда-то звон этот зовут малиновым. Того же эффекта достигают умелым подбором нескольких подголосков.

Под руками Петра пианино зазвенело взмахами почтовых колокольчиков.

— Нет, — сказал Максим. — Я бы сказал, что это слишком красно...

— А, помню!

И инструмент зазвенел ровнее. Начавшись высоко, оживленно и ярко, звуки становились все глубже и мягче. Так звонит набор колокольцев под дугой русской тройки, уходящей по пыльной дороге в вечернюю безвестную даль, тихо, ровно, без громких размахов, все тише и тише, пока последние ноты не замрут в молчании спокойных полей.

— Вот-вот! — сказал Максим. — Ты понял разницу. Когда-то — ты был еще ребенком — мать пыталась объяснить тебе звуками краски.

— Да, я помню... Зачем ты запретил нам тогда продолжать? Может быть, мне удалось бы понять.

— Нет, — задумчиво ответил старик, — ничего бы не вышло. Впрочем, я думаю, что вообще на известной душевной глубине впечатления от цветов и от звуков откладываются уже как однородные. Мы говорим: он видит все в розовом свете. Это значит, что человек настроен радостно. То же настроение может быть вызвано известным сочетанием звуков. Вообще звуки и цвета являются символами одинаковых душевных движений.

Старик закурил свою трубку и внимательно посмотрел на Петра. Слепой сидел неподвижно и, очевидно, жадно ловил слова Максима. «Продолжать ли?» — подумал старик, но через минуту начал как-то задумчиво, будто невольно отдаваясь странному направлению своих мыслей:

— Да, да! Странные мысли приходят мне в голову... Случайность это или нет, что кровь у нас красная. Видишь ли... когда в голове твоей рождается мысль, когда ты видишь свои сны, от которых, проснувшись, дрожишь и плачешь, когда человек весь вспыхивает от страсти, — это значит, что кровь бьет из сердца сильнее и приливает ручьями к мозгу. Ну и она у нас красная...

— Красная... горячая... — сказал юноша вдумчиво...

— Именно — красная и горячая. И вот, красный цвет, как и «красные» звуки, оставляют в нашей душе свет,

возбуждение и представление о страсти, которую так и называют «горячею», кипучею, жаркою. Замечательно, что и художники считают красноватые тоны «горячими».

Затянувшись и окружив себя клубами дыма, Максим продолжал:

— Если ты взмахнешь рукой над своей головой, ты очертишь над ней полукруг. Теперь представь себе, что рука у тебя бесконечно длинна. Если бы ты мог тогда взмахнуть ею, то очертил бы полукруг в бесконечном отдалении... Так же далеко видим мы над собой полушаровой свод неба: оно ровно, бесконечно и сине... Когда мы видим его таким, в душе является ощущение спокойствия и ясности. Когда же небо закроют тучи взволнованными и мутными очертаниями, тогда и наша душевная ясность возмущается неопределенным волнением. Ты ведь чувствуешь, когда приближается грозовая туча...

— Да, я чувствую, как будто что-то смущает душу...

— Это верно. Мы ждем, когда из-за туч проглянет опять эта глубокая синева. Гроза пройдет, а небо над нею останется все то же; мы это знаем и потому спокойно переживаем грозу. Так вот, небо сине... Море тоже сине, когда спокойно. У твоей матери синие глаза. У Эвелины тоже.

— Как небо... — сказал слепой с внезапно проснувшейся нежностью.

— Да. Голубые глаза считаются признаком ясной души. Теперь я скажу тебе о зеленом цвете. Земля сама по себе черна, черны или серы стволы деревьев весной; но как только теплые и светлые лучи разогреют темные поверхности, из них ползут кверху зеленая трава, зеленые листья. Для зелени нужны свет и тепло, но только не слишком много тепла и света. Оттого зелень так приятна для глаза. Зелень — это как будто тепло в смешении с сырой прохладой: она возбуждает представление о спокойном довольстве, здоровье, но не о страсти и не о том, что люди называют счастьем... Понял ли ты?

— Н-нет... не ясно... но все же, пожалуйста, говори дальше.

— Ну что же делать!.. Слушай дальше. Когда лето разгорается все жарче, зелень как будто изнемогает от избытка жизненной силы, листья в истоме опускаются книзу, и, если солнечный зной не умеряется сырою прохладой дождя, зелень может совсем поблекнуть. Зато к осени среди усталой листвы наливается и алеет плод. Плод краснеет на той стороне, где больше света, в нем как будто сосредоточена вся сила жизни, вся страсть расти-



тельной природы. Ты видишь, что красный цвет и здесь цвет страсти, и он служит ее символом. Это цвет упоения, греха, ярости, гнева и мести. Народные массы во время мятежей ищут выражения общего чувства в красном знамени, которое развевается над ними, как пламя... Но ведь ты опять не понимаешь?..

— Все равно, продолжай!

— Наступает поздняя осень. Плод отяжелел; он срыгается и падает на землю. Он умирает, но в нем живет семя, а в этом семени живет в «возможности» и все будущее растение, с его будущей роскошной листвой и с его новым плодом. Семя падает на землю; а над землей низко подымается уже холодное солнце, бежит холодный ветер, несутся холодные тучи... Не только страсть, но и сама жизнь замирает тихо, незаметно... Земля все больше проступает из-под зелени своей чернотой, в небе господствуют холодные тоны... И вот наступает день, когда на эту смирившуюся и притихшую, будто овдовевшую землю падают миллионы снежинок и вся она становится ровна, одноцветна и бела... Белый цвет — это цвет холодного снега, цвет высочайших облаков, которые плывут в недостижимом холоде поднебесных высот, — цвет величавых и бесплодных горных вершин... Это — эмблема бесстрастия и холодной, высокой святости, эмблема будущей бесплотной жизни. Что же касается черного цвета...

— Знаю, — перебил слепой. — Это — нет звуков, нет движений... ночь...

— Да, и потому это — эмблема печали и смерти...

Петр вздрогнул и сказал глухо:

— Ты сам сказал: смерти. А ведь для меня все черно... всегда и всюду черно!

— Неправда, — резко ответил Максим, — для тебя существуют звуки, тепло, движение... ты окружен любовью... Многие отдали бы свет очей за то, чем ты пренебрегаешь, как безумец... Но ты слишком эгоистично носишься со своим горем...

— Да! — воскликнул Петр страстно. — Я ношусь с ним поневоле; куда же мне уйти от него, когда оно всюду со мной?

— Если бы ты мог понять, что на свете есть горе во сто раз больше твоего, такое горе, в сравнении с которым твоя жизнь, обеспеченная и окруженная участием, может быть названа блаженством, — тогда...

— Неправда, неправда! — гневно перебил слепой тем же тоном страстного возбуждения. — Я поменялся бы с последним нищим, потому что он счастливее меня. Да

и слепых вовсе не нужно окружать заботой: это большая ошибка... Слепых нужно выводить на дорогу и оставлять там — пусть просят милостыню. Если б я был просто нищим, я был бы менее несчастен. С утра я думал бы о том, чтобы достать обед, считал бы подаваемые копейки и боялся бы, что их мало. Потом радовался бы удачному сбору, потом старался бы собрать на ночлег. А если бы это не удалось, я страдал бы от голода и холода... и все это не оставляло бы мне ни минуту и... и... от лишений я страдал бы менее, чем страдаю теперь...

— Ты думаешь? — спросил Максим холодно и посмотрел в сторону Эвелины. Во взгляде старика мелькнули сожаление и участие. Девушка сидела серьезная и бледная.

— Уверен, — ответил Петр упрямо и жестко. — Я теперь часто завидую Егору, тому, что на колокольне. Часто, просыпаясь под утро, особенно когда на дворе метель и вьюга, я вспоминаю Егора: вот он подымается на свою вышку...

— Ему холодно, — подсказал Максим.

— Да, ему холодно, он дрожит и кашляет. И он прокликает Памфилия, который не заведет ему шубы. Потом он берет иззябшими руками веревки и звонит к заутрене. И забывает, что он слепой... Потому что тут было бы холодно и не слепому... А я не забываю, и мне...

— И тебе не за что проклинать!..

— Да! Мне не за что проклинать! Моя жизнь наполнена одной слепотой. Никто не виноват, но я несчастнее всякого нищего...

— Не стану спорить, — холодно сказал старик. — Может быть, это и правда. Во всяком случае, если тебе и было бы хуже, то, может быть, сам ты был бы лучше.

Он еще раз бросил взгляд сожаления в сторону девушки и вышел из комнаты, стуча костылями.

Душевное состояние Петра после этого разговора еще обострилось, и он еще более погрузился в свою мучительную работу.

Иногда ему удавалось: он находил на мгновение те ощущения, о которых говорил Максим, и они присоединялись к его пространственным представлениям. Темная и грустная земля уходила куда-то вдаль: он мерил ее и не находил ей конца. А над нею было что-то другое... В воспоминаниях прокатывался гулкий гром, вставало представление о шире и небесном просторе. Потом гром смолкал, но что-то там, вверху, оставалось, — что-то, рождавшее в душе ощущение величия и ясности. Порой это ощущение определялось: к нему присоединялся голос Эвелины и

матери, «у которых глаза как небо»; тогда возникающий образ, выплывший из далекой глубины воображения и слишком определившийся, вдруг исчезал, переходя в другую область.

Все эти темные представления мучили и не удовлетворяли. Они стоили больших усилий и были так неясны, что в общем он чувствовал лишь неудовлетворенность и тупую душевную боль, которая сопровождала все потуги больной души, тщетно стремившейся восстановить полноту своих ощущений.

## VIII

Подошла весна.

Верстах в шестидесяти от усадьбы Попельских, в сторону, противоположную от Ставрученков, в небольшом городишке была чудотворная католическая икона. Знатоки дела определили с полной точностью ее чудодейственную силу: всякий, кто приходил к иконе в день ее праздника пешком, пользовался «двадцатью днями отпущения», то есть все его беззакония, совершенные в течение двадцати дней, должны были идти на том свете насмарку. Поэтому каждый год, ранней весной, в известный день небольшой городок оживает и становится неузнаваем. Старая церковка принаряжалась к своему празднику первую зеленью и первыми весенними цветами, над городом стоял радостный звон колокола, грохотали «брички» панов, и богомольцы располагались густыми толпами по улицам, на площадях и даже далеко в поле. Тут были не одни католики. Слава N-ской иконы гремела далеко, и к ней приходили также недугующие и огорченные православные, преимущественно из городского класса.

В самый день праздника по обе стороны «каплицы» народ вытянулся по дороге несметною пестрою вереницей. Тому, кто посмотрел бы на это зрелище с вершины одного из холмов, окружавших местечко, могло бы показаться, что это гигантский зверь растянулся по дороге около часовни и лежит тут неподвижно, по временам только пошевеливая матовую чешуей разных цветов. По обеим сторонам занятой народом дороги в два ряда вытянулось целое полчище нищих, протягивавших руки за подающим.

Максим на своих костылях и рядом с ним Петр об руку с Иохимом тихо двигались вдоль улицы, которая вела к выходу в поле.

Говор многоголосой толпы, выкрикивание евреев-факторов, стук экипажей — весь этот грохот, катившийся какую-то гигантскою волной, остался сзади, сливаясь

в одно непрерывное, колыхавшееся подобно волне рокотание. Но и здесь, хотя толпа была реже, все же то и дело слышались топот пешеходов, шуршание колес, людской говор. Целый обоз чумаков выезжал со стороны поля и, поскрипывая, грузно сворачивал в ближайший переулок.

Петр рассеянно прислушивался к этому живому шуму, послушно следуя за Максимом; он то и дело запахивал пальто, так как было холодно, и продолжал на ходу ворочать в голове свои тяжелые мысли.

Но вдруг среди этой эгоистической сосредоточенности что-то поразило его внимание так сильно, что он вздрогнул и внезапно остановился.

Последние ряды городских зданий кончились здесь, и широкая трактовая дорога входила в город среди заборов и пустырей. У самого выхода в поле благочестивые руки воздвигли когда-то каменный столб с иконой и фонарем, который, впрочем, скрипел только вверху от ветра, но никогда не зажигался. У самого подножия этого столба расположились кучкой слепые нищие, оттертые своими зрячими конкурентами с более выгодных мест. Они сидели с деревянными чашками в руках, и по временам кто-нибудь затягивал жалобную песню:

— Под-дайте слипеньким... ра-а-ди Христа...

День был холодный, нищие сидели здесь с утра, открытые свежему ветру, налетавшему с поля. Они не могли двигаться среди этой толпы, чтобы согреться, и в их голосах, тянувших по очереди унылую песню, слышалась безотчетная жалоба физического страдания и полной беспомощности. Первые ноты слышались еще довольно отчетливо, но затем из сдавленных грудей вырывался только жалобный ропот, замиравший тихую дрожью озноба. Тем не менее даже последние, самые тихие звуки песни, почти терявшиеся среди уличного шума, достигая человеческого слуха, поражали всякого громадностью заключенного в них непосредственного страдания.

Петр остановился, и его лицо исказилось, точно какой-то слуховой призрак явился перед ним в виде этого страдальческого вопля.

— Что же ты испугался? — спросил Максим. — Это те самые счастливы, которым ты недавно завидовал, — слепые нищие, которые просят здесь милостыню... Им немного холодно, конечно. Но ведь от этого, по-твоему, им только лучше.

— Уйдем! — сказал Петр, хватая его за руку.

— А, ты хочешь уйти! У тебя в душе не найдется дру-

гого побуждения при виде чужих страданий! Пстой, я хочу поговорить с тобой серьезно и рад, что это будет именно здесь. Ты вот сердисься, что времена изменились, что теперь слепых не рубят в ночных сечах, как Юрка-бандуриста; ты досадуешь, что тебе некого проклинать, как Егору, а сам проклинаешь в душе своих близких за то, что они отняли у тебя счастливую долю этих слепых. Клянусь честью, ты, может быть, прав! Да, клянусь честью старого солдата, всякий человек имеет право располагать своей судьбой, а ты уже человек. Слушай же теперь, что я скажу тебе: если ты захочешь исправить нашу ошибку, если ты швырнешь судьбе в глаза все преимущества, которыми жизнь окружила тебя с колыбели, и захочешь испытать участь вот этих несчастных... я, Максим Яценко, обещаю тебе свое уважение, помощь и содействие... Слышишь ты меня, Петр Яценко? Я был немногим старше тебя, когда понес свою голову в огонь и сечу... Обо мне тоже плакала мать, как будет плакать о тебе. Но черт возьми! Я полагаю, что был в своем праве, как и ты теперь в своем!.. Раз в жизни к каждому человеку приходит судьба и говорит: выбирай! Итак, тебе стоит захотеть... Хведор Кандыба, ты здесь? — крикнул он по направлению к слепым.

Один голос отделился от скрипучего хора и ответил:

— Тут я... Это вы кличете, Максим Михайлович?

— Я! Приходи через неделю, куда я сказал.

— Приду, паночку. — И голос слепца опять примкнул к хору.

— Вот, ты увидишь человека, — сказал, сверкая глазами, Максим, — который вправе роптать на судьбу и на людей. Поучись у него переносить свою долю... А ты...

— Пойдем, паничу, — сказал Иохим, кидая на старика сердитый взгляд.

— Нет, пстой! — гневно крикнул Максим. — Никто еще не прошел мимо слепых, не кинув им хоть пятака... Неужели ты убежишь, не сделав даже этого? Ты умеешь только кошунствовать со своею сытою завистью к чужому голоду!..

Петр поднял голову, точно от удара кнутом. Вынув из кармана свой кошелек, он пошел по направлению к слепым. Нащупав палкою переднего, он разыскал рукой деревянную чашку с медью и бережно положил туда свои деньги. Несколько прохожих остановились и смотрели с удивлением на богато одетого и красивого панича, который ощупью подавал милостыню слепому, принимавшему ее также ощупью.

Между тем Максим круто повернулся и заковылял по улице. Его лицо было красно, глаза горели... С ним была, очевидно, одна из тех вспышек, которые были хорошо известны всем, знавшим его в молодости. И теперь это был уже не педагог, взвешивающий каждое слово, а страстный человек, давший волю гневному чувству. Только кинув искоса взгляд на Петра, старик как будто смягчился. Петр был бледен как бумага, но брови его были сжаты, а лицо глубоко взволнованно.

Холодный ветер взметал за ними пыль на улицах местечка. Сзади, среди слепых, поднялся говор и ссоры из-за данных Петром денег...

## IX

Было ли это следствием простуды, или разрешением долгого душевного кризиса, или, наконец, то и другое соединилось вместе, но только на другой день Петр лежал в своей комнате в нервной горячке. Он метался в постели с искаженным лицом, по временам к чему-то прислушиваясь, и куда-то порывался бежать. Старый доктор из местечка щупал пульс и говорил о холодном осеннем ветре; Максим хмурил брови и не глядел на сестру.

Болезнь была упорна. Когда наступил кризис, больной лежал несколько дней почти без движения. Наконец молодой организм победил.

Раз светлым осенним утром яркий луч прорвался в окно и упал к изголовью больного. Заметив это, Анна Михайловна обратилась к Эвелине:

— Задерни занавеску... Я так боюсь этого света...

Девушка поднялась, чтобы исполнить приказание, но неожиданно раздавшийся, в первый раз, голос больного остановил ее:

— Нет, ничего. Пожалуйста... оставьте так...

Обе женщины радостно склонились над ним.

— Ты слышишь?.. Я здесь!.. — сказала мать.

— Да! — ответил он и потом смолк, будто стараясь что-то припомнить.

— Ах да!.. — заговорил он тихо и вдруг попытался подняться. — Тот... Федор приходил уже? — спросил он.

Эвелина переглянулась с Анной Михайловной, и та закрыла ему рот рукой:

— Тише, тише! Не говори: тебе вредно.

Он прижал руку матери к губам и покрыл ее поцелуями.

На его глазах стояли слезы. Он долго плакал, и это его облегчило.

Несколько дней он был как-то кротко задумчив, и на лице его появлялось выражение тревоги всякий раз, когда мимо комнаты проходил Максим. Женщины заметили это и попросили Максима держаться подальше.

Но однажды Петр сам попросил позвать его и оставить их вдвоем.

Войдя в комнату, Максим взял его за руку и ласково погладил ее.

— Ну-ну, мой мальчик, — сказал он. — Я, кажется, должен попросить у тебя прощения...

— Я понимаю, — тихо сказал Петр, отвечая на пожатие. — Ты дал мне урок, и я тебе за него благодарен.

— К черту уроки! — ответил Максим с гримасой нетерпения. — Слишком долго оставаться педагогом — это ужасно оглуляет. Нет, этот раз я не думал ни о каких уроках, а просто очень рассердился на тебя и на себя.

— Значит, ты действительно хотел, чтобы?..

— «Хотел, хотел»!.. Кто знает, чего хочет человек, когда взбесится... Я хотел, чтобы ты почувствовал чужое горе и перестал так носиться со своим...

Оба замолчали...

— Эта песня, — через минуту сказал Петр, — я помнил ее даже во время бреда... А кто этот Федор, которого ты звал?

— Федор Кандыба, мой старый знакомый.

— Он тоже... родился слепым?

— Хуже: ему выжгло глаза на войне.

— И он ходит по свету и поет эту песню?

— Да, и кормит ею целый выводок сирот племянников. И еще находит для каждого веселое слово и шутку...

— Да? — задумчиво переспросил Петр. — Как хочешь, в этом есть какая-то тайна. И я хотел бы...

— Чего ты хотел бы, мой мальчик?..

Через несколько минут послышались шаги, и Анна Михайловна вошла в комнату, тревожно вглядываясь в их лица, видимо взволнованные разговором, который оборвался с ее приходом.

Молодой организм, раз победив болезнь, быстро справлялся с ее остатками. Недели через две Петр был уже на ногах.

Он сильно изменился, изменились даже черты лица — в них не было заметно прежних припадков острого внутреннего страдания. Резкое нравственное потрясение перешло теперь в тихую задумчивость и спокойную грусть.

Максим боялся, что это только временная перемена, вызванная тем, что нервная напряженность ослаблена

болезнью. Однажды в сумерки, подойдя в первый раз после болезни к фортепьяно, Петр стал по обыкновению фантазировать. Мелодии звучали грустные и ровные, как его настроение.

Но вот внезапно среди звуков, полных тихой печали, прорвались первые ноты песни слепых. Мелодия сразу распалась... Петр быстро поднялся, его лицо было искажено, и на глазах стояли слезы. Видимо, он не мог еще справиться с сильным впечатлением жизненного диссонанса, явившегося ему в форме этой скрипучей и тяжелой жалобы.

В этот вечер Максим опять долго говорил с Петром наедине. После этого проходили недели, и настроение слепого оставалось все тем же. Казалось, слишком острое и эгоистическое сознание личного горя, вносившее в душу пассивность и угнетавшее врожденную энергию, теперь дрогнуло и уступило место чему-то другому. Он опять ставил себе цели, строил планы; жизнь зарождалась в нем, надломленная душа давала побегу, как захиревшее деревцо, на которое весна пахнула живительным дыханием... Было, между прочим, решено, что еще этим летом Петр поедет в Киев, чтобы с осени начать уроки у известного пианиста. При этом оба они с Максмом настояли, что они поедут только вдвоем.

## Х

Теплою июльскою ночью бричка, запряженная парюю лошадей, остановилась на ночлеге в поле, у опушки леса. Утром, на самой заре, двое слепых прошли шляхом. Один вертел рукоятку примитивного инструмента: деревянный валик кружился в отверстии пустого ящика и терся о туго натянутые струны, издававшие однотонное и печальное жужжание. Несколько гнусавый, но приятный старческий голос пел утреннюю молитву.

Проезжавшие дорогой хохлы с таранью видели, как слепцов подозвали к бричке, около которой на разостланном ковре сидели кочевавшие в степи господа. Когда через некоторое время обозчики остановились на водопой у криницы, то мимо них опять прошли слепцы, но на этот раз их уже было трое. Впереди, постукивая перед собой длинной палкой, шел старик с развевающимися седыми волосами и длинными белыми усами. Лоб его был покрыт старыми язвами, как будто от ожога; вместо глаз были только впадины. Через плечо у него была надета широкая тесьма, привязанная к поясу следующего. Второй был рослый детина, с желчным лицом, сильно изрытым оспой. Оба они шли привычным шагом, подняв незрячие



лица кверху, как будто разыскивая там свою дорогу. Третий был совсем юноша, в новой крестьянской одежде, с бледным и как будто слегка испуганным лицом; его шаги были неуверенные, и по временам он останавливался, как будто прислушиваясь к чему-то назади и мешая движению товарищей.

Часам к десяти они ушли далеко. Лес остался синей полосой на горизонте. Кругом была степь, и впереди слышался звон разогреваемой солнцем проволоки на шоссе, пересекавшем пыльный шлях. Слепцы вышли на него и повернули вправо, когда сзади послышался топот лошадей и сухой стук кованых колес по щебню. Слепцы выстроились у края дороги. Опять зажужжало деревянное кольцо по струнам, и старческий голос затянул:

— Под-дайте сли-пеньким... — К жужжанию колеса присоединился тихий перебор струн под пальцами юноши.

Монета зазвенела у самых ног старого Кандыбы. Стук колес смолк; видимо, проезжающие остановились, чтобы посмотреть, найдут ли слепые монету. Кандыба сразу нашел ее, и на лице появилось довольное выражение.

— Бог спасет, — сказал он по направлению к бричке, в сиденье которой виднелась квадратная фигура седого господина, и два костыля торчали сбоку.

Старик внимательно смотрел на юношу-слепца... Тот стоял бледный, но уже успокоившийся. При первых же звуках песни его руки нервно забегали по струнам, как будто покрывая их звоном ее резкие ноты... Бричка опять тронулась, но старик долго оглядывался назад.

Вскоре стук колес замолк в отдалении. Слепцы опять вытянулись в линию и пошли по шоссе...

— У тебя, Юрий, легкая рука, — сказал старик. — И играешь славно...

Через несколько минут средний слепец спросил:

— По обещанию идешь в Почаев?.. Для бога?

— Да, — тихо ответил юноша.

— Думаешь, прозришь?.. — спросил тот опять с горькой улыбкой.

— Бывает, — мягко сказал старик.

— Давно хожу, а не встречал, — угрюмо возразил рябой; и они опять пошли молча. Солнце подымалось все выше, виднелись только белая линия шоссе, прямого как стрела, темные фигуры слепых и впереди черная точка проехавшего экипажа. Затем дорога разделилась. Бричка направилась к Киеву, слепцы опять свернули проселками на Почаев..

Вскоре из Киева пришло в усадьбу письмо от Максима.

Он писал, что оба они здоровы и что все устраивается хорошо.

А в это время трое слепых двигались все дальше. Теперь все шли уже согласно. Впереди, все так же постукивая палкой, шел Кандыба, отлично знавший дорогу и поспевавший в большие села к праздникам и базарам. Народ собирался на стройные звуки маленького оркестра, и в шапке Кандыбы то и дело звякали монеты.

Волнение и испуг на лице юноши давно исчезли, уступая место другому выражению. С каждым новым шагом навстречу ему лились новые звуки неведомого широкого, необъятного мира, сменившего теперь ленивый и убаюкивающий шорох тихой усадьбы... Незрячие глаза расширялись, ширилась грудь, слух еще обострялся; он узнавал своих спутников — добродушного Кандыбу и желчного Кузьму, долго брел за скрипучими возами чумаков, ночевал в степи у огней, слушая гомон ярмарок и базаров, узнавал горе, слепое и зрячее, от которого не раз больно сжималось его сердце... И странное дело — теперь он находил в своей душе место для всех этих ощущений. Он совершенно одолел песню слепых, и день за днем под гул этого великого моря все более стихали на дне души личные порывания к невозможному... Чуткая память ловила всякую новую песню и мелодию, а когда дорогой он начинал перебирать свои струны, то даже на лице желчного Кузьмы появлялось спокойное умиление. По мере приближения к Почаеву банда слепых все росла.

Позднее осенью по дороге, занесенной снегами, к великому удивлению всех в усадьбе, панич неожиданно вернулся с двумя слепцами в нищенской одежде. Кругом говорили, что он ходил в Почаев по обету, чтобы вымолить у почаевской богоматери исцеление.

Впрочем, глаза его оставались по-прежнему чистыми и по-прежнему незрячими. Но душа несомненно исцелилась. Как будто страшный кошмар навсегда исчез из усадьбы... Когда Максим, продолжавший писать из Киева, наконец вернулся тоже, Анна Михайловна встретила его фразой: «Я никогда, никогда не прощу тебе этого». Но лицо ее противоречило суровым словам...

Долгими вечерами Петр рассказывал о своих странствиях, и в сумерки фортепьяно звучало новыми мелодиями, каких никто не слышал у него раньше... Поездка в Киев была отложена на год, вся семья жила надеждами и планами Петра...

I

В ту же осень Эвелина объявила старикам Яскульским свое неизменное решение выйти за слепого «из усадьбы». Старушка мать заплакала, а отец, помолившись перед иконами, объявил, что, по его мнению, именно такова воля божия относительно данного случая.

Сыграли свадьбу. Для Петра началось молодое тихое счастье, но сквозь это счастье все же пробивалась какая-то тревога: в самые светлые минуты он улыбался так, что сквозь эту улыбку виднелось грустное сомнение, как будто он не считает этого счастья законным и прочным. Когда же ему сообщили, что, быть может, он станет отцом, он встретил это сообщение с выражением испуга.

Тем не менее настоящая его жизнь, проходившая в серьезной работе над собой, в тревожных думах о жене и будущем ребенке, не позволяла ему сосредоточиваться на прежних бесплодных потугах. По временам также среди этих забот в его душе поднимались воспоминания о жалобном вопле слепых. Тогда он отправлялся в село, где на краю стояла теперь новая изба Федора Кандыбы и его рябого племянника. Федор брал свою кобзу, или они долго разговаривали, и мысли Петра принимали спокойное направление, а его планы опять крепили.

Теперь он стал менее чувствителен к внешним световым побуждениям, а прежняя внутренняя работа улеглась. Тревожные органические силы уснули: он не будил их сознательным стремлением воли — слить в одно целое разнородные ощущения. На месте этих бесплодных потуг стояли живые воспоминания и надежды. Но кто знает, — быть может, душевное затишье только способствовало бессознательной органической работе, и эти смутные разрозненные ощущения тем успешнее прокладывали в его мозгу пути по направлению друг к другу. Так, во сне мозг часто свободно творит идеи и образы, которых ему никогда бы не создать при участии воли.

II

В той самой комнате, где некогда родился Петр, стояла тишина, среди которой раздавался только всхлипывающий плач ребенка. Со времени его рождения прошло уже несколько дней, и Эвелина быстро поправилась. Но зато Петр все эти дни казался подавленным сознанием какого-то близкого несчастья.

Приехал доктор. Взяв ребенка на руки, он перенес и уложил его поближе к окну. Быстро отдернув занавеску, он пропустил в комнату луч яркого света и наклонился над мальчиком с своими инструментами. Петр сидел тут же, с опущенной головой, все такой же подавленный и безучастный. Казалось, он не придавал действиям доктора ни малейшего значения, предвидя вперед результаты.

— Он, наверное, слеп, — твердил он. — Ему не следовало бы родиться.

Молодой доктор не отвечал и молча продолжал свои наблюдения. Наконец он положил офтальмоскоп, и в комнате раздался его уверенный, спокойный голос:

— Зрачок сокращается. Ребенок видит несомненно.

Петр вздрогнул и быстро встал на ноги. Это движение показывало, что он слышал слова доктора, но, судя по выражению его лица, он как будто не понял их значения. Опершись дрожащей рукой на подоконник, он застыл на месте с бледным, приподнятым кверху лицом и неподвижными чертами.

До этой минуты он находился в состоянии странного возбуждения. Он будто не чувствовал себя, но вместе с тем все фибры в нем жили и трепетали от ожидания.

Он сознавал темноту, которая его окружала. Он ее выдслил, чувствовал ее вне себя, во всей ее необъятности. Она надвигалась на него, он охватывал ее воображением, как будто меряясь с нею. Он вставал ей навстречу, желая защитить своего ребенка от этого необъятного колеблющегося океана непроницаемой тьмы.

И пока доктор в молчании делал свои приготовления, он все находился в этом состоянии. Он боялся и прежде, но прежде в его душе жили еще признаки надежды. Теперь страх, томительный и ужасный, достиг крайнего напряжения, овладев возбужденными до последней степени нервами, а надежда замерла, скрывшись где-то в глубоких тайниках его сердца. И вдруг эти два слова: «ребенок видит!» — перевернули его настроение. Страх мгновенно схлынул, надежда так же мгновенно превратилась в уверенность, осветив чутко приподнятый душевный строй слепого. Это был внезапный переворот, настоящий удар, ворвавшийся в темную душу поражающим, ярким, как молния, лучом. Два слова доктора будто прожгли в его мозгу огненную дорогу... Будто искра вспыхнула где-то внутри и осветила последние тайники его организма... все в нем дрогнуло, и сам он задрожал, как дрожит туго натянутая струна под внезапным ударом.

И вслед за этой молнией перед его потухшими еще до рождения глазами вдруг зажглись странные призраки. Были ли это лучи или звуки, он не отдавал себе отчета. Это были звуки, которые оживали, принимали формы и двигались лучами. Они сияли, как купол небесного свода, они катились, как яркое солнце по небу, они волновались, как волнуется шелот и шелест зеленой степи, они качались, как ветви задумчивых буков.

Это было только первое мгновение, и только смешанные ощущения этого мгновения остались у него в памяти. Все остальное он впоследствии забыл. Он только упорно утверждал, что в эти несколько мгновений он видел.

Что именно он видел, и как видел, и видел ли действительно — осталось совершенно неизвестным. Многие говорили ему, что это невозможно, но он стоял на своем, уверяя, что видел небо и землю, мать, жену и Максима.

В течение нескольких секунд он стоял с приподнятым кверху и просветлевшим лицом. Он был так странен, что все невольно обратились к нему и кругом все смолкло. Всем казалось, что человек, стоявший среди комнаты, был не тот, которого они так хорошо знали, а какой-то другой, незнакомый. А тот, прежний, исчез, окруженный внезапно опустившеюся на него тайною.

И он был с этой тайной наедине несколько кратких мгновений... Впоследствии от них остались только чувство какого-то удовлетворения и странная уверенность, что тогда он видел.

Могло ли это быть на самом деле?

Могло ли быть, чтобы смутные и неясные световые ощущения, пробивавшиеся к темному мозгу неизвестными путями в те минуты, когда слепой весь трепетал и напрягался навстречу солнечному дню, — теперь, в минуту внезапного экстаза, всплыли в мозгу, как проявляющийся туманный негатив?..

И перед незрячими глазами встало синее небо, и яркое солнце, и прозрачная река с холмиком, на котором он пережил так много и так часто плакал еще ребенком... И потом и мельница, и звездные ночи, в которые он так мучился, и молчаливая грустная луна... И пыльный шлях, и линия шоссе, и обозы с сверкающими шинами колес, и пестрая толпа, среди которой он сам пел песню слепых...

Или в его мозгу зародились фантастическими призраками неведомые горы, и легли вдаль неведомые равнины, и чудные призрачные деревья качались над гладью неведомых рек, и прозрачное солнце заливало эту картину

ярким светом, — солнце, на которое смотрели бесчисленные поколения его предков?

Или все это роилось бесформенными ощущениями в той глубине темного мозга, о которой говорил Максим и где лучи и звуки откладываются одинаково весельем или грустью, радостью или тоской?..

И он только вспоминал впоследствии стройный аккорд, прозвучавший на мгновение в его душе, — аккорд, в котором сплелись в одно целое все впечатления его жизни, ощущения природы и живая любовь.

Кто знает?

Он помнил только, как на него спустилась эта тайна и как она его оставила. В это последнее мгновение образы-звуки сплелись и смешались, звеня и колеблясь, дрожа и смолкая, как дрожит и смолкает упругая струна: сначала выше и громче, потом все тише, чуть слышно... казалось, что-то скатывается по гигантскому радиусу в беспросветную тьму...

Вот оно скатилось и смолкло.

Тьма и молчание... Какие-то смутные призраки пытаются еще возродиться из глубокого мрака, но они не имеют уже ни формы, ни тона, ни цвета... Только где-то далеко внизу зазвенели переливы гаммы, пестрыми рядами прорезали тьму и тоже скатились в пространство.

Тогда вдруг внешние звуки достигли его слуха в своей обычной форме. Он будто проснулся, но все еще стоял, озаренный и радостный, сжимая руки матери и Максима.

— Что это с тобой? — спросила мать встревоженным голосом.

— Ничего... мне кажется, что я... видел вас всех. Я ведь... не сплю?

— А теперь? — взволнованно спросила она. — Помнишь ли ты, будешь ли помнить?

Слепой глубоко вздохнул.

— Нет, — ответил он с усилием. — Но это ничего, потому что... Я отдал все это... ему... ребенку и... и всем.

Он пошатнулся и потерял сознание. Его лицо побледнело, но на нем все еще блуждал отблеск радостного удовлетворения.

## ЭПИЛОГ

Прошло три года.

Многочисленная публика собралась в Киеве во время «Контрактов»<sup>1</sup> слушать оригинального музыканта. Он был

<sup>1</sup> Напомним, что «Контрактами» называют киевскую ярмарку.

слеп, но молва передавала чудеса об его музыкальном таланте и его личной судьбе. Говорили, будто в детстве он был похищен из зажиточной семьи бандой слепцов, с которыми бродил, пока известный профессор не обратил внимания на его замечательный музыкальный талант. Другие передавали, что он сам ушел из семьи к нищим из каких-то романтических побуждений. Как бы то ни было, «контрактная» зала была набита битком, и сбор (имевший неизвестное публике благотворительное назначение) был полный.

В зале настала глубокая тишина, когда на эстраде появился молодой человек с красивыми большими глазами и бледным лицом. Никто не признал бы его слепым, если б эти глаза не были так неподвижны, если б его не вела молодая белокурая дама, — как говорили, жена музыканта.

— Не мудрено, что он производит такое потрясающее впечатление, — говорил в толпе какой-то зоил своему соседу. — У него замечательно драматическая наружность.

Действительно, и это бледное лицо с выражением вдумчивого внимания, и неподвижные глаза, и вся его фигура предрасполагали к чему-то особенному, непривычному.

Южнорусская публика вообще любит и ценит свои родные мелодии, но здесь даже разношерстная «контрактная» толпа была сразу захвачена глубокой искренностью выражения. Живое чувство родной природы, чуткая оригинальная связь с непосредственными источниками народной мелодии сказывались в импровизации, которая лилась из-под рук слепого музыканта. Богатая красками, гибкая и певучая, она бежала звонкою струей, то поднимаясь торжественным гимном, то разливаясь задушевым грустным напевом. Казалось по временам: то буря гулко гремит в небесах, раскатываясь в бесконечном просторе, то лишь степной ветер звенит в траве, на кургане, напевая смутные грезы о минувшем.

Когда он смолк, гром рукоплесканий охваченной восторгом толпы наполнил громадную залу. Слепой сидел с опущенною головой, удивленно прислушиваясь к этому грохоту. Но вот он опять поднял руки и ударил по клавишам. Многолюдная зала мгновенно притихла.

В эту минуту вошел Максим. Он внимательно оглядел эту толпу, охваченную одним чувством, направившую на слепого жадные горящие взгляды.

Старик слушал и ждал. Он больше, чем кто-нибудь другой в этой толпе, понимал живую драму этих звуков.

Ему казалось, что эта могучая импровизация, так свободно льющаяся из души музыканта, вдруг оборвется, как прежде, тревожным, болезненным вопросом, который откроет новую рану в душе его слепого питомца.

Но звуки росли, крепили, полнели, становились все более и более властными, захватывали сердце объединенной и замиравшей толпы.

И чем больше прислушивался Максим, тем яснее звучал для него в игре слепого знакомый мотив.

Да, это она, шумная улица. Светлая, гремучая, полная жизни волна катится, дробясь, сверкая и рассыпаясь тысячью звуков. Она то поднимается, возрастает, то падает опять к отдаленному, но неумолчному рокоту, оставаясь все время спокойной, красиво-бесстрастной, холодной и безучастной.

И вдруг сердце Максима упало. Из-под рук музыканта опять, как и некогда, вырвался стон.

Вырвался, прозвенел и замер. И опять живой рокот, все ярче и сильнее, сверкающий и подвижный, счастливый и светлый.

Это уже не одни стоны личного горя, не одно слепое страдание. На глазах старика появились слезы. Слезы были и на глазах его соседей.

«Он прозрел, да, это правда, — он прозрел», — думал Максим.

Среди яркой и оживленной мелодии, счастливой и свободной, как степной ветер, и, как он, беззаботной, среди пестрого и широкого гула жизни, среди то грустного, то величавого напева народной песни все чаще, все настойчивее и сильнее прорывалась какая-то за душу хватающая нота.

«Так-так, мой мальчик, — мысленно ободрял Максим, — настигай их среди веселья и счастья...»

Через минуту над заколдованной толпой в огромной зале, властная и захватывающая, стояла уже одна только песня слепых...

— Подайте слипеньким... р-ради Христа.

Но это уже была не просьба о милостыне и не жалкий вопль, заглушаемый шумом улицы. В ней было все то, что было и прежде, когда, под его влиянием, лицо Петра искажалось и он бежал от фортепьяно, не в силах бороться с ее разъедающей болью. Теперь он одолел ее в своей душе и побеждал души этой толпы глубиной и ужасом жизненной правды... Это была тьма на фоне яркого света, напоминание о горе среди полноты счастливой жизни...



Казалось, будто удар разразился над толпою, и каждое сердце дрожало, как будто он касался его своими быстро бегающими руками. Он давно уже смолк, но толпа хранила гробовое молчание.

Максим опустил голову и думал:

«Да, он прозрел... На место слепого и неуголимого эгоистического страдания он носит в душе ощущение жизни, он чувствует и людское горе, и людскую радость, он прозрел и сумеет напомнить счастливым о несчастных...»

И старый солдат все ниже опускал голову. Вот и он сделал свое дело, и он недаром прожил на свете, ему говорили об этом полные силы властные звуки, стоявшие в зале, царившие над толпой...

. . . . .

Так дебютировал слепой музыкант.

# Рассказы

## ЧУДНАЯ

*Очерк из 80-х годов*

### I

— Скоро ли станция, ямщик?

— Не скоро еще, до метели вряд ли доехать — вишь, закуржавело<sup>1</sup> как, сивера́ идет.

Да, видно, до метели не доехать. К вечеру становится все холоднее. Слышно, как снег под полозьями поскрипывает, зимний ветер — сивера́ — гудит в темном бору, ветви елей протягиваются к узкой лесной дороге и угрюмо качаются в опускающемся сумраке раннего вечера.

Холодно и неудобно. Кибитка узка, под бока давит, да еще некстати шашки и револьверы провожатых болтаются. Колокольчик выводит какую-то длинную однообразную песню в тон запевающей метели.

К счастью — вот и одинокий огонек станции на опушке гудящего бора.

Мои провожатые, два жандарма, бряцая целым арсеналом вооружения, стряхивают снег в жарко натопленной темной, закопченной избе. Бедно и неприветно. Хозяйка укрепляет в светильне дымящую лучину.

— Нет ли чего поесть у тебя, хозяйка?

— Ничего нет-то у нас...

— А рыбы? Река тут у вас недалече.

— Была рыба, да выдра всю позобала<sup>2</sup>.

— Ну, картошки...

— И-и, батюшки! Померзла картошка-то у нас ноне, вся померзла.

Делать нечего — самовар, к удивлению, нашелся. Погрелись чаем, хлеба и луковиц принесла хозяйка в лукошке. А вьюга на дворе разыгрывалась, мелким снегом в окна сыпало, и по временам даже свет лучины вздрагивал и колебался.

— Нельзя вам ехать-то будет — ночуйте! — говорит старуха.

<sup>1</sup> Закуржаветь — покрыться инеем.

<sup>2</sup> Позобать — съесть, поесть.

— Что ж, ночуем. Вам ведь, господин, торопиться-то некуда тоже. Видите — тут сторона-то какая!.. Ну а там еще хуже, верьте слову, — говорит один из провожатых.

В избе все смолкло. Даже хозяйка сложила свою пряницу с пряжей и улеглась, перестав светить лучину. Водворились мрак и молчание, нарушаемое только порывистыми ударами налетавшего ветра.

Я не спал. В голове, под шум бури, поднимались и летели одна за другой тяжелые мысли.

— Не спится, видно, господин? — произносит тот же провожатый — «старшой», человек довольно симпатичный, с приятным, даже как будто интеллигентным лицом, расторопный, знающий свое дело и поэтому не педант. В пути он не прибегает к ненужным стеснениям и формальностям.

— Да, не спится.

Некоторое время проходит в молчании, но я слышу, что и мой сосед не спит, — чуется, что и ему не до сна, что и в его голове бродят какие-то мысли. Другой провожатый, молодой «подручный», спит сном здорового, но крепко утомленного человека. Временами он что-то невнятно бормочет.

— Удивляюсь я вам, — слышится опять ровный грудной голос унтера, — народ молодой, люди благородные, образованные, можно сказать, а как свою жизнь проводите...

— Как?

— Эх, господин! Неужто мы не можем понимать!.. Довольно понимаем, не в эдакой, может, жизни были и не к этому сызмалетства-то привыкли...

— Ну, это вы пустое говорите... Было время и отвыкнуть...

— Неужто весело вам? — произносит он тоном сомнения.

— А вам весело?..

Молчание. Гаврилов (будем так звать моего собеседника), по-видимому, о чем-то думает.

— Нет, господин, невесело нам. Верьте слову: иной раз бывает — просто, кажется, на свет не глядел бы... С чего уж это, не знаю, только иной раз так подступит — нож острый, да и только.

— Служба, что ли, тяжелая?

— Служба службой... Конечно, не гулянье, да и начальство, надо сказать, строгое, а только все же не с этого...

— Так отчего же?

— Кто знает?..

Опять молчание.

— Служба что. Сам себя веди аккуратно, только и всего. Мне тем более домой скоро. Из сдаточных<sup>1</sup> я, так срок выходит. Начальник и то говорит: «Оставайся, Гаврилов, что тебе делать в деревне? На счету ты хорошем...»

— Останетесь?

— Нет. Оно, правда, и дом-то... От крестьянской работы отвык... Пища тоже. Ну и, само собой, обхождение... Грубость эта...

— Так в чем же дело?

Он подумал и потом сказал:

— Вот я вам, господин, ежели не поскучаете, случай один расскажу... Со мной был...

— Расскажите...

## II

— Поступил я на службу в 1874 году в эскадрон прямо из сдаточных. Служил хорошо, можно сказать — с полным усердием, все больше по нарядам: в парад куда, к театру — сами знаете. Грамоте хорошо был обучен, ну и начальство не оставляло. Майор у нас земляк мне был и, как видя мое старание, призывает раз меня к себе и говорит: «Я тебя, Гаврилов, в унтер-офицеры<sup>2</sup> представлю... Ты в командировках бывал ли?» — «Никак нет, говорю, ваше высокоблагородие». — «Ну, говорит, в следующий раз назначу тебя в подручные, присмотришься — дело нехитрое». — «Слушаю, говорю, ваше высокоблагородие, рад стараться».

А в командировках я точно что не бывал ни разу — вот с вашим братом, значит. Оно хоть, скажем, дело-то нехитрое, а все же, знаете, инструкции надо усвоить, да и расторопность нужна. Ну, хорошо...

Через неделю этак места зовет меня дневальный к начальнику и унтер-офицера одного вызывает. Пришли. «Вам, говорит, в командировку ехать. Вот тебе, — говорит унтер-офицеру, — подручный. Он еще не бывал. Смотрите не зевать, справьтесь, говорит, ребята, молодцами — барышню вам везти из замка<sup>3</sup>, политичку<sup>4</sup> Морозову. Вот вам инструкция, завтра деньги получай — и с богом!..»

Иванов, унтер-офицер, в старших со мною ехал, а я в подручных — вот как у меня теперь другой-то жандарм. Старшему сумка казенная дается, деньги он на руки получает, бумаги; он расписывается, счета эти ведет, ну а рядо-

<sup>1</sup> Сдаточные — в данном случае: сданные в солдаты.

<sup>2</sup> Унтер-офицер — в царской армии первый военный чин после звания рядового или ефрейтора.

<sup>3</sup> З а м о к — здесь: тюрьма.

<sup>4</sup> П о л и т и ч к а — политическая заключенная.





вой в помощь ему: послать куда, за вещами присмотреть, то, другое.

Ну, хорошо. Утром, чуть свет еще, от начальника вышли — гляжу: Иванов мой уж выпить где-то успел. А человек был, надо прямо говорить, неподходящий — разжалован теперь... На глазах у начальства — как следует быть унтер-офицеру, и даже так, что на других кляузы наводил, выслуживался. А чуть с глаз долой, сейчас и завертится, и первым делом — выпить!

Пришли мы в замок как следует, бумагу подали — ждем стоим. Любопытно мне: какую барышню везти-то придется, — а везти назначено нам по маршруту далеко. По самой этой дороге ехали, только в город уездный она назначена была, не в волость. Вот мне и любопытно в первый-то раз: что, мол, за политичка такая?

Только прождали мы этак с час места, пока ее вещи собирали, — а и вещей-то с ней узелок маленький: юбочка там, ну, то, другое — сами знаете. Книжки тоже были, а больше ничего с ней не было; небогатых, видно, родителей, думаю. Только выводят ее — смотрю: молодая еще, как есть ребенком мне показалась. Волосы русые, в одну косу собраны, на щеках румянец. Ну, потом увидел я: бледная совсем, белая во всю дорогу была. И сразу мне ее жалко стало... Конечно, думаю.. начальство, извините... зря не накажет... Значит, сделала какое-нибудь качество по этой... по политической части... Ну а все-таки... жалко, так жалко — просто ну!

Стала она одеваться: пальто, калоши... Вещи нам ее показали, — правило, значит: по инструкции мы вещи смотреть обязаны. «Деньги, спрашиваем, с вами какие будут?» Рубль двадцать копеек денег оказалось — старшой к себе взял. «Вас, барышня, — говорит ей, — я обыскать должен».

Как она тут вспыхнет! Глаза загорелись, румянец еще гуще выступил. Губы тонкие, сердитые... Как посмотрела на нас — верите: оробел я и подступиться не смею. Ну а старшой, известно, выпивши: лезет к ней прямо. «Я, говорит, обязан, у меня, говорит, инструкция!..»

Как тут она крикнет — даже Иванов и тот от нее попятился. Гляжу я на нее — лицо побледнело, ни кровинки, а глаза потемнели, и злая-презлая... Ногой топает, говорит шибко, — только я, признаться, хорошо и не слушал, что она говорила... Смотритель тоже испугался, воды ей принес в стакане. «Успокойтесь, — просит ее, — пожалуйста, говорит, сами себя пожалейте!» Ну, она и ему не уважила. «Варвары вы, говорит, холопы!» И прочие

тому подобные дерзкие слова выражает. Как хотите: супротив начальства это ведь нехорошо. Ишь, думаю, змееныш... Дворянское отродье!

Так мы ее и не обыскивали. Увел ее смотритель в другую комнату, да с надзирательницей тотчас же и вышли они. «Ничего, говорит, при них нет». А она на него глядит и точно вот смеется в лицо ему, и глаза злые все. А Иванов — известно, море по колена — смотрит да все свое боромочет: «Не по закону — у меня, говорит, инструкция!..» Только смотритель внимания не взял. Конечно, как он пьяный. Пьяному какая вера!

Поехали. По городу проезжали — все она в окна кареты глядит, точно прощается либо знакомых увидеть хочет. А Иванов взял да занавески опустил — окна и закрыл. Забилась она в угол, прижалась и не глядит на нас. А я, признаться, не утерпел-таки: взял за край одну занавеску, будто сам поглядеть хочу, и открыл так, чтобы ей видно было... Только она и не посмотрела — в уголку сердитая сидит, губы закусилась... В кровь, так я себе думал, искушает.

Поехали по железной дороге. Погода ясная этот день стояла — осенью дело это было, в сентябре месяце. Солнце светит, да ветер свежий, осенний, а она в вагоне окно откроет, сама высунется на ветер, так и сидит. По инструкции-то оно не полагается, знаете, окна открывать, да Иванов мой как в вагон ввалился, так и захрапел; а я не смею ей сказать. Потом осмелился, подошел к ней и говорю: «Барышня, говорю, закройте окно». Молчит, будто не ей и говорят. Постоял я тут, постоял, а потом опять говорю: «Простудитесь, барышня, — холодно ведь».

Обернулась она ко мне и уставилась глазищами, точно удивилась чему... Поглядела да и говорит: «Оставьте!» И опять в окно высунулась. Махнул я рукой, отошел в сторону.

Стала она спокойнее будто. Закроет окно, в пальтишко закутается вся, греется. Ветер, говорю, свежий был, студено! А потом к окну сядет, и опять на ветру вся — после тюрьмы-то, видно, не наглядится. Повеселела даже, глядит, себе, улыбается. И так на нее в те поры хорошо смотреть было!.. Верите совести...

Рассказчик замолчал и задумался. Потом продолжал, как будто слегка конфузясь:

— Конечно, не с привычки это... Потом много возил, привык. А тот раз чудно мне показалось: куда, думаю, мы ее везем, дитё этакое... И потом... признаться вам, господин, уж вы не осудите: что, думаю, ежели бы у начальства попросить да в жены ее взять... Ведь уж я бы из нее



дурь-то эту выкурил. Человек я тем более служащий... Конечно, молодой разум... глупый... Теперь могу понимать... Попу тогда на духу рассказал, он говорит: «Вот от этой самой мысли порча у тебя и пошла. Потому что она, верно, и в бога-то не верит...»

От Костромы на тройке ехать пришлось; Иванов у меня пьян-пьянешенек: проспится и опять заливает. Вышел из вагона, шатается. Ну, думаю, плохо, как бы денег казенных не растерял. Ввалился в почтовую телегу, лег и разом захрапел. Села она рядом — неловко. Посмотрела на него, ну точно вот на гадину на какую. Подобралась так, чтобы не тронуть его как-нибудь, — вся в уголку и прижалась, а я-то уж на облучке уселся. Как поехали — ветер сиверный, — я и то продрог. Закашлялась крепко и платок к губам поднесла, а на платке, гляжу, кровь. Так меня будто кто в сердце кольнул булавкой. «Эх, говорю, барышня, как можно! Больны вы, а в такую дорогу поехали — осень, холодно!.. Нешто, говорю, можно так!»

Вскинула она на меня глазами, посмотрела, и точно опять внутри у нее закипать стало. «Что вы, говорит, глупы, что ли? Не понимаете, что я не по своей воле еду? Хорош, говорит: сам везет, да туда же еще с жалостью суется!» — «Вы бы, говорю, начальству заявили — в больницу хоть слегли бы, чем в этойкой холод ехать. Дорога-то ведь не близкая!» — «А куда?» — спрашивает.

А нам, знаете, строго запрещено объяснять преступникам, куда их везти приказано. Видит она, что я позамялся, и отвернулась. «Не надо, говорит, это я так... Не говорите ничего, да уж и сами не лезьте».

Не утерпел я. «Вот, говорю, куда вам ехать. Не близко!» Сжала она губы, брови сдвинула, да ничего и не сказала. Покачал я головой... «Вот то-то, говорю, барышня. Молоды вы, не знаете еще, что это значит!»

Крепко мне досадно было... Рассердился... А она опять посмотрела на меня и говорит:

«Напрасно, говорит, вы так думаете. Знаю я хорошо, что это значит, а в больницу все-таки не слегла. Спасибо! Лучше уж, коли помирать, так на воле, у своих. А то, может, еще и поправлюсь, так опять же на воле, а не в больнице вашей тюремной. Вы думаете, говорит, от ветру я, что ли, заболела, от простуды? Как бы не так!» — «Там у вас, спрашиваю, сродственники, что ли, находятся?» Это я потому, как она мне выразила, что у *своих* поправляться хочет. «Нет, говорит, у меня там ни родни, ни знакомых. Город-то мне чужой, да, верно, такие же, как и я, ссыльные есть, товарищи». Подивился я: как это она

чужих людей своими называет, неужто, думаю, кто ее без денег там поить-кормить станет, да еще незнакомую?.. Только не стал ее расспрашивать, потому вижу я: брови она поднимает, недовольна, зачем я расспрашиваю.

Ладно, думаю... Пушай! Нужды еще не видала. Хлебнет горя, узнает небось, что значит чужая сторона...

К вечеру тучи надвинулись, ветер подул холодный, а там и дождь пошел. Грязь и прежде была не высохши, а тут до того развезло — просто кисель, не дорога! Спину-то мне как есть грязью всю забрызгало, да и ей порядочно попадать стало. Одним словом сказать, что погода, на ее несчастье, пошла самая скверная: дождиком прямо в лицо сечет; оно хоть, положим, кибитка-то крытая и рогожей я ее закрыл, да куда тут! Течет всюду; продрогла, гляжу: вся дрожит и глаза закрыла. По лицу капли дождевые потекли, а щеки бледные, и не двинется, точно в бесчувствии. Испугался я даже. Вижу: дело-то, выходит, неподходящее, плохое... Иванов пьян — храпит себе, горюшка мало... Что тут делать, тем более я в первый раз.

В Ярославль город самым вечером приехали. Растолкал я Иванова, на станцию вышли, велел я самовар согреть. А из городу из этого пароходы ходят: только по инструкции нам на пароходах возить строго воспрещается. Оно хоть нашему брату выгоднее — экономию загнать можно, — да боязно. На пристани, знаете, полицейские стоят, а то и наш же брат, жандарм местный, клязгу подвести завсегда может. Вот барышня-то и говорит нам: «Я, говорит, далее на почтовых не поеду. Как знаете, говорит, пароходом везите». А Иванов еле глаза продрал с похмелья — сердитый. «Вам об этом, говорит, рассуждать не полагается. Куда повезут, туда и поедете!» Ничего она ему не сказала, а мне говорит: «Слышали, говорит, что я сказала: не еду».

Отозвал я тут Иванова в сторону. «Надо, говорю, на пароходе везти. Вам же лучше: экономия останется». Он на это пошел, только трусит. «Здесь, говорит, полковник, так как бы чего не вышло. Ступай, говорит, спросись — мне, говорит, нездоровится что-то». А полковник неподалеку жил. «Пойдем, говорю, вместе и барышню с собой возьмем». Боялся я: Иванов-то, думаю, спать завалится спяну, так как бы чего не вышло. Чего доброго, уйдет она или над собой что сделает — в ответ попадешь.

Ну, пошли мы к полковнику. Вышел он к нам. «Что надо?» — спрашивает. Вот она ему и объясняет, да тоже и с ним неладно заговорила. Ей бы попросить смиреннько: так и так, мол, сделайте божескую милость, — а она тут

по-своему: «По какому праву», — говорит, ну и прочее; все, знаете, дерзкие слова выражает, которые вы вопче, политики, любите. Ну, сами понимаете, начальству это не нравится. Начальство любит покорность. Однако выслушал он ее и ничего — вежливо отвечает: «Не могу-с, говорит, ничего я тут не могу. По закону-с... нельзя!» Гляжу, барышня-то моя опять раскраснелась, глаза точно угли. «Закон!» — говорит, и засмеялась по-своему, сердито да громко. «Так точно, — полковник ей, — закон-с!»

Признаться, я тут позабылся немного да и говорю: «Точно что, вашескородие, закон, да они, ваше высокоблагородие, больны». Посмотрел он на меня строго. «Как твоя фамилия?» — спрашивает. «А вам, барышня, говорит, если больны вы, в больницу тюремную не угодно ли-с?» Отвернулась она и пошла вон, слова не сказала. Мы за ней. Не захотела в больницу; да и то надо сказать: уж если на месте не осталась, а тут без денег да на чужой стороне, точно что не приходится.

Ну, делать нечего. Иванов на меня же накинулся: «Что, мол, теперь будет; непременно из-за тебя, дурака, оба в ответе будем». Велел лошадей запрягать и ночь переждать не согласился, так к ночи и выезжать пришлось.

Подошли мы к ней. «Пожалуйте, говорим, барышня, лошади поданы». А она на диван прилегла — только согреваться стала. Вспрыгнула на ноги, встала перед нами — выпрямилась вся, — прямо на нас смотрит в упор, даже, скажу вам, жутко на нее глядеть стало. «Проклятые вы», — говорит, и опять по-своему заговорила, непонятно. Ровно бы и по-русски, а ничего понять невозможно. Только сердито да жалко: «Ну, говорит, теперь ваша воля, вы меня замучить можете, — что хотите делайте. Еду!» А самовар-то все на столе стоит, она еще и не пила. Мы с Ивановым свой чай заварили, и ей я налил. Хлеб с нами белый был, я тоже ей отрезал. «Выкушайте, говорю, на дорогу-то. Ничего, хоть согреетесь немного». Она калоши надевала, бросила надевать, повернулась ко мне, смотрела-смотрела, потом плечами повела и говорит:

«Что это за человек такой! Совсем вы, кажется, сумасшедший. Стану я, говорит, ваш чай пить!» Вот до чего мне тогда обидно стало: и посейчас вспомню — кровь в лицо бросается. Вот вы не брезгаете же с нами хлеб-соль есть. Рубанова господина везли — штаб-офицерский<sup>1</sup> сын, а тоже не брезгал. А она побрезгала. Велела

---

<sup>1</sup> Штаб-офицер — в царской армии название офицеров в чине полковника, подполковника и майора.

потом на другом столе себе самовар особо согреть, и уж известно: за чай за сахар вдвое заплатила. А всего-то и денег — рубль двадцать!

### III

Рассказчик смолк, и на некоторое время в избе водворилась тишина, нарушаемая только ровным дыханием младшего жандарма и шипением метели за окном.

— Вы не спите? — спросил у меня Гаврилов.

— Нет, продолжайте, пожалуйста, я слушаю.

— ...Много я от нее, — продолжал рассказчик, помолчав, — много муки тогда принял. Дорогой-то, знаете, ночью все дождик, погода злая... Лесом поедешь — лес стоном стонет. Ее-то мне и не видно, потому ночь темная, ненастная, зги не видать, а поверите — так она у меня перед глазами и стоит, то есть даже до того, что вот точно днем ее вижу: и глаза ее, и лицо сердитое, и как она иззябла вся, а сама все глядит куда-то, точно всё мысли свои про себя в голове ворочает. Как со станции поехали, стал я ее тулупом одевать. «Наденьте, говорю, тулуп-то — всё, знаете, теплее». Кинула тулуп с себя. «Ваш, говорит, тулуп, вы и надевайте». Тулуп точно что мой был, да догадался я и говорю ей: «Не мой, говорю, тулуп, казенный, по закону арестованным полагается». Ну, оделась...

Только и тулуп не помог: как рассвело, глянул я на нее, а на ней лица нет. Со станции опять поехали, приказала она Иванову на облучок сесть. Поворчал он, да не посмел послушаться, тем более хмель-то у него прошел немного. Я с ней рядом сел.

Трои сутки мы ехали и нигде не ночевали. Первое дело, по инструкции сказано: не останавливаться на ночлег, а «в случае сильной усталости» — не иначе как в городах, где есть караулы. Ну а тут, сами знаете, какие города!

Приехали-таки на место. Точно гора у меня с плеч долой, как город мы завидели. И надо вам сказать: в конце она почитай что на руках у меня и ехала. Вижу: лежит в повозке без чувств; тряхнет на ухабе телегу, так она головой о переплет и ударится. Поднял я ее на руку на правую, так и вез; все легче. Сначала оттолкнула было меня: «Прочь, говорит, не прикасайтесь!» А потом ничего. Может оттого, что в беспмятстве была... Глаза-то закрыты, веки совсем потемнели, и лицо лучше стало, не такое сердитое. И даже так было что засмеется сквозь сон и просветлеет, прижимается ко мне, к теплomu-то. Верно, ей, бедной, хорошее во сне грезилось. Как к городу

подъезжать стали, очнулась, поднялась... Погода-то прошла, солнце выглянуло — повеселела... Только из губернии ее далее отправили, в городе в губернском не оставили, и нам же ее дальше везти привелось — тамошние жандармы на разъездах были. Как уезжать нам, гляжу — в полицию народу набирается: барышни молодые да господа студенты, видно, из ссыльных... И все, точно знакомые, с ней говорят, за руку здороваются, расспрашивают. Денег ей сколько-то принесли, платок пуховый на дорогу, хороший... Проводили...

Ехала веселая, только кашляла часто. А на нас и не смотрела.

Приехали в уездный город, где ей жительство назначено; сдали ее под расписку. Сейчас она фамилию какую-то называет. Здесь, говорит, такой-то?» — «Здесь», — отвечают. Исправник приехал. «Где, говорит, жить станете?» — «Не знаю, говорит, а пока к Рязанцеву пойду». Покачал он головой, а она собралась и ушла. С нами и не попрощалась...

#### IV

Рассказчик смолк и прислушался, не сплю ли я.

— Так вы ее больше и не видели?

— Видал, да лучше бы уж не видал было...

...И скоро даже я опять ее увидел. Как приехали мы из командировки, сейчас нас опять нарядили и опять в ту же сторону. Студента одного возили, Загрязского. Веселый такой, песни хорошо пел и выпить был не дурак. Его еще дальше послали. Вот поехали мы через город тот самый, где ее оставили, и стало мне любопытно прожить ее узнать. «Тут, спрашиваю, барышня-то наша?» — «Тут, говорят, только чудная она какая-то: как приехала, так прямо к ссыльному пошла, и никто ее после не видал, у него и живет. Кто говорит — больна она, а то бают — вроде она у него за любовницу живет. Известно, народ болтает...» А мне вспомнилось, что она говорила: «Помереть мне у *своих* хочется». И так мне любопытно стало... и не то что любопытно, а, попросту сказать, потянуло. Схожу, думаю, повидать ее. От меня она зла не видала, а я на ней зла не помню. Сем схожу...<sup>1</sup>

Пошел, добрые люди дорогу показали; а жила она в конце города. Домик маленький, дверца низенькая. Вошел я к ссыльному-то к этому, гляжу: чисто у него,

---

<sup>1</sup> Сем схожу — то есть «дай схожу».

комната светлая, в углу кровать стоит, и занавеской угол отгорожен. Книг много, на столе, на полках... А рядом мастерская махонькая, там на скамейке другая постель положена.

Как вошел я — она на постели сидела, шалью обернута и ноги под себя подобрала, — шьет что-то. А ссыльный... Рязанцев господин по фамилии... рядом на скамейке сидит, в книжке ей что-то вычитывает. В очках, человек, видно, сурьезный. Шьет она, а сама слушает. Стукнул я дверью, она, как увидела, приподнялась, за руку его схватила да так и замерла. Глаза большие, темные да страшные... ну, все как и прежде бывало, только еще бледнее с лица мне показалась. За руку его крепко стиснула — он испугался, к ней кинулся: «Что, говорит, с вами? Успокойтесь!» А сам меня не видит. Потом отпустила она руку его, с постели встать хочет. «Прощайте, — говорит ему, — видно, им для меня и смерти хорошей жалко». Тут и он обернулся, увидел меня — как вскочит на ноги. Думал я: кинется... убьет, пожалуй. Человек тем более рослый, здоровый...

Они, знаете, подумали так, что опять это за нею приехали... только видит он: стою я и сам ни жив ни мертв, да и один. Повернулся к ней, взял за руку. «Успокойтесь, говорит. А вам, спрашивает, кавалер, что здесь, собственно, понадобилось?.. Зачем пожаловали?»

Я объяснил, что, мол, ничего мне не нужно, а так шел, сам по себе. Как вез, мол, барышню и были они нездоровы, так узнать пришел... Ну, он обмяк. А она все такая же сердитая, кипит вся. И за что бы, кажется? Иванов, конечно, человек необходимый. Так я же за нее заступался...

Разобрал он, в чем дело, засмеялся к ней. «Ну, вот видите, говорит, я же вам говорил». Я так понял, что уж у них был разговор обо мне... Про дорогу она, видно, рассказывала.

«Извините, говорю, ежели напугал вас... Не вовремя или что... Так я и уйду. Прощайте, мол, не поминайте лихом, добром, видно, не помянете».

Встал он, в лицо мне посмотрел и руку подает.

«Вот что, говорит, поедете назад, свободно будет — заходите, пожалуй». А она смотрит на нас да усмехается по-своему, нехорошо. «Не понимаю я, говорит, зачем ему заходить? И для чего зовете?» А он ей: «Ничего, ничего! Пусть зайдет, если сам опять захочет... Заходите, заходите, ничего!»

Не все я, признаться, понял, что они тут еще говорили. Вы ведь, господа, мудро иной раз промеж себя разговариваете... А любопытно. Ежели бы так остаться, послушать... ну, мне неловко — как бы чего не подумала. Ушел.

Ну, только свезли мы господина Загрязского на место, едем назад. Призывает исправник старшого и говорит: «Вам тут оставаться вперед до распоряжения: телеграмму получил. Бумаг вам ждать по почте». Ну, мы, конечно, остались.

Вот я опять к ним: дай, думаю, зайду — хоть у хозяев про нее спрошу. Зашел. Говорит хозяин домовый: «Плохо, говорит, как бы не померла. Боюсь, в ответ не попасть бы, потому, собственно, что попа звать не станут». Только стоим мы, разговариваем, а в это самое время Рязнец вышел. Увидел меня, поздоровался да и говорит: «Опять пришел? Что ж, войди, пожалуй». Я и вошел тихонько, а он за мной вошел. Поглядела она да и спрашивает: «Опять этот странный человек!.. Вы, что ли, его позвали?» — «Нет, говорит, не звал я — сам он пришел». Я не утерпел и говорю ей: «Что это, говорю, барышня, за что вы сердце против меня имеете? Или я враг вам какой?» — «Враг и есть, говорит, а вы разве не знаете? Конечно, враг!» Голос у нее слабый стал, тихий, на щеках румянец так и горит, и столь лицо у нее приятное... кажется, не нагледелся бы. Эх, думаю, не жилища она на свете, стал прощения просить — как бы, думаю, без прощения не померла. «Простите меня, говорю, коли вам зло какое сделал». Известно, как по-нашему, по-христиански полагается... А она опять, гляжу, закипает... «Простить! Вот еще! Никогда не прощу, и не думайте, никогда! Помру скоро... так и знайте: не простила!»

Рассказчик опять смолк и задумался. Потом продолжал тише и сосредоточеннее:

— Опять у них промежду себя разговор пошел. Вы вот человек образованный, по-ихнему понимать должны, так я вам скажу, какие слова я упомянул. Слова-то запали, и посеючас помню, а смыслу не знаю. Он говорит:

«Видите: не жандарм к вам пришел сейчас... Жандарм вас вез, другого повезет, так это он все по инструкции. А сюда-то его разве инструкция привела? Вы вот что, говорит, господин кавадер, не знаю, как звать вас...»

«Степан», — говорю.

«А по батюшке как?»

«Петровичем звали».

«Так вот, мол, Степан Петрович. Вы ведь сюда почему пришли? По человечеству? Правда?»

«Конечно, говорю, по человечеству. Это, говорю, вы верно объясняете. Ежели по инструкции, так это нам вовсе даже не полагается, чтоб к вам заходить без надобности. Начальство узнает — не похвалит».

«Ну, вот видите», — он ей говорит и за руку ее взял. Она руку выдернула.

«Ничего, говорит, не вижу. Это вы видите, чего и нет. А мы с ним вот (это значит со мной) люди простые. Враги так враги, и нечего тут антимионии<sup>1</sup> разводиться. Ихнее дело — смотри, наше дело — не зевай. Он, вот видите: стоит, слушает. Жалко, не понимает, а то бы в донесении все написал...»

Повернулся он в мою сторону, смотрит прямо на меня в очки. Глаза у него вострые, а добрые. «Слышите? — мне говорит. — Что же вы скажете?.. Впрочем, не объясняйте ничего: я так считаю, что вам это обидно».

Оно, скажем, конечно... по инструкции так полагается, что ежели что супротив интересу, то обязан я, по присяжной должности<sup>2</sup>, и на отца родного донести... Ну, только как я не за тем, значит, пришел, то верно, что обидно мне показалось, просто за сердце взяло. Повернулся к дверям, да Рязанцев удержал.

«Погоди, говорит, Степан Петрович, не уходи еще». А ей говорит: «Нехорошо это... Ну, не прощайте и не миритесь. Об этом что говорить. Он и сам, может, не простил бы, ежели бы как следует все понял... Да ведь и враг тоже человек бывает... А вы этого-то вот и не признаете. Сек-тан-тка<sup>3</sup> вы, говорит, вот что!»

«Пусть, — она ему, — а вы равнодушный человек... Вам бы, говорит, только книжки читать...»

Как она ему это слово сказала — он, чудное дело, даже на ноги вскочил. Точно ударила его. Она, вижу, испугалась даже.

«Равнодушный? — он говорит. — Ну, вы сами знаете, что неправду сказали».

«Пожалуй, — она ему отвечает... — А вы мне — правду?..»

«А я, говорит, правду: настоящая вы боярыня Морозова...»<sup>4</sup>

---

<sup>1</sup> Антимиония — пустая болтовня.

<sup>2</sup> По присяжной должности — по долгу присяги на верность.

<sup>3</sup> Сектантка — здесь: человек, принадлежащий к обособленной, замкнутой группе политических единомышленников.

<sup>4</sup> Боярыня Морозова — отличавшаяся стойкостью и нетерпимостью религиозная деятельница XVII века.



Задумалась она, руку ему протянула; он руку-то взял, а она в лицо ему посмотрела-посмотрела да и говорит: «Да, вы, пожалуй, и правы!» А я стою как дурак, смотрю, а у самого так и сосет что-то у сердца, так и подступает. Потом обернулась ко мне, посмотрела и на меня без гнева и руку подала. «Вот, говорит, что я вам скажу: враги мы до смерти... Ну, да бог с вами, руку вам подаю, желаю вам когда-нибудь человеком стать — вполне, не по инструкции... Устала я», — говорит ему.

Я и вышел. Рязанцев тоже за мной вышел. Стали мы во дворе, и вижу я: на глазах у него будто слеза поблескивает.

«Вот что, говорит, Степан Петрович. Долго вы еще тут пробудите?»

«Не знаю, говорю, может, и еще дня три, до почты».

«Ежели, говорит, еще зайти захотите, так ничего, зайдите. Вы, кажется, говорит, человек, по своему делу, ничего...»

«Извините, говорю, напугал...»

«То-то, говорит, уж вы лучше хозяйке сначала скажите».

«А то я хочу спросить, говорю: вы вот про боярыню говорили, про Морозову. Они, значит, боярского роду?»

«Боярского, говорит, или не боярского, а уж порода такая: сломать ее, говорит, можно... Вы и то уж сломали... ну а согнуть — сам, чай, видел: не гнутся этакие».

На том и попрощались.

## V

...Померла она скоро. Как хоронили ее, я и не видел — у исправника был. Только на другой день ссыльного этого встретил; подошел к нему — гляжу: на нем лица нет...

Росту он был высокого, с лица сурьезный, да ранее приветливо смотрел, а тут зверем на меня как есть глянул. Подал было руку, а потом вдруг руку мою бросил и сам отвернулся. «Не могу, говорит, я тебя видеть теперь. Уйди, братец, бога ради, уйди!..» Опустил голову да и пошел, а я на фатеру пришел, и так меня засосало — просто пищи дня два не принимал. С этих самых пор тоска и увязалась ко мне. Точно порченый.

На другой день исправник призвал нас и говорит: «Можете, говорит, теперь отправляться: пришла бумага, да поздно». Видно, опять нам ее везти пришлось бы, да уж бог ее пожалел: сам убрал.

...Только что еще со мной после случилось — не конец, ведь еще. Назад едучи, приехали мы на станцию одну... Входим в комнату, а там на столе самовар стоит, закуска всякая, и старушка какая-то сидит, хозяйку чаем угощает. Чистенькая старушка, маленькая да веселая такая и говорливая. Все хозяйке про свои дела рассказывает: «Вот, говорит, собрала я пожитки, дом-то, по наследству который достался, продала и поехала к моей голубке. То-то обрадуется! Уж и побранит, рассердится, знаю, что рассердится, а все же рада будет. Писала мне, не велела приезжать. Чтобы даже ни в коем случае не смела я к ней ехать. Ну, да ничего это!»

Так тут меня ровно кто под левый бок толкнул. Вышел я в кухню. «Что за старушка?» — спрашиваю у девки-прислуги. «А это, говорит, самой той барышни, что вы тот раз везли, матушка родная будет». Тут меня шатнуло даже. Видит девка, как я в лице расстроился, спрашивает: «Что, говорит, служивый, с тобой?» — «Тише, говорю, что орешь... барышня-то померла».

Тут она, девка эта — и девка-то, надо сказать, гулящая была, с проезжающими баловала, — как всплеснет руками да как заплачет и из избы вон. Взял и я шапку, да и сам вышел, слышал только, как старуха в зале с хозяйкой все болтают, и так мне этой старухи страшно стало, так страшно, что и выразить невозможно. Побрел я прямо по дороге, после уж Иванов меня догнал с телегой, я и сел.

## VI

...Вот какое дело!.. А исправник донес, видно, начальству, что я к ссыльным ходил, да и полковник костромской<sup>1</sup> тоже донес, как я за нее заступался, — одно к одному и подошло. Не хотел меня начальник и в унтер-офицеры представлять. «Какой ты, говорит, унтер-офицер — баба ты! В карцер бы тебя, дурака!» Только я в это время в равнодушии находился и даже нисколько не жалел ничего.

И все я эту барышню сердитую забыть не мог, да и теперь то же самое: так и стоит, бывает, перед глазами.

Что бы это значило? Кто бы мне объяснил! Да вы, господин, не спите?

Я не спал... Глубокий мрак закинутой в лесу избышки томил мою душу, и скорбный образ умершей девушки вставал в темноте под глухие рыдания бури...

1880

<sup>1</sup> Описка В. Г. Короленко. Правильно: ярославский.

## СОН МАКАРА

### *Святочный рассказ*

#### I

Этот сон видел бедный Макар, который загнал своих телят в далекие, угрюмые страны, — тот самый Макар, на которого, как известно, валятся все шишки.

Его родина — глухая слободка Чалган — затерялась в далекой якутской тайге. Отцы и деды Макара отвоевали у тайги кусок промерзшей землицы, и, хотя угрюмая чаща все еще стояла кругом враждебной стеной, они не унывали. По расчищенному месту побежали изгороди, стали скирды и стога, разрастались маленькие дымные юртенки; наконец, точно победное знамя, на холмике из середины поселка выстрелила к небу колокольня. Стал Чалган большою слободой.

Но, пока отцы и деды Макара воевали с тайгой, жгли ее огнем, рубили железом, сами они незаметно дичали. Женясь на якутках, они перенимали якутский язык и якутские нравы. Характеристические черты великого русского племени стирались и исчезали.

Как бы то ни было, все же мой Макар твердо помнил, что он коренной чалганский крестьянин. Он здесь родился, здесь жил, здесь же предполагал умереть. Он очень гордился своим званием и иногда ругал других «погаными якутами», хотя, правду сказать, сам не отличался от якутов ни привычками, ни образом жизни. По-русски он говорил мало и довольно плохо, одевался в звериные шкуры, носил на ногах торбасá<sup>1</sup>, питался в обычное время одною лепешкой с настоем кирпичного чая, а в праздники и в других экстренных случаях съедал топленого масла именно столько, сколько стояло перед ним на столе. Он ездил искусно верхом на быках, а в случае болезни призывал шамана<sup>2</sup>, который, беснуясь, со скрежетом кидался на него, стараясь испугать и выгнать из Макара засевшую хворь.

Работал он страшно, жил бедно, терпел голод и холод. Были ли у него какие-нибудь мысли, кроме непрестанных забот о лепешке и чае?

<sup>1</sup> Т о р б а с á — мягкие сапоги (чаще олени) мехом наружу.

<sup>2</sup> Ш а м á н — колдун, знахарь.

Да, были.

Когда он бывал пьян, он плакал. «Какая наша жизнь, — говорил он, — господи боже!» Кроме того, он говорил иногда, что желал бы все бросить и уйти на «гору». Там он не будет ни пахать, ни сеять, не будет рубить и возить дрова, не будет даже молоть зерно на ручном жернове. Он будет только спасаться. Какая это гора, где она, он точно не знал; знал только, что гора эта есть, во-первых, а во-вторых, что она где-то далеко — так далеко, что оттуда его нельзя добыть самому тойону<sup>1</sup>-исправнику...<sup>2</sup>. Податей платить, понятно, он также не будет...

Трезвый, он оставлял эти мысли, быть может сознавая невозможность найти такую чудную гору; он пьяный становился отважнее. Он допускал, что может не найти настоящую гору и попасть на другую. «Тогда пропадать буду», — говорил он, но все-таки собирался; если же не приводил этого намерения в исполнение, то, вероятно, потому, что поселенцы-татары продавали ему всегда скверную водку, настоенную для крепости на махорке, от которой он вскоре впадал в бессилие и становился болен.

## II

Дело было в канун рождества, и Макару было известно, что завтра большой праздник. По этому случаю его томило желание выпить, но выпить было не на что: хлеб был в исходе; Макар уже задолжал у местных купцов и у татар. Между тем завтра большой праздник, работать нельзя — что же он будет делать, если не напьется? Эта мысль делала его несчастным. Какая его жизнь! Даже в большой зимний праздник он не выпьет одну бутылку водки!

Ему пришла в голову счастливая мысль. Он встал и надел свою рваную *сону* (шубу). Его жена, крепкая, жилистая, замечательно сильная и столь же замечательно безобразная женщина, знавшая насквозь все его нехитрые помышления, угадала и на этот раз его намерение.

— Куда, дьявол? Опять один водку кушать хочешь?

— Молчи! Куплю одну бутылку. Завтра вместе выпьем. — Он хлопнул ее по плечу так сильно, что она покачнулась, и лукаво подмигнул.

---

<sup>1</sup> Той он — господин, хозяин, начальник. (Примеч. В. Г. Короленко.)

<sup>2</sup> Исправник — до революции начальник полиции уезда (района).

Таково женское сердце: она знала, что Макар непременно ее надует, но поддалась обаянию супружеской ласки.

Он вышел, поймал в *аласе*<sup>1</sup> старого лысанку, привел его за гриву к саням и стал запрягать. Вскоре лысанка вынес своего хозяина за ворота. Тут он остановился и, повернув голову, вопросительно поглядел на погруженного в задумчивость Макара. Тогда Макар дернул левою вожжей и направил коня на край слободы.

На самом краю слободы стояла небольшая юртенка. Из нее, как и из других юрт, поднимался высоко-высоко дым камелька<sup>2</sup>, застилая белою волнующеюся массою холодные звезды и яркий месяц. Огонь весело переливался, отсвечивая сквозь матовые льдины. На дворе было тихо.

Здесь жили чужие, дальние люди. Как попали они сюда, какая непогода кинула их в далекие дебри, Макар не знал и не интересовался, но он любил вести с ними дела, так как они его не прижимали и не очень стояли за плату.

Войдя в юрту, Макар тотчас же подошел к камельку и протянул к огню свои изящные руки.

— Ча! — сказал он, выражая тем ощущение холода.

Чужие люди были дома. На столе горела свеча, хотя они ничего не работали. Один лежал на постели и, пуская кольца дыма, задумчиво следил за его завитками, видимо связывая с ними длинные нити собственных дум. Другой сидел против камелька и тоже вдумчиво следил, как перебежали огни по нагоревшему дереву.

— Здорóво! — сказал Макар, чтобы прервать тяготившее его молчание.

Конечно, он не знал, какое горе лежало на сердце чужих людей, какие воспоминания теснились в их головах в этот вечер, какие образы чудились им в фантастических переливах огня и дыма. К тому же у него была своя забота.

Молодой человек, сидевший у камелька, поднял голову и посмотрел на Макара смутным взглядом, как будто не узнавая его. Потом он тряхнул головой и быстро поднялся со стула.

— А, здорово, здорово, Макар! Вот и отлично! Напьемся с нами чаю?

Макару предложение понравилось.

— Чаю? — переспросил он. — Это хорошо!.. Вот, брат, хорошо... Отлично!

---

<sup>1</sup> А л а с — поле или луг, окруженные лесом.

<sup>2</sup> К а м е л ё к — очаг для обогривания юрты.

Он стал живо разоблачаться. Сняв шубу и шапку, он почувствовал себя развязнее, а увидав, что в самоваре запылали уже горячие угли, обратился к молодому человеку с излиянием:

— Я вас люблю, верно!.. Так люблю, так люблю... Ночи не сплю...

Чужой человек повернулся, и на лице его появилась горькая улыбка.

— А, любишь? — сказал он. — Что же тебе надо? Макар замялся.

— Есть дело, — ответил он. — Да ты почему узнал?.. Ладно. Ужо, чай выпью, скажу.

Так как чай был предложен Макару самими хозяевами, то он счел уместным пойти далее.

— Нет ли жареного? Я люблю, — сказал он.

— Нет.

— Ну, ничего, — сказал Макар успокоительным тоном, — съем в другой раз... Верно? — переспросил он. — В другой раз?

— Ладно.

Теперь Макар считал за чужими людьми в долгу кусок жареного мяса, а у него подобные долги никогда не пропадали.

Через час он опять сел в свои дровни. Он добыл целый рубль, продав вперед пять возов дров на сходных сравнительно условиях. Правда, он клялся и божился, что не проплет этих денег сегодня, а сам намеревался это сделать немедленно. Но что за дело? Предстоящее удовольствие заглушало укоры совести. Он не думал даже о том, что пьяному ему предстоит жестокая трепка от обманутой верной супруги.

— Куда же ты, Макар? — крикнул, смеясь, чужой человек, видя, что лошадь Макара, вместо того чтобы ехать прямо, свернула влево, по направлению к татарам.

— Тпру-у!.. Тпру-у!.. Видишь, конь проклятый какой... куда едет! — оправдывался Макар, все-таки крепко натягивая левую вожжу и незаметно подхлестывая лысанку правой.

Умный конек, помахивая укоризненно хвостом, тихо поковылял в требуемом направлении, и вскоре скрип Макаровых полозьев затих у татарских ворот.

### III

У татарских ворот стояли на привязи несколько коней с высокими якутскими седлами.

В тесной избе было душно. Резкий дым махорки стоял целой тучей, медленно вытягиваемый камельком. За столами и на скамейках сидели приезжие якуты, на столах стояли чашки с водкой кое-где помещались кучки играющих в карты. Лица были потны и красны. Глаза игроков дико следили за картами. Деньги вынимались и тотчас же прятались по карманам. В углу, на соломе, пьяный якут покачивался сидя и тянул бесконечную песню. Он выводил горлом дикие скрипучие звуки, повторяя на разные лады, что завтра большой праздник, а сегодня он пьян.

Макар отдал деньги, и ему дали бутылку. Он сунул ее за пазуху и незаметно для других отошел в темный угол. Там он налил чашку за чашкой и тянул их одна за другой. Водка была горькая, разведенная по случаю праздника водкой более чем на три четверти. Зато махорки, видимо, не жалели. У Макара каждый раз захватывало на минуту дыхание, а в глазах ходили какие-то багровые круги.

Скоре он опьянел. Он тоже опустился на солому и, обхватив руками колени, положил на них отяжелевшую голову. Из его горла сами собой полились те же нелепые скрипучие звуки. Он пел, что завтра праздник и что он выпил пять возов дров.

Между тем в избе становилось все теснее и теснее. Входили новые посетители — якуты, приехавшие молиться и пить татарскую водку. Хозяин увидел, что скоро не хватит всем места. Он встал из-за стола и окинул взглядом собрание. Взгляд этот проник в темный угол и увидел там якута и Макара.

Он подошел к якуту и, взяв его за шиворот, вышвырнул вон из избы. Потом подошел к Макару. Ему, как местному жителю, татарин оказал больше почета: широко отворив двери, он поддал бедняге сзади ногою такого леща, что Макар вылетел из избы и ткнулся носом прямо в сугроб снега.

Трудно сказать, был ли он оскорблен подобным обращением. Он чувствовал, что в руках у него снег, снег на лице. Кое-как выбравшись из сугроба, он поплелся к своему лысанке.

Луна поднялась уже высоко. Большая Медведица стала опускать хвост книзу. Мороз крепчал. По временам на севере из-за темного полукруглого облака вставали, слабо играя, огненные столбы начинавшегося северного сияния.

Лысанка, видимо понимавший положение хозяина, осторожно и разумно поплелся к дому. Макар сидел на

дровнях, покачиваясь, и продолжал свою песню. Он пел, что выпил пять возов дров и что старуха будет его колотить. Звуки, вырывавшиеся из его горла, скрипели и стонали в вечернем воздухе так уныло и жалобно, что у чужого человека, который в это время взобрался на юрту, чтобы закрыть трубку камелька, стало от Макаровой песни еще тяжелее на сердце. Между тем лысанка вынес дровни на холмик, откуда видны были окрестности. Снега ярко блестели, облитые лунным сиянием. Временами свет луны как будто таял, снега темнели, и тотчас же на них переливался отблеск северного сияния. Тогда казалось, что снежные холмы и тайга на них то приближались, то опять удалялись. Макару ясно виднелась под самую тайгой снежная плешь Ямалахского холмика, за которым в тайге у него поставлены были ловушки для всякого лесного зверя и птицы.

Это изменило ход его мыслей. Он запел, что в ловушку его попала лисица. Он продаст завтра шкуру, и старуха не станет его колотить.

В морозном воздухе раздался первый удар колокола, когда Макар вошел в избу. Он первым словом сообщил старухе, что у них в плашку попала лисица. Он совсем забыл, что старуха не пила вместе с ним водки, и был сильно удивлен, когда, невзирая на радостное известие, она медленно нанесла ему ногой жестокий удар пониже спины. Затем, пока он повалился на постель, она еще успела толкнуть его кулаком в шею...

Над Чалганом между тем неся, разливаясь далеко-далеко, торжественный праздничный звон.

#### IV

Он лежал на постели. Голова у него горела. Внутри жгло точно огнем. По жилам разливалась крепкая смесь водки и табачного настоя. По лицу текли холодные струйки талого снега; такие же струйки стекали и по спине.

Старуха думала, что он спит. Но он не спал. Из головы у него не шла лисица. Он успел вполне убедиться, что она попала в ловушку; он даже знал, в которую именно. Он ее видел — видел, как она, прищемленная тяжелой плахой, роет снег когтями и старается вырваться. Лучи луны, продираясь сквозь чашу, играли на золотой шерсти. Глаза зверя сверкали ему навстречу.

Он не выдержал и, встав с постели, направился к своему верному лысанке, чтобы ехать в тайгу.

Что это? Неужели сильные руки старухи схватили за воротник его соны и он опять брошен на постель?



Нет, вот он уже за слободой. Полозья ровно поскрипывают по крепкому снегу. Чалган остался сзади. Сзади несется торжественный гул церковного колокола, а над темною чертой горизонта на светлом небе мелькают черными силуэтами вереницы якутских всадников в высоких остроконечных шапках. Якуты спешат в церковь.

Между тем луна опустилась, а сверху, в самом зените, стало белесоватое облачко и засияло переливчатым фосфорическим блеском. Потом оно как будто разорвалось, растянулось, прыснуло, и от него быстро потянулись в разные стороны полосы разноцветных огней, между тем как полукруглое темное облачко на севере еще более потемнело. Оно стало черно, чернее тайги, к которой приближался Макар.

Дорога вилась между мелкою частою порослью. Направо и налево подымались холмы. Чем далее, тем выше становились деревья. Тайга густела. Она стояла безмолвная и полная тайны. Голые деревья лиственниц были опушены серебряным инеем. Мягкий свет сполоха<sup>1</sup>, продираясь сквозь их вершины, ходил по ней, кое-где открывая то снежную полянку, то лежащие трупы разбитых лесных гигантов, запущенных снегом... Мгновение — и все опять тонуло во мраке, полном молчания и тайны.

Макар остановился. В этом месте почти на самую дорогу выдвигалось начало целой системы ловушек. При фосфорическом свете ему была ясно видна невысокая городьба из валежника; он видел даже первую плаху — три тяжелых длинных бревна, упертых на отвесном колу и поддерживаемых довольно хитрою системой рычагов с волосяными веревочками.

Правда, это были чужие ловушки; но ведь лисица могла попасть и в чужие. Макар торопливо сошел с дровней, оставил умного лысанку на дороге и чутко прислушался.

В тайге ни звука. Только из далекой, не видной теперь слободы несся по-прежнему торжественный звон.

Можно было не опасаться. Владелец ловушек, Алешка чалганец, сосед и кровный враг Макара, наверное, был теперь в церкви. Не было видно ни одного следа на ровной поверхности недавно выпавшего снега.

Он пустился в чащу — ничего. Под ногами хрустит снег. Плахи стоят рядами, точно рядами пушек с открытыми жерлами, в безмолвном ожидании.

Он прошел взад и вперед — напрасно. Он направился опять на дорогу.

---

<sup>1</sup> С п о л о х — северное сияние.

Но чу!.. Легкий шорох... В тайге мелькнула красноватая шерсть, на этот раз в освещенном месте, так близко!.. Макар ясно видел острые уши лисицы; ее пушистый хвост вилял из стороны в сторону, как будто заманивая Макара в чашу. Она исчезла между стволами, в направлении Макаровых ловушек, и вскоре по лесу пронесся глухой, но сильный удар. Он прозвучал сначала отрывисто, глухо, потом как будто отдался под навесом тайги и тихо замер в далеком овраге.

Сердце Макара забилося. Это упала плаха.

Он бросился, пробираясь сквозь чашу. Холодные ветви били его по глазам, сыпали в лицо снегом. Он спотыкался; у него захватывало дыхание.

Вот он выбежал на просеку, которую некогда сам прорубил. Деревья, белые от инея, стояли по обеим сторонам, а внизу, суживаясь, маячила дорожка, и в конце ее насторожилось жерло большой плахи... Недалеко...

Но вот на дорожке, около плахи, мелькнула фигура, — мелькнула и скрылась. Макар узнал чалганца Алешку: ему ясно была видна его небольшая коренастая фигура, согнутая вперед, с походкой медведя. Макару казалось, что темное лицо Алешки стало еще темнее, а большие зубы оскалились еще более, чем обыкновенно.

Макар чувствовал искреннее негодование. «Вот подлец!.. Он ходит по моим ловушкам». Правда, Макар и сам сейчас только прошел по плахам Алешки, но тут была разница... Разница состояла именно в том, что, когда он сам ходил по чужим ловушкам, он чувствовал страх быть застигнутым; когда же по его плахам ходили другие, он чувствовал негодование и желание самому настичь нарушителя его прав.

Он бросился наперерез к упавшей плахе. Там была лисица. Алешка своею развалистою, медвежьей походкой направлялся туда же. Надо было поспевать ранее.

Вот и лежащая плаха. Под нею краснеет шерсть прихлопнутого зверя. Лисица рылась в снегу когтями именно так, как она ему виделась прежде, и так же смотрела ему навстречу своими острыми горящими глазами.

— *Тытымá* (не тронь)!.. Это мое! — крикнул Макар Алешке.

— *Тытымá!* — отдался точно эхо голос Алешки. — Мое!

Они оба побежали в одно время и торопливо, наперебой, стали подымать плаху, освобождая из-под нее зверя. Когда плаха была приподнята, лисица поднялась также. Она сделала прыжок, потом остановилась, посмотрела на обоих чалганцев каким-то насмешливым взглядом, потом,

загнув морду, лизнула прищемленное бревном место и весело побежала вперед, приветливо виляя хвостом.

Алешка бросился было за нею, но Макар схватил его сзади за полу соны.

— *Тытымá!* — крикнул он, — это мое! — и сам побежал вслед за лисицей.

— *Тытымá!* — опять эхом отдался голос Алешки, и Макар почувствовал, что тот схватил его в свою очередь за сону и в одну секунду опять выбежал вперед.

Макар обозлился. Он забыл про лисицу и устремился за Алешкой.

Они бежали все быстрее. Ветка лиственницы сдернула шапку с головы Алешки, но тому некогда было подымать ее — Макар уже настигал его с яростным криком. Но Алешка всегда был хитрее бедного Макара. Он вдруг остановился, повернулся и нагнул голову. Макар ударился в нее животом и кувыркнулся в снег. Пока он падал, проклятый Алешка схватил с головы Макара шапку и скрылся в тайге.

Макар медленно поднялся. Он чувствовал себя окончательно побитым и несчастным. Нравственное состояние было отвратительно. Лисица была в руках, а теперь... Ему казалось, что в потемневшей чаще она насмешливо вильнула еще раз хвостом и окончательно скрылась.

Потемнело. Белесоватое облачко чуть-чуть виднелось в зените. Оно как будто тихо таяло, и от него как-то устало и томно лились еще замиравшие лучи сияния.

По разгоряченному телу Макара бежали целые потоки острых струек талого снега. Снег попал ему в рукава, за воротник соны, стекал по спине, лился за торбаса. Проклятый Алешка унес с собой его шапку. Рукавицы он потерял где-то на бегу. Дело было плохо. Макар знал, что лютей мороз не шутит с людьми, которые уходят в тайгу без рукавиц и без шапки.

Он шел уже долго. По его расчетам, он давно должен бы уже выйти из Ямалаха и увидеть колокольню, но он все кружил по тайге. Чаща, точно заколдованная, держала его в своих объятиях. Издали доносился все тот же торжественный звон. Макару казалось, что он идет на него, но звон все удалялся, и, по мере того как его переливы доносились все тише и тише, в сердце Макара вступало тупое отчаяние.

Он устал. Он был подавлен. Ноги подкашивались. Его избитое тело ныло тупою болью. Дыхание в груди захватывало. Руки и ноги коченели. Обнаженную голову стягивало точно раскаленными обручами.

«Пропадать буду, однако!» — все чаще и чаще мелькало у него в голове. Но он все шел.

Тайга молчала. Она только смыкалась за ним с каким-то враждебным упорством и нигде не давала ни просвета, ни надежды.

«Пропадать буду, однако!» — все думал Макар.

Он совсем ослаб. Теперь молодые деревья прямо, без всяких стеснений, били его по лицу, издеваясь над его беспомощным положением. В одном месте на прогалину выбежал белый ушкán (заяц), сел на задние лапки, повел длинными ушами с черными отметинками на концах и стал умываться, делая Макару самые дерзкие рожи. Он давал ему понять, что он отлично знает его, Макара, — знает, что он и есть тот самый Макар, который настроил в тайге хитрые машины для его, зайца, гибели. Но теперь он над ним издевался.

Макару стало горько. Между тем тайга все оживлялась, но оживлялась враждебно. Теперь даже дальние деревья протягивали длинные ветви на его дорожку и хватили его за волосы, били по глазам, по лицу. Тетерева выходили из тайных логовищ и уставлялись в него любопытными круглыми глазами, а косачи<sup>1</sup> бегали между ними с распущенными хвостами и сердито оттопыренными крыльями и громко рассказывали самкам про него, Макара, и про его козни. Наконец в дальних чащах замелькали тысячи лисьих морд. Они тянули воздух и насмешливо смотрели на Макара, поводя острыми ушами. А зайцы становились перед ними на задние лапки и хохотали, докладывая, что Макар заблудился и не выйдет из тайги.

Это было уже слишком.

«Пропадать буду!» — подумал Макар и решил сделать это немедленно.

Он лег в снег.

Мороз крепчал. Последние переливы сияния слабо мерцали и тянулись по небу, заглядывая к Макару сквозь вершины тайги. Последние отголоски колокола доносились с далекого Чалгана.

Сияние полыхнуло и погасло. Звон стих.

И Макар умер.

## V

Как это случилось, он не заметил. Он знал, что из него должно что-то выйти, и ждал, что вот-вот оно выйдет... Но ничего не выходило.

---

<sup>1</sup> К о с а ч — тетерев-самец.

Между тем он сознавал, что уже умер, и потому лежал смирно, без движения. Лежал он долго — так долго, что ему надоело.

Было совершенно темно, когда Макар почувствовал, что его кто-то толкнул ногою. Он повернул голову и открыл сомкнутые глаза.

Теперь лиственницы стояли над ним смиренные, тихие, точно стыдясь прежних проказ. Мохнатые ели вытягивали свои широкие, покрытые снегом лапы и тихо-тихо качались. В воздухе так же тихо садились лучистые снежинки.

Яркие добрые звезды заглядывали с синего неба сквозь частые ветви и как будто говорили: «Вот, видите, бедный человек умер».

Над самым телом Макара, толкая его ногою, стоял старый попик Иван. Его длинная ряса была покрыта снегом; снег виднелся на меховом *бергесе* (шапке), на плечах, в длинной бороде попа Ивана. Всего удивительнее было то обстоятельство, что это был тот самый попик Иван, который умер назад тому четыре года.

Это был добрый попик. Он никогда не притеснял Макара насчет руги<sup>1</sup>, никогда не требовал даже денег за требы. Макар сам назначал ему плату за крестины и за молебны и теперь со стыдом вспомнил, что иногда платил маловато, а порой не платил вовсе. Поп Иван и не обижался; ему требовалось одно: всякий раз надо было поставить бутылку водки. Если у Макара не было денег, поп Иван сам посылал за бутылкой, и они пили вместе. Попик напивался непременно до положения риз, но при этом дрался очень редко и не сильно. Макар доставлял его, беспомощного и беззащитного, домой на попечение матушки попадьи.

Да, это был добрый попик, но умер он нехорошею смертью. Однажды, когда все вышли из дому и пьяный попик остался один лежать на постели, ему вздумалось покурить. Он встал и, шатаясь, подошел к огромному, жарко натопленному камельку, чтобы закурить у огня трубку. Он был слишком уж пьян, покачнулся и упал в огонь. Когда пришли домохадцы, от попа остались лишь ноги.

Все жалели доброго попа Ивана; но так как от него остались одни только ноги, то вылечить его не мог уже ни один доктор в мире. Ноги похоронили, а на место попа Ивана назначили другого.

Теперь этот попик в целом виде стоял над Макаром и поталкивал его ногою.

---

<sup>1</sup> Р *у* г а — плата священнику от прихожан, выплачиваемая деньгами и продуктами.

— Вставай, Макарушко, — говорил он. — Пойдем-ка,

— Куда я пойду? — спросил Макар с неудовольствием.

Он полагал, что, раз он «пропал», его обязанность — лежать спокойно и ему нет надобности идти опять по тайге, бродя без дороги. Иначе зачем было ему пропадать?

— Пойдем к *большому Тойону*.

— Зачем я пойду к нему? — спросил Макар.

— Он будет тебя судить, — сказал попик скорбным и несколько умиленным голосом.

Макар вспомнил, что действительно после смерти надо идти куда-то на суд. Он это слышал когда-то в церкви. Значит, попик был прав. Приходилось подняться.

И Макар поднялся, ворча про себя, что даже после смерти не дают человеку покоя.

Попик шел впереди, Макар — за ним. Шли они все прямо. Лиственницы смиренно сторонились, давая дорогу. Шли на восток.

Макар с удивлением заметил, что после попа Ивана не остается следов на снегу. Взглянув себе под ноги, он также не увидел следов: снег был чист и гладок, как скатерть. Он подумал, что теперь ему очень удобно ходить по чужим ловушкам, так как никто об этом не может узнать; но попик, угадавший, очевидно, его сокровенную мысль, повернулся к нему и сказал:

— *Кабысь* (брось, оставь)! Ты не знаешь, что тебе достанется за каждую подобную мысль.

— Ну, ну! — ответил недовольно Макар. — Уж нельзя и подумать! Что ты нынче такой строгий? Молчи ужó!..

Попик покачал головой и пошел дальше.

— Далеко ли идти? — спросил Макар.

— Далеко, — ответил попик сокрушенно.

— А чего будем есть? — спросил опять Макар с беспокойством.

— Ты забыл, — ответил попик, повернувшись к нему, — что ты умер и что теперь тебе не надо ни есть, ни пить.

Макару это не очень понравилось. Конечно, это хорошо в том случае, когда нечего есть, но тогда уж надо бы лежать так, как он лежал тотчас после своей смерти. А идти, да еще идти далеко, и не есть ничего — это казалось ему ни с чем не сообразным. Он опять заворчал.

— Не ропщи! — сказал попик.

— Ладно! — ответил Макар обиженным тоном, но сам продолжал жаловаться про себя и ворчать на дурные порядки: «Человека заставляют ходить, а есть ему не надо! Где это слыхано?»

Он был недоволен все время, следуя за попом. А шли они, по-видимому, долго. Правда, Макар не видел еще рассвета, но, судя по пространству, ему казалось, что они шли уже целую неделю: так много они оставили за собой падей и сопок<sup>1</sup>, рек и озер, так много прошли они лесов и равнин. Когда Макар оглядывался, ему казалось, что темная тайга сама убегает от них назад, а высокие снежные горы точно таяли в сумраке ночи и быстро скрывались за горизонтом.

Они как будто поднимались все выше. Звезды становились все больше и ярче. Потом из-за гребня возвышенности, на которую они поднялись, показался краешек давно закатившейся луны. Она как будто торопилась уйти, но Макар с попиком ее нагоняли. Наконец она вновь стала подыматься над горизонтом. Они пошли по ровному, сильно приподнятому месту.

Теперь стало светло — гораздо светлее, чем при начале ночи. Это происходило, конечно, оттого, что они были гораздо ближе к звездам. Звезды, величиною каждая с яблоко, так и сверкали, а луна, точно дно большой золотой бочки, сияла как солнце, освещая равнину от края и до края.

На равнине совершенно явственно виднелась каждая снежижка. По ней пролегалo множество дорог, и все они сходились к одному месту на востоке. По дорогам шли и ехали люди в разных одеждах и разного вида.

Вдруг Макар, внимательно всматривавшийся в одного всадника, свернул с дороги и побежал за ним.

— Постой, постой! — кричал попик.

Но Макар даже не слышал. Он узнал знакомого татарина, который шесть лет назад увел у него пегого коня, а пять лет назад скончался. Теперь татарин ехал на том же пегом коне. Конь так и взвизвался. Из-под копыт его летели целые тучи снежной пыли, сверкавшей разноцветными переливами звездных лучей, Макар удивился при виде этой бешеной скачки, как мог он, пеший, так легко догнать конного татарина. Впрочем, завидев Макара в нескольких шагах, татарин с большою готовностью остановился. Макар запальчиво напал на него.

— Пойдем к старосте, — кричал он, — это мой конь! Правое ухо у него разрезано... Смотри, какой ловкий!.. Едет на чужом коне, а хозяин идет пешком, точно нищий.

— Постой! — сказал на это татарин. — Не надо к старосте. Твой конь, говоришь?.. Ну и бери его! Проклятая

---

<sup>1</sup> П а д ь — ущелье, овраг между горами. С о п к а — остроконечная гора. (Примеч. В. Г. Короленко.)

животина! Пятый год еду на ней, и все как будто ни с места... Пешие люди то и дело обгоняют меня — хорошему татарину даже стыдно.

И он занес ногу, чтобы сойти с седла, но в это время запыхавшийся попик подбежал к ним и схватил Макара за руку.

— Несчастный! — вскричал он. — Что ты делаешь? Разве не видишь, что татарин хочет тебя обмануть?

— Конечно, обманывает, — вскричал Макар, размахивая руками, — конь был хороший, настоящая хозяйская лошадь... Мне давали за нее сорок рублей еще по третьей траве...<sup>1</sup>. Не-ет, брат! Если ты испортил коня, я его зарезу на мясо, а ты заплатишь мне чистыми деньгами. Думаешь, что — татарин, так и нет на тебя управы?

Макар горячился и кричал нарочно, чтобы собрать вокруг себя побольше народу, так как он привык бояться татар. Но попик остановил его:

— Тише, тише, Макар! Ты все забываешь, что ты уже умер... Зачем тебе конь? Да притом разве ты не видишь, что пешком ты подвигаешься гораздо быстрее татарина? Хочешь, чтоб тебе пришлось ехать целых тысячу лет?

Макар смекнул, почему татарин так охотно уступал ему лошадь.

«Хитрый народ!» — подумал он и обратился к татарину:

— Ладно ужó! Поезжай на коне, а я брат, сделаю на тебя прошение.

Татарин сердито нахлобучил шапку и хлестнул коня. Конь взвился, клубы снега посыпались из-под копыт, но, пока Макар с попом не тронулись, татарин не уехал от них и пяди.

Он сердито плюнул и обратился к Макару:

— Послушай, *догóр* (приятель), нет ли у тебя листочка махорки? Страшно хочется курить, а свой табак я выкурил уже четыре года назад.

— Собака тебе приятель, а не я! — сердито ответил Макар. — Видишь ты: украл коня и просит табаку! Пропадай ты совсем, мне и то не будет жалко.

И с этими словами Макар тронулся далее.

— А ведь напрасно ты не дал ему листок махорки, — сказал ему поп Иван. — За это на суде Тойон простил бы тебе не менее сотни грехов.

— Так что ж ты не сказал мне этого ранее? — огрызнулся Макар.

---

<sup>1</sup> По третьей траве — то есть когда лошади пошел третий год.



— Да уж теперь поздно учить тебя. Ты должен был узнать об этом от своих попов при жизни.

Макар осердился. От попов он не видал никакого толку: получают ругу, а не научили даже, когда надо дать татарину листок табаку, чтобы получить отпущение грехов. Шутка ли: сто грехов... и всего за один листочек!.. Это ведь чего-нибудь сто́ит!

— Постой, — сказал он. — Будет с нас одного листочка, а остальные четыре я отдам сейчас татарину. Это будет четыре сотни грехов.

— Оглянись, — сказал попик.

Макар оглянулся. Сзади расстилалась только белая пустынная равнина. Татарин мелькнул на одну секунду, далекою точкой. Макару казалось, что он увидел, как белая пыль летит из-под копыт его пегашки, но через секунду и эта точка исчезла.

— Ну, ну, — сказал Макар. — Будет татарину и без табаку ладно. Видишь ты: испортил коня, проклятый!

— Нет, — сказал попик, — он не испортил твоего коня, но конь этот краденый. Разве ты не слышал от стариков, что на краденном коне далеко не уедешь?

Макар действительно слышал это от стариков, но так как во время своей жизни видел нередко, что татары уезжали на краденых конях до самого города, то, понятно, он старикам не давал веры. Теперь же он пришел к убеждению, что и старики говорят иногда правду.

И он стал обгонять на равнине множество всадников. Все они мчались так же быстро, как и первый. Кони летели как птицы, всадники были в поту, а между тем Макар то и дело обгонял их и оставлял за собою.

Большею частью это были татары, но попадались и коренные чалганцы; некоторые из последних сидели на краденых быках и подгоняли их талинками<sup>1</sup>.

Макар смотрел на татар враждебно и каждый раз ворчал, что этого им еще мало. Когда же он встречался с чалганцами, то останавливался и благодушно беседовал с ними: все-таки это были приятели, хоть и воры. Порой он даже выражал свое участие тем, что, подняв на дороге талинку, усердно подгонял сзади быков и коней; но лишь только сам он делал несколько шагов, как уже всадники оставались сзади чуть заметными точками.

Равнина казалась бесконечною. Они то и дело обгоняли всадников и пеших людей, а между тем вокруг все казалось пусто. Между каждыми двумя путниками ле-

---

<sup>1</sup> Т а л и н к а — прутик вербы.

жали как будто целые сотни или даже тысячи верст.

Между другими фигурами Макару попался незнакомый старик; он был, очевидно, чалганец; это было видно по лицу, по одежде, даже по походке, но Макар не мог припомнить, чтоб он когда-либо прежде его видел. На старике была рваная сона, большой ухастый бергес, тоже рванный, кожаные старые штаны и рваные телячьи торбаса. Но что хуже всего — несмотря на свою старость, он ташил на плечах еще более древнюю старуху, ноги которой волочились по земле. Старик трудно дышал, заплетался и тяжело налегал на палку. Макару стало его жалко. Он остановился. Старик остановился тоже.

— *Kancé* (говори)! — сказал Макар приветливо.

— Нет, — ответил старик.

— Что слышал?

— Ничего не слышал.

— Что видел?

— Ничего не видал.

Макар помолчал немного и тогда уже счел возможным расспросить старика, кто он и откуда плетется.

Старик назвался. Давно уже — сам он не знает, сколько лет назад, — он оставил Чалган и ушел на «гору» спастись. Там он ничего не делал, ел только морошку и корни, не пахал, не сеял, не молот на жернове хлеба и не платил податей. Когда он умер, то пришел к Тойону на суд. Тойон спросил, кто он и что делал. Он рассказал, что ушел на «гору» и спасался. «Хорошо, — сказал Тойон, — а где же твоя старуха? Поди приведи сюда твою старуху». И он пошел за старухой, а старуха перед смертью побиралась, и ее некому было кормить, и у нее не было ни дома, ни коровы, ни хлеба. Она ослабела и не может волочить ног. И он теперь должен тащить к Тойону старуху на себе.

Старик заплакал, а старуха ударила его ногою, точно быка, и сказала слабым, но сердитым голосом:

— Неси!

Макару стало еще более жаль старика, и он порадовался от души, что ему не удалось уйти на «гору». Его старуха была громадная, рослая старуха, и ему нести ее было бы еще труднее. А если бы вдобавок она стала пинать его ногою, как быка, то, наверное, скоро заехала бы до второй смерти.

Из сожаления он взял было старуху за ноги, чтобы помочь добору, но едва сделал два-три шага, как должен был быстро выпустить старухины ноги, чтоб они не остались у него в руках. В одну минуту старик со своей ношей исчезли из виду.

В дальнейшем пути не встречалось более лиц, которых Макар удостоил бы своим особенным вниманием. Тут были воры, нагруженные, как выючная скотина, краденым добром и подвигавшиеся шаг за шагом; толстые якутские тойоны тряслись, сидя на высоких седлах, точно башни, задевая за облака высокими шапками. Тут же, рядом, вприпрыжку бежали бедные *комночиты* (работники), поджарые и легкие, как зайцы. Шел мрачный убийца, весь в крови, с дико блуждающим взором. Напрасно кидался он в чистый снег, чтобы смыть кровавые пятна. Снег мгновенно обагрался кругом, как кипень<sup>1</sup>, а пятна на убийце выступали яснее, и в его взоре виднелись дикое отчаяние и ужас. И он все шел, избегая чужих испуганных взглядов.

А маленькие детские души то и дело мелькали в воздухе точно птички. Они летели большими стаями, и Макара это не удивляло. Дурная, грубая пища, грязь, огонь камельков и холодные сквозняки юрт выживали их из одного Чалгана чуть не сотнями. Поравнявшись с убийцей, они испуганной стаей кидались далеко в сторону, и долго еще после того слышался в воздухе быстрый тревожный звон их маленьких крыльев.

Макар не мог не заметить, что он подвигается сравнительно с другими довольно быстро, и поспешил приписать это своей добродетели.

— Слушай, *агабыйт* (отец), — сказал он, — как ты думаешь? Я хоть и любил при жизни выпить, а человек был хороший. Бог меня любит...

Он пытливо взглянул на попа Ивана. У него была задняя мысль: выведать кое-что от старого попка. Но тот сказал кратко:

— Не гордись! Уже близко. Скоро узнаешь сам.

Макар и не заметил раньше, что на равнине как будто стало светать. Прежде, всего из-за горизонта выбежали несколько светлых лучей. Они быстро пробежали по небу и потушили яркие звезды. И звезды погасли, а луна закатилась. И снежная равнина потемнела.

Тогда над нею поднялись туманы и стали кругом равнины, как почетная стража.

И в одном месте, на востоке, туманы стали светлее, точно воины, одетые в золото.

И потом туманы заколыхались, золотые воины наклонились долу.

---

<sup>1</sup> К и п е н ь — пена, появляющаяся при кипении.

И из-за них вышло солнце, и стало на их золотых хребтах, и оглянуло равнину.

И равнина вся засияла невиданным ослепительным светом.

И туманы торжественно поднялись огромным хороводом, разорвались на западе и, колеблясь, понеслись кверху.

И Макару казалось, что он слышит чудную песню. Это была как будто та самая, давно знакомая песня, которую земля каждый раз приветствует солнце. Но Макар никогда еще не обращал на нее должного внимания и только в первый раз понял, какая это чудная песня.

Он стоял и слушал и не хотел идти далее, а хотел вечно стоять здесь и слушать...

Но поп Иван тронул его за рукав.

— Войдем, — сказал он. — Мы пришли.

Тогда Макар увидел, что они стоят у большой двери, которую раньше скрывали туманы.

Ему очень не хотелось идти, но — делать нечего — он повиновался.

## VI

Они вошли в хорошую просторную избу, и, только войдя сюда, Макар заметил, что на дворе был сильный мороз. Посередине избы стоял камелек чудной резной работы, из чистого серебра, и в нем пылали золотые поленья, давая ровное тепло, сразу проникавшее все тело. Огонь этого чудного камелька не резал глаз, не жег, а только грел, и Макару опять захотелось вечно стоять здесь и греться. Поп Иван также подошел к камельку и протянул к нему изящные руки.

В избе было четверо дверей, из которых только одна вела наружу, а в другие то и дело входили и выходили какие-то молодые люди в длинных белых рубахах. Макар подумал, что это, должно быть, работники здешнего Тойона. Ему казалось, что он где-то их уже видел, но не мог вспомнить, где именно. Немало удивляло его то обстоятельство, что у каждого работника на спине болтались большие белые крылья, и он подумал, что, вероятно, у Тойона есть еще другие работники, так как эти, наверно, не могли бы с своими крыльями пробираться сквозь чащу тайги для рубки дров или жердей.

Один из работников подошел тоже к камельку и, повернувшись к нему спиной, заговорил с попом Иваном:

- Говори!
  - Нечего, — отвечал попик.
  - Что ты слышал на свете?
  - Ничего не слышал.
  - Что видел?
  - Ничего не видал.
- Оба помолчали, и тогда поп сказал:
- Привел вот одного.
  - Это чалганец? — спросил работник.
  - Да, чалганец.
  - Ну, значит, надо приготовить большие весы.

И он ушел в одну из дверей, чтобы распорядиться, а Макар спросил у попа, зачем нужны весы и почему именно большие.

— Видишь, — ответил поп несколько смущенно, — весы нужны, чтобы взвесить добро и зло, какое ты сделал при жизни. У всех остальных людей зло и добро приблизительно уравнивают чашки; у одних чалганцев грехов так много, что для них Тойон велел сделать особые весы, с громадной чашкой для грехов.

От этих слов у Макара как будто скребнуло по сердцу. Он стал робеть.

Работники внесли и поставили большие весы. Одна чашка была золотая и маленькая, другая — деревянная, громадных размеров. Под последней вдруг открылось глубокое черное отверстие.

Макар подошел и тщательно осмотрел весы, чтобы не было фальши. Но фальши не было. Чашки стояли ровно, не колеблясь.

Впрочем, он не вполне понимал их устройство и предпочел бы иметь дело с безменом, на котором в течение долгой жизни он отлично выучился и продавать и покупать с некоторой выгодой для себя.

— Тойон идет, — сказал вдруг поп Иван и стал быстро обдергивать ряску.

Средняя дверь отворилась, и вошел старый-престарый Тойон с большою серебристою бородой, спускавшеюся ниже пояса. Он был одет в богатые, неизвестные Макару меха и ткани, а на ногах у него были теплые сапоги, обшитые плисом<sup>1</sup>, какие Макар видел на старом иконописце.

И при первом же взгляде на старого Тойона Макар узнал, что это тот самый старик, которого он видел нарисованным в церкви. Только тут с ним не было сына; Макар

---

<sup>1</sup> П л и с — хлопчатобумажный бархат.

подумал, что, вероятно, последний ушел по хозяйству. Зато голубь влетел в комнату и, покружившись у старика над головою, сел к нему на колени. И старый Тойон гладил голубя рукою, сидя на особо приготовленном для него стуле.

Лицо старого Тойона было доброе, и, когда у Макара становилось слишком уж тяжело на сердце, он смотрел на это лицо, и ему становилось легче.

А на сердце у него становилось тяжело, потому что он вспоминал вдруг всю свою жизнь до последних подробностей, вспомнил каждый свой шаг, и каждый удар топора, и каждое срубленное дерево, и каждый обман, и каждую рюмку выпитой водки.

И ему стало стыдно и страшно. Но, взглянув в лицо старого Тойона, он ободрился.

А ободрившись, подумал, что, быть может, кое-что удастся и скрыть.

Старый Тойон посмотрел на него и спросил, кто он, и откуда, и как зовут, и сколько ему лет от роду.

Когда Макар ответил, старый Тойон спросил:

— Что сделал ты в своей жизни?

— Сам знаешь, — ответил Макар. — У тебя должно быть записано.

Макар испытывал старого Тойона, желая узнать, действительно ли у него записано все.

— Говори сам, не молчи! — сказал старый Тойон.

И Макар опять ободрился.

Он стал перечислять свои работы, и хотя он помнил каждый удар топора, и каждую срубленную жердь, и каждую борозду, проведенную сохой, но он прибавлял целые тысячи жердей, и сотни возов дров, и сотни бревен, и сотни пудов посева.

Когда он все перечислил, старый Тойон обратился к попу Ивану:

— Принеси-ка сюда книгу.

Тогда Макар увидел, что поп Иван служит у Тойона *суруксутом* (писарем), и очень осердился, что тот по-приятельски не сказал ему об этом раньше.

Поп Иван принес большую книгу, развернул ее и стал читать.

— Загляни-ка, — сказал старый Тойон, — сколько жердей?

Поп Иван посмотрел и сказал с прискорбием:

— Он прибавил целых тринадцать тысяч.

— Врет он! — крикнул Макар запальчиво. — Он, верно, ошибся, потому что он пьяница и умер нехорошею смертью!

— Замолчи ты! — сказал старый Тойон. — Брал ли он с тебя лишнее за крестины или за свадьбу? Вымогал ли он ругу?

— Чтó говорить напрасно! — ответил Макар.

— Вот видишь, — сказал Тойон, — я знаю и сам, что он любил выпить...

И старый Тойон осердился.

— Читай теперь его грехи по книге, потому что он обманщик и я ему не верю, — сказал он попу Ивану.

А между тем работники кинули на золотую чашку Макаровы жерди, и его дрова, и его пахоту, и всю его работу. И всего оказалось так много, что золотая чашка весов опустилась, а деревянная поднялась высоко-высоко, и ее нельзя было достать руками, и молодые божьи работники взлетели на своих крыльях, и целая сотня тянула ее веревками вниз.

Тяжела была работа чалганца!

А поп Иван стал высчитывать обманы, и оказалось, что обманов было — двадцать одна тысяча девятьсот тридцать три обмана; и поп стал высчитывать, сколько Макар выпил бутылок водки, и оказалось — четыреста бутылок; и поп читал далее, а Макар видел, что деревянная чашка весов перетягивает золотую и что она опускается уже в яму, и пока поп читал, она все опускалась.

Тогда Макар подумал про себя, что дело его плохо, и, подойдя к весам, попытался незаметно поддержать чашку ногою. Но один из работников увидел это, и у них вышел шум.

— Что там такое? — спросил старый Тойон.

— Да вот он хотел поддержать весы ногою, — ответил работник.

Тогда Тойон гневно обратился к Макару и сказал:

— Вижу, что ты обманщик, ленивец и пьяница... И за тобою осталась недоимка, и поп за тобою считает ругу, и исправник грешит из-за тебя, ругая тебя каждый раз скверными словами!..

И, обратясь к попу Ивану, старый Тойон спросил:

— Кто в Чалгане кладет на лошадей более всех клади и кто гоняет их всех больше?

Поп Иван ответил:

— Церковный трапезник<sup>1</sup>. Он гоняет почту и возит исправника.

Тогда старый Тойон сказал:

— Отдать этого ленивца трапезнику в мерины, и пусть

---

<sup>1</sup> Т р а п ё з н и к — церковный сторож.

он возит на нем исправника, пока не заедит... А там мы посмотрим.

И только что старый Тойон сказал это слово, как дверь отворилась, и в избу вошел сын старого Тойона и сел от него по правую руку. И сын сказал:

— Я слышал твой приговор... Я долго жил на свете и знаю тамошние дела: тяжело будет бедному человеку возить исправника! Но... да будет!.. Только, может быть, он еще что-нибудь скажет. Говори, *барахсан* (бедняга)!

Тогда случилось что-то странное. Макар, тот самый Макар, который никогда в жизни не произносил более десяти слов кряду, вдруг ощутил в себе дар слова. Он заговорил и сам изумился. Стало как бы два Макара: один говорил, другой слушал и удивлялся. Он не верил своим ушам. Речь у него лилась плавно и страстно, слова гнались одно за другим вперегонку и потом становились длинными стройными рядами. Он не робел. Если ему и случалось запнуться, то тотчас же он отправлялся и кричал вдвое громче. А главное — чувствовал сам, что говорил убедительно.

Старый Тойон, немного осердившийся сначала за его дерзость, стал потом слушать с большим вниманием, как бы убедившись, что Макар не такой уж дурак, каким казался сначала. Поп Иван в первую минуту даже испугался и стал дергать Макара за полу соны, но Макар отмахнулся и продолжал по-прежнему. Потом и попик перестал пугаться и даже расцвел улыбкой, видя, что его прихожанин режет правду и что эта правда приходится по сердцу старому Тойону. Даже молодые люди в длинных рубахах и с белыми крыльями, жившие у старого Тойона в рабочих, приходили из своей половины к дверям и с удивлением слушали речь Макара, поталкивая друг друга локтями.

Он начал с того, что не желает идти к трапезнику в мерины. И не потому не желает, что боится тяжелой работы, а потому, что это решение неправильно. А так как это решение неправильно, то он ему не подчиняется и не поведет даже ухом, не двинет ногою. Пусть с ним делают что хотят! Пусть даже отдадут чертям в вечные комночты, — он не будет возить исправника, потому что это неправильно. И пусть не думают, что ему страшно положение мерина: трапезник гоняет мерина, но кормит его овсом, а его гоняли всю жизнь, но овсом никогда не кормили.

— Кто тебя гонял? — спросил старый Тойон с сердцем. Да, его гоняли всю жизнь! Гоняли старосты и стар-



шины, заседатели и исправники, требуя подати; гоняли попы, требуя ругу; гоняли нужда и голод; гоняли морозы и жары, дожди и засухи; гоняли промерзшая земля и злая тайга!.. Скотина идет вперед и смотрит в землю, не зная, куда ее гонят... И он так же... Разве он знал, что поп читает в церкви и за что идет ему руга? Разве он знал, зачем и куда увели его старшего сына, которого взяли в солдаты, и где он умер, и где теперь лежат его бедные кости?

Говорят, он пил много водки? Конечно, это правда: его сердце просило водки...

— Сколько, говоришь ты, бутылок?

— Четыреста, — ответил поп Иван, заглянув в книгу.

Хорошо! Но разве это была водка? Три четверти было воды и только одна четверть настоящей водки, да еще настой табаку. Стало быть, триста бутылок надо скинуть со счета.

— Правду ли он говорит все это? — спросил старый Тойон у попа Ивана, и видно было, что он еще сердится.

— Чистую правду, — торопливо ответил поп.

А Макар продолжал.

Он прибавил тринадцать тысяч жердей? Пусть так! Он нарубил только шестнадцать тысяч. А разве этого мало? И притом две тысячи он рубил, когда у него была больна первая его жена... И у него было тяжело на сердце, и он хотел сидеть у своей старухи, а нужда его гнала в тайгу... И в тайге он плакал, и слезы мерзли у него на ресницах, и от горя холод проникал до самого сердца... А он рубил!

А после баба умерла. Ее надо было хоронить, а у него не было денег. И он нанялся рубить дрова, чтобы заплатить за женин дом на том свете... А купец увидел, что ему нужна, и дал только по десяти копеек... И старуха лежала одна в нетопленной мерзлой избе, а он опять рубил и плакал. Он полагал, что эти возы надо считать впятеро и даже более.

У старого Тойона показались на глазах слезы, и Макар увидел, что чашки весов колыхнулись и деревянная приподнялась, а золотая опустилась.

А Макар продолжал: у них все записано в книге... Пусть же они поищут: когда он испытал от кого-нибудь ласку, привет или радость? Где его дети? Когда они умирали, ему было горько и тяжело, а когда вырастали, то уходили от него, чтобы в одиночку биться с тяжелой нуждой.

И он состарился один со своей второю старухой и видел, как его оставляют силы и подходит злая бесприютная дряхлость. Они стояли одинокие, как стоят в степи две сиротливые елки, которых бьют отовсюду жестокие метели.

— Правда ли? — спросил, опять старый Тойон.

И поп поспешил ответить:

— Чистая правда!

И тогда весы опять дрогнули... Но старый Тойон задумался.

— Что же это, — сказал он, — ведь есть же у меня на земле настоящие праведники... Глаза их ясны, и лица светлы, и одежды без пятен... Сердца их мягки, как добрая почва; принимают доброе семя и возвращают крин сельный<sup>1</sup> и благовонные всходы, запах которых угоден передо мною. А ты посмотри на себя...

И все взгляды устремились на Макара, и он устыдился. Он почувствовал, что глаза его мутны и лицо темно, волосы и борода всклокочены, одежда изорвана. И хотя задолго до смерти он все собирался купить сапоги, чтобы явиться на суд, как подобает настоящему крестьянину, но все пропывал деньги, и теперь стоял перед Тойоном, как последний якут, в дрянных торбасишках... И он пожелал провалиться сквозь землю.

— Лицо твое темное, — продолжал старый Тойон, — глаза мутные и одежда разорвана. А сердце твое поросло бурьяном, и тернием, и горькою полынью. Вот почему я люблю моих праведных и отвращаю лицо от подобных тебе нечестивцев.

Сердце Макара сжалось. Он чувствовал стыд собственного существования. Он было понурил голову, но вдруг поднял ее и заговорил опять.

О каких это праведниках говорит Тойон? Если о тех, что жили на земле в одно время с Макаром в богатых хоромах, то Макар их знает... Глаза их ясны, потому что не проливали слез столько, сколько их пролил Макар, и лица их светлы, потому что обмыты духами, а чистые одежды сотканы чужими руками.

Макар опять понурил голову, но тотчас же опять поднял ее.

А между тем разве он не видит, что и он родился, как другие, — с ясными, открытыми очами, в которых отражались земля и небо, и с чистым сердцем, готовым раскрыться на все прекрасное в мире? И если теперь он

<sup>1</sup> Крин сельный (церк.-слав.) — полевая лилия.

желает скрыть под землю свою мрачную и позорную фигуру, то в этом вина не его... А чья же? Этого он не знает... Но он знает одно, что в сердце его истощилось терпение.

## VII

Конечно, если бы Макар мог видеть, какое действие производила его речь на старого Тойона, если б он видел, что каждое его гневное слово падало на золотую чашку, как свинцовая гирия, он усмирил бы свое сердце. Но он всего этого не видел, потому что в его сердце вливалось слепое отчаяние.

Вот он оглядел всю свою горькую жизнь. Как мог он до сих пор выносить это ужасное бремя? Он нес его потому, что впереди все еще маячила — звездочкой в тумане — надежда. Он жив, стало быть, может, должен еще испытать лучшую долю... Теперь он стоял у конца, и надежда угасла...

Тогда в его душе стало темно, и в ней забушевала ярость, как буря в пустой степи глухою ночью. Он забыл, где он, перед чьим лицом предстоит, — забыл все, кроме своего гнева...

. . . . .

Но старый Тойон сказал ему:

— Погоди, барахсан! Ты не на земле... Здесь и для тебя найдется правда...

И Макар дрогнул. На сердце его пало сознание, что его жалеют, и оно смягчилось; а так как перед его глазами все стояла его бедная жизнь, от первого дня до последнего, то и ему стало самого себя невыносимо жалко. И он заплакал...

И старый Тойон тоже плакал... И плакал старый попик Иван, и молодые божьи работники лили слезы, утирая их широкими белыми рукавами.

А весы все колыхались, и деревянная чашка подымалась все выше и выше!..

. . . . .

1883

## СОКОЛИНЕЦ

### Из рассказов о бродягах

#### I

...Мой сожитель уехал. Мне приходилось ночевать одному в нашей юрте.

Не работалось; я не зажигал огня и, полулежа на своей постели, незаметно отдавался тяжелым впечатлениям молчания и мрака, пока короткий северный день угасал среди холодного тумана. Последние слабые лучи поне-много уходили сквозь льдины окон из небольшой юрты; густая тьма выползала из углов, заволакивала наклонные стены, которые, казалось, все плотнее сдвигаются над головой. Несколько времени маячили еще в глазах очертания стоявшего в середине юрты громадного камелька. Казалось, неуклюжий пенат<sup>1</sup> якутского жилья простирает навстречу тьме широко раздвинутые руки, точно в молчаливой борьбе... Но вот и эти смутные очертания исчезли... Тьма!.. Только в трех местах тихо мерцали расплывчатые фосфорические пятна; это снаружи сквозь оконные льдины тускло заглядывал в юрту мертвящий якутский мороз.

Минуты, часы безмолвно чередой пробегали над моею головой, и я спохватился, как незаметно подкрался тот роковой час, когда тоска так властно овладевает сердцем, когда «чужая сторона» враждебно веет на него всем своим мраком и холодом, когда перед встревоженным воображением грозно встают неизмеримую, неподолжимою далью все эти горы, леса, бесконечные степи, которые залегли между тобой и всем дорогим, далеким, потерянным, что так неотступно манит к себе и что в этот час как будто совсем исчезает из виду, рея в сумрачной дали слабым, угасающим огоньком умирающей надежды... А подавленное, но все же неотвязное горе, спрятанное далеко-далеко, в глубине сердца, смело подымет теперь зловещую голову и среди мертвого затишья во мраке так явственно шепчет ужасные роковые слова: «Навсегда... в этом гробу, навсегда!..»

Легкий ласковый визг, донесшийся до меня с плоской крыши сквозь трубу камелька, вывел меня из тяжелого оцепенения. Это умный друг, верный пес Цербер, про-

---

<sup>1</sup> Пенаты (лат.) — у древних римлян боги домашнего очага.

дрогший на своем сторожевом посту, спрашивал, что со мною и почему в такой страшный мороз я не зажигаю огня.

Я отряхнулся, почувствовал, что изнемогаю в борьбе с молчанием и мраком, и решил прибегнуть к спасительному средству, которое было тут же под руками. Средство это — бог юрты, могучий огонь.

У якутов по зимам никогда не прекращается топка, и потому у них нет приспособлений для закрывания трубы. Мы кое-как приладили эти приспособления, наша труба закрывалась снаружи, и каждый раз для этого приходилось взбираться на плоскую крышу юрты.

Я взошел на нее по ступенькам, протоптанным в снегу, которым юрта была закидана доверху. Наше жилье стояло на краю слободы, в некотором отдалении... Обыкновенно с нашей крыши можно было видеть всю небольшую равнину, и замыкавшие ее горы, и огни слободских юрт, в которых жили давно объякутившиеся потомки русских поселенцев и частью ссыльные татары. Но теперь все это потонуло в сером, холодном, непроницаемом для глаз тумане. Туман стоял неподвижно, выжатый из воздуха сорокаградусным морозом, и все тяжелее налегал на примолкшую землю; всюду взгляд упирался в бесформенную, безжизненную серую массу, и только вверху, прямо над головой, где-то далеко-далеко висела одинокая звезда, пронизывавшая холодную пелену острым лучом.

А вокруг все замерло. Горный берег реки, бедные юрты селения, небольшая церковь, снежная гладь лугов, темная полоса тайги — все погрузилось в безбрежное туманное море. Крыша юрты с ее грубо сколоченною из глины трубой, на которой я стоял с прижимавшеюся к моим ногам собакой, казалась островом, закинутым среди бесконечного, необозримого океана... Кругом ни звука... Холодно и жутко... Ночь притаилась, охваченная ужасом — чутким и напряженным.

Цербер тихо и как-то жалобно взвизгивал. Бедному псу, по-видимому, тоже становилось страшно в виду наступающего царства мертвящего мороза; он прижимался ко мне и, задумчиво вытягивал острую морду, настораживая чуткие уши, внимательно вглядывался в беспросветно-серую мглу.

Вдруг он повел ушами и заворчал. Я прислушался. Сначала все было по-прежнему тихо. Потом в этой напряженной тишине выделился звук, другой, третий... В морозном воздухе издали несясь слабый топот далеко по лугам бегущей лошади.

Подумав об одиноком всаднике, которому, судя по слабому топоту, предстояло проехать еще версты три до слободы, я быстро сбежал с крыши по наклонной стенке и кинулся в юрту. Минута в воздухе с открытым лицом грозила отмороженным носом или щекою. Цербер, издав громкий торопливый лай в направлении конского топота, последовал за мною.

Вскоре в камельке, широко зиявшем открытою пастью в середине юрты, вспыхнул огонек зажженной мною лучины. К этому огоньку я приставил сухих поленьев смолистой лиственницы, и в несколько мгновений мое жильё изменилось до неузнаваемости. Молчаливая юрта наполнилась вдруг говором и треском. Огонь сотней языков перебегал между поленьями, охватывал их, играл с ними, прыгал, рокотал, шипел и трещал. Что-то яркое, живое, торопливое и неугомонно-болтливое ворвалось в юрту, заглядывая во все ее углы и закоулки. По временам трескучее разыгравшееся пламя стихало. Тогда мне было слышно, как, вылетая в короткую прямую трубу камелька, шипели, трескались в морозном воздухе горячие искры. Но через минуту огонь принимался за свою игру с новой силой и в юрте раздавались частые взрывы, точно пистолетные выстрелы.

Теперь я уже не чувствовал себя в такой степени одиноким, как прежде. Все, казалось, вокруг меня шевелится, говорит, суетится и пляшет. Оконные льдины, в которые за минуту перед тем глядела снаружи морозная ночь, теперь искрились и переливались отблесками пламени, точно самоцветные камни. Я находил особого рода отраду в мысли, что во мгле холодной ночи моя одинокая юрта сверкает светлыми льдинами и сыплет, точно маленький вулкан, целым снопом огненных искр, судорожно трепещущих в воздухе, среди клубов белого дыма.

Цербер уселся против камелька, уставился на огонь и сидит неподвижно, точно белое изваяние; по временам только он поворачивает ко мне голову, и в умных глазах собаки я читаю благодарность и ласку. Тяжелые шаги скрипят по двору у наружной стены, но Цербер остается спокоен, а только снисходительно взвизгивает; он знает, что это наши лошади, стоявшие до сих пор где-нибудь под плетнем, прижав уши и пожимаясь от мороза, вышли на огонь, чтобы стать у стены и смотреть на весело прыгающие искры, на широкую ленту теплого белого дыма.

Но вот собака с неудовольствием отвернулась от огня и заворчала. Через минуту она бросилась к двери. Я выпустил Цербера, и, пока он неистовствовал и заливался

на своем обычном сторожевом посту, на крыше, я выглянул из сеней. Очевидно, одинокий путник, которого приближение я слышал ранее среди чуткого безмолвия морозной ночи, соблазнился моим веселым огнем. Он раздвигал теперь жерди моих ворот, чтобы провести во двор оседланную и навьюченную лошадь.

Я не ждал никого из знакомых. Якут едва ли приехал бы в слободу так поздно, а если б и приехал, то, без сомнения, знал бы, где живут его *догóры*<sup>1</sup>, а не повернул бы на первый огонь. Стало быть, рассуждал я, это может быть только поселенец. В обыкновенное время мы не особенно радовались подобным гостям, но теперь живой человек был очень кстати. Я знал, что скоро веселый огонь станет смолкать; пламя лениво и томно потянется по раскаленному дереву, потом останется только куча углей, и по ним, нашептывая что-то, побегут огненные змейки, все тише, все реже... Тогда в юрте настанет опять безмолвие мрака, а в мое сердце опять волеется тоска. Камелек глянет в темноте слабою искоркой из-под пепла, точно из полузакрытого глаза, — глянет раз и другой и... заснет. А я опять останусь один... один перед долгою, тоскливою, бесконечною ночью.

Мысль о том, что, быть может, мне придется провести ночь с человеком, прошлое которого запятнано кровью, не приходила мне в голову. Сибирь приучает видеть и в убийце человека, и хотя ближайшее знакомство не позволяет, конечно, особенно идеализировать «несчастенького», взламывавшего замки, воровавшего лошадей или проламывавшего темною ночью головы ближних, но все же это знакомство позволяет трезво ориентироваться среди сложных человеческих побуждений. Вы узнаете, когда и чего можно ждать от человека. Убийца не все же только убивает, он еще и живет, и чувствует то же, что чувствуют все остальные люди, в том числе и благодарность к тому, кто его приютил в мороз и непогоду. Но когда мне приходилось приобретать в этой среде новое знакомство и если при этом у нового знакомого оказывалась оседланная лошадь, а в седле болтались вьючные «сумы-переметы», то вопрос о принадлежности лошади внушал некоторые сомнения, а содержимое «переметов» вызывало на размышления о способе его приобретения.

Тяжелая, обитая конской шкурой дверь юрты приподнялась в наклонной стене; со двора хлынула волна пара, и к камельку подошел незнакомый пришелец. Это

---

<sup>1</sup> Догóр — друг, приятель. (Примеч. В. Г. Короленко.)

был мужчина высокого роста, широкоплечий и статный. Уже на первый взгляд можно было отличить, что это не якут, хотя одет он был по-якутски. На ногах у него были надеты *торбаса* из белой как снег конской шкуры. Широчайшие рукава якутской *соны*<sup>1</sup> подымались складками на плечах выше ушей. Голова и шея были закутаны большою шалью, концы которой завязаны вокруг стана. Вся шаль вместе с острою верхушкой торчавшей над нею якутской шапки (бергес) была обильно усыпана хлопьями крепкого, плотно смерзшегося инея.

Незнакомец приблизился к камельку и неловко, полуставившими руками стал развязывать шаль, потом ремешки шапки. Когда он откинул свой трех на плечи, я увидел молодое, покрасневшее от мороза лицо мужчины лет тридцати; крупные черты его были отмечены тем особенным выражением, какое нередко приходилось мне замечать на лицах старост арестантских артелей и вообще на лицах людей, привыкших к признанию и авторитету в своей среде, но в то же время вынужденных постоянно держаться настороже с посторонними. Черные выразительные глаза его кидали быстрые, короткие взгляды. Нижняя часть лица несколько выдавалась вперед, обнаруживая пылкость страстной натуры, но бродяга (по некоторым характерным, хотя трудноуловимым признакам я сразу предположил в моем госте бродягу) давно уже привык сдерживать эту пылкость. Только легкое подергивание нижней губы и нервная игра мускулов выдавали по временам беспокойную напряженность внутренней борьбы.

Усталость, морозная ночь, а быть может, и тоска, которую испытывал одинокий путник, пробиравшийся среди непроницаемого тумана, — все это несколько смягчило резкие очертания лица, залегло над бровями и в черных глазах выражением страдания, гармонизировавшего с моим настроением в этот вечер, и внушило мне сразу невольную симпатию к незнакомому гостю.

Не раздеваясь дальше, он прислонился к камельку и вынул из кармана трубку.

— Здравствуйте, господин, — сказал он, вытряхивая трубку об уголок и в то же время искоса окидывая меня внимательным взглядом.

— Здравствуйте, — ответил я, продолжая в свою очередь пытливо осматривать незнакомую фигуру.

---

<sup>1</sup> С ó н а — верхняя одежда, кафтан, шуба и т. д. (Примеч. В. Г. Короленко.)



— Вы уж меня, господин, извините, что я так прямо к вам взошел. Мне вот только обогреться маленько да трубочку покурить — я и уеду, потому что у меня тут знакомые, которые меня во всякое время принимают, в двух верстах отсель, на займке<sup>1</sup>.

В его голосе слышалась сдержанность человека, очевидно не желавшего показаться навязчивым. Говоря это, он кинул на меня несколько коротких внимательных взглядов, как будто выжидая, что я скажу, чтобы сообразно с этим установить дальнейшие отношения. «Как ты со мной, так и я с тобой», — казалось, выражали эти пристальные холодные взгляды. Во всяком случае, приемы моего гостя составляли приятный контраст с обычною назойливостью якутского поселенца, хоть для меня и было очевидно, что если б он не рассчитывал остаться у меня ночевать, то не стал бы вводить лошадь во двор, а привязал бы ее к городьбе, снаружи.

— Кто вы такой, — спросил я, — как вас зовут?

— Меня-то? Зовут меня *Багылай*, то есть это, видите ли, по-здешнему, а настояще-то, по расейски — Василий... Может, слышали? Байагантайского улусу.

— Родом с Урала, бродяга?..

На губах незнакомца чуть-чуть промелькнула улыбка удовольствия.

— Ну вот, вот! Он самый. Вы, стало быть, обо мне маленько наслышаны?

— Да, слышал от Семена Ивановича. Вы ведь с ним жили по соседству.

— Верно. Семен Иванович меня довольно знают.

— Ну, рад гостю, милости просим. Оставайтесь у меня ночевать, кстати же я один. Сейчас самовар поставим.

Бродяга охотно принял приглашение.

— Спасибо, господин! Ежели уж вы приглашаете, то я останусь. Надо вот переметы с седла снять, кое-что в избу внести. Оно хоть, скажем, конь-то у меня во дворе привязан, а все же лучше: народ-то у вас в слободе фартовый<sup>1</sup>, особливо татары.

Он вышел и через минуту внес в юрту две переметные сумы. Развязав ремни, он стал вынимать оттуда привезенные с собою припасы: круги мерзлого масла, мороженого молока, несколько десятков яиц и т. д. Кое-что из привезенного он разложил у меня на полках, остальное вынес на мороз, в сени, чтобы не растаяло. Затем он снял

<sup>1</sup> З а й м к а — хутор в Сибири.

<sup>2</sup> Ф а р т о в ы й — ловкий.

шаль, шубу и кафтан и, оставшись в красной кумачовой рубахе и шароварах из «бильбирета» (род плиса), уселся против огня на стуле.

— Вот, господин, — поднял он голову и усмехнулся, — стану вам правду говорить. Еду это к вашим воротам, а сам думаю: неужто не пустит меня ночевать? Потому что я довольно хорошо понимаю: есть из нашего брата тоже всякого народу достаточно, которого и пустить никак невозможно. Ну, я не из таких, по совести говорю... Да вы вот, сказываете, про меня слышали.

— Действительно, слышал.

— Ну вот! Живу, могу сказать не похваставшись, честно и благородно. Имею у себя корову, бычка по третьему году, лошадь... Землю пашу, огород.

Бродяга говорил все это странным тоном, как-то раздумчиво глядя в одну точку, а при последних словах даже развел руками, как будто удивляясь: «А что, ведь и вправду все это так и есть в действительности!»

— Да, — продолжал он тем же тоном, — работаю. То есть вполне даже как следует, по божьему приказанию. Что ж, я так понимаю, что это гораздо лучше, нежели воровать или наипаче еще разбойничать. Вот, скажем, хоть к этому примеру: еду я ночью, увидел огонь и заезжаю к вам... и сейчас вы мне уважение, самоварчик... Я это должен ценить. Так ли я говорю?

— Конечно, — подтвердил я, хотя, в сущности, бродяга обращался больше к себе самому, себя убеждал в преимуществах своей настоящей жизни.

Я действительно знал Василия по слухам от товарищей; это был бродяга-поселенец, уже два года живший в своем домике, среди тайги, над озером, в одном из больших якутских *наслегов*<sup>1</sup>. В бесшабашной и потерянной среде поселенцев, бедствовавших, воровавших и нередко разбойничавших по наслегам, он был одним из немногих, предпочитавших трудовую жизнь, которая здесь давала легкую возможность подняться. Якуты, вообще говоря, народ очень добродушный, и во многих улусах принято, как обычай, оказывать новоприбывшим поселенцам довольно существенную помощь. Правда, что без этой помощи человеку, закинутому в суровые условия незнакомой

---

<sup>1</sup> Якутская область в административном отношении разделяется на округа, соответствующие нашим уездам. Округ, в свою очередь, разделяется на улусы, а улусы подразделяются на наслеги. Если улус приравнять к русской волости, то наслег будет соответствовать отдельному обществу в среде волости. Деление это имеет характер отчасти родовой, отчасти административный. (Примеч. В. Г. Короленко.)

страны, пришлось бы или в самом скором времени умереть от голода и холода, или приняться за разбой; правда также, что всего охотнее эта помощь оказывается в виде пособия «на дорогу», посредством которого якутская община старается как можно скорее выпроводить поселенца куда-нибудь на прииск, откуда уже большая часть этих неудобных граждан не возвращается; тем не менее человеку, серьезно принимающемуся за работу, якуты по большей части также помогают стать на ноги. Василий получил от наслегу избу, быка, и на первый год ему засеяли обществом шесть пудов хлеба. Урожай выдался хороший; кроме того, он выгодно нанялся у якутов косить сено, стал слегка торговать табаком, и года в два хозяйство его сложилось. Якуты относились к нему с почтением, поселенцы величали его в глаза Василием Ивановичем и только за глаза звали Васькой; попы, выезжая на потребу, охотно заезжали к нему на перепутье и сами сажали его за стол, когда ему случалось приезжать к ним. Водил он также знакомство и с нашею братиею, интеллигентными людьми, заброшенными судьбой в эти далекие страны. Казалось бы, всем житье бродяге, оставалось только жениться; тут, конечно, встречалось маленькое затруднение, так как бродяг обыкновенно не венчают, но в той стороне за небольшие деньги, за телку или хорошего жеребенка можно было устроить и это.

И тем не менее, взглядываясь в энергичное лицо молодого бродяги, я все яснее различал в нем какую-то странность. Теперь это лицо нравилось мне уже несколько менее, чем в первую минуту, но все же оно было довольно приятно. Темные глаза глядели по временам задумчиво и умно, все черты выражали энергию; обращение его было свободно, в тоне слышалось удовлетворенное самолюбие гордой натуры. Только по временам нижняя часть лица как-то нервно вздрагивала и блеск глаз потухал. Было видно, что Багылаю стóбит некоторого усилия держать этот ровный тон, сквозь который что-то как будто силилось пробиться наружу, что-то горькое, подавляемое только напряжением воли...

Сначала я не мог отдать себе отчета, что именно это было. Теперь я уже знаю: привычный бродяга обманывал себя, уверяя, что он доволен своим спокойным существованием, своим домком, и коровкой, и бычком по третьему году, и оказываемым ему уважением. В глубине души он сознавал, хотя и подавлял пока это сознание, что эта серая жизнь на чужбине, постылой и неприветной, не про него. Из глубины души уже подымались в нем призывы

тайги, его манила уже от серых будней безвестная, заманчивая и обманчивая даль. Так объяснил я себе эту черту впоследствии, но тогда я видел только, что бродягу, несмотря на кажущееся спокойствие, что-то гложет внутри, что-то прорывается наружу...

Пока я хлопотал с самоваром, Василий сидел против камелька, задумчиво глядя на огонь. Я окликнул его, когда все было готово.

— Спасибо, господин, — сказал он подымаясь. — Много доволен и на ласковом слове. Ах, господин, господин! — обратился он вдруг ко мне как-то странно. — Поверишь ты: как завидел я твой огонек, сердце во мне разыграло — право, не лгу! Потому что знаю: у расейского человека этот огонь горит... Ехал это лугами... темень, мороз... Юрта где задымится в сторонке — конь так и воротит к ней, так и воротит; известно, скотина якутская, лестно ей. Ну а у меня сердце туда не лежит. Что мне в ней, хоть бы и в юрте? Конечно, согреют, может, и водка нашлась бы. Да нет!.. А твой огонь увидал — вот, думаю, куда заезжать, если примет. Спасибо, что не прогнал. В нашем наслеге, может, когда быть доведется — милости просим ко мне. Найдем чем угостить, слава те господи! Примем как следует, честно!

## II

Напившись чаю, Василий опять уселся против огня. Ему нельзя было еще ложиться: приходилось выждать, пока остынет его лошадь, чтобы спустить ее к сену. Якутская лошадь не особенно сильна, зато удивительно нетребовательна; якут доставляет на ней масло и другие припасы на дальние прииски или в тайгу к тунгусам, на дальний Учур<sup>1</sup>, проходя сотни верст по местам, где нечего и думать о запасах сена. Приехав на ночевку в дикой тайге, он разгребает снег, разводит костер, а стреноженных лошадей пускает в тайгу; привычный конь добывает себе из-под снега высохшую прошлогоднюю траву и наутро опять готов для утомительного перехода.

Но при этом у якутской лошади есть одна особенность: ее нельзя кормить тотчас после поездки, и перед отправлением в путь сытую лошадь тоже выдерживают без пищи иногда в течение суток и даже больше.

Василию нужно было выждать часа три. Я тоже не ложился, и мы сидели оба, изредка перекидываясь сло-

---

<sup>1</sup> Учур — река, приток Алдана, впадающего в Лену. (Примеч. В. Г. Короленко.)

вами. Василий, или, как он уже привык называть себя, Багылай, то и дело подкладывал в огонь по одному полону. Это в нем сказывалась местная привычка, приобретенная в течение длинных вечеров якутской зимы.

— Далеко! — сказал он вдруг после долгого молчания, как будто отвечая собственной мысли.

— Что это? — спросил я.

— Наша-то сторона, Расея... Здесь вот все не по-нашему, что ни возьми. Взять хоть скотину, лошадь, к примеру: у нас лошади, ежели приехал на ней, первым делом требуется пища, а эту вот накорми горячую — подохнет. Как тепло станет, сейчас у ней в сердце делается льдина, и кончено! Тоже и народ взять: живут по лесу, конину жрут, сырое мясо едят, падаль, прости господи, и ту трескают... тьфу! Стыда у здешнего народа нисколько нету: вынь в юрте у них кисет с табаком, и сейчас, сколько ни есть тут народу, всякий к тебе руку тянет — давай!

— Что ж, это у них обычай, — возразил я. — Зато и сами они дают. Ведь вот помогли же вам завести хозяйство.

— Помогли, правда.

— Довольны вы своею жизнью? — спросил я, глядя в лицо бродяги.

Он как-то загадочно улыбнулся.

— Да, жизнь... — сказал он, помолчав и подбрасывая в огонь новое полено.

Пламя осветило его лицо: глаза глядели тускло.

— Эх, господин, ежели рассказать вам!.. Не видел я в жизни своего хорошего и теперь не вижу. Только и видел хорошего до восемнадцати лет. Ладненько тогда жил, пока родителей слушал. Перестал слушаться — и жизнь моя кончилась. С самых тех пор я так считаю, что и на свете не живу вовсе. Так... бьюсь только понапрасну.

По красному лицу бродяги пробегают тени, и нижняя губа нервно вздрагивает, как у ребенка, точно он на это время опять возвратился к тому возрасту, когда «слушался родителей», точно вновь стал ребенком, только этот ребенок готов теперь расплакаться над собственной разбитою жизнью!

Заметив, что я пытливо гляжу на него, бродяга спохватился и тряхнул головой.

— Ну, да что тут... Не хотите ли лучше послушать, как мы с Соколиного острова бежали?

Я, конечно, согласился и всю ночь до рассвета прослушал рассказы бродяги.

В летнюю ночь 187\* года пароход «Нижний Новгород» плыл по водам Японского моря, оставляя за собой в синем воздухе длинный хвост черного дыма. Горный берег Приморской области уже синел слева в серебристо-сизом тумане; справа в бесконечную даль уходили волны Лаперузова пролива. Пароход держал курс на Сахалин, но скалистых берегов дикого острова еще не было видно.

На пароходе все было спокойно и тихо. На рубке виднелись освещенные луной фигуры лоцманов и дежурных офицеров. Огни из люков трепетали, отражаясь на темной поверхности океана.

«Нижний Новгород» шел с «грузом арестантов», назначенных на Сахалин. Морские уставы вообще очень строги, а на корабле с подобным грузом они еще строже. Днем арестанты посменно гуляли по палубе, оцепленные крепким караулом. Остальное время они проводили в своих помещениях, под палубой.

Обширная камера под низко нависшим потолком... Свет проникает днем сквозь небольшие люки, которые выделяются на темном фоне, точно два ряда светлых пуговиц, все меньше и меньше, теряясь на закругленных боках пароходного корпуса. В середине трюма оставлен проход вроде коридора; чугунные столбы и железная решетка отделяют этот коридор от помещения с нарами для арестантов. В проходе, опершись на ружья, стоят конвойные часовые. По вечерам тут же печально вытянутой линией тускло горят фонари.

Вся жизнь серых пассажиров парохода проходит на виду, за эту решетку. Стоит ли над морем яркое тропическое солнце, свистит ли ветер, скрипят и гнутся снасти, ударит ли волной непогода, разыграется ли грозная буря и пароход весь застонет под ударами шторма, — здесь, все так же взаперти, прислушиваются к завыванию ветра сотни людей, которым нет дела до того, что происходит там, наверху, и куда несется их плавучая тюрьма.

Арестантов гораздо больше на пароходе, чем конвоя, но зато каждый шаг, каждое движение серой толпы введены твердою рукой в заранее намеченную железную колею, и экипаж обеспечен против всякой возможности бунта.

Впрочем, здесь принято во внимание все, даже и невероятное: если бы в толпе прорвался ожесточенный, разъярившийся зверь и она в отчаянии стала бы кидаться на явную опасность, если бы выстрелы сквозь решетку

не оказали действия и зверь грозил бы сломать свою железную клетку, — тогда в руках командира оставалось бы еще одно могучее средство. Ему стоило только крикнуть в машинное отделение несколько слов:

— Рычаг такой-то... отдать!

— Есть! — И вслед за этим ответом в арестантское помещение были бы пущены из машины струи горячего пара, точно в щель с тараканами. Это страшное средство предотвращало всякую возможность общего бешинства со стороны серого населения пароходного трюма.

Тем не менее и под давлением строгого режима это серое население жило за железными решетками своею обычною жизнью. И в ту самую ночь, когда пароход шлепал колесами по спокойному морю, дробясь в мрачной зыбучей глубине своими огнями, когда часовые, опершись на ружья, дремали в проходах трюма и фонари, слегка вздрагивая от ударов никогда не засыпавшей машины, разливали свой тусклый задумчивый свет в железном коридоре и за решетками... когда на нарах рядами лежали серые неподвижные фигуры спавших арестантов, — там, за этими решетками, совершалась безмолвная драма. Серое кандалное общество казнило своих отступников.

На следующее утро во время переключки три арестанта не поднялись с своих мест. Они остались лежать на нарах, несмотря на грозные оклики начальства. Когда вошли за решетку и приподняли халаты, которыми они были прикрыты, то начальство убедилось, что эти трое никогда уже не поднимутся на переключку.

Во всякой арестантской артели все важнейшие дела вершатся более влиятельным и сплоченным ядром. Для массы, по-арестантски «шпанки», серой, безличной толпы, подобные события нередко тоже бывают совершенною неожиданностью. Пораженное мрачною ночью трагедией, население пароходного трюма вначале примолкло; под низким потолком стояла пугливая тишина. Только плеск моря доносился снаружи, бежали с рокотом вдоль ватерлинии разбиваемые грудью парохода волны да тяжелое пыхтение машины глухо отдавалось вместе с мерными ударами поршней.

Но скоро начались среди арестантов разговоры и толки о последствиях «происшествия». Начальство, очевидно, не намерено было замять неприятное дело, приписав смерть случайности или скоропостижным болезням. Признаки насилия были очевидны; пошли допросы. Арестанты отвечали единодушно; быть может, в другое время начальству и нетрудно было бы найти несколько человек,

которых страхом или обещанием выгоды можно бы склонить к доносу, но теперь, кроме чувства «товарищества», языки были скованы ужасом. Как ни страшно начальство, как ни грозны его окрики — «артель» еще страшнее: в эту ночь там, на нарах, на виду у часовых, она показала свое ужасное могущество. Без сомнения, многие в ту ночь не спали; не одно ухо чутко уловило заглушенные звуки борьбы «под крышкой»<sup>1</sup>, хрипение и вздохи, не совсем похожие на вздохи спящих, но никто ни одним словом не выдал исполнителей страшного приговора. Начальству не оставалось ничего более, как приняться за официальных ответчиков: старосту и его помощника. В тот же день их обоих заковали в кандалы.

Помощником был Василий, носивший тогда другое имя.

Прошло еще дня два, и дело было обсуждено арестантами с полной обстоятельностью. На первый взгляд казалось, что концы спрятаны, виновных открыть невозможно и закованным представителям артели грозила лишь легкая дисциплинарная ответственность. На все вопросы у них был прямой и резонный ответ: «Спали!»

Однако при более тщательном рассмотрении дело стало возбуждать некоторые сомнения. Сомнения эти относились именно к Василию. Правда, в подобных случаях артель действует всегда таким образом, чтобы неприкосновенность к делу первых «ответчиков» кидалась по возможности в глаза, и в этом случае Василий мог легко доказать, что он не принимал в ночной трагедии прямого участия. Тем не менее, обсуждая положение помощника старосты, опытные арестанты, прошедшие и огонь и медные трубы, покачивали головами.

— Слышь, парень, — подошел раз к Василию старый, бывалый в переделках бродяга, — как приедем на Сокольный остров, запасай ноги. Дело, братец, твое неприятно. Совсем табак твое дело!

— А что?

— Да вот то же!.. Ты в первый раз осужден или вторично?

— Вторично.

— То-то. А помнишь, покойный Федька на кого доносил? Все на тебя же. Ведь из-за него ты ходил неделю в наручниках, так ли?

---

<sup>1</sup> «Сделать крышку» — на арестантском жаргоне значит убить кого-либо в среде самой тюрьмы. При этом обыкновенно на голову жертвы накидывается халат с целью заглушить ее крики. Это и есть крышка. (Примеч. В. Г. Короленко.)



— Было дело.

— Ну а что ты ему тогда сказал? Солдаты-то ведь слышали! Ты как об этом думаешь? Ведь это есть угроза! Василий и другие слушатели поняли, что тут было от чего почесаться.

— Ну вот! Сообрази-ка ты все это да и готовься к расстрелу!

В партии поднялся ропот.

— Не болтай, Буран, — заговорили арестанты с неудовольствием.

— Хлопает старик зря.

— От старости, видно, из ума выжил. Шутка ли чего сказал: к расстрелу!

— Не выжил я из ума, — сердито заговорил старик и плюнул с досады. — Много вы, шпанье<sup>1</sup>, понимаете! Вы судите по-расейски, а я — по-здешнему. Я здешние-то порядки знаю... Верно тебе говорю, Василий: пошлют дело к амурскому генерал-губернатору — готовься к расстрелу. А ежели за великую милость на *кобылу*<sup>2</sup> велят ложиться, так это еще хуже: с кобылы-то уж не встанешь. Потому что ты понимай: это, братец, корाप! На корабле закон против сухопутья вдвое строже. Ну а впрочем, — глухо добавил старик, запыхавшийся от этой длинной речи, — мне все одно, хоть пропадите вы все про́падом...

Потухшие глаза старого, разбитого незадачливою жизнью бродяги давно уже глядели на мир тускло и с угрюмым равнодушием. Он махнул рукой и отошел к стороне.

Среди арестантских партий встречается немало юристов, и если такая партия во всем составе по тщательном обсуждении данного дела постановит свой предполагаемый приговор, то он почти всегда в точности совпадает с действительным. В данном случае все такие юристы согласились с мнением Бурана, и с этих пор было решено, что Василий должен бежать. Так как он мог пострадать из-за «артельного дела», то артель считала себя обязанной оказать ему помощь. Запас сухарей и галет, образовавшийся из «экономии», поступил в его распоряжение, и Василий стал «сбивать партию» желающих участвовать в побеге.

Старый Буран бегал уже с Сахалина, и потому первый выбор пал на него. Старик долго не раздумывал.

---

<sup>1</sup> Презрительная кличка от слова «штанка» (шпанкой на арестантском жаргоне зовут серую арестантскую массу). (Примеч. В. Г. Короленко.)

<sup>2</sup> Кобылой называют скамью особого вида, к которой привязывают наказываемого плетьюми. (Примеч. В. Г. Короленко.)

— Мне, — ответил он, — на роду уж написано в тайге помирать. Да оно, пожалуй, в тайге-то бродяге и лучше. Одно вот только: годы мои не те, поизносился.

Старый бродяга заморгал тусклыми глазами.

— Ну, ин сбивай артель. Вдвоем али втроем нечего и идти — дорога трудная. Наберется человек десять — и ладно. А уж я пойду, поколе ноги-то носят. Хоть помереть бы мне в другом месте, а не на этом острове.

Буран заморгал еще сильнее, и по сморщенному обветреному лицу покатались старческие слезы.

«Ослаб старый бродяга», — подумал Василий и пошел «сбивать артель», подыскивать других товарищей.

#### IV

Обогнув высокий мыс, пароход вошел в залив. Арестанты толпились у люков и с тревожным любопытством смотрели на горные высокие берега острова, все выросшие среди сумрака приближавшегося вечера.

Темною ночью подошел пароход к порту. Очертания берега надвинулись и встали черною громадой. Пароход остановился, команда выстроилась; стали выводить арестантов.

На берегу в темноте виднелись кое-где огни; море плескалось о берег, на небе висели тучи, а на сердце у всех такая же темная, такая же мрачная нависла тоска.

— Порт это, — тихо говорил Буран, — *Дуя*<sup>1</sup> называемый. Тут на первое время в казармах жить придется.

После проверки в присутствии местного начальства вывели партию на берег. Проведя несколько месяцев на море, арестанты впервые чувствовали под ногами твердую почву. Пароход, на котором они прожили столько времени, покачивался в темноте и вздыхал среди ночи клубами белого пара.

Вперед задвигались огни. Послышались голоса:

— Партия, что ли?

— Партия.

— Ступай сюда, в седьмую казарму!

Арестанты двинулись на огонь. Шли вразброд, в беспорядке, и всех поражало то обстоятельство, что сбоку никто не толкает их прикладами.

— Братцы, — слышались удивленные голоса, — ни как караула-то с нами нету?

---

<sup>1</sup> Порт Дуэ, на западном берегу Сахалина. (Примеч. В. Г. Короленко.)

— Молчи! — угрюмо проворчал в ответ на это Буран. — Зачем тебе здесь караул? Небось и без караула не убежишь. Остров этот большой, да дикой. В любом месте с голоду поколеешь. А кругом острова море. Не слышишь, что ли?

Действительно, среди влажной ночи подымался ветер; огни фонарей неровно мерцали под его порывами, и глухой гул моря доносился с берега, точно рев просыпающегося зверя.

— Слышь, как ревет? — обратился Буран к Василию. — Вот оно: кругом-то вода, посередке беда... Беспременно море переплывать надо, да еще до переправы островом сколько идти придется... Гольцы<sup>1</sup>, да тайга, да кордоны!.. На сердце у меня что-то плохо; нехорошо море-то говорит, неблагоприятно. Не избыть мне, видно, Соколиного острова, не избыть будет — стар! Два раза бегал: раз в Благовещенске, другой-то раз в Расее поймали — опять сюда... Видно, судьба мне на острове помереть.

— Авось не помрешь! — ободрил старика Василий.

— Молод ты, а я уж износил. Эх, море-то, море-то как жалостно да сердито взыграло!

Из казармы № 7 вывели всех живших в ней каторжных и отвели ее новоприбывшим, приставив на первое время караул. Привыкши к тюремной неволе и крепким запорам, они непременно разбились бы по острову, как овцы, выпущенные из овчарни. Других, живших здесь подольше, не запирали: пооглядевшись и ознакомившись с условиями, ссыльные убеждают, что побег на острове — дело крайне рискованное, почти верная смерть, и потому на это дело отваживаются только исключительные удалцы, да и то после тщательных сборов. А таких все равно, запирай не запирай — убегут, если не из тюрьмы, то с работы.

— Ну, Буран, советуй теперь, — приставал к Бурану Василий дня через три по приезде на остров, — ты ведь у нас старший будешь, тебе впереди идти, тебе и порядки давать. Чай, ведь запас нужно делать.

— Чего советовать-то, — ответил старик вяло. — Трудно... годы мои не те. Вот видишь ты: пройдет еще дня три, караулы снимут, станут партиями в разные места на работы выводить, да и так из казармы выходить дозволяется. Ну, только с мешком из казармы не выпустят. Вот тут и думай.

— Ты придумай, Буранушка, тебе лучше знать.

---

<sup>1</sup> Г о л ь ц ы — сопки, голые вершины гор.

Но Буран ходил осунувшийся, угрюмый и опустившийся. Он ни с кем не говорил и только что-то бормотал про себя. С каждым днем, казалось, старый бродяга, очутившийся в третий раз на старом месте, «ослабевал» все больше и больше. Между тем Василий успел подобрать еще десять охотников, молодец к молодцу, и все приставал к Бурану, стараясь расшевелить его и вызвать к деятельности. Порой это удавалось, но даже и тогда старик всегда сводил речь на трудность пути и дурные предзнаменования.

«Не избыть острова!» Это была постоянная фраза, в которой вылилась безнадежная уверенность неудачника-бродяги. Тем не менее в светлые минуты он оживлялся воспоминаниями о прежних попытках, и тогда, в особенности по вечерам, лежа на нарах, рядом с Василием, он рассказывал ему об острове и о пути, по которому придется идти беглецам.

Порт Дуэ расположен на западной стороне острова, обращенной к азиатскому берегу. Татарский пролив в этом месте имеет около трехсот верст в ширину; переплыть его в небольшой лодочке, понятно, нечего и думать, и потому беглецы поневоле направляются в ту или другую сторону по острову. Побег, собственно, на острове нетруден. «Куда хошь ступай, — говорил Буран, — коли помирать хочется: остров большой, весь в гольцах да в тайге. Гиляк, инородец, на что привычный человек, и тот не во всяком месте держится. На восток ежели пойдешь — заплутаешься в камнях: либо пропадешь, расклюет тебя голодная птица, либо сам к зиме опять сюда явишься. На полдень пойдешь — дойдешь до конца острова, а там море-окиян: на корабле разве переплыть. Одна нам дорога — на север, все берегом держаться. Море-то само дорогу укажет. Верст триста пройдем, будет пролив, узкое место; тут нам и переправу держать на амурскую сторону на лодках».

— Ну, только что скажу тебе, парень, — начинал Буран обычный унылый припев, — и тут трудно, потому что мимо кордонов идти придется, а в кордонах солдаты. Первый кордон Варки называется, предпоследний — Панги, последний самый — Погиба. А почему Погиба? Больше всех тут нашему брату погибель. И хитро же у них кордоны поставлены: где этак узгорочек круто заворачивает, тут и кордон выстроен. Идешь-идешь да прямо на кордон и наткнешься. Не дай господи!

— Ну, да ведь уж два раза ходил, чай, знаешь?

— Ходил, парень, ходил... — И потухшие глаза старика опять вспыхнули. — Ну, слушай меня, да делайте,

как я велю. Станут скоро на мельницу на постройку людей выкликать, вы все в то число становитесь; станут туда провизию запасть, и вы свои сухари да галеты в телегу складывайте. На мельнице-то Петруха сидит, из каторжных. От него вам и будет ход, с мельницы то есть. Три дня здесь вас не спохватятся, такой здесь порядок: три дня можно на переключку не являться, ничего. Доктор от наказания избавляет, потому что, говорит, больница плохая; иной это притомится на работе, занеможет: чем ему в больницу идти, лучше он в кусты уйдет да там как-нибудь на воздухе-то и отлежится. Ну а уж если на четвертый день не явился, то прямо считают в бегах. И сам после явишься, все равно: приходи да прямо на кобылу и ложись.

— Зачем на кобылу? — сказал Василий. — Даст бог, уйдем, так уж охотой не вернемся.

— А не вернешься, — глухо заворчал Буран, и глаза его опять потухли, — не вернешься, так все равно воронье тебя расклюет в пади где-нибудь, на кордоне. Кордону-то небось с нашим братом возиться некогда; ему тебя не представлять обратно, за сотни-то верст. Где увидел, тут уложил с ружья — и делу конец.

— Не каркай, старая ворона!.. Завтра, смотри, идем мы. Ты Боброву сказывай, чего надо, — артель отпустит.

Старик проворчал что-то в ответ и отошел, понутив голову, а Василий пошел к товарищам сказать, чтобы готовились. От должности помощника старосты он отказался ранее, и на его место уже выбрали другого. Беглецы уложили котомочки, выменяли лучшую одежду и обувь и на следующий день, когда действительно стали снаряжать рабочих на мельницу, они стали в число выкликаемых. В тот же день с постройки все они ушли в кусты. Не было только Бурана.

Отряд подобрался удачно. С Василием пошел его приятель, который «по бродяжеству» носил кличку Володьки, Макаров, силач и хват, бегавший два раза с Кары<sup>1</sup>, два черкеса, народ решительный и незаменимый в отношении товарищеской верности, один татарин, плут и проныра, но зато изобретательный и в высшей степени ловкий. Остальные были тоже бродяги, искусившиеся в путешествиях по Сибири.

Артель просидела в кустах уже день, переночевала, и другой день клонился к вечеру, а Бурана все не было. Послали татарина в казарму; пробравшись туда тихонько,

---

<sup>1</sup> К а́ р а — река в Сибири, в районе которой находились каторжные тюрьмы (Карийская каторга).

он вызвал старого арестанта Боброва, приятеля Василия, имевшего в среде арестантов вес и влияние. На следующее утро Бобров пришел в кусты к беглецам.

— Что, братцы, как бы мне вам какую помощь сделать?

— Посылай непременно Бурана. Без него нам не ход. Да если чего просить станет из запаса — дайте. За Бураном у нас только и дело-то стало.

Вернулся Бобров в казарму, а Буран и не думает собираться. Суется по камере, сам с собою разговаривает да размахивает руками.

— Ты что же это, Буран, думаешь? — окликнул его Бобров.

— А тебе что?

— Как что? Почему не собрался?

— В могилу мне собираться, вот куда!

Бобров рассердился:

— Да ты что, в самом деле! Ведь ребята четвертые сутки в кустах. Ведь им теперь на кобылу ложиться.. А еще старый бродяга!

Заплакал от покровов старик.

— Отошло мое время... Не избыть мне острова... Износился!..

— Износился ты аль нет — это дело твое. Не дойдешь, помрешь в дороге, за это никто не завинит; а ежели ты подвел одиннадцать человек под плети, то обязан идти. Ведь мне стоит артели сказать, что тогда над тобой сделают?

— Знаю, — сказал Буран сумрачно, — сделают крышку, потому что стою... Нечестно старому бродяге помирать такую смертью. Ну, ин видно, идти мне доводится. Только вот ничего-то у меня не припасено.

— Все живой рукой будет. Что надо?

— А вот что: первым делом неси мне двенадцать хороших халатов, новых.

— Да ведь у ребят свои есть.

— Ты слушай меня, что я говорю, — заговорил Буран с сердцем, — знаю, что есть у них по халату, а надо по два. Гилякам за лодку с человека по халату придется. Да еще надо мне двенадцать ножей хороших, по три четверти, да два топора, да три котла.

Бобров собрал артель и объяснил, в чем дело. У кого были лишние халаты, все поступились в пользу беглецов. У всякого арестанта живуче какое-то инстинктивное сочувствие смелой попытке вырваться из глухих стен на вольную волю. Котлы и ножи нашлись частью даром,

частью за деньги у старожилов-ссылных. Все было готово дня в два.

Со времени прибытия партии на остров прошло тринадцать дней.

На следующее утро Бобров доставил Бурана в кусты вместе с запасом. Беглецы «стали на молитву», отслужили нечто вроде молебна на этот случай по особому арестантскому уставу, попрощались с Бобровым и двинулись в дорогу.

## V

— Что же, небось весело было в путь отправляться? — спросил я, вслушиваясь в окрепший голос рассказчика, вглядываясь в его оживившиеся в этом месте рассказа черты.

— Да как же не весело! Как изошли из кустов да тайга-матушка над нами зашумела — верите, точно на свет вновь народились. Таково всем радостно стало. Один только Буран идет себе впереди, голову повесил, что-то про себя бормочет. Невесело вышел старик. Чуяло, видно, Бураново сердце, что недалеко уйти ему.

Видим мы с первого разу, что командир у нас не очень надежный. Он хоть бродяга опытный и даже с Соколиного острова два раза бегал, да и дорогу, видно, знает: идет, знай, покачивается, по сторонам не глядит, ровно собака по следу, — ну а все же нас с Володькой, с приятелем, сомнение берет.

«Гляди-ко, — говорит мне Володька, — с Бураном как бы на беду не напороться. Видишь: он не в себе что-то».

«А что?» — говорю.

«А то, что старик как будто не в полном рассудке. Сам с собой разговаривает, голова у него мотается, да и распоряжений от него никаких не видится. Нам бы давно уж хоть маленький привал сделать, а он, видишь, прет себе да прет. Неладно, право!»

Вижу и я, что неладно. Подошли мы к Бурану, окликнули:

«Дядя, мол, а дядя! Чего больно разошелся? Не пора ли привал сделать, прилечь, отдохнуть?»

Повернулся он к нам, посмотрел да опять вперед пошел.

«Погодите, — говорит, — зачем торопитесь ложиться? Вон в Варках либо в Погибе уложат пулями — налегитесь еще».

«Ах, чтоб те пусто было!»

Ну, все же спорить не стали, потому что он — старый бродяга. И притом сами видим, что не дело и мы затеяли: в первый-то день побольше уйти надо — тут не до отдыха.

Прошли еще сколько-то. Володька опять меня толкает: «Слышь, Василий, дело-то все же неладно!»

«Что такое опять?»

«До Варков-то, сказывали, двадцать верст, — ну, уж мы восемнадцать-то верных прошли. Как бы на кордон не напороться».

«Буран, а Буран!.. Дядя!» — кричим опять.

«Что вам?»

«Варки, чай, близко».

«Далеко еще», — отвечает и опять пошел.

Была бы тут беда, да, на счастье, увидели мы: на речке челнок зачален стоит. Как увидели мы этот челнок, так все и остановились. Бурана Макаров силой удержал. Уж ежели, думаем себе, челнок стоит, значит, и житель близко. Стой, ребята, в кусты!

Вот вошли мы в тайгу, а на ту пору шли мы падью по по речке; по одну сторону горы, и по другую тоже горы, лиственью поросли густо. С весны с самой по Соколиному острову туманы теплые ходят, и в тот день с утра тоже туман был. А как взобрались мы на гору да прошли малое место верхами — дохнул из пади ветер, туман, как нарочно, в море и угнало. Смотрим мы: внизу за горкой кордон как на ладонке, солдаты по двору ходят, собаки лежат, дремлют. Все мы тут ахнули: ведь без малого волку в пасть своєю охотой не полезли.

«Как же, говорим, дядя Буран! Ведь это кордон».

«Кордон, — отвечает Буран. — Самые это Варки».

«Ну, — говорим мы ему, — уж ты, дядя, не прогневайся: хоть ты и старше нас всех, однако, видно, нам самим о себе промышлять надо. С тобой как раз беды наживешь».

Заплакал старик.

«Братцы! — говорит. — Стар я, простите, ради Христа! Сорок лет хожу, весь исходился, видно память временами отшибать стало: кое помню, а кое вовсе забыл. Не взыщите! Надо теперь поскорей уходить отсюда: не дай бог, за ягодой кто к кордону пойдет или ветер бродяжьем духом на собаку пахнёт — беда будет».

Пошли мы дальше. Дорогой поговорили меж собой, и все так порешили, чтобы за Бураном смотреть. Меня ребята выбрали вожатым: мне, значит, привалами распорядиться, порядки давать; ну а Бурану все же впереди идти, потому что он с дороги-то не сбивается. Ноги у бродяги



привычные: весь изомрет, а ноги-то все живы — идет себе, с ноги на ногу переваливается. Так ведь до самой смерти все старик шел.

Шли мы больше горами; оно хоть труднее, да зато безопаснее: на горах-то только тайга шумит да ручьи бегут, по камню играют. Житель, гиляк, в долинах живет, у рек да у моря, потому что питается рыбой, которая рыба в реки ихние с моря заходит, *кыта́* называемая. И столь этой рыбы много, так это даже удивлению подобно. Кто не видал, поверить трудно: сами мы эту рыбу руками добывали.

Так все и идем, нос-то по ветру держим. Где этак безопаснее, к морю аль к речке спустимся, а чуть малость сомневаться станем, сейчас опять на верхи. Кордоны-то обходим со всякою осторожностью, а кордоны-то стоят разно: где двадцать верст расстояние, а где и все пятьдесят. Угадать никак невозможно. Ну, все же как-то нас бог миловал, обходили все кордоны благополучно, вплоть до последнего...

## VI

Рассказчик нахмурился и замолчал. Спустя некоторое время он поднялся с места.

— Что же дальше? — спросил я.

— Лошадь вот... Чай, уж просохла. Пора, пожалуй, спустить с привязи.

Мы оба вышли на двор. Мороз сдавал, туман рассеялся. Бродяга посмотрел на небо.

— Стожары-то<sup>1</sup> высоко поднялись, — сказал он. — За полночь зашло.

Теперь юрты соседней слободы виднелись ясно, так как туман не мешал. Слобода спала. Белые полосы дыма тихо и сонно клубились в воздухе; по временам только из какой-нибудь трубы вдруг вырывались снопы искр, неистово прыгая на морозе. Якуты топят всю ночь без перерыва: в короткую незакрытую трубу тепло вытягивает быстро, и потому первый, кто проснется от наступившего в юрте холода, подкладывает свежих поленьев.

Бродяга постоял некоторое время в молчании, глядя на слободу. Затем он вздохнул.

— Вот и ровно бы село наше, право! Давно уж я села не видал. Якуты по наслегам живут как звери в лесу — все

---

<sup>1</sup> Стожары — созвездие Плеяды. Иногда так называют созвездия Большой и Малой Медведицы с Полярной звездой.

в одиночку... Эх, хоть бы сюда мне перебраться, что ли! Может, и выжил бы здесь.

— Ну а в наслеге разве не выживете? Ведь у вас хозяйство. Вот вы говорили, что довольны своим положением.

Бродяга ответил не сразу.

— Мочи моей нету, вот что! Не глядели бы глаза на здешнюю сторону.

Он подошел к коню, пощупал у него под гривой, потрепал по шее. Умный конек повернул к нему голову и заржал.

— Ну ладно, ладно! — сказал Василий ласково. — Спущу сейчас. Смотри, Серкó, завтра не выдай!.. В бега его завтра пушу с татарами. Конек хороший, набегал я его — теперь с любым скакуном потягается. Ветер!

Он снял недоуздок, и конь веселою рысцой побежал к сену. Мы вернулись в избу.

Лицо Василия сохраняло пасмурное выражение. Он как будто забыл или не хотел продолжать свой рассказ. Я напомнил ему, что жду продолжения.

— Да что рассказывать-то, — сказал он угрюмо, — не знаю, право... Нехорошо у нас вышло. Ну, да уж начал, так надо кончать...

...Шли мы уже двенадцать дён и все еще с Соколиного острова не вышли, а по-настоящему надо бы на восьмой день уже на амурскую сторону перебраться. И все потому, что опасаемся, на командёра своего надежды не имеем. Где бы ровным местом идти, берегом, а мы по верхам рышем, по оврагам, по гольцам, да тайгой, да по бурелому... Много ли тут уйдешь? Вот и стала у нас провизия кончатся, потому что всего на двенадцать дён и запасали. Стали мы поначалу порции уменьшать: сухарей понемногу отпускали, и промышляй всяк до своей утробы как знаешь — ягоды-то по тайге много. И пришли мы таким родом к заливчику, лиман называемый. Вода в том заливчике соленая, а как припрет ину пору с Амуру, то и пресная бывает. Вот хорошо: надо в этом месте лодки добывать, на амурскую сторону переправу иметь.

Стали мы тут думать-гадать: где нам взять лодки? Приступили к Бурану: советуй! А Буран-старик притомился у нас вовсе: глаза потускли, осунулся весь и никакого совету не знает. «У гиляков, говорит, лодки добывать надо», а где они, гиляки эти, и каким, например, способом лодки у них получить, этого не объясняет.

Вот и говорим мы с Володькой ребятам: «Погодите-ка вы здесь, а уж мы по берегу пойдем, может, на гиляков наткнемся: как-нибудь лодку ли, две ли промыслим. А вы

тут, ребята, смотрите ходите с опаской, потому что кордон, надо быть, поблизости находится».

Остались ребята, а мы втроем пошли по берегу. Шли-шли, вышли на утесик, глядим, а внизу, над речкой, гиляк стоит, снасть чинит. Бог нам его, Оркуна этого, послал.

— Это что же Оркун, имя, что ли? — спросил я рассказчика.

— Кто его знает? Может, и имя, а вернее, что старосту это по-ихнему обозначает. Нам не известно, а только как подошли мы к нему потихоньку (не сбежал бы, думаем), окружили его, он и стал тыкать себя пальцем в грудь: Оркун, говорит, Оркун; а что такое Оркун, мы не понимаем. Однако стали с ним разговаривать. Володька взял в руки палочку и начертил на земле лодку; значит: вот нам от тебя какой предмет требуется! Гиляк сообразил сразу; замотал головой и начинает нам пальцы казать; то два покажет, то пять, то все десять. Не могли мы долго в толк взять, что такое он показывает, а потом Макаров догадался:

«Братцы, говорит, да ведь это ему надо знать, сколько нас, какую лодку готовить».

«Верно!» — говорим и показываем гиляку, что, мол, двенадцать нас всех человек. Замотал головой — понял.

Потом велит себя к остальным товарищам вести. Взяло нас тут маленько раздумье, да что станешь делать? Пешком по морю не пойдешь! Привели. Возроптали на нас товарищи: «Это вы, мол, зачем гиляка сюда-то притащили? Казать ему нас, что ли?..» — «Молчите, говорим, мы с ним дело делаем». А гиляк ничего, ходит меж нас, ничего не опасается; знай себе халаты пошупывает.

Отдали мы ему запасные халаты, он их ремнем перевязал, вскинул на плечи и пошел себе вниз. Мы, конечно, за ним. А внизу-то, смотрим, юртенки гиляцкие стоят, вроде как бы деревушка.

«Что ж теперь? — сумлеваются ребята. — Ведь он в деревню пошел, народ сгонять станет!..»

«Ну так что ж, — говорим мы им. — Их всего-то четыре юрты — много ли тут народу наберется? А ведь нас двенадцать человек, ножи у нас по три четверти аршина, хорошие. Да и где же гиляку с русским человеком силой равняться? Русский человек — хлебной, а он рыбу одну жрет. С рыбы-то много ли он силы наест? Куда им!»

Ну, все-таки, надо правду говорить, маленько и у меня по сердцу скребнуло: не было бы какого худа. Вот, мол, и край Соколиного острова стоим, а приведет ли бог на амурской-то стороне побывать? А амурская-то сторона

за проливом край неба горами синее. Так бы, кажись, птицей снялся да полетел. Да вишь, локоть и близок, а укусить — не укусишь!..

Вот хорошо. Подождали мы маленько, смотрим — идут к нам гиляки гурьбой. Оркун впереди, и в руках у них копья. «Вот видите, — ребята говорят, — гиляки биться идут!» Ну, мол, что будет... Готовь, ребята, ножи. Смотрите: живьем никому не сдаваться и живого им в руки никого не давать. Кого убьют, делать нечего — значит, судьба! А в ком дух остался, за того стоять. Либо всем уйти, либо всем живым не быть. Стой, говорю, ребята, крепче!

Однако на гиляков мы это подумали напрасно. Увидел Оркун, что мы сумлеваемся, обобрал у своих копья, одному на руки сдал, а с остальными к нам идет без оружия. Тут уж и мы увидали, конечно, что у гиляков дело на чести, и пошли с ними к тому месту, где у них лодки были спрятаны. Выволокли они нам две лодки: одна побольше, другая поменьше. В большую-то Оркун приказывает восьмерым садиться, в маленькую — остальным.

Вот мы, значит, и с лодками стали, а только переправляться-то сразу нельзя. Повеял с амурской стороны ветер, волна по проливу пошла крупная, прибой так в берег и хлещет. Никак нам в этих лодочках по этой погоде переехать невозможно. И пришлось нам из-за ветру прожить на берегу еще два дня. Припасы-то между тем все прикончились, ягодой только брюхо набиваем, да еще Оркун, спасибо ему, четыре юколы дал — рыба у них такая. Так вот юколой этой еще сколько-нибудь питались. Честных правил, отличный гиляк был, дай ему господи. И по сию пору о нем вспоминаю.

День прошел, все мы на берегу томимся. И до чего досадно было, так и сказать невозможно. Ночь переночевали, на другой день — всё ветер. Тоска донимает, просто терпеть нельзя. А амурская-то сторона из-под ветру-то еще явственнее выступает, потому что туман с моря согнало. Буран наш как сел на утесике, глазами на тот берег уставился, так и сидит. Не говорит ничего и ягод не собирает; сжалится кто над стариком, принесет ему ягоды в шапке, — ну, он поест, а сам ни с места. Загорелось у старика бродяжье сердце. А может, и то: смерть свою увидал... Бывает!..

Наконец всем уже невтерпеж стало, и стали ребята говорить: ночью, как-никак, едем! Днем невозможно, потому что кордонные могут увидеть, ну а ночью-то от людей безопасно, а бог авось помилует, не потопит. А ветер-

то все гуляет по проливу, волна так и ходит; белые зайцы по гребню играют, *старички* (птица такая, вроде чайки) над морем летают, криком кричат, ровно черти. Каменный берег весь стоном стонет, море на берег лезет.

«Давайте, говорю, ребята, спать ляжем. Луна с полночи взойдет, тогда что бог даст, поплывем. Спать уж тогда немного придется, надо теперь силы наспать».

Послушались ребята, легли. Выбрали мы место на высоком берегу, близ утесу. Снизу-то, от моря, нас и не видно: деревья кроют. Один Буран не ложится: все в западную сторону глядит. Легли мы, солнце-то еще только-только склоняться стало, до ночи далеко. Перекрестился я, послушал, как земля стонет, как тайгу ветер качает, да и заснул.

Спим себе, беды и не чаем.

Долго ли, коротко ли спали, только слышу я — Буран меня окликает. Проснулся от сна, гляжу: солнце-то садиться хочет, море утихло, мóроки<sup>1</sup> над берегом залегают. Надо мною Буран стоит, глаза у него дикие.

«Вставай, говорит, пришли уж... по душу, говорит, пришли!..» — рукой этак в кусты показывает.

Вскочил я тут на ноги, гляжу: в кустах солдаты...

Один, поближе, из ружья целится, другой, подальше, подбегает, а с горки этак еще трое спускаются, ружья поднимают. Мигом сон с меня соскочил; крикнул я тут громким голосом, и поднялись ребята сразу все как один. Только успел первый солдат выстрелить, мы уж на них набежали...

Глухое волнение сдавило голос рассказчика; он понурил голову. В юрте стояла полутьма, так как бродяга забыл подкладывать поленья.

— Не надо бы рассказывать, — сказал он тоном, в котором слышалось что-то вроде просьбы.

— Нет уж, все равно, кончайте! Что же дальше?

— А дальше... да что уж тут... сами подумайте: ведь их всего-то пять человек, а нас двенадцать. Да еще думали они нас сонных накрыть, все равно как тетеревей, а вместо того мы им и оглянуться-то и собраться в кучу не дали... Ножи у нас длинные...

Выстрелили они по разу наспех — промахнулись. Бегут с горки, и удержаться-то трудно. Сбежит вниз, а тут внизу мы его и принимаем...

— Верите вы? — как-то жалостливо проговорил рассказчик, поднимая на меня глаза с выражением тоски. —

<sup>1</sup> Мóроки — облака, тучи.

И оборониться-то они нисколько не умели: со штыками этак, как от собак, отмахиваются, а мы на них, мы на них — как лютые волки!..

Пхнул один солдат штыком меня в ногу, оцарапал только, да я споткнулся, упал... Он на меня. Сверху еще Макаров навалился... Слышу: бежит по мне кровь... Мы-то с Макаровым встали, а солдатик остался... Поднялся я на ноги, гляжу — последние двое на пригорок выбежали. Впереди-то Салтанов, начальник кордона, лихой, далеко про него слышно было; гиляки и те его пуще шайтана боялись, а уж из нашего-то брата не один от него смерть себе получил. Ну, на этот раз не пришлось... Сам себя потерял...

Было у нас два черкеса, проворны как кошки и храбрость имели большую. Кинулся один к Салтанову навстречу, в половине пригорка сошлись. Салтанов в него из револьвера выпалил; черкес нагнулся, оба упали. А другой-то черкес подумал, что товарищ у него убит. Как бросится туда же... Оглянуться мы не успели, он уж Салтанову голову напрочь ножом отмахнул.

Вскочил на ноги, зубы оскалил... в руках голову держит. Замерли мы все тут, глядим... Скрикнул он что-то по-своему, звонко. Размахал голову, размахал и бросил...

Полетела голова поверх деревьев с утесу... Тишина у нас настала, стоим все ни живы ни мертвы и слышим: внизу по морю плеск раздался — пала голова в море.

И солдатик последний на пригорке стоит, остановился. Потом ружье бросил, закрыл лицо руками и убежал. Мы и не гонимся: беги, бог с тобой! Один он, бедняга, на всем кордоне остался, потому что было двадцать человек. Тринадцать на амурскую сторону за провизией поехали, да из-за ветру не успели еще вернуться, а шестерых мы уложили.

Кончилось все, а мы испугались, никак сообразиться не можем, друг на друга глядим: что же, мол, это такое — во сне али вправду? Только вдруг слышим: сзади, на том месте, где спали мы, под деревом, Буран у нас стонет...

А Бурана нашего первый солдат из ружья убил. Не вовсе убил — помаялся старик еще малое время, да недолго. Пока солнце за гору село, из старика и дух вон. Страсть было жалко!..

Подошли мы к нему, видим: сидит старик под кедрой, рукой грудь зажимает, на глазах слезы. Поманил меня к себе. «Вели, говорит, ребятам могилу мне вырыть. Все одно вам сейчас плыть нельзя, надо ночи дожждаться, а то

как бы с остальными солдатами в проливе не встретиться. Так уж похороните вы меня, ради Христа».

«Что ты, что ты, дядя Буран! — говорю ему. — Нешто живому человеку могилу роют? Мы тебя на амурскую сторону свезем, там на руках понесем... Бог с тобой».

«Нет уж, братец, — отвечает старик, — против своей судьбы не пойдешь, а уж мне судьба лежать на этом острове, видно. Так пусть уж... чуюло сердце. Вот всю-то жизнь, почитай, все из Сибири в Расею рвался, а теперь хоть бы на сибирской земле помереть, а не на этом острове проклятом...»

Подивился я тут на Бурана — совсем не тот старик стал: говорит как следует, в полной памяти, глаза у него ясные, только голос слабый. Собрал нас всех вокруг себя и стал наставлять.

«Слушайте, говорит, ребята, что я стану рассказывать, да запоминайте хорошенько. Придется теперь вам без меня по Сибири идти, а мне здесь оставаться. Дело ваше теперь очень опасно — пуще всего, что Салтанова убили. Слух теперь пройдет об этом деле далеко: не то что в Иркутске, в Расее об этом деле узнают. Станут вас в Николаевском сторожить. Смотри, ребята, идите опасно; голод, холод терпите, а уж в деревни-то заходите поменьше, города обходите подальше. Гиляка и гольда не бойтесь — эти вас не тронут. Ну, теперь замечайте хорошенько, стану вам про дорогу по амурской стороне рассказывать. Будет тут перед Николаевским городом заимка, в той заимке наш благодетель живет, приказчик купца Тарханова. Торговал он раньше на Соколином острове с гиляками, заехал с товарами в горы да и сбился с дороги, заблудился. А с гиляками у него нелады были, ссора. Увидели они, что забрался он в глухое место, и застукали его в овраге; совсем было убили, да как раз на ту пору шли мы самым тем оврагом, соколинские бродяжки... В первый раз еще тогда я с Соколина уходил. Вот слышали мы, что русский человек в тайге голосом голосит, кинулись в овраг и приказчика от гиляков избавили; с тех самых пор он нашу добродетель помнит. «Должен я, говорит, по гроб моей жизни соколинских ребят наблюдать...» И действительно, с тех пор нашим от него всякое довольствие идет. Разыщите его — счастливы будете и всякую помощь получите».

Вот рассказал нам старик все дороги, наставление дал, а потом говорит:

«Теперь, говорит, ребята, вам времени-то терять незачем. Прикажи-ка, Василий, на этом месте домовину мне вырыть, потому что место хорошее. Пусть хоть ветер

с амурской стороны долетает да море оттуда плещет. Не мешкайте, полно, ребята! Принимайтесь за работу живее!»

Послушались мы.

Тут старик под кедрой сидит, а тут мы ему могилу роим; вырыли могилу ножами, помолились богу, старик уж у нас молчит, только головой качает, слезно плачет. Село солнце, старик у нас помер. Стемнело, мы уж и яму сровняли.

Как выплыли мы на середину пролива, луна на небо взошла, посветлело. Оглянулись все, сняли шапки... За нами, сзади, Соколиный остров горами высится, на утесикете Буранова кедра стоит...

## VII

Переехали мы на амурскую сторону, а уж там гиляки говорят: «Салтанова голова... вода». Бедовые эти инородцы, сороки им на хвосте вести носят. Что ни случись, все в ту же минуту узнают. Повстречали мы их несколько человек у моря, рыбу они ловили. Мотают головами, смеются; видно, что рады сами. А мы думаем: хорошо, мол, вам, чертям, смеяться, а нам-то каково! Из-за этой головы нам, может, всем теперь своих голов не сносить. Ну, дали они нам рыбы, расспросили мы их про все дороги, какие тут были, и пошли себе по своей. Идем по земле, словно по камню горячему: каждого шороху пугаемся, каждую заимку обходим, от русского человека тотчас в тайгу хоронимся, следы заметаем. Страшно ведь...

Днем больше в тайге отдыхали, по ночам шли напролет. К Тархановой заимке подошли на рассвете. Стоит в лесу заимка новая, кругом огорожена, ворота заперты накрепко. По приметам выходит та самая, про какую Буран рассказывал. Вот подошли мы, вежливенько постучались, смотрим: вздувают в заимке огонь. «Кто, мол, тут, что за люди?»

«Бродяжки, говорим, от Бурана Стахею Митричу поклон принесли».

А на ту пору Стахей Митрич, главный-то приказчик тархановский, в отлучке находился, а на заимке подручного оставил, и был от него подручному наказ: в случае придут соколинские ребята, давать им по пяти рублей на брата, да сапоги, да полушубок, белья и провизии — сколько потребуется. «Сколько бы их ни было, говорит, всех удовлетвори, собери работников, да при них выдачу и засвидетельствуй. Тут и отчет весь!»



А уж на заимке тоже про Салтанова узнали. Приказчик-то увидел нас и испужался.

«Ах, братцы, говорит, не вы ли же этого Салтанова прикончили? Беда ведь!»

«Ну, мол, мы аль не мы, об этом разговаривать нечего. А не будет ли от вашей милости какой помощи? От Бурана мы к Стахею Митричу с поклоном».

«А сам-то Буран что же? Али опять на остров попал?»

«Попал, говорим, да приказал долго жить».

«Ну, царство ему небесное... Хороший бродяга был, честных правил, хотя и незадачливый. Стахей Митрич и по сю пору его вспоминает. Теперь, чай, в поминанье запишет, только вот имя-то ему как? Не знаете ли, ребята?»

«Не знаем мы. Буран да Буран, так и звали: Чай, покойник и сам-то свое имя забыл, потому что бродяге не к чему».

«То-то вот. Эх, братцы, жизнь-то, жизнь ваша!.. Захочет поп об вас богу сказать и то не знает, как назвать... тоже, чай, у старика в своей стороне родня была: братья и сестры, а может, и родные детки».

«Как, чай, не быть. Бродяга-то хоть имя свое крещеное бросил, а тоже ведь и его баба родила, как и людей...»

«Горькая ваша жизнь, ох горькая!»

«Чего горше: едим прошенное, носим брошенное, помрем — и то в землю не пойдем. Верно! Не всякому ведь бродяге и могила-то достанется. Помрешь в пустыне — зверь сожрет, птица расклюет... Кости и те серые волки врозь растащут. Как же не горькая жизнь?»

Пригорюнились мы... Хоть жалостные-то слова мы для приказчика говорим — потому сибиряку чем жалостнее скажешь, то он больше тебя наградит, — ну а все же видим и сами, что правда, так оно и по-настоящему точка в точку выходит. Вот, думаем, он сейчас зевнет, да перекрестится, да и завалится спать... в тепле, да в сытости, да никого-то он не боится, а мы пойдем по дикой тайге путаться глухою ночью да, точно нечисть болотная, с петухами от крещеных людей хорониться.

«Ну, однако, ребята, — говорит приказчик, — пора мне и на боковую. Жертвую вам от себя по двугривенному на брата да по положению что следует получите и ступайте себе с богом. Рабочих всех будить не стану — трое есть у меня понадежнее, так они и засвидетельствуют для отчета. А то как бы с вами беды не нажить... Смотрите в Николаевский город лучше не заглядывайте. Намеднись я оттуда присхал: исправник ноне живет бойкой; приказал

всех прохожих имать, где какой ни объявится. «Сороке, говорит, пролететь не дам, заяц мимо не проскачет, зверь не прорыщет, а уж этих я молодцов соколинцев изымаю». Счастливы будете, ежели удастся вам мимо пройти, а уж в город-то ни за коим делом не заходите».

Выдал он нам по положению, рыбы еще дал несколько да от себя по двугривенному накинул. Потом перекрестился на небо, ушел к себе на заимку и дверь запер. Погасили сибиряки огни, легли спать — до свету-то еще не близко. А мы пошли себе своею дорогой, и очень нам всем в ту ночь тоскливо было.

Ох и люта же тоска на бродягу живет! Ночка-то темная, тайга-то глухая... дождем тебя моет, ветром тебя сушит, и на всем-то на всем белом свете нет тебе родного угла, ни приюту... Все вот на родину тянешься, а приди на родину, там тебя всякая собака за бродягу знает. А начальства-то много, да начальство-то строго... Долго ли на родине погуляешь — опять тюрьма!

Да еще и тюрьма-то иной раз раем вспоминается, право... Вот и в ту ночь идем-идем, вдруг Володька и говорит:

«А что, братцы, что-то теперь наши поделывают?»

«Это ты про кого, мол?»

«Да наши, на Соколином острове, в седьмой казарме. Чай, спят себе теперь, и горяшка мало!.. А мы вот тут... Эх, не надо бы и ходить-то...»

Прикрикнул я на него: «Полно, мол, тебе бабиться! И не ходил бы, коли дух в тебе короткий, — на других тоску нытьем нагоняешь».

А сам, признаться, тоже задумался. Притомились мы, идем — дремлем; бродяге это в привычку на ходу спать. И чуть маленько забудусь, сейчас казарма и приснится. Месяц будто светит, и стенка на свету поблескивает, а за решетчатými окнами — нары, а на нарах арестантики спят рядами. А потом приснится, и сам будто лежу, потягиваюсь... Потянусь — и сна не бывало... Ну, нет того сна лютее, как отец с матерью приснятся. Ничего будто со мною не бывало — ни тюрьмы, ни Соколиного острова, ни этого кордону. Лежу будто в горенке родительской, и мать мне волосы чешет и гладит. А на столе свечка стоит, и за столом сидит отец, очки у него надеты, и старинную книгу читает. Начетчик был. А мать будто песню поет.

Проснулся я от этого сна — кажись, нож бы в сердце, так в ту же пору. Вместо горенки родительской — глухая тропа таежная. Впереди-то Макаров идет, а мы за ним гусем. Ветер подымет, пошелестит ветвями и стихнет.

А вдаль, сквозь дерев, море виднеется, и над морем край неба просвечивает — значит, скоро заря и нам куда-нибудь в овраге хорониться. И никогда-то — может, и сами слышали, — никогда оно не молчит, море-то. Все будто говорит что-то, песню поет али так бормочет... Оттого мне во сне все песня и снилась. Пуще всего нашему брату от моря тоска, потому что мы к нему непривычны.

Стали ближе к Николаевскому подаваться; займки пошли чаще, и нам еще опаснее. Как-никак, подвигаемся помаленьку вперед, да тихо; ночью идем, а с утра забываемся в глушь, где уж не что человек — зверь не прощует, птица не пролетит.

Николаевск город надо бы подальше обойти, да уж мы притомились по пустым местам, да и припасы кончились. Вот подходим к реке под вечер, видим: на берегу люди какие-то. Пригляделись, ан это «вольная команда»<sup>1</sup> с сетями рыбу ловит. Ну и мы без страху подходим:

«Здорово, мол, господа вольная команда!»

«Здравствуйте, — отвечают. — Издалеча ли бог несет?»

Слово за слово, разговорились. Потом староста ихний посмотрел на нас пристально, отозвал меня к сторонке и спрашивает:

«Вы, господа проходящие, не с Соколиного ли острову? Не вы ли это Салтанова «накрыли»?»

Постеснялся я, признаться, сказать ему откровенно всю правду. Он хоть и свой брат, да в этаким деле и своему-то не сразу доверишься. Да и то сказать: вольная команда все же не то, что арестантская артель: захочет он, например перед начальством выслужиться, придет и доложит тайком — он ведь «вольный». В тюрьмах у нас все фискалы наперечет — чуть что, сейчас уже знаем, на кого думать. А на воле-то как узнаешь?

Вот видит он, что я позамялся, и говорит опять:

«Вы меня не опасайтесь: я своего брата выдавать никогда не согласен, да и дела мне нет. Не вы, так и не вы! А только, как было слышно в городе, что на Соколине сделано качество, и вижу я теперь, что вас одиннадцать человек, то я и догадался. Ох, ребята, беда ведь это, право, беда! Главное дело: качество-то большое, да и исправник у нас ноне дошлый. Ну, это дело ваше... Пройдете мимо — счастливы будете, а покамест вот осталось у нас артельного припасу достаточно, и как нонче нам

<sup>1</sup> Вольную команду составляют каторжники, отбывшие положенный срок испытания. Они живут не в тюрьме, а на вольных квартирах, хотя все же и они лично и их труд подвергаются известному контролю и обусловлены известными правилами. (Примеч. В. Г. Короленко.)

домой возвращаться, то получайте себе наш хлеб, да еще рыбы вам отпустим. Не нужно ли котла?»

«Пожалуй, говорю, лишний не помешает».

«Берите артельный... Да еще из городу ночью я вам кое-чего привезу. Надо ведь своему брату помощь делать».

Легче тут нам стало. Снял я шапку, поклонился доброму человеку; товарищи тоже ему кланяются... Плачем... И то дорого, что припасами наделил, а еще пуще того дорого, что доброе слово услышали. До сих пор шли, от людей прятались, потому знаем: смерть нам от людей предстоит, больше ничего. А тут пожалели нас.

Ну, на радостях-то чуть было беды себе не наделали.

Как отъехала вольная команда, ребята наши повеселели. Володька даже в пляс пустился, и сейчас мы весь свой страх забыли. Ушли мы в падь, называемая та падь Дикманская, потому что немец-пароходчик Дикман в ней свои пароходы строил... над рекой... Развели огонь, подвесили два котла, в одном чай заварили, в другом уху готовим. А дело-то уж и к вечеру подошло, глядишь — и совсем стемнело, и дождик пошел. Да нам в то время дождик, у огня-то за чаем, нипочем показался.

Сидим себе, беседуем, как у Христа за пазухой, а о том и не думаем, что от нас на той стороне городские огни виднеются, стало быть, и наш огонь из городу тоже видать. Вот ведь до чего наш брат порой беспечен бывает: по горам шли, тайгой, так и то всякого шороху пугались, а тут против самого города огонь развели и беседуем себе, будто так оно и следует.

На счастье наше, жил в то время в городе старичок чиновник. Был он в прежнее время в N. тюремным смотрителем. А в N. тюрьма большая, народу в ней перебивало страсть, и все того старика поминали добром. Вся Сибирь Самарова знала, и как сказали мне недавно ребята, что помер он в третьем годе, то я нарочно к попу ездил, полтину за помин души ему отдал, право! Добрейшей души старичок был, царствие ему небесное, только ругаться любил... Такой был ругатель, просто беда. Кричит, кричит, и ногами топает, и кулаки сжимает, а никакого страху от него не было. Уважали его, конечно, во всякое время, потому что был старик справедливый. Никогда от него арестанту обиды не было, никогда ничем не притеснял, копеечкой артельной не прибытчился, кроме того, что добровольно артель за его добродетель награждала. Не забывали, надо правду говорить, и его арестанты, потому что семья у него была не малая... Имел доход порядочный...

В то время старичок этот был уж в отставке и жил себе в Николаевске на спокойе, в собственном домишке. И по старой памяти все он с нашими ребятами из вольной команды дружбу водил. Вот сидел он тем временем у себя на крылечке и трубку покуривал. Курит трубку и видит: в Дикманской пади огонек горит. «Кому же бы это, думает, тот огонек развести?»

Проходили тут двое из вольной команды, подозвал он их и спрашивает:

«Где ноне ваша команда рыбу ловит? Неужто в Дикманской пади?»

«Нет, — говорят те, — не в Дикманской пади. Ноне им повыше надò быть. Да и то, никак вольной команде нонче в город возвращаться».

«То-то вот и я думаю... А видите, вон огонек за рекой горит?»

«Видим».

«Кому же у того огня быть? Как по-вашему?»

«Не можем знать, Степан Савельич. Какие-нибудь проходящие».

«То-то, проходящие... Нет у вас, подлецов, догадки о своем брате подумать, все я об вас обо всех думай... А слышали, что исправник третьего дня про соколинцев-то сказывал? Видали, мол, их недалече... Не они ли это, дурачки, огонь развели?»

«Может статься, Степан Савельич. Не диво, что и они развели».

«Ну, плохо ж их дело! Вот ведь, подлецы, чего делают!.. Не знаю, исправник-то в городе ли? Коли не вернулся еще, так скоро вернется; увидит этот огонь, сейчас команду нарядит. Как быть? Жаль ведь мерзавцев-то: за Салтанова им всем своих голов не сносить! Снаряжай-ка, ребята, лодку...»

Вот сидим мы у огня, уши дожидаемся — давно горячего не видали. А ночь темная, с окияну тучи надвинулись, дождик моросит, по тайге в овраге шум идет, а нам и любо... Нашему-то брату, бродяжке, темная ночь — родная матушка; на небе темнее — на сердце веселее.

Только вдруг татарин у нас уши насторожил. Чутки они, татары-то, как кошки. Прислушался и я, слышу: будто кто тихонько по реке веслом плещет. Подошел ближе к берегу, так и есть: крадется под кручей лодочка, гребцы на веслах сидят, а у рулевого на лбу кокарда поблескивает.

«Ну, говорю, ребята, пропали наши головы... Исправник!»

Вскочили все, котлы опрокинули — в тайгу!.. Не приказал я ребятам врозь разбегаться. Посмотрим, мол, что еще будет: может, гурьбой-то лучше спасемся, если их мало. Притаились за деревьями, ждем. Пристает лодка к берегу, выходят на берег пятеро. Один засмеялся и говорит:

«Что, дурачки, разбежались? Небось выйдете все — я на вас такое слово знаю. Видишь, удалые ребята, а бегают как зайцы!»

Сидел рядом со мной Дарьин за кедрой.

«Слышь, говорит, Василий? Чудное дело: голос у исправника будто знакомый».

«Молчи, говорю, что еще будет. Немного их».

Вышел тут один гребец вперед и спрашивает:

«Эй, вы, не бойтесь!.. Кого вы в здешнем остроге знаете?»

Притаили мы дух, не откликаемся.

«Да что вы это, лешие! — окликает тот опять. — Сказывайтесь, кого вы в здешнем остроге знаете, может, и нас узнаете тоже».

Отозвался я:

«Да уж знаем ли, нет ли, а только если б век вас не видеть, может, и нам и вам лучше бы было. Живьем не дадимся».

Это я товарищам признак подал, чтобы готовились. Их всего пятеро — сила-то наша. Беда только, думаю, как начнут из револьвера палить — в городе-то услышат. Ну, да уж заодно пропадать. Без бою все-таки не дадимся.

Тут старик сам заговорил:

«Ребята, говорит, неужто никто из вас Самарова не знает?»

Дарьин опять меня толкнул:

«Верно! Кажись, это N-ской смотритель... А что — спрашивает громко, — вы, ваше благородие, Дарьина знавали ли когда?»

«Как, мол, не знать, — старостой у меня в N. находился. Федотом, кажись, звали».

«Я самый, ваше благородие. Выходи, ребята! Это отец наш».

Тут все мы вышли.

«Что же, мол, ваше благородие, неужто вы нас ловить выехали? Так мы на это никак не надеемся».

«Дураки вы! Пожалел я вас, олухов. Вы это что же с великого-то ума надумали — прямо против города огонь развели?»

«Обмокли, говорим, ваше благородие. Дождик».

«Дожди-ик? А еще называетесь бродяги! Чай, не размокнете. Счастлив ваш бог, что я раньше исправника вышел на крылечко трубку-то покурить. Увидел бы ваш огонь исправник, он бы вам нашел место, где обсушиться-то... Ах, ребята, ребята! Не очень вы, я вижу, востры, даром что Салтанова поддели, кан-нальи этакие! Гаси живее огонь да убирайтесь с берега туда вон, подальше, в падь. Там хоть десять костров разводи, подлецы!»

Ругается старик, а мы стоим вокруг, слушаем да посмеиваемся.

Потом перестал кричать и говорит:

«Ну, вот что: привез я вам в лодке хлеба печеного да чаю кирпича три. Не поминайте старика Самарова лихом. Да если даст бог счастливо отсюда выбраться, может, доведется кому в Тобольске побывать — поставьте там в соборе моему угоднику свечку. Мне, старику, видно, уж в здешней стороне помирать, потому что за женой дом у меня взят... Ну и стар уж... А тоже иногда про свою сторону вспоминаю. Ну а теперь прощайте. Да еще совет мой вам: разбейтесь врозь. Вас теперь сколько?»

«Одиннадцать», — говорим.

«Ну и как же вы не дураки? Ведь про вас теперь, чай, в Иркутске знают, а вы так всюю партией и прете».

Сел старик в лодку, уехал, а мы ушли подальше в падь, чай вскипятили, сварили уху, раздували<sup>1</sup> припасы и распрощались — старика-то послушались.

Мы с Дарьным в паре пошли. Макаров пошел с черкесами. Татарин к двум бродягам присоединился; остальные трое тоже кучкой пошли. Так больше мы и не видались. Не знаю, все ли товарищи живы или помер кто. Про татарина слыхал, будто тоже сюда прислан, а верно ли — не знаю.

В ту же ночь, еще на небе не зарилось, мы с Дарьным мимо Николаевска тихонько шмыгнули. Одна только собака на ближней займке взлаяла.

А как стало солнце всходить, мы уж верст десяток тайгой отмахали и стали опять к дороге держать. Тут вдруг слышим — колокольчик позванивает. Прилегли мы тут за кусточком, смотрим — бежит почтовая тройка, и в телеге исправник, закрывшись шинелью, дремлет.

Перекрестились мы тут с Дарьным: слава те господи, что вечер его в городе не было. Чай, нас ловить выезжал.

---

<sup>1</sup> Р а з д у в а н н ы — разделить.

Огонь в камельке погас. В юрте стало тепло, как в нагретой печи. Льдины на окнах начали таять, и из этого можно было заключить, что на дворе мороз стал меньше, так как в сильные морозы льдина не тает и с внутренней стороны, как бы ни было тепло в юрте. Ввиду этого мы перестали подбавлять в камелек дрова и я вышел наружу, чтобы закрыть трубу.

Действительно, туман совершенно рассеялся, воздух стал прозрачнее и несколько мягче. На севере из-за гребня холмов, покрытых черною массой лесов, слабо мерцая, подымались какие-то белесоватые облака, быстро пробегающие по небу. Казалось, кто-то тихо вздыхал среди глубокой холодной ночи, и клубы пара, вылетающие из гигантской груди, бесшумно проносились по небу от края и до края и затем тихо угасали в глубокой синеве. Это играло слабое северное сияние.

Поддавшись какому-то грустному обаянию, я стоял на крыше, задумчиво следя за слабыми переливами сполоха. Ночь развернулась во всей своей холодной и унылой красе. На небе мигали звезды, внизу снега уходили вдаль ровную пеленой, чернела гребнем тайга, синели дальние горы. И ото всей этой молчаливой, объятый холодом картины веяло в душу снисходительною грустью, — казалось, какая-то печальная нота трепещет в воздухе: «далеко, далеко!»

Когда я вернулся в избу, бродяга уже спал, и в юрте слышалось его ровное дыхание.

Я тоже лег, но долго еще не мог заснуть под впечатлением только что выслушанных рассказов. Несколько раз сон, казалось, опускался уже на мою разгоряченную голову, но в эти минуты, как будто нарочно, бродяга начинал ворочаться на лавке и тихо бредил. Его грудной голос, звучащий каким-то безотчетно-смутным ропотом, разгонял мою дремоту, и в воображении одна за другой вставали картины его одиссеи<sup>1</sup>. По временам, когда я начинал забываться, мне казалось, что надо мной шумят лиственницы и кедры, что я гляжу вниз с высокого утеса и вижу белые домики кордона в овраге; а между моим глазом и белой стеною реет горный орел, тихо взмахивая свободным крылом. И мечта уносила меня все дальше

---

<sup>1</sup> Одиссея (по имени Одиссея, героя одноименной поэмы древнегреческого поэта Гомера) — то есть жизнь, проведенная в странствиях, сопряженных с препятствиями и приключениями.



и дальше от безнадежного мрака тесной юрты. Казалось, меня обдавал свободный ветер, в ушах гудел рокот океана, садилось солнце, залегали синие мороки, и моя лодка тихо качалась на волнах пролива.

Всю кровь взбудоражил во мне своими рассказами молодой бродяга. Я думал о том, какое впечатление должна производить эта бродяжья эпопея, рассказанная в душной каторжной казарме, в четырех стенах крепко запертой тюрьмы. И почему, спрашивал я себя, этот рассказ запечатлевается даже в моем уме не трудностью пути, не страданиями, даже не «лютою бродяжьей тоской», а только поэзией вольной волюшки? Почему на меня пахнуло от него только призывом раздолья и простора, моря, тайги и степи? И если меня так зовет она, так манит к себе эта безвестная даль, то как неодолимо должна она призывать к себе бродягу, уже испившего из этой отравленной неутолимимым желанием чаши?

Бродяга спал, а мои мысли не давали мне покоя. Я забыл о том, что привело его в тюрьму и ссылку, что пережил он, что сделал в то время, когда «перестал слушаться родителей». Я видел в нем только молодую жизнь, полную энергии и силы, страстно рвущуюся на волю...

Куда?

Да, куда?..

В смутном бормотании бродяги мне слышались неопределенные вздохи о чем-то. Я забылся под давлением неразрешимого вопроса, и над моим изголовьем витали сумрачные грезы... Село вечернее солнце. Земля лежит громадная, необъятная, грустная, вся погруженная в тяжелую думу. Нависла молчаливая тяжелая туча... Только край неба отсвечивает еще потухающими лучами зари да где-то далеко, под задумчиво синеющими горами, стоит огонек...

Что это: родное пламя давно оставленного очага или блудящий огонь над ожидающею во мраке могилой?.. Заснул я очень поздно.

## IX

Когда я проснулся, было уже, вероятно, часов одиннадцать. На полу юрты, прорезавшись сквозь льдины, играли косые лучи солнца. Бродяги в юрте не было.

Мне нужно было съездить по делам в слободу, поэтому я запряг коня в маленькие саночки и выехал из своих ворот, направляясь вдоль улицы селения. День был яркий и сравнительно теплый. Мороз стоял градусов около двадцати, но... все в мире относительно, и то самое, что в дру-

гих местах бывает в развал зимы, мы здесь воспринимали как первое дыхание наступившей весны. Клубы дыма, дружно поднимаясь изо всех слободских юрт, не стояли прямыми неподвижными столбами, как бывает обыкновенно в большие морозы, — их гнуло к западу, веял восточный ветер, несущий тепло с Великого океана.

Слобода почти наполовину населена ссыльными татарами, и так как в тот день у татар был праздник, то улица имела довольно оживленный вид. То и дело где-нибудь скрипели ворота и со двора выезжали дровни или выбегали рысцей верховые лошади, на которых, раскачиваясь в стороны, сидели хмельные всадники. Эти поклонники Магомета<sup>1</sup> не особенно строго блюдают запрещение корана<sup>2</sup>, и потому как верховые, так и пешеходы выписывали вдоль и поперек улицы самые причудливые зигзаги. Порой какой-нибудь пугливый конек кидался в сторону слишком круто, дровни опрокидывались, лошадь мчалась вдоль улицы, а хозяин подымал целую тучу снеговой пыли собственной фигурой, волочась на вожжах. Не сдержат коня и вывалиться с дровней — это во хмелю может случиться со всяким; но для «хорошего татарина» позорно выпустить из рук вожжи, хотя бы при таких затруднительных обстоятельствах.

Но вот прямая как стрела улица приходит в какое-то особенное, суетливое оживление. Ездоки приворачивают к заборам, пешие сторонятся, татарки в красных чадрах, нарядные и пестрые, сгоняют ребят по дворам. Из юрт выбегают любопытные, и все поворачивают лица в одну сторону.

На другом конце длинной улицы появилась кучка всадников, и я узнал *бега*, до которых и якуты и татары большие охотники. Всадников было человек пять, они мчались как ветер, и когда кавалькада приблизилась, то впереди я различил серого конька, на котором вчера приехал Багылай. С каждым ударом копыт пространство, отделявшее его от скакавших сзади, увеличивалось. Через минуту все они промчались мимо меня как ветер.

Глаза татар сверкали возбуждением, почти злобой. Все они на скаку размахивали руками и ногами и неистово кричали, отдавшись всем корпусом назад почти на спины лошадям. Один Василий скакал «по-расейски», пригнувшись к лошадиной шее, и изредка издавал короткие свистки, звучащие резко, как удары хлыста. Серый конек

---

<sup>1</sup> Поклонники Магомета — последователи магометанской религии.

<sup>2</sup> Коран — священная книга магометан.

почти ложился на землю, распластываясь в воздухе, точно летящая птица.

Сочувствие улицы, как всегда в этих случаях, склонилось на сторону победителя.

— Эх, удалой молодца! — вскрикивали в восторге зрители, а старые конокрады, страстные любители дикого спорта, приседали и хлопали себя по коленам в такт ударам лошадиных копыт.

В половине улицы Василий догнал меня, возвращаясь на взмыленном коне обратно. Посрамленные соперники плелись далеко сзади.

Лицо бродяги было бледно, глаза горели от возбуждения. Я заметил, что он уже «выпивши».

— Закутил! — крикнул он мне, наклоняясь с коня, и взмахнул шапкой.

— Дело ваше... — ответил я.

— Ничего, не сердись!.. Кутить могу, а ум не пропью никогда. Между прочим, перемёты<sup>1</sup> мои ни под каким видом никому не отдавай! И сам просить стану — не давай! Слышишь?

— Слышу, — ответил я холодно, — только уж вы, пожалуйста, пьяным ко мне не приходите.

— Не придем, — ответил бродяга и хлестнул коня концом повода.

Конек захрапел, взвился, но, отскакав сажени три, Василий круто остановил его и опять нагнулся ко мне:

— Конек-то золото! Об заклад бился. Видели вы, как скачет? Теперича я с татар что захочу, то за него и возьму. Верно тебе говорю, потому татарин хорошего коня обожает до страсти!

— Зачем же вы его продаете? На чем будете работать?

— Продаю — подошла линия!

Он опять хлестнул коня и опять удержал его.

— Собственно потому, как встретил я здесь товарища. Все брошу. Эх, мил-лай! Посмотри, вон татарин едет, вон, на чалом жеребчике... Эй, ты, — крикнул он ехавшему сзади татарину, — Ахметка! Подъезжай-ка сюда.

Чалый жеребчик, играя головой и круто забирая ногами, подбежал к моим саночкам. Сидевший на нем татарин снял шапку и поклонился, весело ухмыляясь. Я с любопытством взглянул на него.

Плутоватая рожа Ахметки вся расцвела широкою улыбкой. Маленькие глазки весело сверкали, глядя на

---

<sup>1</sup> Перемёты — здесь: два мешка, связанные вместе.

собеседника с плутовской фамильярностью. «Мы, брат, с тобой понимаем друг друга, — как будто говорил каждому этот взгляд. — Конечно, я плут, но ведь в том-то и дело, не правда ли, чтобы быть плутом ловким?» И собеседник, глядя на это скуластое лицо, на веселые морщинки около глаз, на оттопыренные тонкие и большие уши, как-то особенно и потешно торчавшие врозь, невольно усмехался тоже. Тогда Ахметка убеждался, что его поняли, удовлетворялся и снисходительно кивал головой в знак солидарности во взглядах.

— Товарища! — кивнул он головой на Василия. — Вместе бродяга ходил.

— А теперь-то ты где же проживаешь?.. Я что-то раньше в слободе тебя не видал.

— За бумагам пришел. Приискам ходим, спирту таскаем<sup>1</sup>.

Я взглянул на Василия. Он потупился под моим взглядом и подобрал поводья лошади, но потом поднял опять голову и вызывающе посмотрел на меня горящими глазами. Губы его были крепко сжаты, но нижняя губа заметно вздрагивала.

— Уйду с ним в тайгу... Что на меня так смотришь? Бродяга я, бродяга!..

Последние слова он произнес уже на скаку. Через минуту только туча морозной пыли удалялась по улице вместе с частым топотом лошадиных копыт.

Через год Ахметка опять приходил в слободу «за бумагам», но Василий больше не возвращался.

1885

## В ДУРНОМ ОБЩЕСТВЕ

*(Из детских воспоминаний моего приятеля)*

### 1. РАЗВАЛИНЫ

Моя мать умерла, когда мне было шесть лет. Отец, весь отдавшись своему горю, как будто совсем забыл о моем существовании. Порой он ласкал мою маленькую

---

<sup>1</sup> Торговля водкой на приисках и вблизи присков строго воспрещена, и потому в таежных приисках Ленской системы развился особый промысел — спиртоносов, доставляющих на приски спирт в обмен на золото. Промысел чрезвычайно опасный, так как в наказание за это полагаются каторжные работы, и, кроме того, дикая природа сама по себе представляет много трудностей. Множество спиртоносов гибнет в тайге от лишений и казачьих пуль, а нередко и под ножами своей братии из других партий. Зато промысел этот выгоднее присковой работы. *(Примеч. В. Г. Короленко.)*

сестру и по-своему заботился о ней, потому что в ней были черты матери. Я же рос, как дикое дерево в поле, — никто не окружал меня особенною заботливостью, но никто и не стеснял моей свободы.

Местечко, где мы жили, называлось Княжье-Вено, или, проще, Княж-городок. Оно принадлежало одному захудалому, но гордому польскому роду и представляло все типические черты любого из мелких городов Юго-западного края, где, среди тихо струящейся жизни тяжелого труда и мелко-суетливого еврейского гешефта, доживают свои печальные дни жалкие останки гордого панского величия.

Если вы подъезжаете к местечку с востока, вам прежде всего бросается в глаза тюрьма, лучшее архитектурное украшение города. Самый город раскинулся внизу над сонными, заплесневшими прудами, и к нему приходится спускаться по отлогому шоссе, загороженному традиционной «заставой». Сонный инвалид, порыжелая на солнце фигура, олицетворение безмятежной дремоты, лениво поднимает шлагбаум, и — вы в городе, хотя, быть может, не замечаете этого сразу. Серые заборы, пустыри с кучами всякого хлама понемногу перемежаются с подслеповатыми, ушедшими в землю хатками. Далее широкая площадь зияет в разных местах темными воротами еврейских «заезжих домов», казенные учреждения наводят уныние своими белыми стенами и казарменно-ровными линиями. Деревянный мост, перекинутый через узкую речушку, кряхтит, вздрагивая под колесами, и шатается, точно дряхлый старик. За мостом потянулась еврейская улица с магазинами, лавками, лавчонками, столами евреев-менял, сидящих под зонтами на тротуарах, и с навесами калачниц. Вонь, грязь, кучи ребят, ползающих в уличной пыли. Но вот еще минута и — вы уже за городом. Тихо шепчутся березы над могилами кладбища, да ветер волнует хлеба на нивах и звенит унылою, бесконечною песней в проволоках придорожного телеграфа.

Речка, через которую перекинут упомянутый мост, вытекала из пруда и впадала в другой. Таким образом, с севера и юга городок ограждался широкими водяными гладями и топями. Пруды год от году мелели, зарастали зеленью, и высокие густые камыши волновались, как море, на громадных болотах. Посредине одного из прудов находится остров. На острове — старый полуразрушенный замок.

Я помню, с каким страхом я смотрел всегда на это величавое дряхлое здание. О нем ходили предания и рассказы один другого страшнее. Говорили, что остров

насыпан искусственно, руками пленных турок. «На костях человеческих стоит старое замчище», передавали старожилы, и мое детское испуганное воображение рисовало под землей тысячи турецких скелетов, поддерживающих костлявыми руками остров с его высокими пирамидальными тополями и старым замком. От этого, понятно, замок казался еще страшнее, и даже в ясные дни, когда бывало, ободренные светом и громкими голосами птиц, мы подходили к нему поближе, он нередко наводил на нас припадки панического ужаса, — так страшно глядели черные впадины давно выбитых окон; в пустых залах ходил таинственный шорох: камешки и штукатурка, отрываясь, падали вниз, будя гулкое эхо, и мы бежали без оглядки, а за нами долго еще стояли стук, и топот, и гоготанье.

А в бурные осенние ночи, когда гиганты-тополи качались и гудели от налетавшего из-за прудов ветра, ужас разливался от старого замка и царил над всем городом. «Ой-вей-мнр!» — пугливо произносили евреи; богобоязненные старые мещанки крестились, и даже наш ближайший сосед, кузнец, отрицавший самое существование бесовской силы, выходя в эти часы на свой дворик, творил крестное знамение и шептал про себя молитву об упокоении усопших.

Старый седобородый Януш, за неимением квартиры приютившийся в одном из подвалов замка, рассказывал нам не раз, что в такие ночи он явственно слышал, как из-под земли неслись крики. Турки начинали возиться под островом, стучали костями и громко укоряли панов в жестокости. Тогда в залах старого замка и вокруг него на острове брякало оружие, и паны громкими криками зывали гайдуков. Януш слышал совершенно ясно, под рев и завывание бури, топот коней, звяканье сабель, слова команды. Однажды он слышал даже, как покойный прадед нынешних графов, прославленный на вечные веки своими кровавыми подвигами, выехал, стуца копытами своего аргамака, на середину острова и неистово ругался: «Молчите там, лайдаки, пся вря!»

Потомки этого графа давно уже оставили жилище предков. Большая часть дукатов и всяких сокровищ, от которых прежде ломились сундуки графов, перешла за мост, в еврейские лачуги, и последние представители славного рода выстроили себе прозаическое белое здание на горе, подальше от города. Там протекало их скучное, но все же торжественное существование в презрительно-величавом уединении.

Изредка только старый граф, такая же мрачная развалина, как и замо́к на острове, появлялся в городе на своей старой английской кляче. Рядом с ним, в черной амазонке, величавая и сухая, проезжала по городским улицам его дочь, а сзади почтительно следовал шталмейстер. Величественной графине суждено было навсегда остаться девой. Равные ей по происхождению женихи, в погоне за деньгами купеческих дочек за границей, малодушно рассеялись по свету, оставив родовые замо́ки или продав их на слом евреям, а в городишке, расстилавшемся у подножия ее дворца, не было юноши, который бы осмелился поднять глаза на красавицу-графиню. Завидев этих трех всадников мы, малые ребята, как стая птиц, снимались с мягкой уличной пыли и, быстро рассеявшись по дворам, испуганно-любопытными глазами следили за мрачными владельцами страшного замо́ка.

В западной стороне, на горе, среди истлевших крестов и провалившихся могил, стояла давно заброшенная униатская часовня. Это была родная дочь расстилавшегося в долине собственно обывательского города. Некогда в ней собирались, по звону колокола, горожане в чистых, хотя и не роскошных кунтушах, с палками в руках вместо сабель, которыми гремела мелкая шляхта, тоже являвшаяся на зов звонкого униатского колокола из окрестных деревень и хуторов.

Отсюда был виден остров и его темные громадные тополи, но замо́к сердито и презрительно закрывался от часовни густою зеленью, и только в те минуты, когда юго-западный ветер вырывался из-за камышей и налетал на остров, тополи гулко качались, и из-за них проблескивали окна, и замо́к, казалось, кидал на часовню угрюмые взгляды. Теперь и он, и она были трупы. У него глаза потухли, и в них не сверкали отблески вечернего солнца; у нее кое-где провалилась крыша, стены осыпались, и, вместо гулко, с высоким тоном, медного колокола, совы заводили в ней по ночам свои зловещие песни.

Но старая историческая рознь, разделявшая некогда гордый панский замо́к и мещанскую униатскую часовню, продолжалась и после их смерти: ее поддерживали копошившиеся в этих дряхлых трупах черви, занимавшие уцелевшие углы подземелья, подвалы. Этими могильными червями умерших зданий были люди.

Было время, когда старый замо́к служил даровым убежищем всякому бедняку без малейших ограничений. Все, что не находило себе места в городе, всякое выскочившее из колен существование, потерявшее, по той или

другой причине, возможность платить хотя бы и жалкие гроши за кров и угол на ночь и в непогоду, — все это тянулось на остров и там, среди развалин, преклоняло свои победные головушки, платя за гостеприимство лишь риском быть погребенными под грудами старого мусора. «Живет в замке» — эта фраза стала выражением крайней степени нищеты и гражданского падения. Старый замок радушно принимал и покрывал и перекатную голь, и временно обнищавшего писца, и сиротливых старушек, и безродных бродяг. Все эти существа терзали внутренности дряхлого здания, обламывая потолки и полы, топили печи, что-то варили, чем-то питались, — вообще, отправляли неизвестным образом свои жизненные функции.

Однако настали дни, когда среди этого общества, ютившегося под кровом седых руин, возникло разделение, пошли раздоры. Тогда старый Януш, бывший некогда одним из мелких графских «официалистов», выхлопотал себе нечто вроде владетельной хартии и захватил бразды правления. Он приступил к преобразованиям, и несколько дней на острове стоял такой шум, раздавались такие вопли, что по временам казалось, уж не турки ли вырвались из подземных темниц, чтоб отомстить утеснителям. Это Януш сортировал население развалин, отделяя овец от козлиц. Овцы, оставшиеся по-прежнему в замке, помогали Янушу изгонять несчастных козлиц, которые упирались выказывая отчаянное, но бесполезное сопротивление. Когда, наконец, при молчаливом, но, тем не менее, довольно существенном содействии будочника, порядок вновь водворился на острове, то оказалось, что переворот имел решительно аристократический характер. Януш оставил в замке только «добрых христиан», т. е. католиков, и притом преимущественно бывших слуг или потомков слуг графского рода. Это были все какие-то старики в потертых сюртуках и «чамарках», с громадными синими носами и суковатыми палками, старухи, крикливые и безобразные, но сохранившие на последних ступенях обнищания свои капоры и салопы. Все они составляли однородный, тесно сплоченный аристократический кружок, взявший как бы монополию признанного нищенства. В будни эти старики и старухи ходили, с молитвой на устах, по домам более зажиточных горожан и среднего мещанства, разнося сплетни, жалуясь на судьбу, проливая слезы и клянча, а по воскресеньям они же составляли почтеннейших лиц из той публики, что длинными рядами выстраивались около костелов и величественно принимала подачи во имя «пана Иисуса» и «паньны Богоматери».



Привлеченные шумом и криками, которые во время этой революции неслись с острова, я и несколько моих товарищей пробрались туда и, спрятавшись за толстыми стволами тополей, наблюдали, как Януш, во главе целой армии красноносых старцев и безобразных мегер, гнал из замка последних, подлежащих изгнанию жильцов. Наступал вечер. Туча, нависшая над высокими вершинами тополей, уже сыпала дождиком. Какие-то несчастные темные личности, запахиваясь изорванными донельзя лохмотьями, испуганные, жалкие и сконфуженные, совались по острову, точно кроты, выгнанные из нор мальчишками, стараясь вновь незаметно шмыгнуть в какое-нибудь из отверстий замка. Но Януш и мегеры с криком и ругательствами гоняли их отовсюду, угрожая кочергами и палками, а в стороне стоял молчаливый будочник, тоже с увесистой дубиной в руках, сохранявший вооруженный нейтралитет, очевидно, дружественный торжествующей партии. И несчастные темные личности поневоле, понурясь, скрывались за мостом, навсегда оставляя остров, и одна за другой тонули в слякотном сумраке быстро спускавшегося вечера.

С этого памятного вечера и Януш, и старый замок, от которого прежде веяло на меня каким-то смутным величием, потеряли в моих глазах всю свою привлекательность. Бывало, я любил приходить на остров и хотя издали любоваться его серыми стенами и замшелую старую крышей. Когда на утренней заре из него выползали разнообразные фигуры, зевавшие, кашлявшие и крестившиеся на солнце, я и на них смотрел с каким-то уважением, как на существа, облеченные тою же таинственностью, которую был окутан весь замок. Они спят там ночью, они слышат все, что там происходит, когда в огромные залы сквозь выбитые окна заглядывает луна или когда в бурю в них врывается ветер. Я любил слушать, когда, бывало, Януш, усевшись под тополями, с болтливостью семидесятилетнего старика, начинал рассказывать о славном прошлом умершего здания. Перед детским воображением вставали, оживая, образы прошедшего, и в душу веяло величавою грустью и смутным сочувствием к тому, чем жили некогда понурые стены, и романтические тени чужой старины пробегали в юной душе, как пробегают в ветреный день легкие тени облаков по светлой зелени чистого поля.

Но с того вечера и замок, и его бард явились передо мной в новом свете. Встретив меня на другой день вблизи острова, Януш стал зазывать меня к себе, уверяя с довольным видом, что теперь «сын таких почтенных родителей» смело может посетить замок, так как найдет в нем вполне

порядочное общество. Он даже привел меня за руку к самому замку, но тут я со слезами вырвал у него свою руку и пустился бежать. Замок стал мне противен. Окна в верхнем этаже были заколочены, а низ находился во владении капов и салопов. Старухи выползали оттуда в таком непривлекательном виде, льстили мне так приторно, ругались между собой так громко, что я искренно удивлялся, как это строгий покойник, усмирявший турок в грозные ночи, мог терпеть этих старух в своем соседстве. Но главное — я не мог забыть холодной жестокости, с которой торжествующие жильцы замка гнали своих несчастных сожителей, а при воспоминании о темных личностях, оставшихся без крова, у меня сжималось сердце.

Как бы то ни было, на примере старого замка я узнал впервые истину, что от великого до смешного один только шаг. Великое в замке поросло плющом, повиликой и мхами, а смешное казалось мне отвратительным, слишком резало детскую восприимчивость, так как ирония этих контрастов была мне еще недоступна.

## II. ПРОБЛЕМАТИЧЕСКИЕ НАТУРЫ

Несколько ночей после описанного переворота на острове город провел очень беспокойно: лаяли собаки, скрипели двери домов, и обыватели, то и дело выходя на улицу, стучали палками по заборам, давая кому-то знать, что они бодрствуют. Город знал, что по его улицам в ненастной тьме дождливой ночи бродят люди, которым голодно и холодно, которые дрожат и мокнут; понимая, что в сердцах этих людей должны рождаться жестокие чувства, город насторожился и навстречу этим чувствам посылал свои угрозы. А ночь, как нарочно, спускалась на землю среди холодного ливня и уходила, оставляя над землей низко бегущие тучи. И ветер бушевал среди ненастья, качая верхушки деревьев, стуча ставнями и напевая мне в моей постели о десятках людей, лишенных тепла и приюта.

Но вот весна окончательно восторжествовала над последними порывами зимы, солнце высушило землю, и вместе с тем бездомные скитальцы куда-то схлынули. Собачий лай по ночам угомонился, обыватели перестали стучать по заборам, и жизнь города, сонная и однообразная, пошла своею колеей. Горячее солнце, выкатываясь на небо, жгло пыльные улицы, загоняя под навесы юрких детей Израиля, торговавших в городских лавках; «факторы» лениво валялись на солнцепеке, зорко выглядывая проезжающих; скрип чиновничьих перьев слышался в откры-

тые окна присутственных мест; по утрам городские дамы сновали с корзинами по базару, а под вечер важно выступали под руку со своими благоверными, подымая уличную пыль пышными шлейфами. Старики и старухи из зámка чинно ходили по домам своих покровителей, не нарушая общей гармонии. Обыватель охотно признавал их право на существование, находя совершенно основательным, чтобы кто-нибудь получал милостыню по субботам, а обитатели старого зámка получали ее вполне респектабельно.

Только несчастные изгнанники не нашли и теперь в городе своей колен. Правда, они не слонялись по улицам ночью; говорили, что они нашли приют где-то на горе, около униатской часовни, но как они ухитрились пристроиться там, никто не мог сказать в точности. Все видели только, что с той стороны, с гор и оврагов, окружавших часовню, спускались в город по утрам самые невероятные и подозрительные фигуры, которые в сумерки исчезали в том же направлении. Своим появлением они возмущали тихое и дремливое течение городской жизни, выделяясь на сереньком фоне мрачными пятнами. Обыватели косились на них с враждебной тревогой, они в свою очередь окидывали обывательское существование беспокойно-внимательными взглядами, от которых многим становилось жутко. Эти фигуры несколько не походили на аристократических нищих из зámка, — город их не признавал, да они и не просили признания; их отношения к городу имели чисто боевой характер: они предпочитали ругать обывателя, чем льстить ему, — брать самим, чем выпрашивать. Они или жестоко страдали от преследований, если были слабы, или заставляли страдать обывателей, если обладали нужною для этого силой. Притом, как это встречается нередко, среди этой оборванной и темной толпы несчастливцев встречались лица, которые по уму и талантам могли бы сделать честь избраннейшему обществу зámка, но не ужились в нем и предпочли демократическое общество униатской часовни. Некоторые из этих фигур были отмечены чертами глубокого трагизма.

До сих пор я помню, как весело грохотала улица, когда по ней проходила согнутая, унылая фигура старого «профессора». Это было тихое, угнетенное идиотизмом существо, в старой фризовой шинели, в шапке с огромным козырьком и почерневшею кокардой. Ученое звание, как кажется, было присвоено ему вследствие смутного предания, будто где-то и когда-то он был гувернером. Трудно себе представить создание более безобидное и смиренное. Обыкновенно он тихо бродил по улицам, по-видимому,

без всякой определенной цели, с тусклым взглядом и понуренною головой. Досужие обыватели знали за ним два качества, которыми пользовались в видах жестокого развлечения. «Профессор» вечно бормотал что-то про себя, но ни один человек не мог разобрать в этих речах ни слова. Они лились, точно журчание мутного ручейка, и при этом тусклые глаза глядели на слушателя, как бы стараясь вложить в его душу неуловимый смысл длинной речи. Его можно было завести, как машину; для этого любому из факторов, которому надоело дремать на улицах, стоило позвать к себе старика и предложить какой-либо вопрос. «Профессор» покачивал головой, вдумчиво вперив в слушателя свои выцветшие глаза, и начинал бормотать что-то до бесконечности грустное. При этом слушатель мог спокойно уйти или хотя бы заснуть, и все же, проснувшись, он увидел бы над собой печальную темную фигуру, все так же тихо бормочущую непонятные речи. Но само по себе это обстоятельство не составляло еще ничего особенно интересного. Главный эффект уличных верзил был основан на другой черте профессорского характера: несчастный не мог равнодушно слышать упоминания о режущих и колющих орудиях. Поэтому обыкновенно в самый разгар непонятной элоквенции слушатель, вдруг поднявшись с земли, вскрикивал резким голосом: «Ножи, ножницы, иголки, булавки!» Бедный старик, так внезапно пробужденный от своих мечтаний, взмахивал руками, точно подстреленная птица, испуганно озирался и хватался за грудь. О, сколько страданий остаются непонятными долговязым факторам лишь потому, что страдающий не может внушить представления о них посредством здорового удара кулаком! А бедняга-«профессор» только озирался с глубокою тоской, и невыразимая мука слышалась в его голосе, когда обращая к мучителю свои тусклые глаза, он говорил, судорожно царапая пальцами по груди:

— За сердце... за сердце крючком!.. за самое сердце!..

Вероятно, он хотел сказать, что этими криками у него истерзано сердце, но, по-видимому, это-то именно обстоятельство и способно было несколько развлечь досужего и скучающего обывателя. И бедный «профессор» торопливо удалялся, еще ниже опустив голову, точно опасаясь удара; а за ним гремели раскаты довольного смеха, в воздухе, точно удары кнута, хлестали все те же крики:

— Ножи, ножницы, иголки, булавки!

Надо отдать справедливость изгнанникам из замка: они крепко стояли друг за друга, и если на толпу, преследовавшую «профессора», налетал в это время с двумя-

тремя оборванцами пан Туркевич или в особенности отставной штык-юнкер Заусайлов, то многих из этой толпы постигала жестокая кара. Штык-юнкер Заусайлов, обладавший громадным ростом, сизо-багровым носом и свирепо выкаченными глазами, давно уже объявил открытую войну всему живущему, не признавая ни перемирий, ни нейтралитетов. Всякий раз после того, как он натыкался на преследуемого «профессора», долго не смолкали его бранные крики; он носился тогда по улицам, подобно Тамерлану, уничтожая все, попадавшееся на пути грозного шествия; таким образом он практиковал еврейские погромы, задолго до их возникновения, в широких размерах; попадавшихся ему в плен евреев он всячески истязал, а над еврейскими дамами совершал гнусности, пока, наконец, экспедиция бравого штык-юнкера не кончалась на съезжей, куда он неизменно водворялся после жестоких схваток с бунтарями. Обе стороны проявляли при этом немало геройства.

Другую фигуру, доставлявшую обывателям развлечение зрелищем своего несчастья и падения, представлял отставной и совершенно спившийся чиновник Лавровский. Обыватели помнили еще недавнее время, когда Лавровского величали не иначе, как «пан писарь», когда он ходил в вицмундире с медными пуговицами, повязывая шею восхитительными цветными платочками. Это обстоятельство придавало еще более пикантности зрелищу его настоящего падения. Переворот в жизни пана Лавровского совершился быстро: для этого стоило только приехать в Княжье-Вено блестящему драгунскому офицеру, который прожил в городе всего две недели, но в это время успел победить и увезти с собою белокурую дочь богатого трактирщика. С тех пор обыватели ничего не слыхали о красавице Анне, так как она навсегда исчезла с их горизонта. А Лавровский остался со всеми своими цветными платочками, но без надежды, которая скрашивала раньше жизнь мелкого чиновника. Теперь он уже давно не служит. Где-то в маленьком местечке осталась его семья, для которой он был некогда надеждой и опорой; но теперь он ни о чем не заботился. В редкие трезвые минуты жизни он быстро проходил по улицам, потупясь и ни на кого не глядя, как бы подавленный стыдом собственного существования; ходил он оборванный, грязный, обросший длинными, нечесаными волосами, выделяясь сразу из толпы и привлекая всеобщее внимание; но сам он как будто не замечал никого и ничего не слышал. Изредка только он кидал вокруг мутные взгляды, в которых отражалось недоумение: чего хотят от него эти чужие и незнакомые люди? Что

он им сделал, зачем они так упорно преследуют его? Порой, в минуты этих проблесков сознания, когда до слуха его долетало имя панны с белокурою косой, в сердце его поднималось бурное бешенство; глаза Лавровского загорались темным огнем на бледном лице, и он со всех ног кидался на толпу, которая быстро разбегалась. Подобные вспышки, хотя и очень редкие, странно подзадоривали любопытство скользящего безделья; немудрено поэтому, что, когда Лавровский, потупясь, проходил по улицам, следовавшая за ним кучка бездельников, напрасно старавшихся вывести его из апатии, начинала с досады швырять в него грязью и камнями.

Когда же Лавровский бывал пьян, то как-то упорно выбирал темные углы под заборами, никогда не просыхавшие лужи и тому подобные экстраординарные места, где он мог рассчитывать, что его не заметят. Там он садился, вытянув длинные ноги и свесив на грудь свою победную головушку. Уединение и водка вызывали в нем прилив откровенности, желание излить тяжелое горе, угнетающее душу, и он начинал бесконечный рассказ о своей молодой загубленной жизни. При этом он обращался к серым столбам старого забора, к березке, снисходительно шептавшей что-то над его головой, к сорокам, которые с бабьим любопытством подсакивали к этой темной, слегка только копошившейся фигуре.

Если кому-либо из нас, малых ребят, удавалось выследить его в этом положении, мы тихо окружали его и слушали с замиранием сердечным длинные и ужасающие рассказы. Волосы становились у нас дыбом, и мы со страхом смотрели на бледного человека, обвинявшего себя во всевозможных преступлениях. Если верить собственным словам Лавровского, он убил родного отца, вогнал в могилу мать, заморил сестер и братьев. Мы не имели причин не верить этим ужасным признаниям; нас только удивляло то обстоятельство, что у Лавровского было, по-видимому, несколько отцов, так как одному он пронзал мечом сердце, другого изводил медленным ядом, третьего топил в какой-то пучине. Мы слушали с ужасом и участием, пока язык Лавровского, все более заплетаясь, не отказывался, наконец, произносить членораздельные звуки и благодетельный сон не прекращал покаянные излияния. Взрослые смеялись над нами, говоря, что все это враки, что родители Лавровского умерли своею смертью, от голода и болезней. Но мы чуткими ребячьими сердцами, слышали в его стогах искреннюю душевную боль и, принимая аллегории

буквально, были все-таки ближе к истинному пониманию трагически свихнувшейся жизни.

Когда голова Лавровского опускалась еще ниже и из горла слышался храп, прерываемый нервными всхлипываниями, — маленькие детские головки наклонялись тогда над несчастным. Мы внимательно вглядывались в его лицо, следили за тем, как тени преступных деяний пробежали по нем и во сне, как нервно сдвигались брови и губы сжимались в жалостную, почти по-детски плачущую гримасу.

— Убью! — вскрикивал он вдруг, чувствуя во сне беспредметное беспокойство от нашего присутствия, и тогда мы испуганною стаей кидались врозь.

Случалось, что в таком положении сонного его заливало дождем, засыпало пылью, а несколько раз, осенью, даже буквально заносило снегом; и если он не погиб преждевременною смертью, то этим, без сомненья, был обязан заботам о своей грустной особе других, подобных ему, несчастливцев и, главным образом, заботам веселого пана Туркевича, который, сильно пошатываясь, сам разыскивал его, тормошил, ставил на ноги и уводил с собою.

Пан Туркевич принадлежал к числу людей, которые, как сам он выражался, не дают себе плевать в кашу, и в то время как «профессор» и Лавровский пассивно страдали, Туркевич являл из себя особу веселую и благополучную во многих отношениях. Начать с того, что, не справляясь ни у кого об утверждении, он сразу произвел себя в генералы и требовал от обывателей соответствующих этому званию почестей. Так как никто не смел оспаривать его права на этот титул, то вскоре пан Туркевич совершенно проникся и сам верой в свое величие. Выступал он всегда очень важно, грозно насупив брови и обнаруживая во всякое время полную готовность сокрушить кому-нибудь скулы, что, по-видимому, считал необходимейшею прерогативой генеральского звания. Если же по временам его беззаботную голову посещали на этот счет какие-либо сомненья, то, изловив на улице первого встречного обывателя, он грозно спрашивал:

— Кто я по здешнему месту? а?

— Генерал Туркевич! — смиренно отвечал обыватель, чувствовавший себя в затруднительном положении. Туркевич немедленно отпускал его, величественно покручивая усы.

— То-то же!

А так как при этом он умел еще совершенно особенным образом шевелить своими тараканьими усами и был неистощим в прибаутках и острогах, то не удивительно, что его постоянно окружала толпа досужих слушателей и ему были даже открыты двери лучшей «ресторации», в которой собирались за бильярдом приезжие помещики. Если сказать правду, бывали нередко случаи, когда пан Туркевич вылетал оттуда с быстротой человека, которого подталкивают сзади не особенно церемонно; но случаи эти, объяснявшиеся недостаточным уважением помещиков к остроумию, не оказывали влияния на общее настроение Туркевича: веселая самоуверенность составляла нормальное его состояние, так же как и постоянное опьянение.

Последнее обстоятельство составляло второй источник его благополучия, — ему достаточно было одной рюмки, чтобы зарядиться на весь день. Объяснялось это огромным количеством выпитой уже Туркевичем водки, которая превратила его кровь в какое-то водочное сусло; генералу теперь достаточно было поддерживать это сусло на известной степени концентрации, чтоб оно играло и бурлило в нем, окрашивая для него мир в радужные краски.

Зато, если по какой-либо причине дня три генералу не перепало ни одной рюмки, он испытывал невыносимые муки. Сначала он впадал в меланхолию и малодушие; всем было известно, что в такие минуты грозный генерал становился беспомощнее ребенка, и многие спешили выместить на нем свои обиды. Его били, оплевывали, закидывали грязью, а он даже не старался избегать поношений; он только ревел во весь голос, и слезы градом катились у него из глаз по уныло обвисшим усам. Бедняга обращался ко всем с просьбой убить его, мотивируя это желание тем обстоятельством, что ему все равно придется помереть «собачьей смертью под забором». Тогда все от него отступались. В таком градусе было что-то в голосе и в лице генерала, что заставляло самых смелых преследователей поскорее удаляться, чтобы не видеть этого лица, не слышать голоса человека, на короткое время приходившего к сознанию своего ужасного положения... С генералом опять происходила перемена; он становился ужасен, глаза лихорадочно загорались, щеки вваливались, короткие волосы подымались на голове дыбом. Быстро поднявшись на ноги, он ударял себя в грудь и торжественно отправлялся по улицам, оповещая громким голосом:

— Иду!.. как пророк Иеремия... Иду обличать нечестивых!



Это обещало самое интересное зрелище. Можно сказать с уверенностью, что пан Туркевич в такие минуты с большим успехом выполнял функции неведомой в нашем городишке гласности; поэтому нет ничего удивительного, если самые солидные и занятые граждане бросали обыденные дела и примыкали к толпе, сопровождавшей новоявленного пророка, или хоть издали следили за его похождениями. Обыкновенно он прежде всего направлялся к дому секретаря уездного суда и открывал перед его окнами нечто вроде судебного заседания, выбрав из толпы подходящих актеров, изображавших истцов и ответчиков; он сам говорил за них речи и сам же отвечал им, подражая с большим искусством голосу и манере обличаемого. Так как при этом он всегда умел придать спектаклю интерес современности, намекая на какое-нибудь всем известное дело, и так как, кроме того, он был большой знаток судебной процедуры, то немудрено, что в самом скором времени из дома секретаря выбегала кухарка, что-то совала Туркевичу в руку и быстро скрывалась, отбиваясь от любезностей генеральской свиты. Генерал, получив даяние, злобно хохотал и, с торжеством размахивая монетой, отправлялся в ближайший кабак.

Оттуда, утолив несколько жажду, он вел своих слушателей к домам «подсудков», видоизменяя репертуар соответственно обстоятельствам. А так как каждый раз он получал поспектакльную плату, то естественно, что грозный тон постепенно смягчался, глаза исступленного пророка умасливались, усы закручивались кверху, и представление от обличительной драмы переходило к веселому водевилю. Кончалось оно обыкновенно перед домом исправника Коца. Это был добродушнейший из градоправителей, обладавший двумя небольшими слабостями: во-первых, он красил свои седые волосы черною краской и, во-вторых, питал пристрастие к толстым кухаркам, полагаясь во всем остальном на волю божию и на добровольную обывательскую «благодарность». Подойдя к исправницкому дому, выходявшему фасом на улицу, Туркевич весело подмигивал своим спутникам, кидал кверху картуз и объявлял громогласно, что здесь живет не начальник, а родной его, Туркевича, отец и благодетель.

Затем он устремлял свои взоры на окна и ждал последствий. Последствия эти были двоякого рода: или немедленно же из парадной двери выбегала толстая и румяная Матрена с милостивым подарком от отца и благодетеля, или же дверь оставалась закрытою, в окне кабинета мелькала сердитая старческая физиономия, обрамленная чер-

ными, как смоль, волосами, а Матрена тихонько ~~за~~адами прокрадывалась на съезжую. На съезжей имел постоянное местожительство бутарь Микита, замечательно набивший руку именно в обращении с Туркевичем. Он тотчас же флегматически откладывал в сторону сапожную колодку и подымался со своего сиденья.

Между тем Туркевич, не видя пользы от дифирамбов, понемногу и осторожно начинал переходить к сатире. Обыкновенно он начинал сожалением о том, что его благодетель считает за чем-то нужным красить свои почтенные седины сапожною ваксой. Затем, огорченный полным невниманием к своему красноречию, он возвышал голос, подымал тон и начинал громить благодетеля за плачевный пример, подаваемый гражданам незаконным сожитием с Матреной. Дойдя до этого щекотливого предмета, генерал терял уже всякую надежду на примирение с благодетелем и потому воодушевлялся истинным красноречием. К сожалению, обыкновенно на этом именно месте речи происходило неожиданное постороннее вмешательство; в окно высывалось желтое и сердитое лицо Коца, а сзади Туркевича подхватывал с замечательною ловкостью подкравшийся к нему Микита. Никто из слушателей не пытался даже предупредить оратора об угрожавшей ему опасности, ибо артистические приемы Микиты вызывали всеобщий восторг. Генерал, прерванный на полуслове, вдруг как-то странно мелькал в воздухе, опрокидывался спиной на спину Микиты — и через несколько секунд дюжий бутарь, слегка согнувшийся под своей ношей, среди оглушительных криков толпы, спокойно направлялся к кутузке. Еще минута, черная дверь съезжей раскрывалась, как мрачная пасть, и генерал, беспомощно болтавший ногами, торжественно скрывался за дверью кутузки. Неблагодарная толпа кричала Миките «ура» и медленно расходилась.

Кроме этих выделявшихся из ряда личностей, около часовни ютилась еще темная масса жалких оборванцев, появление которых на базаре производило всегда большую тревогу среди торговков, спешивших прикрыть свое добро руками, подобно тому, как насадки прикрывают цыплят, когда в небе покажется коршун. Ходили слухи, что эти жалкие личности, окончательно лишенные всяких ресурсов со времени изгнания из ~~за~~мка, составили дружное сообщество и занимались, между прочим, мелким воровством в городе и окрестностях. Основывались эти слухи главным образом на той бесспорной посылке, что человек не может существовать без пищи; а так как почти все эти темные личности так или иначе отбились от обычных способов ее

добывания и были оттерты счастливыми из зámка от благ местной филантропии, то отсюда следовало неизбежное заключение, что им было необходимо воровать или умереть. Они не умерли, значит... самый факт их существования обращался в доказательство их преступного образа действий.

Если только это была правда, то уже не подлежало спору, что организатором и руководителем сообщества не мог быть никто другой, как пан Тыбурций Драб, самая замечательная личность из всех проблематических натур, не ужившихся в старом зámке.

Происхождение Драба было покрыто мраком самой таинственной неизвестности. Люди, одаренные сильным воображением, приписывали ему аристократическое имя, которое он покрыл позором и потому принужден был скрыться, причем участвовал будто бы в подвигах знаменитого Кармелюка. Но, во-первых, для этого он был еще недостаточно стар, а во-вторых, наружность пана Тыбурция не имела в себе ни одной аристократической черты. Роста он был высокого; сильная сутуловатость как бы говорила о бремени вынесенных Тыбурцием несчастий; крупные черты лица были грубо-выразительны. Короткие, слегка рыжеватые волосы торчали врозь; низкий лоб, несколько выдававшаяся вперед нижняя челюсть и сильная подвижность личных мускулов придавали всей физиономии что-то обезьянье; но глаза, сверкавшие из-под нависших бровей, смотрели упорно и мрачно, и в них светились, вместе с лукавством, острая пронизательность, энергия и недюжинный ум. В то время, как на его лице сменялся целый калейдоскоп гримас, эти глаза сохраняли постоянно одно выражение, отчего мне всегда бывало как-то безотчетно-жутко смотреть на гаерство этого странного человека. Под ним как будто струилась глубокая неустанная печаль.

Руки пана Тыбурция были грубы и покрыты мозолями, большие ноги ступали по-мужичьи. Ввиду этого большинство обывателей не признавало за ним аристократического происхождения, и самое большее, что соглашалось допустить, это — звание дворового человека какого-нибудь из знатных панов. Но тогда опять встречалось затруднение; как объяснить его феноменальную ученость, которая всем была очевидна. Не было кабака во всем городе, в котором бы пан Тыбурций, в назидание собиравшихся в базарные дни хохлов, не произносил, стоя на бочке, целых речей из Цицерона, целых глав из Ксенофонта. Хохлы разевали рты и подталкивали друг друга локтями, а пан Тыбурций, возвышаясь в своих лохмотьях над всею толпой, громил

Катилину или описывал подвиги Цезаря или коварство Митридата. Хохлы, вообще наделенные от природы богатою фантазией, умели как-то влагать свой собственный смысл в эти одушевленные, хотя и непонятные речи... И когда, ударяя себя в грудь и сверкая глазами, он обращался к ним со словами: «*Patres conscripti!*»<sup>1</sup> — они тоже хмурились и говорили друг другу:

— Ото ж, вражий сын, як лається!

Когда же затем пан Тыбурций, подняв глаза к потолку, начинал декламировать длиннейшие латинские периоды, — усатые слушатели следили за ним с боязливым и жалостным участием. Им казалось тогда, что душа декламатора витает где-то в неведомой стране, где говорят не по-христиански, а по отчаянной жестикуляции оратора они заключали, что она там испытывает какие-то горестные приключения. Но наибольшего напряжения достигало это участливое внимание, когда пан Тыбурций, закатив глаза и поводя одними белками, донимал аудиторию продолжительною скандовкой *Виргилия* или *Гомера*. Его голос звучал тогда такими глухими, загробными раскатами, что сидевшие по углам и наиболее поддавшиеся действию жидовской горилки слушатели опускали головы, свешивали длинные подстриженные спереди «чуприны» и начинали всхлипывать:

— О-ох, матиньки, та и жалобно ж, хай ему бис! — И слезы капали из глаз и стекали по длинным усам.

Нет поэтому ничего удивительного, что, когда оратор внезапно соскакивал с бочки и разражался веселым хохотом, омраченные лица хохлов вдруг прояснялись, и руки тянулись к карманам широких штанов за медяками. Обрадованные благополучным окончанием трагических экскурсий пана Тыбурция, хохлы поили его водкой, обнимались с ним, и в его картуз падали, звеня, медяки.

Ввиду такой поразительной учености пришлось построить новую гипотезу о происхождении этого чудака, которая бы более соответствовала изложенным фактам. Помирились на том, что пан Тыбурций был некогда дворовым мальчишкой какого-то графа, который послал его вместе со своим сыном в школу отцов-иезуитов, собственно на предмет чистки сапогов молодого панича. Оказалось, однако, что в то время, как молодой граф воспринимал преимущественно удары треххвостной «дисциплины» святых отцов, его лакей перехватил всю мудрость, которая назначалась для головы барчука.

---

<sup>1</sup> «Отцы сенаторы!»

Вследствие окружавшей Тыбурция тайны, в числе других профессий ему приписывали также отличные сведения по части колдовского искусства. Если на полях, примыкавших волнующимся морем к последним лачугам предместья, появлялись вдруг колдовские «закруты», то никто не мог вырвать их с большею безопасностью для себя и жнецов, как пан Тыбурций. Если зловещий «пугач»<sup>1</sup> прилетал по вечерам на чью-нибудь крышу и громкими криками накликал туда смерть, то опять приглашали Тыбурция, и он с большим успехом прогонял зловещую птицу поучениями из Тита Ливия.

Никто не мог бы также сказать, откуда у пана Тыбурция явились дети, а между тем факт, хотя и никем не объясненный, стоял налицо... даже два факта: мальчик лет семи, но рослый и развитой не по летам, и маленькая трехлетняя девочка. Мальчика пан Тыбурций привел, или, вернее, принес с собой с первых дней, как явился сам на горизонте нашего города. Что же касается девочки, то, по-видимому, он отлучался, чтобы приобрести ее, на несколько месяцев в совершенно неизвестные страны.

Мальчик, по имени Валек, высокий, тонкий, черно-волосый, угрюмо шатался иногда по городу без особенного дела, заложив руки в карманы и кидая по сторонам взгляды, смущавшие сердца калачниц. Девочку видели только один или два раза на руках пана Тыбурция, а затем она куда-то исчезла, и где находилась — никому не было известно.

Поговаривали о каких-то подземельях на униатской горе около часовни, и так как в тех краях, где так часто проходила с огнем и мечом татарщина, где некогда бушевала панская «сваволя» (своеволие) и правили кровавую расправу удалцы-гайдамаки, подобные подземелья очень нередки, то все верили этим слухам, тем более, что ведь жила же где-нибудь вся эта орда темных бродяг. А они обыкновенно под вечер исчезали именно в направлении к часовне. Туда своею сонною походкой ковылял «профессор», шагал решительно и быстро пан Тыбурций; туда же Туркевич, пошатываясь, провожал свирепого и беспомощного Лавровского; туда уходили под вечер, утопая в сумерках, другие темные личности, и не было храброго человека, который бы решился следовать за ними по глинистым обрывам. Гора, изрытая могилами, пользовалась дурной славой. На старом кладбище в сырые осенние ночи загорались синие огни, а в часовне сычи кричали так пронзительно и звонко, что от криков проклятой птицы **да**же у бесстрашного кузнеца сжималось сердце.

---

<sup>1</sup> Филин.

### III. Я И МОЙ ОТЕЦ

— Плохо, молодой человек, плохо! — говорил мне нередко старый Януш из замка, встречая меня на улицах города в свите пана Туркевича или среди слушателей пана Драба.

И старик качал при этом своею седою бородой.

— Плохо, молодой человек, — вы в дурном обществе... Жаль, очень жаль сына почтенных родителей, который не щадит семейной чести.

Действительно, с тех пор как умерла моя мать, а суровое лицо отца стало еще угрюмее, меня очень редко видели дома. В поздние летние вечера я прокрадывался по саду, как молодой волчонок, избегая встречи с отцом, отворял посредством особых приспособлений свое окно, полузакрытое густою зеленью сирени, и тихо ложился в постель. Если маленькая сестренка еще не спала в своей качалке в соседней комнате, я подходил к ней, и мы тихо ласкали друг друга и играли, стараясь не разбудить ворчливую старую няньку.

А утром, чуть свет, когда в доме все еще спали, я уж прокладывал росистый след в густой, высокой траве сада, перелезал через забор и шел к пруду, где меня ждали с удочками такие же сорванцы-товарищи, или к мельнице, где сонный мельник только что отодвинул шлюзы и вода, чутко вздрагивая на зеркальной поверхности, кидалась в «лотóки» и бодро принималась за дневную работу.

Большие мельничные колеса, разбуженные шумливыми толчками воды, тоже вздрагивали, как-то нехотя подавались, точно ленясь проснуться, но через несколько секунд уже кружились, брызгая пеной и купаясь в холодных струях. За ними медленно и солидно трогались толстые валы, внутри мельницы начинали грохотать шестерни, шуршали жернова, и белая мучная пыль тучами поднималась из щелей старогостарого мельничного здания.

Тогда я шел далее. Мне нравилось встречать пробуждение природы; я бывал рад, когда мне удавалось вспугнуть заспавшегося жаворонка или выгнать из борозды трусливого зайца. Капли росы падали с верхушек трясушки, с головок луговых цветов, когда я пробирался полями к загородной роще. Деревья встречали меня шепотом ленивой дремоты. Из окон тюрьмы не глядели еще бледные, угрюмые лица арестантов, и только караул, громко звякая ружьями, обходил вокруг стены, сменяя усталых ночных часовых.

Я успевал совершить дальний обход, и все же в городе то и дело встречались мне заспанные фигуры, отворявшие ставни домов. Но вот солнце поднялось уже над горой, из-за прудов слышится крикливый звонок, сзывающий гимназистов, и голод зовет меня домой к утреннему чаю.

Вообще все меня звали бродягой, негодным мальчишкой и так часто укоряли в разных дурных наклонностях, что я, наконец, и сам проникся этим убеждением. Отец также поверил этому и делал иногда попытки заняться моим воспитанием, но попытки эти всегда кончались неудачей. При виде строгого и угрюмого лица, на котором лежала суровая печать неизлечимого горя, я робел и замыкался в себя. Я стоял перед ним, переминаясь, теребя свои штанишки, и озирался по сторонам. Временами что-то как будто подымалось у меня в груди; мне хотелось, чтоб он обнял меня, посадил к себе на колени и приласкал. Тогда я прильнул бы к его груди, и, быть может, мы вместе заплакали бы — ребенок и суровый мужчина — о нашей общей утрате. Но он смотрел на меня отуманенными глазами, как будто поверх моей головы, и я весь сжимался под этим непонятным для меня взглядом.

— Ты помнишь матушку?

Помнил ли я ее? О, да, я помнил ее! Я помнил, как, бывало, просыпаясь ночью, я искал в темноте ее нежные руки и крепко прижимался к ним, покрывая их поцелуями. Я помнил ее, когда она сидела больная перед открытым окном и грустно оглядывала чудную весеннюю картину, прощаясь с нею в последний год своей жизни.

О, да, я помнил ее!.. Когда она, вся покрытая цветами, молодая и прекрасная, лежала с печатью смерти на бледном лице, я, как зверек, забился в угол и смотрел на нее горящими глазами, перед которыми впервые открылся весь ужас загадки о жизни и смерти. А потом, когда ее унесли в толпе незнакомых людей, не мои ли рыдания звучали сдавленным стоном в сумраке первой ночи моего сиротства?

О, да, я ее помнил!.. И теперь часто, в глухую полночь, я просыпался, полный любви, которая теснилась в груди, переполняя детское сердце, — просыпался с улыбкой счастья, в блаженном неведении, навеянном розовыми снами детства. И опять, как прежде, мне казалось, что она со мною, что я сейчас встречу ее любящую, милую ласку. Но мои руки протягивались в пустую тьму, и в душу проникало сознание горького одиночества. Тогда я сжимал руками свое маленькое, больно стучавшее сердце, и слезы прожигали горячими струями мои щеки.

О, да, я помнил ее!.. Но на вопрос высокого, угрюмого человека, в котором я желал, но не мог почувствовать родную душу, я съежился еще более и тихо выдергивал из его руки свою ручонку.

И он отворачивался от меня с досадою и болью. Он чувствовал, что не имеет на меня ни малейшего влияния, что между нами стоит какая-то неодолимая стена. Он слишком

любил ее, когда она была жива, не замечая меня из-за своего счастья. Теперь меня закрывало от него тяжелое горе.

И мало-помалу пропасть, нас разделявшая, становилась все шире и глубже. Он все более убеждался, что я — дурной, испорченный мальчишка, с черствым, эгоистическим сердцем, и сознание, что он должен, но не может заняться мною, должен любить меня, но не находит для этой любви угла в своем сердце, еще увеличивало его нерасположение. И я это чувствовал. Порой, спрятавшись в кустах, я наблюдал за ним; я видел, как он шагал по аллеям, все ускоряя походку, и глухо стонал от нестерпимой душевной муки. Тогда мое сердце загоралось жалостью и сочувствием. Один раз, когда, сжав руками голову, он присел на скамейку и зарыдал, я не вытерпел и выбежал из кустов на дорожку, повинувшись неопределенному побуждению, толкавшему меня к этому человеку. Но он, пробудясь от мрачного и безнадежного созерцания, сурово взглянул на меня и осадил холодным вопросом:

— Что нужно?

Мне ничего не было нужно. Я быстро отвернулся, стыдясь своего порыва, боясь, чтоб отец не прочел его в моем смущенном лице. Убежав в чашу сада, я упал лицом в траву и горько заплакал от досады и боли.

С шести лет я испытывал уже ужас одиночества.

Сестре Соне было четыре года. Я любил ее страстно, и она платила мне такую же любовью; но установившийся взгляд на меня, как на отпетого маленького разбойника, воздвиг и между нами высокую стену. Всякий раз, когда я начинал играть с нею, по-своему шумно и резво, старая нянька, вечно сонная и вечно дравшая, с закрытыми глазами, куриные перья для подушек, немедленно просыпалась, быстро схватывала мою Соню и уносила к себе, кидая на меня сердитые взгляды; в таких случаях она всегда напоминала мне всклоченную наседку, себя я сравнивал с хищным коршуном, а Соню — с маленьким цыпленком. Мне становилось очень горько и досадно. Немудрено поэтому, что скоро я прекратил всякие попытки занимать Соню моими преступными играми, а еще через некоторое время мне стало тесно в доме и в садике, где я не встречал ни в ком привета и ласки. Я начал бродяжить. Все мое существо трепетало тогда каким-то странным предчувствием, предвкушением жизни. Мне все казалось, что где-то там, в этом большом и неведомом свете, за старую оградой сада, я найду что-то; казалось, что я что-то должен сделать и могу что-то сделать, но я только не знал, что именно; а между тем, навстречу этому неведомому и таинственному, во мне из глубины моего сердца что-то подымалось, дразня и вызывая.



Я все ждал разрешения этих вопросов и инстинктивно бегал и от няньки с ее перьями, и от знакомого ленивого шепота яблоней в нашем маленьком садике, и от глупого стука ножей, рубивших на кухне котлеты. С тех пор к прочим нелестным моим эпитетам прибавились названия уличного мальчишки и бродяги; но я не обращал на это внимания. Я притерпелся к упрекам и выносил их, как выносил внезапно налетавший дождь или солнечный зной. Я хмуро выслушивал замечания и поступал по-своему. Шатаюсь по улицам, я всматривался детски-любопытными глазами в незатейливую жизнь городка с его лачугами, вслушивался в гул проволок на шоссе, вдали от городского шума, стараясь уловить, какие вести несутся по ним из далеких больших городов, или в шелест колосьев, или в шепот ветра на высоких гайдамацких могилах. Не раз мои глаза широко раскрывались, не раз останавливался я с болезненным испугом перед картинами жизни... Образ за образом, впечатление за впечатлением ложились на душу яркими пятнами; я узнал и увидел много такого, чего не видели дети значительно старше меня, а между тем то неведомое, что подымалось из глубины детской души, по-прежнему звучало в ней несмолкающим, таинственным, подмывающим, вызывающим рокотом.

Когда старухи из замка лишили его в моих глазах уважения и привлекательности, когда все углы города стали мне известны до последних грязных закоулков, тогда я стал заглядываться на видневшуюся вдали, на униатской горе, часовню. Сначала, как пугливый зверек, я подходил к ней с разных сторон, все не решаясь взобраться на гору, пользовавшуюся дурною славой. Но по мере того как я знакомился с местностью, передо мною выступали только тихие могилы и разрушенные кресты. Нигде не было видно признаков какого-либо жилья и человеческого присутствия. Все было как-то смиренно, тихо, заброшено, пусто. Только самая часовня глядела, насупившись, пустыми окнами, точно думала какую-то грустную думу. Мне захотелось осмотреть ее всю, заглянуть внутрь, чтобы убедиться окончательно, что и там нет ничего, кроме пыли. Но так как одному было бы и страшно, и неудобно предпринимать подобную экскурсию, то я навербовал на улицах города небольшой отряд из трех сорванцов, привлеченных к предприятию обещанием булок и яблоков из нашего сада.

#### **IV. Я ПРИОБРЕТАЮ НОВОЕ ЗНАКОМСТВО**

Мы вышли в экскурсию после обеда и, подойдя к горе, стали подыматься по глинистым обвалам, взрытым лопатами

жителей и весенними потоками. Обвалы обнажали склоны горы, и кое-где из глины виднелись высунувшиеся наружу белые, истлевшие кости. В одном месте деревянный гроб выставлялся истлевающим углом, в другом — скалил зубы человеческого череп, уставясь на нас черными впадинами глаз.

Наконец, помогая друг другу, мы торопливо взобрались на гору из последнего обрыва. Солнце начинало склоняться к закату. Косые лучи мягко золотили зеленую мураву старого кладбища, играли на покосившихся крестах, переливались в уцелевших окнах часовни. Было тихо, веяло спокойствием и глубоким миром брошенного кладбища. Здесь уже мы не видели ни черепов, ни голеней, ни гробов. Зеленая свежая трава ровным, слегка склонявшимся к городу пологом любовно скрывала в своих объятиях ужас и безобразия смерти.

Мы были одни; только воробьи возились кругом, да ласточки бесшумно влетали и вылетали в окна старой часовни, которая стояла, грустно понурясь, среди поросших травой могил, скромных крестов, полуразвалившихся каменных гробниц, на развалинах которых стлалась густая зелень, пестрели разноцветные головки лютиков, кашки, фиалок.

— Нет никого, — сказал один из моих спутников.

— Солнце заходит, — заметил другой, глядя на солнце, которое не заходило еще, но стояло над горою.

Дверь часовни была крепко заколочена, окна — высоко над землею; однако, при помощи товарищей, я надеялся взобраться на них и взглянуть внутрь часовни.

— Не надо! — вскрикнул один из моих спутников, вдруг потерявший всю свою храбрость, и схватил меня за руку.

— Пошел ко всем чертям, баба! — прикрикнул на него старший из нашей маленькой армии, с готовностью подставляя спину.

Я храбро взобрался на нее; потом он выпрямился, и я стал ногами на его плечи. В таком положении я без труда достал рукой раму и, убедясь в ее крепости, поднялся к окну и сел на него.

— Ну, что же там? — спрашивали меня снизу с живым интересом.

Я молчал. Перегнувшись через косяк, я заглянул внутрь часовни, и оттуда на меня пахнуло торжественною тишиной брошенного храма. Внутренность высокого, узкого здания была лишена всяких украшений. Лучи вечернего солнца, свободно врываясь в открытые окна, разрисовывали ярким золотом старые, ободренные стены. Я увидел внутреннюю сторону запертой двери, провалившиеся хоры, старые, истлевшие колонны, как бы покачнувшиеся под непосильною тяжестью. Углы были затканы паутиной, и в них ютилась та

особенная тьма, которая залегает все углы таких старых зданий. От окна до пола казалось гораздо дальше, чем до травы снаружи. Я смотрел точно в глубокую яму и сначала не мог разглядеть каких-то странных предметов, маячивших по полу причудливыми очертаниями.

Между тем моим товарищам надоело стоять внизу, ожидая от меня известий, и потому один из них, проделав ту же процедуру, какую проделал я раньше, повис рядом со мною, держась за оконную раму.

— Престол, — сказал он, взглядевшись в странный предмет на полу.

— И паникадило.

— Столик для евангелия.

— А вон там что такое? — с любопытством указал он на темный предмет, видневшийся рядом с престолом.

— Поповская шапка.

— Нет, ведро.

— Зачем же тут ведро?

— Может быть, в нем когда-то были угли для кадила.

— Нет, это действительно шапка. Впрочем, можно посмотреть. Давай, привяжем к раме пояс, и ты по нем спустишься.

— Да, как же, так и спущусь!.. Полезай сам, если хочешь.

— Ну, что ж! Думаешь, не полезу?

— И полезай!

Действуя по первому побуждению, я крепко связал два ремня, задел их за раму и, отдав один конец товарищу, сам повис на другом. Когда моя нога коснулась пола, я вздрогнул; но взгляд на участливо склонившуюся ко мне рожицу моего приятеля восстановил мою бодрость. Стук каблука зазвенел под потолком, отдался в пустоте часовни, в ее темных углах. Несколько воробьев вспорхнули с насиженных мест на хорах и вылетели в большую прореху в крыше. Со стены, на окнах которой мы сидели, глянуло на меня вдруг строгое лицо, с бородой, в терновом венце. Это склонялось из-под самого потолка гигантское распятие.

Мне было жутко; глаза моего друга сверкали захватывающим дух любопытством и участием.

— Ты подойдешь? — спросил он тихо.

— Подойду, — ответил я так же, собираясь с духом. Но в эту минуту случилось нечто совершенно неожиданное.

Сначала послышался стук и шум обвалившейся на хорах штукатурки. Что-то завозилось вверх, трянуло в воздухе тучею пыли, и большая серая масса, взмахнув крыльями, поднялась к прорехе в крыше. Часовня на мгновение как будто потемнела. Огромная старая сова, обеспокоенная

нашей возней, вылетела из темного угла, мелькнула, распластавшись на фоне голубого неба в полете, и шархнула вон.

Я почувствовал прилив судорожного страха.

— Подымай! — крикнул я товарищу, схватившись за ремень.

— Не бойся, не бойся! — успокаивал он, готовясь поднять меня на свет дня и солнца.

Но вдруг лицо его исказилось от страха; он вскрикнул и мгновенно исчез, прыгнув с окна. Я инстинктивно оглянулся и увидел странное явление, поразившее меня, впрочем, больше удивлением, чем ужасом.

Темный предмет нашего спора, шапка или ведро, оказавшийся, в конце концов, горшком, мелькнул в воздухе и на глазах моих скрылся под престолом. Я успел только разглядеть очертания небольшой, как будто детской руки.

Трудно передать мои ощущения в эту минуту. Я не страдал; чувство, которое я испытывал, нельзя даже назвать страхом. Я был на том свете. Откуда-то, точно из другого мира, в течение нескольких секунд доносился до меня быстрою дробью тревожный топот трех пар детских ног. Но вскоре затих и он. Я был один, точно в гробу, в виду каких-то странных и необъяснимых явлений.

Времени для меня не существовало, поэтому я не мог сказать, скоро ли я услышал под престолом сдержанный шепот.

— Почему же он не лезет себе назад?

— Видишь, испугался.

Первый голос показался мне совсем детским; второй мог принадлежать мальчику моего возраста. Мне показалось также, что в щели старого престола сверкнула пара черных глаз.

— Что же он теперь будет делать? — послышался опять шепот.

— А вот погоди, — ответил голос постарше.

Под престолом что-то сильно завожилось, он даже как будто покачнулся, и в то же мгновение из-под него вынырнула фигура.

Это был мальчик лет девяти, больше меня, худощавый и тонкий, как тростинка. Одет он был в грязной рубашонке, руки держал в карманах узких и коротких штанишек. Темные курчавые волосы лохматились над черными задумчивыми глазами.

Хотя незнакомец, явившийся на сцену столь неожиданным и странным образом, подходил ко мне с тем беспечно-задорным видом, с каким всегда на нашем базаре подходили

друг к другу мальчишки, готовые вступить в драку, но все же, увидев его, я сильно ободрился. Я ободрился еще более, когда из-под того же престола, или, вернее, из люка в полу часовни, который он покрывал, сзади мальчика показалось еще грязное личико, обрамленное белокурыми волосами и сверкавшее на меня детски-любопытными голубыми глазами.

Я несколько отодвинулся от стены и, согласно рыцарским правилам нашего базара, тоже положил руки в карманы. Это было признаком, что я не боюсь противника и даже отчасти намекаю на мое к нему презрение.

Мы стали друг против друга и обменялись взглядами. Оглядев меня с головы до ног, мальчишка спросил:

— Ты здесь зачем?

— Так, — ответил я. — Тебе какое дело?

Мой противник повел плечом, как будто намереваясь вынуть руку из кармана и ударить меня.

Я не моргнул и глазом.

— Я вот тебе покажу! — погрозил он.

Я выпятился грудью вперед.

— Ну, ударь... попробуй!..

Мгновение было критическое; от него зависел характер дальнейших отношений. Я ждал, но мой противник, окинув меня тем же испытующим взглядом, не шевелился.

— Я, брат, и сам... тоже... — сказал я, но уже более миролюбиво.

Между тем, девочка, упершись маленькими ручонками в пол часовни, старалась тоже выкарабкаться из люка. Она падала, вновь приподымалась и, наконец, направилась нетвердыми шагами к мальчишке. Подойдя вплоть, она крепко ухватила за него и, прижавшись к нему, поглядела на меня удивленным и отчасти испуганным взглядом.

Это решило исход дела; стало совершенно ясно, что в таком положении мальчишка не мог драться, а я, конечно, был слишком великодушен, чтобы воспользоваться его неудобным положением.

— Как твое имя? — спросил мальчик, глядя рукой белокурую головку девочки.

— Вася. А ты кто такой?

— Я Валеку... Я тебя знаю: ты живешь в саду над прудом. У вас большие яблоки.

— Да, это правда, яблоки у нас хорошие... не хочешь ли?

Вынув из кармана два яблока, назначавшиеся для расплаты с моею постыдно бежавшей армией, я подал одно из них Валеку, другое протянул девочке. Но она скрыла свое лицо, прижавшись к Валеку.

— Бойтся, — сказал тот и сам передал яблоко девочке.  
— Зачем ты влез сюда? Разве я когда-нибудь лазал в ваш сад? — спросил он затем.

— Что ж, приходи! Я буду рад, — ответил я радушно. Ответ этот озадачил Валека; он призадумался.

— Я тебе не компания, — сказал он грустно.

— Отчего же? — спросил я, огорченный грустным тоном, каким были сказаны эти слова.

— Твой отец — пан судья.

— Ну так что же? — изумился я чистосердечно. — Ведь ты будешь играть со мной, а не с отцом.

Валек покачал головой.

— Тыбурций не пустит, — сказал он, и, как будто это имя напомнило ему что-то, он вдруг спохватился: — Послушай... Ты, кажется, славный хлопец, но все-таки тебе лучше уйти. Если Тыбурций тебя застанет, будет плохо.

Я согласился, что мне, действительно, пора уходить. Последние лучи солнца уходили уже сквозь окна часовни, а до города было не близко.

— Как же мне отсюда выйти?

— Я тебе укажу дорогу. Мы выйдем вместе.

— А она? — ткнул я пальцем в нашу маленькую даму.

— Маруся? Она тоже пойдет с нами.

— Как, в окно?

Валек задумался.

— Нет, вот что: я тебе помогу взобраться на окно, а мы выйдем другим ходом.

С помощью моего нового приятеля я поднялся к окну. Отвязав ремень, я обвил его вокруг рамы и, держась за оба конца, повис в воздухе. Затем, отпустив один конец, я спрыгнул на землю и выдернул ремень. Валек и Маруся ждали меня уже под стеной снаружи.

Солнце недавно еще село за гору. Город утонул в лилово-туманной тени, и только верхушки тополей на острове резко выделялись червонным золотом, разрисованные последними лучами заката. Мне казалось, что с тех пор, как я явился сюда, на старое кладбище, прошло не менее суток, что это было вчера.

— Как хорошо! — сказал я, охваченный свежестью наступающего вечера и вдыхая полную грудью влажную прохладу.

— Скучно здесь... — с грустью произнес Валек.

— Вы все здесь живете? — спросил я, когда мы втроем стали спускаться с горы.

— Здесь.

— Где же ваш дом?

Я не мог себе представить, чтобы дети могли жить без «дома».

Валек усмехнулся с обычным грустным видом и ничего не ответил.

Мы миновали крутые обвалы, так как Валек знал более удобную дорогу. Пройдя меж камышей по высохшему болоту и переправившись через ручеек по тонким дощечкам, мы очутились у подножия горы, на равнине.

Тут надо было расстаться. Пожав руку моему новому знакомому, я протянул ее также и девочке. Она ласково подала мне свою крохотную ручонку и, глядя снизу вверх голубыми глазами, спросила:

— Ты придешь к нам опять?

— Приду, — ответил я, — непременно!..

— Что ж, — сказал в раздумье Валек, — приходи, пожалуй, только в такое время, когда наши будут в городе.

— Кто это «ваши»?

— Да наши... все: Тыбурций, Лавровский, Туркевич. Профессор... тот, пожалуй, не помешает.

— Хорошо. Я посмотрю, когда они будут в городе, и тогда приду. А пока прощайте!

— Эй, послушай-ка! — крикнул мне Валек, когда я отошел несколько шагов. — А ты болтать не будешь о том, что был у нас?

— Никому не скажу, — ответил я твердо.

— Ну, вот, это хорошо! А этим твоим дуракам, когда станут приставать, скажи, что видел черта.

— Ладно, скажу.

— Ну, прощай!

— Прощай.

Густые сумерки залегли над Княжьим-Веном, когда я приблизился к забору своего сада. Над замком зарисовался тонкий серп луны, загорелись звезды. Я хотел уже подняться на забор, как кто-то схватил меня за руку.

— Вася, друг, — заговорил взволнованным шепотом мой бежавший товарищ. — Как же это ты?.. Голубчик!..

— А вот, как видишь... А вы все меня бросили!..

Он потупился, но любопытство взяло верх над чувством стыда, и он спросил опять:

— Что же там было?

— Что, — ответил я тоном, не допускавшим сомнения, — разумеется, черти... А вы — трусы.

И, отмахнувшись от сконфуженного товарища, я полез на забор.

Через четверть часа я спал уже глубоким сном, и во сне мне виделись действительные черти, весело высказывавшие

из черного люка. Валек гонял их ивовым прутиком, а Маруся, весело сверкая глазами, смеялась и хлопала в ладоши.

## V. ЗНАКОМСТВО ПРОДОЛЖАЕТСЯ

С этих пор я весь был поглощен моим новым знакомством. Вечером, ложась в постель, и утром, вставая, я только и думал о предстоящем визите на гору. По улицам города я шатался теперь с исключительной целью — высмотреть, тут ли находится вся компания, которую Януш характеризовал словами «дурное общество»; и если Лавровский валялся в луже, если Туркевич и Тыбурций разглагольствовали перед своими слушателями, а темные личности шныряли по базару, я тотчас же бегом отправлялся через болото, на гору, к часовне, предварительно наполнив карманы яблоками, которые я мог рвать в саду без запрета, и лакомствами, которые я сберегал всегда для своих новых друзей.

Валек, вообще очень солидный и внушавший мне уважение своими манерами взрослого человека, принимал эти приношения просто и по большей части откладывал куда-нибудь, приберегая для сестры, но Маруся всякий раз всплескивала ручонками, и глаза ее загорались огоньком восторга; бледное лицо девочки вспыхивало румянцем, она смеялась, и этот смех нашей маленькой приятельницы отдавался в наших сердцах, вознаграждая за конфеты, которые мы жертвовали в ее пользу.

Это было бледное, крошечное создание, напоминавшее цветок, выросший без лучей солнца. Несмотря на свои четыре года, она ходила еще плохо, неуверенно ступая кривыми ножками и шатаясь, как былинка; руки ее были тонки и прозрачны; головка покачивалась на тонкой шее, как головка полевого колокольчика; глаза смотрели порой так не по-детски грустно, и улыбка так напоминала мне мою мать в последние дни, когда она, бывало, сидела против открытого окна и ветер шевелил ее белокурые волосы, что мне становилось самому грустно, и слезы подступали к глазам.

Я невольно сравнивал ее с моей сестрой; они были в одном возрасте, но моя Соня была кругла, как пышка, и упруга, как мячик. Она так резво бегала, когда, бывало, разыграется, так звонко смеялась, на ней всегда были такие красивые платья, и в темные косы ей каждый день горничная вплетала алую ленту.

А моя маленькая приятельница почти никогда не бегала и смеялась очень редко; когда же смеялась, то смех ее звучал, как самый маленький серебряный колокольчик, которого на десять шагов уже не слышно. Платье ее было грязно и старо,



в косе не было лент, но волосы у нее были гораздо больше и роскошнее, чем у Сони, и Валек, к моему удивлению, очень искусно умел заплетать их, что и исполнял каждое утро.

Я был большой сорванец. «У этого малого, — говорили обо мне старшие, — руки и ноги налиты ртутью», чему я и сам верил, хотя не представлял себе ясно, кто и каким образом произвел надо мной эту операцию. В первые же дни я внес свое оживление и в общество моих новых знакомых. Едва ли эхо старой «каплицы» повторяло когда-нибудь такие громкие крики, как в это время, когда я старался расшевелить и завлечь в свои игры Валека и Марусю. Однако это удавалось плохо. Валек серьезно смотрел на меня и на девочку, и раз, когда я заставил ее бегать со мной взапуски, он сказал:

— Нет, она сейчас заплачет.

Действительно, когда я растормошил ее и заставил бежать, Маруся, заслышав мои шаги за собой, вдруг повернулась ко мне, подняв ручонки над головой, точно для защиты, посмотрела на меня беспомощным взглядом захлопнутой пташки и громко заплакала. Я совсем растерялся.

— Вот, видишь, — сказал Валек: — она не любит играть.

Он усадил ее на траву, нарвал цветов и кинул ей; она перестала плакать и тихо перебирала растения, что-то говорила, обращаясь к золотистым лютикам, и подносила к губам синие колокольчики. Я тоже присмирел и лег рядом с Валеком около девочки.

— Отчего она такая? — спросил я, наконец, указывая глазами на Марусю.

— Невеселая? — переспросил Валек и затем сказал тоном совершенно убежденного человека: — А это, видишь ли, от серого камня.

— Да-а, — повторила девочка, точно слабое эхо, — это от серого камня.

— От какого серого камня? — переспросил я, не понимая.

— Серый камень высосал из нее жизнь, — пояснил опять Валек, по-прежнему смотря на небо. — Так говорит Тыбурций... Тыбурций хорошо знает.

— Да-а, — опять повторила тихим эхом девочка: — Тыбурций все знает.

Я ничего не понимал в этих загадочных словах, которые Валек повторял за Тыбурцием, однако, аргумент, что Тыбурций все знает, произвел и на меня свое действие. Я приподнялся на локте и взглянул на Марусю. Она сидела в том же положении, в каком усадил ее Валек, и все так же перебирала цветы; движения ее тонких рук были медленны; глаза выделялись глубокою синевою на бледном лице; длинные

ресницы были опущены. При взгляде на эту крохотную грустную фигурку мне стало ясно, что в словах Тыбурция, — хотя я и не понимал их значения, — заключается горькая правда. Несомненно, кто-то высасывает жизнь из этой странной девочки, которая плачет тогда, когда другие на ее месте смеются. Но как же может сделать это серый камень?

Это было для меня загадкой, страшнее всех призраков старого замка. Как ни ужасны были турки, томившиеся под землей, как ни грозен старый граф, усмирявший их в бурные ночи, но все они отзывались старою сказкой. А здесь что-то неведомо-страшное было налицо. Что-то бесформенное, немолимое, твердое и жестокое, как камень, склонялось над маленькою головкой, высасывая из нее румянец, блеск глаз и живость движений. «Должно быть, это бывает по ночам», — думал я, и чувство щемящего до боли сожаления сжимало мне сердце.

Под влиянием этого чувства я тоже умерил свою резвость. Применяясь к тихой солидности нашей дамы, оба мы с Валеком, усадив ее где-нибудь на траве, собирали для нее цветы, разноцветные камешки, ловили бабочек, иногда делали из кирпичей ловушки для воробьев. Иногда же, растянувшись около нее на траве, смотрели в небо, как плывут облака высоко над лохматою крышей старой «каплицы», рассказывали Марусе сказки или беседовали друг с другом.

Эти беседы с каждым днем все больше закрепляли нашу дружбу с Валеком, которая росла, несмотря на резкую противоположность наших характеров. Моей порывистой резвости он противопоставлял грустную солидность и внушал мне почтение своею авторитетностью и независимым тоном, с каким отзывался о старших. Кроме того, он часто сообщал мне много нового, о чем я раньше и не думал. Слыша, как он отзывается о Тыбурции, точно о товарище, я спросил:

— Тыбурций тебе отец?

— Должно быть, отец, — ответил он задумчиво, как будто этот вопрос не приходил ему в голову.

— Он тебя любит?

— Да, любит, — сказал он уже гораздо увереннее. — Он постоянно обо мне заботится, и, знаешь, иногда он целует меня и плачет...

— И меня любит и тоже плачет, — прибавила Маруся с выражением детской гордости.

— А меня отец не любит, — сказал я грустно. — Он никогда не целовал меня... Он нехороший.

— Неправда, неправда, — возразил Валеk, — ты не понимаешь. Тыбурций лучше знает. Он говорит, что судья — самый лучший человек в городе и что городу давно бы уже

надо провалиться, если бы не твой отец, да еще поп, которого недавно посадили в монастырь, да еврейский раввин. Вот из-за них троих...

— Что из-за них?

— Город из-за них еще не провалился, — так говорит Тыбурций, — потому что они еще за бедных людей заступаются... А твой отец, знаешь... он засудил даже одного графа...

— Да, это правда... Граф очень сердился, я слышал.

— Ну, вот видишь! А ведь графа засудить не шутка.

— Почему?

— Почему? — переспросил Валек, несколько озадаченный... — Потому что граф — не простой человек... Граф делает, что хочет, и ездит в карете, и потом... у графа деньги; он дал бы другому судье денег, и тот бы его не засудил, а засудил бы бедного.

— Да, это правда. Я слышал, как граф кричал у нас в квартире: «Я вас всех могу купить и продать!»

— А судья что?

— А отец говорит ему: «Подите от меня вон!»

— Ну, вот, вот! И Тыбурций говорит, что он не побоится прогнать богатого, а когда к нему пришла старая Иваниха с костылем, он велел принести ей стул. Вот он какой! Даже и Туркевич не делал никогда под его окнами скандалов.

Это была правда: Туркевич, во время своих обличительных экскурсий, всегда молча проходил мимо наших окон, иногда даже снимая шапку.

Все это заставило меня глубоко задуматься. Валек указал мне моего отца с такой стороны, с какой мне никогда не приходило в голову взглянуть на него: слова Валека задели в моем сердце струну сыновней гордости; мне было приятно слушать похвалы моему отцу, да еще от имени Тыбурция, который «все знает»; но вместе с тем дрогнула в моем сердце и нота щемящей любви, смешанной с горьким сознанием: никогда этот человек не любил и не полюбит меня так, как Тыбурций любит своих детей.

## VI. СРЕДИ «СЕРЫХ КАМНЕЙ»

Прошло еще несколько дней. Члены «дурного общества» перестали являться в город, и я напрасно шатался, скучая, по улицам, ожидая их появления, чтобы бежать на гору. Один только «профессор» прошел два раза своею сонною походкой, но ни Туркевича, ни Тыбурция не было видно. Я совсем соскучился, так как не видеть Валека и Марусю стало уже для

меня большим лишением. Но вот, когда я однажды шел с опущенною головою по пыльной улице, Валеку вдруг положил мне на плечо руку.

— Отчего ты перестал к нам ходить? — спросил он.

— Я боялся... Ваших не видно в городе.

— А-а... Я и не догадался сказать тебе: наших нет, приходи... А я было думал совсем другое.

— А что?

— Я думал, тебе наскучило.

— Нет, нет... Я, брат, сейчас побегу, — заторопился я, — даже и яблоки со мной.

При упоминании о яблоках Валеку быстро повернулся ко мне, как будто хотел что-то сказать, но не сказал ничего, а только посмотрел на меня странным взглядом.

— Ничего, ничего, — отмахнулся он, видя, что я смотрю на него с ожиданием. — Ступай прямо на гору, а я тут найду кое-куда, — дело есть. Я тебя догоню на дороге.

Я пошел тихо и часто оглядывался, ожидая, что Валеку меня догонит; однако я успел взойти на гору и подошел к часовне, а его все не было. Я остановился в недоумении: передо мной было только кладбище, пустынное и тихое, без малейших признаков обитаемости, только воробьи чирикали на свободе, да густые кусты черемухи, жимолости и сирени, прижимаясь к южной стене часовни, о чем-то тихо шептались густо разросшеюся темной листвою.

Я оглянулся кругом. Куда же мне теперь идти? Очевидно, надо дожидаться Валека. А пока я стал ходить между могилами, присматриваясь к ним от нечего делать и стараясь разобрать стертые надписи на обросших мхом надгробных камнях. Шатаюсь таким образом от могилы к могиле, я наткнулся на полуразрушенный просторный склеп. Крыша его была сброшена или сорвана непогодой и валялась тут же. Дверь была заколочена. Из любопытства я приставил к стене старый крест и, взобравшись по нему, заглянул внутрь. Гробница была пуста, только в середине пола была вделана оконная рама со стеклами, и сквозь эти стекла зияла темная пустота подземелья.

Пока я рассматривал гробницу, удивляясь странному назначению окна, на гору вбежал запыхавшийся и усталый Валеку. В руках у него была большая еврейская булка, за пазухой что-то оттопырилось, по лицу стекали капли пота.

— Ага! — крикнул он, заметив меня: — ты вот где. Если бы Тыбурций тебя здесь увидел, то-то бы рассердился! Ну, да теперь уж делать нечего. Я знаю, ты хлопец хороший и никому не расскажешь, как мы живем. Пойдем к нам!

— Где же это, далеко? — спросил я.

— А вот увидишь. Ступай за мной.

Он раздвинул кусты жимолости и сирени и скрылся в зелени под стеной часовни; я последовал туда за ним и очутился на небольшой плотно утоптанной площадке, которая совершенно скрывалась в зелени. Между стволами черемухи я увидел в земле довольно большое отверстие с земляными ступенями, ведущими вниз. Валек спустился туда, приглашая меня за собой, и через несколько секунд мы оба очутились в темноте, под зеленью. Взяв мою руку, Валек повел меня по какому-то узкому сырому коридору, и, круто повернув вправо, мы вдруг вошли в просторное подземелье.

Я остановился у входа, пораженный невиданным зрелищем. Две струи света резко лились сверху, выделяясь полосами на темном фоне подземелья; свет этот проходил в два окна, одно из которых я видел в полу sklepa, другое, подальше, очевидно, было пристроено таким же образом; лучи солнца проникали сюда не прямо, а прежде отражались от стен старых гробниц; они разливались в сыром воздухе подземелья, падали на каменные плиты пола, отражались и наполняли все подземелье тусклыми отблесками; стены тоже были сложены из камня; большие широкие колонны массивно вздымались снизу и, раскинув во все стороны свои каменные дуги, крепко смыкались кверху сводчатым потолком. На полу, в освещенных пространствах, сидели две фигуры. Старый «профессор», склонив голову и что-то бормоча про себя, ковырял иголкой в своих лохмотьях. Он не поднял даже головы, когда мы вошли в подземелье, и если бы не легкие движения руки, то эту серую фигуру можно было бы принять за фантастическое каменное изваяние.

Под другим окном сидела с кучкой цветов, перебирая их, по своему обыкновению, Маруся. Струя света падала на ее белокурую головку, заливала ее всю, но, несмотря на это, она как-то слабо выделялась на фоне серого камня странным и маленьким туманным пятнышком, которое, казалось, вот-вот расплывется и исчезнет. Когда там, вверху, над землей, пробежали облака, затеняя солнечный свет, стены подземелья тонули совсем в темноте, как будто раздвигались, уходили куда-то, а потом опять выступали жесткими, холодными камнями, смыкаясь крепкими объятиями над крохотной фигуркой девочки. Я поневоле вспомнил слова Валека о «сером камне», высасывавшем из Маруси ее веселье, и чувство суеверного страха закралось в мое сердце; мне казалось, что я ощущаю на ней и на себе невидимый каменный взгляд, пристальный и жадный. Мне казалось, что это подземелье чутко сторожит свою жертву.

— Валек! — тихо обрадовалась Маруся, увидев брата.

Когда же она заметила меня, в ее глазах блеснула живая искорка.

Я отдал ей яблоки, а Валеку, разломив булку, часть подал ей, а другую снес «профессору». Несчастный ученый равнодушно взял это приношение и начал жевать, не отрываясь от своего занятия. Я переминался и ежился, чувствуя себя как будто связанным под гнетущими взглядами серого камня.

— Уйдем... уйдем отсюда, — дернул я Валеку. — Уведи ее...

— Пойдем, Маруся, наверх, — позвал Валеку сестру.

И мы втроем поднялись из подземелья, но и здесь, наверху, меня не оставляло ощущение какой-то напряженной неловкости. Валеку был грустнее и молчаливее обыкновенного.

— Ты в городе остался затем, чтобы купить булок? — спросил я у него.

— Купить? — усмехнулся Валеку. — Откуда же у меня деньги?

— Так как же? Ты выпросил?

— Да, выпросишь!.. Кто же мне даст?.. Нет, брат, я стянул их с лотка еврейки Суры на базаре! Она не заметила.

Он сказал это обыкновенным тоном, лежа врасстыжку с заложенными под голову руками. Я приподнялся на локте и посмотрел на него.

— Ты, значит, украл?..

— Ну да!

Я опять откинулся на траву, и с минуту мы пролежали молча.

— Воровать нехорошо, — проговорил я затем в грустном раздумьи.

— Наши все ушли... Маруся плакала, потому что она была голодна.

— Да, голодна! — с жалобным простодушием повторила девочка.

Я не знал еще, что такое голод, но при последних словах девочки у меня что-то повернулось в груди, и я посмотрел на своих друзей, точно увидал их впервые. Валеку по-прежнему лежал на траве и задумчиво следил за парившим в небе ястребом. Теперь он не казался уже мне таким авторитетным, а при взгляде на Марусю, державшую обеими руками кусок булки, у меня заняло сердце.

— Почему же, — спросил я с усилием, — почему ты не сказал об этом мне?

— Я и хотел сказать, а потом раздумал; ведь у тебя своих денег нет.

— Ну так что же? Я взял бы булок из дому.

— Как, потихоньку?..

— Д-да.

— Значит, и ты бы тоже украл.

— Я... у своего отца.

— Это еще хуже! — с уверенностью сказал Валек. — Я никогда не ворую у своего отца.

— Ну, так я попросил бы... Мне бы дали.

— Ну, может быть, и дали бы один раз, — где же записаться на всех нищих?

— А вы разве... нищие? — спросил я упавшим голосом.

— Нищие! — угрюмо отрезал Валек.

Я замолчал и через несколько минут стал прощаться.

— Ты уж уходишь? — спросил Валек.

— Да, уйду.

Я ушел потому, что не мог уже в этот день играть с моими друзьями по-прежнему, безмятежно. Чистая детская привязанность моя как-то замутилась... Хотя любовь моя к Валеку и Марусе не стала слабее, но к ней примешалась острая струя сожаления, доходившая до сердечной боли. Дома я рано лег в постель, потому что не знал, куда уложить новое болезненное чувство, переполнявшее душу. Уткнувшись в подушку, я горько плакал, пока крепкий сон не прогнал своим веянием моего глубокого горя.

## VII. НА СЦЕНУ ЯВЛЯЕТСЯ ПАН ТЫБУРЦИИ

— Здравствуй! А уж я думал, ты не придешь более, — так встретил меня Валек, когда я на следующий день опять явился на гору.

Я понял, почему он сказал это.

— Нет, я... я всегда буду ходить к вам, — ответил я решительно, чтобы раз навсегда покончить с этим вопросом.

Валек заметно повеселел, и оба мы почувствовали себя свободнее.

— Ну, что? Где же ваши? — спросил я. — Все еще не вернулись?

— Нет еще. Черт их знает, где они пропадают.

И мы весело принялись за сооружение хитроумной ловушки для воробьев, для которой я принес с собой ниток. Нитку мы дали в руку Марусе, и когда неосторожный воробей, привлеченный зерном, беспечно заскакивал в западню, Маруся дергала нитку, и крышка захлопывала птичку, которую мы затем отпускали.

Между тем около полудня небо насупилось, надвинулась темная туча, и под веселые раскаты грома зашумел ливень. Сначала мне очень не хотелось спускаться в подземелье, но потом, подумав, что ведь Валек и Маруся живут там постоянно, я победил неприятное ощущение и пошел туда вместе с

ними. В подземелье было темно и тихо, но сверху слышно было, как перекачивался гулкий грохот грозы, точно кто ездил там в громадной телеге по гигантски сложенной мостовой. Через несколько минут я освоился с подземельем, и мы весело прислушивались, как земля принимала широкие потоки ливня; гул, всплески и частые раскаты настраивали наши нервы, вызывали оживление, требовавшее исхода.

— Давайте играть в жмурки, — предложил я.

Мне завязали глаза; Маруся звенела слабыми переливами своего жалкого смеха и шлепала по каменному полу невроворными ножонками, а я делал вид, что не могу поймать ее, как вдруг наткнулся на чью-то мокрую фигуру и в ту же минуту почувствовал, что кто-то схватил меня за ногу. Сильная рука приподняла меня с полу, и я повис в воздухе вниз головой. Повязка с глаз моих спала.

Тыбурций, мокрый и сердитый, страшнее еще оттого, что я глядел на него снизу, держал меня за ноги и дико вращал зрачками.

— Это что еще, а? — строго спрашивал он, глядя на Валека. — Вы тут, я вижу, весело проводите время... Завели приятную компанию.

— Пустите меня! — сказал я, удивляясь, что и в таком необычном положении я все-таки могу говорить, но рука пана Тыбурция только еще сильнее сжала мою ногу.

— *Reponde*, ответствуй! — грозно обратился он опять к Валеку, который в этом затруднительном случае стоял, зажав в рот два пальца, как бы в доказательство того, что ему отвечать решительно нечего.

Я заметил только, что он сочувственным оком и с большим участием следил за моею несчастною фигурой, качавшеюся, подобно маятнику, в пространстве.

Пан Тыбурций приподнял меня и взглянул в лицо.

— Эге-ге! Пан судья, если меня не обманывают глаза... Зачем это изволили пожаловать?

— Пусти! — проговорил я упрямо. — Сейчас отпусти! — и при этом я сделал инстинктивное движение, как бы собираясь топнуть ногой, но от этого весь только забился в воздухе.

Тыбурций захохотал.

— Ого-го! Пан судья изволят сердиться... Ну, да ты меня еще не знаешь. Его — Тыбурций *sum*<sup>1</sup>. Я вот повешу тебя над огоньком и зажарю, как поросенка.

Я начинал думать, что действительно такова моя неизбежная участь, тем более, что отчаянная фигура Валека как

---

<sup>1</sup> Я есмь Тыбурций.



бы подтверждала мысль о возможности такого печального исхода. К счастью, на выручку подросла Маруся.

— Не бойся, Вася, не бойся! — ободрила она меня, подойдя к самым ногам Тыбурция. — Он никогда не жарит мальчиков на огне... Это неправда!

Тыбурций быстрым движением повернул меня и поставил на ноги; при этом я чуть не упал, так как у меня закружилась голова, но он поддержал меня рукой и затем, сев на деревянный обрубок, поставил меня между колен.

— И как это ты сюда попал? — продолжал он допрашивать. — Давно ли?.. Говори ты! — обратился он к Валеку, так как я ничего не ответил.

— Давно, — ответил тот.

— А как давно?

— Дней шесть.

Казалось, этот ответ доставил пану Тыбурцию некоторое удовольствие.

— Ого, шесть дней! — заговорил он, поворачивая меня к себе. — Шесть дней много времени. И ты до сих пор никому еще не разболтал, куда ходишь?

— Никому.

— Правда?

— Никому, — повторил я.

— Вепе, похвально!.. Можно рассчитывать, что не разболтаешь и вперед. Впрочем, и я всегда считал тебя порядочным малым, встречая на улицах. Настоящий «уличник», хоть и «судья»... А нас судить будешь, скажи-ка?

Он говорил довольно добродушно, но я все-таки чувствовал себя глубоко оскорбленным и потому ответил довольно сердито:

— Я вовсе не судья. Я — Вася.

— Одно другому не мешает, и Вася тоже может быть судьей, — не теперь, так после... Это уж, брат, так ведется исстари. Вот видишь ли, я — Тыбурций, а он — Валек. Я нищий, и он — нищий. Я, если уж говорить откровенно, краду, и он будет красть. А твой отец меня судит, — ну, и ты когда-нибудь будешь судить... вот его.

— Не буду судить Валека, — возразил я угрюмо. — Неправда!

— Он не будет, — вступилась и Маруся, с полным убеждением отстраняя от меня ужасное подозрение.

Девочка доверчиво прижалась к ногам этого уroda, а он ласково гладил жилистой рукой ее белокурые волосы.

— Ну, этого ты вперед не говори, — сказал странный человек задумчиво, обращаясь ко мне таким тоном, точно

он говорил со взрослым. — Не говори, amice!..<sup>1</sup> Эта история ведется исстари, всякому свое, *suum cuique*; каждый идет своей дорожкой; и кто знает... может быть, это и хорошо, что твоя дорога пролегла через нашу. Для тебя хорошо, amice, потому что иметь в груди кусочек человеческого сердца, вместо холодного камня, — понимаешь?..

Я не понимал ничего, но все же впился глазами в лицо странного человека, глаза пана Тыбурция пристально смотрели в мои, и в них смутно мерцало что-то, как будто проникавшее в мою душу.

— Не понимаешь, конечно, потому что ты еще малец... Поэтому скажу тебе кратко, а ты когда-нибудь вспомнишь слова философа Тыбурций: если когда-нибудь придется тебе судить вот его, то вспомни что еще в то время, когда вы оба были дураками и играли вместе, — что уже тогда ты шел по дороге, по которой ходят в штанах и с хорошим запасом провизии, а он бежал по своей оборванцем-бесштанником и с пустым брюхом... Впрочем, пока еще это случится, — заговорил он, резко изменив тон, — запомни еще хорошенько вот что: если ты проболтаешься своему судье или хоть птице, которая пролетит мимо тебя в поле, о том, что ты здесь видел, то не будь я Тыбурций Драб, если я тебя не повешу вот в этом камине за ноги и не сделаю из тебя копченого окорока. Это ты, надеюсь, понял?

— Я не скажу никому... я... Можно мне опять прийти?

— Приходи, разрешаю... *sub conditionem*...<sup>2</sup> Впрочем, ты еще глуп и латыни не понимаешь. Я уже сказал тебе насчет окорока. Помни!..

Он отпустил меня и сам растянулся с усталым видом на длинной лавке, стоявшей около стенки.

— Возьми вон там, — указал он Валеку на большую корзину, которую, войдя, оставил у порога, — да разведи огонь. Мы будем сегодня варить обед.

Теперь это уже был не тот человек, что за минуту пугал меня, вращая зрачками, и не гаер, потешавший публику из-за подачек. Он распоряжался, как хозяин и глава семейства, вернувшийся с работы и отдающий приказания домочадцам.

Он казался сильно уставшим. Платье его было мокро от дождя, лицо тоже; волосы слиплись на лбу, во всей фигуре виднелось тяжелое утомление. Я в первый раз видел это выражение на лице веселого оратора городских кабаков, и опять этот взгляд за кулисы, на актера, изнеможенно отдохавшего после тяжелой роли, которую он разыгрывал

---

<sup>1</sup> Друг.

<sup>2</sup> Под условием.

на житейской сцене, как будто влил что-то жуткое в мое сердце. Это было еще одно из тех откровений, какими так щедро наделяла меня старая униатская «каплица».

Мы с Валеком живо принялись за работу. Валеk зажег лучину, и мы отправились с ним в темный коридор, примыкавший к подземелью. Там в углу были свалены куски полустлелвшего дерева, обломки крестов, старые доски; из этого запаса мы взяли несколько кусков и, поставив их в камин, развели огонек. Затем мне пришлось отступить, и Валеk один умелыми руками принялся за стряпню. Через полчаса на камине закипало уже в горшке какое-то варево, а в ожидании, пока оно поспеет, Валеk поставил на трехногий, кое-как сколоченный столик сковороду, на которой дымились куски жареного мяса.

Тыбурций поднялся.

— Готово? — сказал он. — Ну, и отлично. Садись, малый, с нами, — ты заработал свой обед... Domine pгесertor!<sup>1</sup> — крикнул он затем, обращаясь к «профессору»: — брось иголку, садись к столу.

— Сейчас, — сказал тихим голосом «профессор», удивив меня этим сознательным ответом.

Впрочем, искра сознания, вызванная голосом Тыбурция, не проявлялась ничем больше. Старик воткнул иголку в лохмотья и равнодушно, с тусклым взглядом, уселся на один из деревянных обрубков, заменявших в подземелье стулья.

Марусю Тыбурций держал на руках. Она и Валеk ели с жадностью, которая ясно показывала, что мясное блюдо было для них невиданною роскошью; Маруся облизывала даже свои засаленные пальцы. Тыбурций ел с расстановкой и, повинувшись, по-видимому, неодолимой потребности говорить, то и дело обращался к «профессору» со своей беседой. Бедный ученый проявлял при этом удивительное внимание и, наклонив голову, выслушивал все с таким разумным видом, как будто он понимал каждое слово. Иногда даже он выражал свое согласие кивками головы и тихим мычаньем.

— Вот, domine, как немного нужно человеку, — говорил Тыбурций. — Не правда ли? Вот мы и сыты, и теперь нам остается только поблагодарить бога и клеванского капеллана...

— Ага, ага! — поддакивал «профессор».

— Ты это, domine, поддакиваешь, а сам не понимаешь, при чем тут клеванский капеллан, — я ведь тебя знаю... А между тем не будь клеванского капеллана, у нас не было бы жаркого и еще кое-чего...

---

<sup>1</sup> Господин наставник!

— Это вам дал клеванский ксендз? — спросил я, вспомнив вдруг круглое добродушное лицо клеванского «пробоща», бывавшего у отца.

— У этого малого, domine, любознательный ум, — продолжал Тыбурций, по-прежнему обращаясь к «профессору». — Действительно, его священство дал нам все это, хотя мы у него и не просили, и даже, быть может, не только его левая рука не знала, что дает правая, но и обе руки не имели об этом ни малейшего понятия... Кушай, domine, кушай!

Из этой странной и запутанной речи я понял только, что способ приобретения был не совсем обыкновенный, и не удержался, чтоб еще раз не вставить вопроса:

— Вы это взяли... сами?

— Малый не лишен проицательности, — продолжал опять Тыбурций по-прежнему, — жаль только, что он не видел капеллана: у капеллана брюхо, как настоящая сороковая бочка, и, стало быть, объядение ему очень вредно. Между тем мы все, здесь находящиеся, страдаем скорее излишнею худобой, а потому некоторое количество провизии не можем считать для себя лишним... Так ли я говорю, domine?

— Ага, ага! — задумчиво промычал опять «профессор».

— Ну вот! На этот раз вы выразили свое мнение очень удачно, а то я уже начинал думать, что у этого малого ум бойчее, чем у некоторых ученых... Возвращаясь, однако, к капеллану, я думаю, что добрый урок стоит платы, и в таком случае мы можем сказать, что купили у него провизию: если он после этого сделает в амбаре двери покрепче, то вот мы и квиты... Впрочем, — повернулся он вдруг ко мне, — ты все-таки еще глуп и многого не понимаешь. А вот она понимает: скажи, моя Маруся, хорошо ли я сделал, что принес тебе жаркое?

— Хорошо! — ответила девочка, слегка сверкнув бирюзовыми глазами. — Маня была голодна.

Под вечер этого дня я с отуманенною головой задумчиво возвращаясь к себе. Странные речи Тыбурция ни на одну минуту не поколебали во мне убеждения, что «воровать нехорошо». Напротив, болезненное ощущение, которое я испытывал раньше, еще усилилось. Нищие... воры... у них нет дома!.. От окружающих я давно уже знал, что со всем этим соединяется презрение. Я даже чувствовал, как из глубины души во мне подымается вся горечь презрения, но я инстинктивно защищал мою привязанность от этой горькой примеси, не давая им слиться. В результате смутного душевного процесса — сожаление к Валеку и Марусе усилилось и обострилось, но привязанность не исчезла. Формула «не-

хорошо воровать» осталась. Но, когда воображение рисовало мне оживленное личико моей приятельницы, облизовавшей свои засаленные пальцы, я радовался ее радостью и радостью Валека.

В темной аллейке сада я нечаянно наткнулся на отца. Он по обыкновению угрюмо ходил взад и вперед с обычным странным, как будто отуманенным взглядом. Когда я очутился подле него, он взял меня за плечо.

— Откуда это?

— Я... гулял...

Он внимательно посмотрел на меня, хотел что-то сказать, но потом взгляд его опять затуманился, и, махнув рукой, он зашагал по аллее. Мне кажется, что я и тогда понимал смысл этого жеста:

— А, все равно... Ее уж нет!..

Я солгал чуть ли не первый раз в жизни.

Я всегда боялся отца, а теперь тем более. Теперь я носил в себе целый мир смутных вопросов и ощущений. Мог ли он понять меня? Мог ли я в чем-либо признаться ему, не изменяя своим друзьям? Я дрожал при мысли, что он узнает когда-либо о моем знакомстве с «дурным обществом», но изменить этому обществу, изменить Валеку и Марусе — я был не в состоянии. К тому же здесь было тоже нечто вроде «принципа»: если б я изменил им, нарушив данное слово, то не мог бы при встрече поднять на них глаз от стыда.

### VIII. ОСЕНЬЮ

Близилась осень. В поле шла жатва, листья на деревьях желтели. Вместе с тем наша Маруся начала прихварывать.

Она ни на что не жаловалась, только все худела; лицо ее все бледнело, глаза потемнели, стали больше, веки приподнимались с трудом.

Теперь я мог приходиться на гору, не стесняясь тем, что члены «дурного общества» бывали дома. Я совершенно свыкся с ними и стал на горе своим человеком.

— Ты славный хлопец и когда-нибудь тоже будешь генералом, — говаривал Туркевич.

Темные молодые личности делали мне из вяза луки и самострелы; высокий штык-юнкер с красным носом вертел меня на воздухе, как щепку, приучая к гимнастике. Только «профессор» по-всегдашнему был погружен в какие-то глубокие соображения, а Лавровский в трезвом состоянии вообще избегал людского общества и жался по углам.

Все эти люди помещались отдельно от Тыбурция, который занимал «с семейством» описанное выше подземелье. Осталь-

ные члены «дурного общества» жили в таком же подземелье, побольше, которое отделялось от первого двумя узкими коридорами. Свету здесь было меньше, больше сырости и мрака. Вдоль стен кое-где стояли деревянные лавки и обрубки, заменявшие стулья. Скамейки были завалены какими-то лохмотьями, заменявшими постели. В середине, в освещенном месте, стоял верстак, на котором по временам пан Тыбурций или кто-либо из темных личностей работали столярные поделки; был среди «дурного общества» и сапожник, и корзинщик, но, кроме Тыбурция, все остальные ремесленники были или дилетанты, или же какие-нибудь заморыши, или люди, у которых, как я замечал, слишком сильно тряслись руки, чтобы работа могла идти успешно. Пол этого подземелья был закидан стружками и всякими обрезками; всюду виднелась грязь и беспорядок, хотя по временам Тыбурций за это сильно ругался и заставлял кого-нибудь из жильцов подмести и хотя сколько-нибудь убрать это мрачное жильё. Я не часто заходил сюда, так как не мог привыкнуть к затхлому воздуху, и, кроме того, в трезвые минуты здесь имел пребывание мрачный Лавровский. Он обыкновенно или сидел на лавочке, спрятав лицо в ладони и раскидав свои длинные волосы, или ходил из угла в угол быстрыми шагами. От этой фигуры веяло чем-то тяжелым и мрачным, чего не выносили мои нервы. Но остальные сожител-бедняги давно уже свыклись с его странностями. Генерал Туркевич заставлял его иногда переписывать набело сочиняемые самим Туркевичем прошения и кляузы для обывателей или же шуточные пасквили, которые потом развешивал на фонарных столбах. Лавровский покорно садился за столик в комнате Тыбурция и по целым часам выводил прекрасным почерком ровные строки. Раза два мне довелось видеть, как его, бесчувственно пьяного, тащили сверху в подземелье. Голова несчастного, свесившись, болталась из стороны в сторону, ноги бессильно тащились и стучали по каменным ступенькам, на лице виднелось выражение страдания, по щекам текли слезы. Мы с Марусей, крепко прижавшись друг к другу, смотрели на эту сцену из дальнего угла; но Валек совершенно свободно шнырял между большими, поддерживая то руку, то ногу, то голову Лавровского.

Все, что на улицах меня забавляло и интересовало в этих людях, как балаганное представление, — здесь, за кулисами, являлось в своем настоящем, неприкрашенном виде и тяжело угнетало детское сердце.

Тыбурций пользовался здесь непререкаемым авторитетом. Он открыл эти подземелья, он здесь распоряжался, и все его приказания исполнялись. Вероятно, поэтому именно я не

припомню ни одного случая, когда бы кто-либо из этих людей, несомненно потерявших человеческий облик, обратился ко мне с каким-нибудь дурным предложением. Теперь, умудренный прозаическим опытом жизни, я знаю, конечно, что там был мелкий разврат, грошовой пороки и гниль. Но когда эти люди и эти картины встают в моей памяти, затянутые дымкой прошедшего, я вижу только черты тяжелого трагизма, глубокого горя и нужды.

Детство, юность — это великие источники идеализма!

Осень все больше вступала в свои права. Небо все чаще заволакивалось тучами, окрестности тонули в туманном сумраке; потоки дождя шумно лились на землю, отдаваясь однообразным и грустным гулом в подземельях.

Мне стоило много труда урываться из дому в такую погоду, впрочем, я только старался уйти незамеченным; когда же возвращался домой весь вымокший, то сам развешивал платье против камина и смиренно ложился в постель, философски отмалчиваясь под целым градом упреков, которые лились из уст нянек и служанок.

Каждый раз, придя к своим друзьям, я замечал, что Маруся все больше хиреет. Теперь она совсем уже не выходила на воздух, и серый камень — темное, молчаливое чудовище подземелья — продолжал без перерывов свою ужасную работу, высасывая жизнь из маленького тельца. Девочка теперь большую часть времени проводила в постели, и мы с Валеком истощали все усилия, чтобы развлечь ее и позабавить, чтобы вызвать тихие переливы ее слабого смеха.

Теперь, когда я окончательно сжился с «дурным обществом», грустная улыбка Маруси стала мне почти так же дорога, как улыбка сестры; но тут никто не ставил мне вечно на вид мою испорченность, тут не было ворчливой няньки, тут я был нужен, — я чувствовал, что каждый раз мое появление вызывает румянец оживления на щеках девочки. Валеком обнимал меня, как брата, и даже Тыбурций по временам смотрел на нас троих какими-то странными глазами, в которых что-то мерцало, точно слеза.

На время небо опять прояснилось; с него сбежали последние тучи, и над просыхающей землей, в последний раз перед наступлением зимы, засияли солнечные дни. Мы каждый день выносили Марусю наверх, и здесь она как будто оживала; девочка смотрела вокруг широко раскрытыми глазами, на щеках загорался румянец; казалось, что ветер, обдававший ее своими свежими взмахами, возвращал ей частицы жизни, похищенные серыми камнями подземелья. Но это продолжалось так недолго...

Между тем над моей головой тоже стали собираться тучи.

Однажды, когда я, по обыкновению, утром проходил по аллеям сада, я увидел в одной из них отца, а рядом старого Януша из зámка. Старик подобострастно кланялся и что-то говорил, а отец стоял с угрюмым видом, и на лбу его резко обозначалась складка нетерпеливого гнева. Наконец он протянул руку, как бы отстраняя Януша с своей дороги, и сказал:

— Уходите! Вы просто старый сплетник!

Старик как-то заморгал и, держа шапку в руках, опять забежал вперед и загородил отцу дорогу. Глаза отца сверкнули гневом. Януш говорил тихо, и слов его мне не было слышно, зато отрывочные фразы отца доносились ясно, падая точно удары хлыста.

— Не верю ни одному слову... Что вам надо от этих людей? Где доказательства?.. Словесных доносов я не слушаю, а письменный вы обязаны доказать... Молчать! это уж мое дело... Не желаю и слушать.

Наконец он так решительно отстранил Януша, что тот не посмел более надоедать ему; отец повернул в боковую аллею, а я побежал к калитке.

Я сильно недолюбливал старого филина из зámка, и теперь сердце мое дрогнуло предчувствием. Я понял, что подслушанный мною разговор относился к моим друзьям и, быть может, также ко мне.

Тыбурций, которому я рассказал об этом случае, скорчил ужасную гримасу:

— У-уф, малый, какая это неприятная новость!.. О, проклятая старая гиена.

— Отец его прогнал, — заметил я в виде утешения.

— Твой отец, малый, самый лучший из всех судей, начиная от царя Соломона... Однако знаешь ли ты, что такое *currículum vitae*?<sup>1</sup> Не знаешь, конечно. Ну, а формулярный список знаешь? Ну, вот видишь ли: *currículum vitae*<sup>1</sup> — это есть формулярный список человека, не служившего в уездном суде... И если только старый сыч кое-что пронюхал и сможет доставить твоему отцу мой список, то... ах, клянусь богородицей, не желал бы я попасть к судье в лапы!..

— Разве он... злой? — спросил я, вспомнив отзыв Валека.

— Нет, нет, малый! Храни тебя бог подумать это об отце. У твоего отца есть сердце, он знает много... Быть может, он уже знает все, что может сказать ему Януш, но он молчит; он не считает нужным травить старого беззубого зверя в его последней берлоге... Но, малый, как бы тебе объяснить это?

---

<sup>1</sup> Краткое жизнеописание.



Твой отец служит господину, которого имя — закон. У него есть глаза и сердце только до тех пор, пока закон спит себе на полках; когда же этот господин сойдет оттуда и скажет твоему отцу: «А ну-ка, судья, не возьмись ли нам за Тыбурция Драба или как там его зовут?» — с этого момента судья тотчас запирает свое сердце на ключ, и тогда у судьи такие твердые лапы, что скорее мир повернется в другую сторону, чем пан Тыбурций вывернется из его рук... Понимаешь ты, малый? И за это я и все еще больше уважаем твоего отца, потому что он верный слуга своего господина, а такие люди редки. Будь у закона все такие слуги, он мог бы спать себе спокойно на своих полках и никогда не просыпаться... Вся беда моя в том, что у меня с законом вышла когда-то, давно уже, некоторая суспиция... то есть, понимаешь, неожиданная ссора... ах, малый, очень это была крупная ссора!

С этими словами Тыбурций встал, взял на руки Марусю и, отойдя с ней в дальний угол, стал целовать ее, прижимаясь своею безобразной головой к ее маленькой груди. А я остался на месте и долго стоял в одном положении под впечатлением странных речей странного человека. Несмотря на причудливые и непонятные обороты, я отлично схватил сущность того, что говорил об отце Тыбурций, и фигура отца в моем представлении еще выросла, облеклась ореолом грозной, но симпатичной силы и даже какого-то величия. Но вместе с тем усиливалось и другое, горькое чувство...

«Вот он какой, — думалось мне, — но все же он меня не любит».

## IX. КУКЛА

Ясные дни миновали, и Марусе опять стало хуже. На все наши ухищрения с целью занять ее она смотрела равнодушно своими большими потемневшими и неподвижными глазами, и мы давно уже не слышали ее смеха. Я стал носить в подземелье свои игрушки, но и они развлекали девочку только на короткое время. Тогда я решил обратиться к своей сестре Соне.

У Сони была большая кукла, с ярко раскрашенным лицом и роскошными льняными волосами, подарок покойной матери. На эту куклу я возлагал большие надежды и потому, отозвав сестру в боковую аллею сада, попросил дать мне ее на время. Я так убедительно просил ее об этом, так живо описал ей бедную больную девочку, у которой никогда не было своих игрушек, что Соня, которая сначала только прижимала куклу к себе, отдала мне ее и обещала в течение двух-трех дней играть другими игрушками, ничего не упоминая о кукле.

Действие этой нарядной фаянсовой барышни на нашу больную превзошло все мои ожидания. Маруся, которая увядала, как цветок осенью, казалось, вдруг опять ожила. Она так крепко меня обнимала, так звонко смеялась, разговаривая со своей новой знакомой... Маленькая кукла сделала почти чудо: Маруся, давно уже не сходявшая с постели, стала ходить, водя за собою свою белокурую дочку, и по временам даже бегала, по-прежнему шлепая по полу слабыми ногами.

Зато мне эта кукла доставила очень много тревожных минут. Прежде всего, когда я нес ее за пазухой, направляясь с ней на гору, в дороге мне попался старый Януш, который долго провожал меня глазами и качал головой. Потом дня через два старушка-няня заметила пропажу и стала соваться по углам, везде разыскивая куклу. Соня старалась унять ее, но своими наивными уверениями, что ей кукла не нужна, что кукла ушла гулять и скоро вернется, только вызывала недоумение служанок и возбуждала подозрение, что тут не простая пропажа. Отец ничего еще не знал, но к нему опять приходил Януш и был прогнан на этот раз с еще бóльшим гневом; однако в тот же день отец остановил меня на пути к садовой калитке и велел остаться дома. На следующий день повторилось то же, и только через четыре дня я встал рано утром и махнул через забор, пока отец еще спал.

На горе дела опять были плохи. Маруся опять слегла, и ей стало еще хуже; лицо ее горело странным румянцем, белокурые волосы раскидались по подушке; она никого не узнавала. Рядом с ней лежала злополучная кукла, с розовыми щеками и глупыми блестящими глазами.

Я сообщил Валеку свои опасения, и мы решили, что куклу необходимо унести обратно, тем более, что Маруся этого и не заметит. Но мы ошиблись! Как только я вынул куклу из рук лежащей в забытьи девочки, она открыла глаза, посмотрела перед собой смутным взглядом, как будто не видя меня, не сознавая, что с ней происходит, и вдруг заплакала тихо-тихо, но вместе с тем так жалобно, и в исхудалом лице, под покровом бреда, мелькнуло выражение такого глубокого горя, что я тотчас же с испугом положил куклу на прежнее место. Девочка улыбнулась, прижала куклу к себе и успокоилась. Я понял, что хотел лишить моего маленького друга первой и последней радости ее недолгой жизни.

Валек робко посмотрел на меня.

— Как же теперь будет? — спросил он грустно.

Тыбурций, сидя на лавочке с печально понуренною головой, также смотрел на меня вопросительным взглядом.

Поэтому я постарался придать себе вид по возможности беспечный и сказал:

— Ничего! Нянька, наверное, уж забыла.

Но старуха не забыла. Когда я на этот раз возвратился домой, у калитки мне опять попался Януш; Соню я застал с заплаканными глазами, а нянька кинула на меня сердитый, подавляющий взгляд и что-то ворчала беззубым, шамкающим ртом.

Отец спросил у меня, куда я ходил, и, выслушав внимательно обычный ответ, ограничился тем, что повторил мне приказ ни под каким видом не отлучаться из дому без его позволения. Приказ был категоричен и очень решителен; послушаться его я не посмел, но не решался также и обратиться к отцу за позволением.

Прошло четыре томительных дня. Я грустно ходил по саду и с тоской смотрел по направлению к горе, ожидая, кроме того, грозы, которая собиралась над моей головой. Что будет, я не знал, но на сердце у меня было тяжело. Меня в жизни никто еще не наказывал; отец не только не трогал меня пальцем, но я от него не слышал никогда ни одного резкого слова. Теперь меня томило тяжелое предчувствие.

Наконец меня позвали к отцу, в его кабинет. Я вошел и робко остановился у притолки. В окно заглядывало грустное осеннее солнце. Отец некоторое время сидел в своем кресле перед портретом матери и не поворачивался ко мне. Я слышал тревожный стук собственного сердца.

Наконец он повернулся. Я поднял на него глаза и тотчас же их опустил в землю. Лицо отца показалось мне страшным. Прошло около полминуты, и в течение этого времени я чувствовал на себе тяжелый, неподвижный, подавляющий взгляд.

— Ты взял у сестры куклу?

Эти слова упали вдруг на меня так отчетливо и резко, что я вздрогнул.

— Да, — ответил я тихо.

— А знаешь ты, что это подарок матери, которым ты должен бы дорожить, как святыней?.. Ты украл ее?

— Нет, — сказал я, подымая голову.

— Как нет? — вскрикнул вдруг отец, отталкивая кресло. — Ты украл ее и снес!.. Кому ты снес ее?.. Говори!

Он быстро подошел ко мне и положил мне на плечо тяжелую руку. Я с усилием поднял голову и взглянул вверх. Лицо отца было бледно. Складка боли, которая со смерти матери залегла у него между бровями, не разгладилась и теперь, но глаза горели гневом. Я весь съежился. Из этих глаз, глаз

отца, глянула на меня, как мне показалось, безумие или... ненависть...

— Ну, что ж ты?.. Говори! — и рука, державшая мое плечо, сжала его сильнее.

— Н-не скажу, — ответил я тихо.

— Нет, скажешь! — отчеканил отец, и в голосе его звучала угроза.

— Не скажу, — прошептал я еще тише.

— Скажешь, скажешь!..

Он повторил это слово сдавленным голосом, точно оно вырвалось у него с болью и усилием. Я чувствовал, как дрожала его рука, и, казалось, слышал даже клокотавшее в груди его бешенство. И я все ниже опускал голову, и слезы одна за другой капали из моих глаз на пол, но я все повторял едва слышно:

— Нет, не скажу... никогда, никогда не скажу вам... Ни за что!

В эту минуту во мне сказался сын моего отца. Он не добился бы от меня иного ответа самыми страшными муками. В моей груди, навстречу его угрозам, подымалось едва сознательное оскорбленное чувство покинутого ребенка и какая-то жгучая любовь к тем, кто меня пригрел там, в старой часовне.

Отец тяжело перевел дух. Я съежился еще более, горькие слезы жгли мои щеки. Я ждал.

Изобразить чувство, которое я испытывал в то время, очень трудно. Я знал, что он страшно вспыльчив, что в эту минуту в его груди кипит бешенство, что, может быть, через секунду мое тело забьется беспомощно в его сильных и иступленных руках. Что он со мной сделает? — швырнет... изломает; но мне теперь кажется, что я боялся не этого... Даже в эту страшную минуту я любил этого человека, но вместе с тем инстинктивно чувствовал, что вот сейчас он бешеным насилием разобьет мою любовь вдребезги, что затем, пока я буду жить, в его руках и после, навсегда, навсегда в моем сердце вспыхнет та же пламенная ненависть, которая мелькнула для меня в его мрачных глазах.

Теперь я совсем перестал бояться; в моей груди защекотало что-то вроде задорного, дерзкого вызова... Кажется, я ждал и желал, чтобы катастрофа, наконец, разразилась. Если так... пусть... тем лучше, да, тем лучше... тем лучше...

Отец опять тяжело вздохнул. Я уже не смотрел на него, только слышал этот вздох, — тяжелый, прерывистый, долгий... Справился ли он сам с овладевшим им иступлением, или это чувство не получило исхода благодаря последующему неожиданному обстоятельству, я и до сих пор

не знаю. Знаю только, что в эту критическую минуту раздался вдруг за открытым окном резкий голос Тыбурция:

— Эге-ге!.. мой бедный маленький друг...

«Тыбурций пришел!» — промелькнуло у меня в голове, но этот приход не произвел на меня никакого впечатления. Я весь превратился в ожидание, и даже чувствуя, как дрогнула рука отца, лежавшая на моем плече, я не представлял себе, чтобы появление Тыбурция или какое бы то ни было другое внешнее обстоятельство могло стать между мною и отцом, могло отклонить то, что я считал неизбежным и чего ждал с приливом задорного ответного гнева.

Между тем Тыбурций быстро отпер входную дверь и, остановившись на пороге, в одну секунду оглядел нас обоих своими острыми рысьими глазами. Я до сих пор помню малейшую черту этой сцены. На мгновение в зеленоватых глазах, в широком некрасивом лице уличного оратора мелькнула холодная и злорадная насмешка, но это было только на мгновение. Затем он покачал головой, и в его голосе зазвучала скорее грусть, чем обычная ирония.

— Эге-ге!.. Я вижу, моего молодого друга в очень затруднительном положении...

Отец встретил его мрачным и удивленным взглядом, но Тыбурций выдержал этот взгляд спокойно. Теперь он был серьезен, не кривлялся, и глаза его глядели как-то особенно грустно.

— Пан судья! — заговорил он мягко, — вы человек справедливый... отпустите ребенка. Малый был в «дурном обществе», но, видит бог, он не сделал дурного дела, и если его сердце лежит к моим оборванным беднякам, то, клянусь богородицей, лучше велите меня повесить, но я не допущу, чтобы мальчик пострадал из-за этого. Вот твоя кукла, малый.

Он развязал узелок и вынул оттуда куклу.

Рука отца, державшая мое плечо, разжалась. В лице виднелось изумление.

— Что это значит? — спросил он, наконец.

— Отпустите мальчика, — повторил Тыбурций, и его широкая ладонь любовно погладила мою опущенную голову. — Вы ничего не добьетесь от него угрозами, а между тем я охотно расскажу вам все, что вы желаете знать... Выйдем, пан судья, в другую комнату.

Отец, все время смотревший на Тыбурция удивленными глазами, повиновался. Оба они вышли, а я остался на месте, подавленный ощущениями, переполнившими мое сердце. В эту минуту я ни в чем не отдавал себе отчета, и если теперь я помню все детали этой сцены, если я помню даже, как за окном возились воробьи, а с речки доносился мерный плеск

весел, — то это просто механическое действие памяти. Ничего этого тогда для меня не существовало; был только маленький мальчик, в сердце которого встряхнули два разнородные чувства: гнев и любовь, — так сильно, что это сердце замутилось, как мутятся от толчка в стакане две отстоявшиеся разнородные жидкости. Был такой мальчик, и этот мальчик был я, и мне самому себя было как будто жалко. Да еще были два голоса, смутным, хотя и оживленным говором звучащие за дверью...

Я все еще стоял на том же месте, как дверь кабинета отворилась, и оба собеседника вошли. Я опять почувствовал на своей голове чью-то руку и вздрогнул. То была рука отца, нежно гладившая мои волосы.

Тыбурций взял меня на руки и посадил в присутствии отца к себе на колени.

— Приходи к нам, — сказал он, — отец тебя отпустит попрощаться с моей девочкой. Она... она умерла.

Голос Тыбурция дрогнул, он странно заморгал глазами, но тотчас же встал, поставил меня на пол, выпрямился и быстро ушел из комнаты.

Я вопросительно поднял глаза на отца. Теперь передо мной стоял другой человек, но в этом именно человеке я нашел что-то родное, чего тщетно искал в нем прежде. Он смотрел на меня обычным своим задумчивым взглядом, но теперь в этом взгляде виднелся оттенок удивления и как будто вопрос. Казалось, буря, которая только что пронеслась над нами обоими, рассеяла тяжелый туман, нависший над душой отца, застилавший его добрый и любящий взгляд... И отец только теперь стал узнавать во мне знакомые черты своего родного сына.

Я доверчиво взял его руку и сказал:

— Я ведь не украд... Соня сама дала мне на время...

— Д-да, — ответил он задумчиво, — я знаю... Я виноват перед тобою, мальчик, и ты постарайся когда-нибудь забыть это, не правда ли?

Я с живостью схватил его руку и стал ее целовать. Я знал, что теперь никогда уже он не будет смотреть на меня теми страшными глазами, какими смотрел за несколько минут перед тем, и долго сдерживаемая любовь хлынула целым потоком в мое сердце.

Теперь я его уже не боялся.

— Ты отпустишь меня теперь на гору? — спросил я, вспомнив вдруг приглашение Тыбурция.

— Д-да... Ступай, ступай, мальчик, прощайся... — ласково проговорил он все еще с тем же оттенком недоумения

в голосе. — Да, впрочем, постой... пожалуйста, мальчик, погоди немного.

Он ушел в свою спальню и, через минуту выйдя оттуда, сунул мне в руку несколько бумажек.

— Передай это... Тыбурцию... Скажи, что я покорнейше прошу его, — понимаешь?.. покорнейше прошу — взять эти деньги... от тебя... Ты понял?.. Да еще скажи, — добавил отец, как будто колеблясь, — скажи, что если он знает одного тут... Федоровича, то пусть скажет, что этому Федоровичу лучше уйти из нашего города... Теперь ступай, мальчик, ступай скорее.

Я догнал Тыбурция уже на горе и, запыхавшись, нескладно исполнил поручение отца.

— Покорнейше просит... отец... — и я стал совать ему в руку данные отцом деньги.

Я не глядел ему в лицо. Деньги он взял и мрачно выслушал дальнейшее поручение относительно Федоровича.

В подzemелье, в темном углу, на лавочке лежала Маруся. Слово «смерть» не имеет еще полного значения для детского слуха, и горькие слезы только теперь, при виде этого безжизненного тела, сдавили мне горло. Моя маленькая приятельница лежала серьезная и грустная, с печально вытянутым личиком. Закрытые глаза слегка ввалились и еще резче отделились синевой. Ротик немного раскрылся, с выражением детской печали. Маруся как будто отвечала эту гримаской на наши слезы.

«Профессор» стоял у изголовья и безучастно качал головой. Штык-юнкер стучал в углу топором, готовя, с помощью нескольких темных личностей, гробик из старых досок, сорванных с крыши часовни. Лавровский, трезвый и с выражением полного сознания, убирал Марусю собранными им самим осенними цветами. Валек спал в углу, вздрагивая сквозь сон всем телом, и по временам нервно всхлипывал.

## ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Вскоре после описанных событий члены «дурного общества» рассеялись в разные стороны. Остались только «профессор», по-прежнему, до самой смерти, слонявшийся по улицам города, да Туркевич, которому отец давал по временам кое-какую письменную работу. Я с своей стороны пролил немало крови в битвах с еврейскими мальчишками, терзавшими «профессора» напоминанием о режущих и колющих орудиях.

Штык-юнкер и темные личности отправились куда-то искать счастья. Тыбурций и Валек совершенно неожиданно

исчезли, и никто не мог сказать, куда они направились теперь, как никто не знал, откуда они пришли в наш город.

Старая часовня сильно пострадала от времени. Сначала у нее провалилась крыша, продавив потолок подземелья. Потом вокруг часовни стали образовываться обвалы, и она стала еще мрачнее; еще громче завывают в ней филины, а огни на могилах темными осенними ночами вспыхивают синим зловещим светом.

Только одна могила, огороженная частоколом, каждую весну зеленела свежим дерном, пестрела цветами.

Мы с Соней, а иногда даже с отцом, посещали эту могилу; мы любили сидеть на ней в тени смутно лепечущей березы, в виду тихо сверкавшего в тумане города. Тут мы с сестрой вместе читали, думали, делились своими первыми молодыми мыслями, первыми планами крылатой и честной юности.

Когда же пришло время и нам оставить тихий родной город, здесь же в последний день мы оба, полные жизни и надежды, произносили над маленькою могилкой свои обеты.

1885

## РЕКА ИГРАЕТ

(ЭСКИЗЫ ИЗ ДОРОЖНОГО АЛЬБОМА)

### I

Проснувшись, я долго не мог сообразить, где я.

Надо мной расстилалось голубое небо, по которому тихо плыло и таяло сверкающее облако. Закинув несколько голову, я мог видеть в вышине темную деревянную церковку, наивно глядевшую на меня из-за зеленых деревьев, с высокой кручи. Вправо, в нескольких саженьях от меня, стоял какой-то незнакомый шалаш, влево — серый неуклюжий столб с широкою досчатою крышей, с кружкой и с доской, на которой было написано:

Пожертвуйте проходящим  
на колоколо господне.

А у самых моих ног плескалась река.

Этот-то плеск и разбудил меня от сладкого сна. Давно уже он прорывался к моему сознанию беспокоящим шепотом, точно ласкающий, но вместе беспощадный голос, который подымает на заре для неизбежного трудового дня. А вставать так не хочется...



Я опять закрыл глаза, чтоб отдать себе, не двигаясь, отчет в том, как это я очутился здесь, под открытым небом, на берегу плещущей речки, в соседстве этого шалаша и этого столба с простодушным обращением к проходящим.

Понемногу в уме моем восстановились предшествующие обстоятельства. Предыдущие сутки я провел на Святом озере, у невидимого града Китежа, толкаясь между народом, слушая гнусавое пение нищих слепцов, останавливаясь у импровизированных алтарей под развесистыми деревьями, где беспоповцы, скитники и скитницы разных толков пели свои службы, между тем как в других местах, в густых кучках народа, кипели страстные религиозные споры. Ночь я простоял всю на ногах, сжатый в густой толпе у старой часовни. Мне вспомнились утомленные лица миссионера и двух священников, кучи книг на аналое, огни восковых свечей, при помощи которых спорившие разыскивали нужные тексты в толстых фолиантах, возбужденные лица «раскольников» и «церковных», встречавших многоголосым говором каждое удачное возражение. Вспомнилась старая часовня, с раскрытыми дверями, в которые виднелись желтые огоньки у икон, между тем как по синему небу ясная луна тихо плыла и над часовней, и над темными, спокойно шептавшимися деревьями. На заре я с трудом протолкался из толпы на простор и, усталый, с головой, отяжелевшей от бесплодной схоластики этих споров, с сердцем, сжимавшимся от безотчетной тоски и разочарования, — поплелся полевыми дорогами по направлению к синей полосе приветлужских лесов, вслед за вереницами расходившихся богомольцев. Тяжелые, нерадостные впечатления уносил я от берегов Святого озера, от невидимого, но страстно взыскуемого народом града... Точно в душном склепе, при тусклом свете угасающей лампадки, провел я всю эту бессонную ночь, прислушиваясь, как где-то за стеной кто-то читает мерным голосом заупокойные молитвы над заснувшей навеки народной мыслью.

Солнце встало уже над лесами и водами Ветлуги, когда я, пройдя около пятнадцати верст лесными тропами, вышел к реке и тотчас же свалился на песок, точно мертвый, от усталости и вынесенных с озера суровых впечатлений.

Вспомнив, что я уже далеко от них, я бодро отряхнулся от остатков дремоты и привстал на своем песчаном ложе.

## II

Дружеский шепот реки оказал мне настоящую услугу. Когда, часа три назад, я укладывался на берегу, в ожидании

ветлужского парохода, вода была далеко, за старую лодкой, которая лежала на берегу кверху днищем; теперь ее уже взмывало и покачивало приливом. Вся река торопилась куда-то, пенилась по всей своей ширине и приплескивала почти к самым моим ногам. Еще полчаса, — будь мой сон еще несколько крепче, — и я очутился бы в воде, как и эта опрокинутая лодка.

Ветлуга, очевидно, выиграла. Несколько дней назад шли сильные дожди: теперь из лесных дебрей выкатился паводок, и вот река вздулась, заливая свои веселые зеленые берега. Резвые струи бежали, толкались, кружились, свертывались воронками, развивались опять и опять бежали дальше, отчего по всей реке вперегонку неслись клочья желтовато-белой пены. По берегам зеленый лопух, схваченный водою, тянулся из нее, тревожно размахивая не потонувшими еще верхушками, между тем как в нескольких шагах, на большой глубине, и лопух, и мать-мачеха, и вся зеленая братия стояли уже безропотно и тихо... Молодой ивняк, с зелеными нависшими ветвями, вздрагивал от ударов зыби.

На том берегу весело кудрявились ракиты, молодой дубнячок и ветлы. За ними темные ели рисовались зубчатой чертой; далее высились красивые осокори и величавые сосны. В одном месте, на вырубке, белели кладки досок, свежие бревна и срубы, а в нескольких саженях от них торчала из воды верхушка затонувших перевозных мостков... И весь этот мирный пейзаж на моих глазах как будто оживал, переполняясь шорохом, плеском и звоном буйной реки. Плескались шаловливые струи на стрежне, звенела зыбь, ударяя в борта старой лодки, а шорох стоял по всей реке от лопающихся то и дело пушистых клочьев пены, или, как ее называют на Ветлуге, речного «цвету».

И казалось мне, что все это когда-то я уже видел, что все это такое родное, близкое, знакомое: река с кудрявыми берегами и простая сельская церковка над кручей, и шалаш, даже приглашение к пожертвованию на «колоколо господне», такими наивными каракулями глядевшее со столба...

Все это было когда-то,  
Но только не помню когда...

неволью вспомнились мне слова поэта.

### III

— Гляжу я, братец, вовсе тебя заплескивает река-те. Это домой ходил. Иду назад, а сам думаю: чай, проходящего-те у меня поняла уж Ветлуга. Крепко же спал ты, добрый человек!





Говорит сидящий у шалаша на скамеечке мужик средних лет, и звуки его голоса тоже мне как-то приятно знакомы. Голос басистый, грудной, немного осипший, будто с сильного похмелья, но в нем слышатся ноты такие же непосредственные и наивные, как и эта церковь, и этот столб, и на столбе надпись.

— И чего только делает, гляди-ко-ся, чего только делает Ветлуга-те наша... Ах ты! Беды ведь это, право беды...

Это перевозчик Тюлин. Он сидит у своего шалаша, понурив голову и как-то весь опустившись. Одет он в ситцевой грязной рубаше и синих пестрядиных портах. На босу ногу надеты старые отопки. Лицо моложавое, почти без бороды и усов, с выразительными чертами, на которых очень ясно выделяется особая ветлужская складка, а теперь, кроме того, видна сосредоточенная угрюмость добродушного, но душевно угнетенного человека...

— Унесет у меня лодку-те... — говорит он, не двигаясь и взглядом знатока изучая положение дела. — Беспременно утащит.

— А тебе бы, — говорю я, разминаясь, — вытащить надо.

— Коли не надо. Не миновать, что не вытащить. Вишь, чего делает, вишь, вишь... Н-ну!

Лодка вздрагивает, приподнимается, делает какое-то судорожное движение и опять беспомощно ложится по-прежнему.

— Тю-ю-ю-ли-ин! — доносится с другого берега призывной клич какого-то путника. На вырубке, у съезда к реке, виднеется маленькая-маленькая лошаденка, и маленький мужик, спустившись к самой воде, отчаянно машет руками и вопит тончайшею фистулой:

— Тю-ю-ю-ли-ин!..

Тюлин все с тем же мрачным видом смотрит на вздрагивающую лодку и качает головой.

— Вишь, вишь ты — опять!.. А вечер еще, глико-ся, дальше мостков была вода-те... Погляди, за ночь чего еще наделат. Беды озорная речушка! Это учнет играть и учнет играть, братец ты мой...

— Тю-ю-ю-ли-ин, леш-ша-а-ай! — звенит и обрывается на том берегу голос путника, но на Тюлина этот призыв не производит ни малейшего впечатления. Точно этот отчаянный вопль — такая же обычная принадлежность реки, как игривые всплески зыби, шелест деревьев и шорох речного «цвету».

— Тебя ведь это зовут! — говорю я Тюлину.

— Зовут, — отвечает он невозмутимо, тем же фило-

софски-объективным тоном, каким говорил о лодке и проказах реки. — Иванко, а Иванко! Иванко-о-ó!

Иванко, светловолосый парнишка лет десяти, копает червей под крутояром и так же мало обращает внимания на зов отца, как тот — на вопли мужика с того берега.

В это время по крутой тропинке от церкви спускается баба с ребенком на руках. Ребенок кричит, завернутый с головой в тряпки. Другой — девочка лет пяти — бежит рядом, хватаясь за платье. Лицо у бабы озабоченное и сердитое. Тюлин становится сразу как-то еще угрюмее и серьезнее.

— Баба идет, — говорит он мне, глядя в другую сторону.

— Ну! — говорит баба злобно, подходя вплоть к Тюлину и глядя на него презрительным и сердитым взглядом. Отношения, очевидно, определились уже давно: для меня ясно, что беспечный Тюлин и озабоченная, усталая баба с двумя детьми — две воюющие стороны.

— Чё еще нукаешь? Что тебе, бабе, нужно? — спрашивает Тюлин.

— Чё-инó, спрашивают еще... Лодку давай! Чай, через реку ходу-то нету мне, а то бы не стала с тобой, с путаником, и баять...

— Ну-ну! — с негодованием возражает перевозчик. — Что ты какá сильна пришла. Разговаривашь...

— А что мне не разговаривать! Залил шары-те... Чего только мир смотрит, пьяницы-те наши, давно бы тебя, нёгодя пьяного, с перевозу шугнуть надо. Давай, слышь, лодку-те!

— Лодку? Эвон парень тебя перемахнет... Иванко, а Иванко, слышь? Иванко-ó!.. А вот я сейчас вицею его, подлеца, вытяну. Слышь, проходящий!..

Тюлин поворачивается ко мне.

— Ну-ко ты мне, проходящий, вицю дай, хар-ро-шую!

И он, с тяжелым усилием, делает вид, что хочет приподняться. Иванко мгновенно кидается в лодку и хватается весла.

— Две копейки с нее. Девку так! — командует Тюлин лениво и опять обращается ко мне:

— Беда моя: голову всеё разломило.

— Тю-ю-ли-ин! — стонет опять противоположный берег. — Перево-о-óз!..

— Тятка, а тятка! Паром кричат, вить, — говорит Иванко, у которого, очевидно, явилась надежда на освобождение от обязанности везти бабу.

— Слышу. Давно уж зеват, — спокойно подтверждает Тюлин. — Сговорись там. Может, еще и не надо ему... Может, еще и не поедет... Отчего бы такое голову ломит? — об-

ращается он опять ко мне тоном самого трогательного доверия.

Угадать причину не трудно: от бедняги Тюлина водкой несет, точно из полуштофа, и даже до меня, на расстоянии двух сажен, то и дело доносятся острые струйки перегару, смешиваясь с запахом реки и береговой зелени.

— Кабы выпил я, — говорит Тюлин в раздумье, — а то не пил.

Голова его опускается еще ниже.

— Давно не пью я... Положим, вчера выпил...

И опять Тюлин погружается в глубокое раздумье.

— Кабы много... Положим, довольно я выпил вчера... Так ведь сегодня не пил!

— Так это у тебя, видно, с похмелья, — пробую я вывести его на настоящую дорогу.

Тюлин смотрит на меня долго, серьезно и чрезвычайно вдумчиво. Догадка, очевидно, показалась ему не лишеною основания.

— Разве-либо от этого. Ноньче немного же выпил я.

Пока таким образом Тюлин медленным, мучительным, но зато верным путем подходил к истинной причине своих страданий, мужик на той стороне окончательно лишился голоса.

— Тю-ю-ю... — чуть слышно летело оттуда, из-за шороха речных струек.

— Разве-либо от этого. Это ты, братец, должно быть, верно сказал. Пью я винище это, лакаю, братец, лакаю...

#### IV

Между тем тщетно вопивший мужик смолкает и, оставив лошадь с телегой на том берегу, переправляется к нам вместе с Иванком для личных переговоров. К удивлению моему, он самым благодушным образом здоровается с Тюлиным и садится рядом на скамейку. Он значительно старше Тюлина, у него седая борода, голубые, выцветшие, как у Тюлина, глаза, на голове грешневик, а на лице, где-то около губ, ютится та же ветлужская складка.

— Страдаешь? — спрашивает он у перевозчика с улыбкой почти сатирической.

— Голову, братец, всё разломило. И от чего бы?

— Винища поменьше пей.

— Разве-либо от этого. Вот и проходящий то же бает.

— А лодку у тебя, гляди, унесет.

— Как не унести. Просто-таки и унесет.

Оба смотрят несколько времени, как вздрагивает, точно в агонии, опрокинутая лодка.

— Давай паром, што ли, — ехать надо.

— Да тебе надо ли еще ехать-то? Чай, в Красиху пьянствовать?..

— А ты уж покрасился..

— Выпито. Голову всеё разломило, беды! А ты, может, лучше не ездей.

— Чудак. Чай, у меня дочка там выдана. Звали к празднику. И баба со мной.

— Ну, баба так, стало быть, не миновать, ехать видно. Э-эх, шестов нет.

— Как нет? Чё хлопаешь зря? Эвона шесты-те!

— Коротки. Двадцати четвертей надо. Чать, видишь: приплескиват Ветлуга-те.

— А ты что же, чудак, шестов не запас, коли видишь, что приплескиват?.. Иванко, сгоняй за шестами-те, парень!

— Сходил бы сам, — говорит Тюлин, — тяжелы вить.

— Ты сходи, — твое дело!

— Не мне ехать, — тебе!

И оба мужика, да и Иванко третий, спокойно остаются на местах.

— Ну-ко я его, подлеца, вицею вытяну... — опять произносит Тюлин, делая новый опыт примерного вставанья. — Проходящий, да-ко ты мне вицею...

Иванко с громким гнусавым ревом снимается с места и бежит трусцой на гору, к селу.

— Не донесет, — говорит мужик.

— Тяжелы вить! — подтверждает Тюлин.

— А ты бы добежал хоть встречу-те, — советует мужик, глядя на усилия муравья Иванка, появляющегося на верху угора с длинными шестами.

— И то хотел сказать тебе: добеги-кось.

Оба сидят и глядят.

— Евстигне-е-й! Лешай!.. — слышится с той стороны пронзительный и желчный бабий голос.

— Баба кричит, — говорит мужик с некоторым беспокойством.

Тюлин сохраняет равнодушие: баба далеко.

— А как у меня мерин сорвется да мальчонку с бабой ушибет... — говорит Евстигней.

— А резва лошадь-то?

— Беды.

— Ну, так очень просто может ушибить. Да ты бы, послушай, тово... назад бы. Что тебе ехать-то, какá надобность?



— Ах, чудак! Да нешто не видишь: с бабой собрался. Как можно, что не ехать!

Иванко, выбиваясь из сил, приволакивает, наконец, шесты и с ревом кидает их на берег. Все готово. Тюлину приходится приниматься за работу.

— Эй, проходящий! — обращается он ко мне как-то одобрительно. — Ну-ко, послушай, и ты с нами на паром! А то, видишь вот, больно уж река-те наша реза.

Мы все взошли на скрипучий досчатый паром; Тюлин — последний. По-видимому, он размышлял несколько секунд, поддаваясь соблазну: уж не достаточно ли народу и без него. Однако, все-таки взошел, шлепая по воде, потом с глубокою грустью посмотрел на колья, за которые были зачалены чалки, и сказал с кроткой укоризной, обращенной ко всем вообще:

— Э-эх! Чалки-те, чалки никто и не отвязал. Н-ну!

— Да ведь ты, Тюлин, последний взошел на паром. Тебе бы и надо отвязать, — протестую я.

Он не отвечает, косвенно признавая, быть может, всю справедливость этого замечания, и так же лениво, с тою же беспроблемною скорбью, спускается в воду, чтоб отвязать чалки.

Паром заскрипел, закачался и поплыл от берега. Перевозный шалаш, опрокинутая лодка, холмик с церковью мгновенно, будто подхваченные неведомою силой, уносятся от нас, а мысок с зеленою подмытою ивой летит нам навстречу. Тюлин поглядел на мелькающий берег, почесал густую шапку своих волос и перестал пихаться шестом.

— Несет вить.

— Несет, — ответил мужик, с натугой налегая на чегёнь правым плечом.

— Пылко несет.

— Да ты что стал? Что не пхаешься?

— Поди пхнись. С левого-те борту не маячит.

— Ну?

— То-то и ну!

Мужик ожесточенно сунул свой шест и чуть не бултыхнулся в воду, — его чегёнь тоже не достал до дна. Евстигней остановился и сказал выразительно:

— Подлец ты, Тюлин!

— Сам такой! Пошто лаешься?

— За што тебе деньги плочены, подлая фигура?

— Поговори!

— Пошто длинных шестов не завел?

— Заведёны.

— Да што нету их!

— Дома. Нешто мальчонка приволокет... двадцати-то четвертей?

— Говорю: подлой ты человек.

— Ну-ну! Не скажешь ли еще чего? Поговори со мной! Спокойствие Тюлина, видимо, смиряет возмущенного Евстигнея. Он снимает грешневик и скребет голову.

— Куда ж мы теперича? К Козьме Демьяну (в Козьмо-Демьянск) сплывем, аль уж как?..

## V

Действительно, резвое течение, будто шутя и насмехаясь над нашим паромом, уносит неуклюжее сооружение все дальше и дальше. Кругом, обгоняя нас, бегут, лопаются и пузырятся хлопья цвету. Перед глазами мелькает мысок с подмытою ивой и остается назади. Назади, далеко, осталась вырубка с новенькою избушкой из свежего лесу, с маленькою телегой, которая теперь стала еще меньше, и с бабой, которая стоит на самом берегу, кричит что-то и машет руками.

— Куда ж мы теперича? Эх беды́ право беды́, — безнадежно, глядя на бабу, говорит Евстигней.

Положение действительно довольно критическое. Шест уходит вглубь, не маяча, то есть не доставая дна.

Тюлин, не обращая внимания на причитания Евстигнея, серьезно смотрит на реку. Для него опасность всех больше, потому что придется непременно подымать паром против течения. Он, видимо, подтянулся, его взгляд становится разумнее, тверже.

— Иванко, держи по плёсу! — командует он сыну. Мальчишка на этот раз быстро исполняет приказ.

— Садись в грёби, Евстигней!

— Да у тебя еще есть ли грёби-то? — сомневается тот.

— Поговори со мной!

На этот раз слова Тюлина звучат так твердо, что Евстигней покорно лезет с помоста и прилаживается к веслам, которые оказываются лежащими на дне.

— Проходящий, лезь и ты... в тую ж фигуру.

Я сажусь «в тую ж фигуру», то есть прилаживаюсь к правому веслу так же, как Евстигней у левого. Команда нашего судна, таким образом, готова. Иванко, на лице которого совершенно исчезло выражение несколько гнусавой беспечности, смотрит на отца заискрившимися, внимательными глазами. Тюлин сует шест в воду и ободряет сына: «Держи, Иванко, не зевай мотри». На мое предложение —

заменить мальчика у руля — он совершенно не обращает внимания. Очевидно, они полагаются друг на друга.

Паром начинает как-то вздрагивать... Вдруг шест Тюлина касается дна. Небольшой «огрудок» дает возможность «пихаться» на расстоянии десятка сажен.

— Вались на перевал, Иванко, вались на перевал! — быстро сдавленным голосом командует Тюлин, ложась плечом на круглую головку шеста.

Иванко, упиравшись ногами, тянет руль на себя. Паром делает оборот, но вдруг рулевое весло взмахивает в воздухе, и Иванко падает на дно. Судно «рыскнуло», но через секунду Иванко, со страхом глядя на отца, сидит на месте.

— Крепй! — командует Тюлин.

Иванко завязывает руль бичевкой, паром окончательно «ложится на перевал», мы налегаем на весла. Тюлин могучим толчком подает паром наперерез течению, и через несколько мгновений мы ясно чувствуем ослабевший напор воды. Паром «ходом» подается кверху.

Глаза Иванка сверкают от восторга. Евстигней смотрит на Тюлина с видимым уважением.

— Эх, парень, — говорит он, мотая головой, — кабы на тебя да не винище — цены бы не было. Винище тебя обманывает...

Но глаза Тюлина опять потухли, и весь он размяк.

— Греби, греби... Загребывай, проходящий, поглубже, не спи! — говорит он лениво, а сам вяло тычет шестом, с расстановкой и с прежним уныло-апатичным видом. По ходу парома мы чувствуем, что теперь его шест мало помогает нашим веслам. Критическая минута, когда Тюлин был на высоте своего признанного перевознического таланта, миновала, и искра в глазах Тюлина угасла вместе с опасностью.

Около двух часов поднимались мы все-таки кверху, а если бы Тюлин не воспользовался последним «огрудком», паром унесло бы на узкий прямой плес, и его не достать бы оттуда в двое суток. Так как пристать в обычном месте было невозможно, — мостки давно затопило, — то Тюлин пристаёт к глинистому крутояру, зачаливая за ветлы. Начинается спуск телеги. Мы с Евстигнеем хлопочем около этого дела. Тюлин равнодушно смотрит на наши хлопоты, а баба, давно истратившая на ветер все негодующие слова, сидит, не двигаясь, на возу, точно окаменелая, и старается не смотреть на нас, как будто все мы опостытели ей до самой последней крайности. Она точно застыла в своем злобном презрении к «негодям-мужикам» и даже не дает себе труда сойти с ребенком с телеги.

Лошадь пугается, закидывает уши и пятится назад.

— Ну-ко, ну-ко, хлесни ее, резвую, по заду, — советует Тюлин, несколько оживляясь.

Горячая лошадь подбирает зад и прыгает с берега. Минута треска, стукотни и грохота, как будто все проваливается сквозь землю. Что-то стукнуло, что-то застонало, что-то треснуло, лошадь чуть не сорвалась в реку, изломав тонкую загородку, но, наконец, воз установлен на качающемся и дрожащем пароме.

— Что, цела? — спрашивает Тюлин у Евстигнея, озабоченно рассматривающего телегу.

— Цела! — с радостным изумлением отвечает тот.

Баба сидит, как изваяние.

— Ну? — недоумевает и Тюлин. — А думал я: непременно бы ей надо сломаться.

— И то... вишь, какá крутоярина.

— Чё ино! Самая такá круча, что ей бы сломаться надо... Э-эх, а чалки-те опять никто не отвязал! — кончает Тюлин с тою же унылой укоризной и лениво ступает на берег, чтоб отвязать чалки. — Ну, загребывай, проходящий, загребывай, не спи!

Через полчаса тяжелой работы веслами, криков: «навались», «ложись в перевал» и «крепи», — мы, наконец, подходим к шалашу. С меня пог льет, от непривычки, градом.

— Проси с Тюлина косушку, — говорит полушутя Евстигней.

Но Тюлин, видимо, не расположен к шуткам. Долговременное пребывание на берегу безлюдной реки, продолжительные унылые размышления о причинах никогда не прекращающейся тяжелой похмельной хворости — все это, очевидно, располагает к серьезному взгляду на вещи. Поэтому он уставился в меня своими тусклыми глазами, в которых начинает медленно проблескивать что-то вроде глубокого размышления, и сказал радушно:

— Причалим, — поднесу... И не одну, слышь, поднесу, — добавляет он конфиденциально, понижая голос, причем в лице его явственно проступает если не удовольствие, то во всяком случае мгновенное забвение тяжелых похмельных страданий.

А с горы, по неудобной дороге, уже сползают два воза.

— Едут... — скорбно говорит перевозчик.

— Да еще, может быть, не поедут, — утешаю я, — может быть, у них не важное дело.

Я иронизирую, но Тюлин не понимает иронии, быть может потому, что сам он весь проникнут каким-то особенным бес-сознательным юмором. Он как будто разделяет его с этими

простодушными кудрявыми березами, с этими корявыми ветлами, со взывавшею рекой, с деревянною церковкой на пригорке, с надписью на столбе, со всею этой наивною ветлужской природой, которая все улыбается мне своею милою, простодушною и как будто давно знакомою улыбкой...

Как бы то ни было, но на мое насмешливое замечание Тюлин отвечает совершенно серьезно:

— Ежели без товару, само собой обождут. Неужто повезу? — голову всеё разломило...

## VI

Парохода все нет. Говорят, за час до прихода он будет еще «кричать» где-то, на одной из вышележащих пристаней, но когда, часа через три, пошатавшись по селу и напившись чаю, я подхожу опять к берегу, о пароходе ничего не известно. Река продолжает играть и даже разыгралась совсем не на шутку. Тюлин тащится к своему шалашу по колени в воде, лениво шлепая босыми ногами по зеленой потопшей траве; он весь мокрый, широкие штаны липнут к его ногам, мешая идти; сзади, на чалке, тащится за Тюлиным давешняя старая лодка, которую, согласно предсказанию знатока-перевозчика, унесло-таки течением.

— Что, Тюлин, здоров ли?

— Слава богу. Не крепко чтой-то. Давай на ту сторону поедем.

— Зачем?

— Вишь, склёка вышла. Плоты Ивахински река разметывать хочет.

— Тебе-то что же?.. Разве забота?

— А гляди-ко, Ивахин четвертуху волокет. Да что четвертуха! Тут, брат, и полуведром поступишься...

К берегу торопливою походкой приближался со стороны села мужчина лет сорока пяти, в костюме деревенского торговца, с острыми, беспоконными глазами. Ветер развевал полу его чуйки, в руке сверкала посудина с водкой. Подойдя к нам, он прямо обратился к Тюлину:

— Что, приплескиват?

— Бедь! — ответил Тюлин. — Чай, сам видишь.

— А плотишки у меня поняла уж?

— Подхватыват, да еще не под силу. А гляди, подымет. Лодку у меня даве слизнула, — в силу, в силу бегом догнал за перелеском...

— Ну?

— То-то. Вишь, вымок весь до нитки.

— Ах ты! — отчаянно сказал купец, ударив себя по бедру свободною рукой. — Не оглянешься, — плоты у меня раз-

мечет. Что убытку-то, что убытку! Ну и подлец народ у нас живет! — обратился он ко мне.

— Чего бы я напрасно лял православных, — заступился за своих Тюлин. — Чай, у вас ряда была...

— Была.

— На песок возить?

— То-то на песок.

— Ну-к на песке и есть, не в другом месте.

— Да ведь, подлецы вы этикие, река песок-то уж покрывает!

— Как не покрыть, — покроет. К утру, что есть, следу не оставит.

— Вот видишь! А им бы, подлецам, только песни горланить. Ишь орут! Им горюшка мало, что хозяину убыток...

Оба смолкли. С того берега, с вырубки, от нового домика неслись нестройные песни. Это артель васючинцев куражилась над мелким лесоторговцем-хозяином. Вчера, у них был расчет, причем Ивахин обсчитал их рублей на двадцать. Сегодня Ветлуга заступилась за своих деток и выиграла на руку артели. Теперь хозяин униженно кланялся, а артель не ломила шапок и куражилась.

— Ни за сто рублей! Узнаешь, как жить с артелью! Мы тя научим...

Река прибывала. Ивахин струсил. Кинувшись в село, он наскоро добыл четверть и поклонился артели. Он не ставил при этом никаких условий, не упоминал о плотях, а только кланялся и умолял, чтобы артель не попомнила на нем своей обиды и согласилась испить «даровую».

— Да ты, такой-сякой, не финти, — говорили артельщики. — Не заманишь!

— Ни за сто рублей не полезем в реку.

— Пушай она, матушка, порезвится да поиграет на своей волюшке.

— Пушай покидает бревнушки, пушай поразмечет. Поди собирай!

Но четверть все-таки выпили и завели песни. Голоса неслись из-за реки нестройные, дикие, разудалые, и к ним примешивался плеск и говор буйной реки.

— Важно поют! — сказал Тюлин с восторгом и завистью.

Ивахину, кажется, песня нравилась меньше. Он слушал беспокойно, и глаза его смотрели растерянно и тоскливо. Песня шумела бурей и, казалось, не обещала ничего хорошего.

— Много ли недодал вчера? — спросил Тюлин просто.

Ивахин почесался и, не отрывая беспокойного взгляда

с того места, откуда неслись нестройные звуки, ответил так же просто:

— Об двух красных спорились.

— Много же, мотри! Как бы, слушай, бока не намяли.

По лицу Ивахина было видно, что предположение не кажется ему невероятным.

— Хошь бы плоты-те повыволокли, — сказал он с глубокою тоской.

— Чать, выволокут, — успокоил Тюлин.

— Поговори им, — заискивающе сказал торговец. — Мол, более не приплескиват, назад, мол, к ночи пойдет.

Тюлин ответил не сразу; взгляд его приковался к посудине, и, помолчав, он сказал сластолюбиво:

— Другую четверть волокешь?

— Другую.

— Спойшь и третью. Перевезти, что ль?

— Вези!

Лодка была на середине, когда ее заметили с того берега. Песня сразу грянула еще сильнее, еще нестройнее, отражаясь от зеленой стены крупного леса, к которому вплоть подошла вырубка. Через несколько минут, однако, песня прекратилась, и с вырубки слышался только громкий и такой же нестройный говор. Вскоре Ивахин опять стрелой летел к нашему берегу и опять устремился с новою посудиною на ту сторону. Лицо у него было злое, но все-таки в глазах проглядывала радость.

К закату солнца вся артель «убилась» за ивахинскими плотами. Под звуки унылой «дубинушки» бревна выкатывали на берег и руками втаскивали на подьемы. Скоро весь ивахинский лес высился в кладу на крутояре, недоступный для шаловливой реки.

Потом опять загремела песня. Мокрые, усталые артельщики допивали последнюю четверть. Ивахин, потный, злой, но все-таки еще более довольный, переправился в последний раз на нашу сторону и умчался к селу; ветер размахивал полами его сибирки, а в обеих руках были посудины, на этот раз пустые.

Тюлин, еще более унылый, провожал его долгим взглядом.

— Ну что, побили? — спросил я у него.

Он перевел взгляд на меня и спросил:

— Кого?

— Да Ивахина.

— Не, что его бить...

Я с удивлением посмотрел на Тюлина, и в моем уме блеснула внезапная и неожиданная догадка: физиономия

Тюлина припухла, а под глазом стоял фонарь, очевидно, новейшего происхождения.

— Тюлин, голубчик!

— Ну, что?

— Отчего у тебя синяк?

— Синяк... Да отчего ему быть синяку?

— Да ведь тебя, Тюлин, должно быть, били.

— Кто меня бил?

— Артельщики.

Тюлин задумчиво посмотрел мне прямо в глаза и сказал:

— Разве-либо от этого... Да, слышь, и били-то не очень шибко.

Пауза, взгляд на меня, и во взгляде мелькающая догадка:

— Разве-либо не Парфен ли это меня саданул?

— Пожалуй, что и Парфен, — опять помогаю я медленному процессу нового приближения к истине.

— Беспременно Парфен. Такой, скажу тебе, вредный мужичишко — завсегда норовит как бы нибудь челоовка испортить...

Вопрос оказался достаточно разъясненным. Мне, правда, очень хотелось еще разузнать, каким образом гнев артели так неожиданно изменил свое направление, и артельная гроза, вместо Ивахина, обрушилась на совершенно нейтральную тюлинскую физиономию, но в это время с другого берега опять послышался призыв:

— Тю-ю-юли-ин!..

Тюлин не повернул даже головы и лениво направился к шалашу, сказав мне на ходу:

— Кличут. Смахать бы тебе, а? Живым бы духом.

Но вдруг он насторожился, повернулся и ожил. На берегу, несмотря на сумерки, можно было разглядеть красные рубахи. Это артельщики звали Тюлина и, кажется, самым заманчивым образом махали руками.

— Зовут ведь? — радостно сказал он, вопросительно глядя на меня.

— Разумеется, зовут. Опять побьют, пожалуй...

— Не, што ты, бог с тобой. Не может быть! Угостить меня артели желательно, вот што! На мировую, значит...

И Тюлин с удивительною живостью кинулся к берегу. Связав зачем-то две лодки, нос к корме, — он сел в переднюю и быстро отпихнулся от берега, не оставив на этой стороне ни одной.

## VII

Я понял эту невинную хитрость, когда услышал в сумерках скрип воза, съезжавшего с горы. Воз неторопливо подъ-



ехал к реке. Лошадь фыркнула несколько раз и, откинув уши, уставилась с удивленным видом на изменившуюся до неузнаваемости смиренницу Ветлугу.

От воза отделился мужик, подошел к самой воде, посмотрел, почесался и обратился ко мне:

— Перевозчик где?

— Вон... — указал я на светлую полоску, взрезавшую темную поверхность реки уже на середине.

Он взгляделся туда, опять помотал головой, прислушался к песням васюхинцев и стал поворачивать воз!

— И подлый же мужичок здешний перевозчик живет, — сказал он, впрочем, довольно спокойно. — Гляди, ведь и лодки все уволок... Всю ночь его теперь отсюда не достанешь.

Отведя лошадь, он подошел ко мне и поклонился.

— Проходящие будете?

— Проходящий.

— Не с озера ли?

— С озера.

— Так. Много теперича народу идет. Завтра, что есть, и то еще пойдут. Эх, как река-то пылит, бедь! Ежели теперь нам с вами на паром... Да нет, не управиться... Ночевать, видно. А вы не к пароходу ли?

— К пароходу.

— Ну, на заре, раньше не будет. Ночевать, видно, и вам. — Он поставил за шалашом телегу и пустил на береговой откос стреноженную лошадь. Через несколько минут за шалашом закурился дым.

Тюлин, очевидно, приучил свою публику к терпению.

Солнце давно спряталось за горами и лесами, над Ветлугой опустились сумерки, синие, теплые, тихие. Наш огонек разгорался, дым подымался прямо кверху. Было как-то даже странно это спокойствие воздуха наряду с торопливым и буйным движением на реке, которая все продолжала приплескивать. С того берега все неслись песни, и мне казалось, что я различаю фистулу Тюлина в общей разноголосице. На одном из недалеких холмов один за другим вспыхивали огни соседней деревеньки. Днем я не замечал ее, — так ее серые избы и темные крыши сливались с общими тонами пейзажа... Теперь она выступила красивой стайкой огоньков на темной верхушке холма, и кое-где четырехугольники крыш вырезывались в синеве неба.

Это — деревня Соловьиха. Мой новый знакомый, от нечего делать, рассказал мне некоторые небезынтересные черты из жизни ее обитателей. Народ в Соловьихе живет предприимчивый и гордый; в окрестностях соловьихинцы слынут «воришканами». Случилось моему новому знакомому

остановиться в селе Благовещении, у дьячка. Дело было зимой, к вечеру. Сидят за столом. Вдруг кто-то стук-стук в оконце. Выглянул дьячок: стоит за окном Иван Семенов, сосед-старичок, и на ночлег просится. «Да что ты, чай тебе до дому всего с версту?» — «С версту, мол, с версту, да мимо Соловьихи иди. Как бы опять к пролуби не свели».

Оказалось, что между этим старичком и соловьихинцами установились совершенно своеобразные отношения. Как только старик разживется деньгами, так непременно напьется на селе, а как напьется, так и начнет хвастать: имею у себя «катеньку» в кармане. Пойдет после этого домой, его соловьихинцы и переймут на реке, да прямо к проруби.

— Хошь в пролубь?

Ну, разумеется, не хочет. Они и не неволят — отдай только им «катеньку». Он отдает, делать нечего. Они опять:

— Хошь в пролубь?

— Не желаю, братцы.

— Так никому, гляди, не бай. Не скажешь, что ли?

— Не скажу!

— Заклянись!

— Чтоб мне, -- говорит, -- на сим месте провалиться, коли скажу единой душе.

И не говорит. Сколько раз так его ловили, — надоело ему, перестал вечером мимо Соловьихи ходить, особенно когда выпивши, а не сказал никому. «Водили, — говорит, — к пролуби соловьихинцы», а кто именно — ни за что не скажет.

После этого рассказа я с особым любопытством взглянул на деревеньку «воршиканов». Ну, где, думалось мне, кроме Ветлуги, встретите вы такую непосредственность и простоту приемов, и такое благородное доверие к чужому слову, и такую простодушную уверенность в возможности «провалиться на сим месте», в случае нарушения клятвы?.. Мой новый знакомый, сам — «ветлугай», уверял, что другой такой деревни нет нигде больше по всей реке. В Марьине промышляли года три назад «красноярками»<sup>1</sup>, — ну, это дело другое. А положите в незапертой избе деньги, уходите на сутки, — никто не тронет.

— Как же все-таки соловьихинцы?

— Такой у них, позвольте сказать, обычай...

Ну, где еще, думалось мне опять, найдется такая терпимость к чужим обычаям?.. И огоньки Соловьихи мигали мне приветливо и простодушно: «нигде, нигде»...

— Вот и у Тюлина, — сказал я, улыбаясь, — тоже обычай.

---

<sup>1</sup> Красноярками называют фальшивые бумажки.

— Верно! Подлец мужичок, будь он проклят! А и то надо сказать: дело свое знает. Вот пойдет осень или опять весна: тут он себя покажет... Другому бы ни за что в водополь с перевозом не управиться. Для этого случая больше и держим...

— Мир беседе!

— Милости просим!

К нашему огоньку с берестяными кошелками за спиной, с посошками в руках подошли два странника. Один из них, скинув котомку, внимательно поглядел на меня и сказал:

— Этого мы человека видели.

— Немудрено, — ответил я.

— На Люнде были?

— Был.

— Там и видели. По усердию или обет был даден владычице?

— По усердию. А вы?

— Мы к празднику ходили, стало быть, к сродникам.

— Что ж, садитесь к огоньку.

— Да нам бы на перевоз, — дó дому недалече. К утру и дошел бы я.

— Да, на перевоз!.. — вмешался мой знакомый. — Тюлин последнюю ладью уволок. На пароме разве?..

— Где!.. Больно река взыграла.

— Да и шестов длинных нет.

Другой из новоприбывших подошел усталым шагом к берегу, и тотчас же над рекой раздалось громко, протяжно:

— Тю-ю-ли-ин! Лодку дава-а-ай!

Отклик покатылся по реке, будто подхваченный быстрым течением. Игривая река, казалось, несет его с собой, перекидывая с одной стороны на другую меж заснувшими во мгле берегами. Отголоски убегали куда-то в вечернюю даль и замирали тихо, задумчиво, даже грустно, — так грустно, что, прислушавшись, странник не решился в другой раз потревожить это отдаленное вечернее эхо.

— Шабаш! — сказал он и, махнув рукой, вернулся к нашему огоньку.

— А парню-то и до дому рукой подать, — сказал первый из моих знакомых, — и всего-то версты четыре, из Песошной! Слыхали про песочинцев? — спросил он с лукавой усмешкой.

— Нет, я в здешних местах не бывал.

— У них, у песочинцев, тоже опять свой нрав. Что ни город, то, говорят люди, норы, что ни деревня, то обычай. Соловьихинцы, — я вот рассказывал, — любят так, чтоб чужое взять, а уж песочинцы — те свое беречь мастера. Этого годов, может, пять назад, пошли семеро песочинцев в село Благовещение железо чинить: лемеха там, сошники, серпы и

прочее деревенское орудие. Ну, починили, идут назад к реке и сумы с железом в руках несут. А река, как вот и теперь же, приплескивает сильно, играет, да еще ветер по реке ходит, волну раскачал. А лодка-то, известно, верткая. «А что, братцы вы мои, — говорит один, — как лодку у нас ковырнет, ведь железо-то, пожалуй, утонет. Давай, робяты, кошели к себе привяжем, кабы железо не потопить». — «И то, мол, дело!» Так и сделали. К реке шли — железо в руках несли; в лодку садиться — давай на себя навязывать. Выехали на середину, река лодку-те и начни заливать, лодка и опрокинись. Ну, железо-то крепко к спинам привязано — не потерялось. Так вместе с железом хозяевы ко дну и пошли, все семеро!.. Что, парень, аль не правду я баю?

Песочинец не возражал, и, при свете огонька, на всех трех лицах моих собеседников лежала одна и та же добродушно-насмешливая улыбка, с особенною ветлужскою складкой, живо напоминавшею мне Тюлина.

— Ну, а вы-то откуда? — спросил я у старика, который видел меня на Люнде.

— А я, господин, сам по себе. Без роду-племени, бездомный человек, солдатская кость.

— А все-таки, родом с Ветлуги?

— С нее, матушки. Не одну путину сгонял по ней смолоду. Да и после царской службы вот уж пятнадцатый год околачиваюсь.

Солдатского в этом старике было очень мало: только разве некоторая спокойная уверенность речи, да еще старый, засаленный картуз с какими-то едва заметными кантами и большим надорванным козырем. Из-под козыря глядели и искрились порой серые глаза, а около усов ютилась чуть заметная улыбка. Голос у старого солдата был очень приятный, грудной, с «перекатцем», выдававшим прежнего лихого песельника, но теперь уже значительно осипшим от старости, от речной сырости, а может и от «винища». Как бы то ни было, слушать этот голос с юмористическою ноткой и глядеть на ветлужскую усмешку старого солдата было очень приятно, и я вспомнил теперь, что действительно мы встречались с ним на озере. В разгар самого горячего спора на тему: «с татем, с разбойником, кольми паче с еретиком не общайся», — когда обе стороны засыпали друг друга текстами и разными тонкостями начетчицкой диалектики, — этот старичок, с надорванным козырем и искрящимися глазами, вынырнув внезапно в самой середине, испортил всю беседу, рассказав очень просто и без всяких текстов простой житейский случай. Рассказ произвел на большинство сильное отрезвляющее впечатление; начетчики отнеслись к нему с явным пренебреже-

нием. Как бы то ни было, беседа была решительно испорчена, и толпа разошлась, унося, быть может, не одно проснувшееся сомнение...

— Помилуйте, бабий разговор, просторечие, — сказал мне с неудовольствием один из начетчиков. — Нешто это от писания?

— Да это кто такой, не Ефим ли? — спросил другой, подошедший к концу разговора.

— Он.

— Пустой мужичонко, ветлугай. В работниках у нас живал. Писания не знает. Евангелие одно читал... — и говоривший махнул рукой.

Ефим-ветлугай только улыбался своею особенною улыбкой, неизвестно к чему относящеюся: к предмету ли разговора, к слушателям или, быть может, к самому ему, пустому мужичонку, бездомнику, солдатской косточке... Как бы то ни было, мне казалось, что в рассказе ветлугая я слышал первое еще на Светлояре живое слово.

Теперь мы опять завели разговор на ту же тему: О Люнде, о Светлояре и Китеже, об уренивцах. Среди многочисленных и разноверных групп, собирающихся на Светлояре, приносящих туда каждая свои книги, свои напевы и свою веру, в особенности выделяются уренивские начетчики, устраивающие каждый год свой алтарь под одним и тем же старым дубом, на склоне холма. В то время как около австрийского священника, в полуманатейке и с длинными косами впереди ушей, едва-едва набирается десяток молящихся, — около уренивского дуба стоит тесная большая толпа. Меня поразили суровые, надменные лица этих начетчиков. Тут были женщины в темных скитских платьях, какой-то очень длинный субъект с резкими чертами, молодой мальчишка с сумой нищего, с лицом, покрытым оспой, и лохматый юродивый... Они читали и пели по очереди, однообразными, гнусавыми голосами, совершенно притом не обращая внимания на все окружающее. Между тем как представители других толков охотно вступали в споры, — уренивцы держались свысока, пренебрежительно и на вопросы совсем не отвечали. Казалось, для них во всем мире не существовало уже ничего заслуживающего хотя бы малейшего снисхождения и вся святость сосредоточивалась на этом небольшом островке, занятом их тесно сомкнутыми «стриженными гуменцами» и оглашаемом их унылыми напевами.

— Очень уж высоко сами себя держат, — говорил Ефим. — Народ, нечего сказать, просужий, трезвый народ, а только нашему брату у них неловко.

— Почему это?

— Тоскливо. Наша вера, прямо сказать, много веселее, — ответил за Ефима хозяин воза.

Молчавший до сих пор песочинец при этих словах улыбнулся как-то радостно и сказал:

— Бывал ведь я у них. Больно, братцы, чудно!

— А что?

— Да так. Это нанялся я у них зимусь к одному: брусу из лесу выволочки. Приехали мы с молодым хозяином на моей лошади ночью. Наутро проснулся я, а темно еще — дело зимнее. Гляжу: старуха светец засвечает, потом молиться хочет образам. Образа-те хорошие, крашóные. Ну, думаю, и мне пора; помолюсь, дай-ка, и я, да лошадь пойду снаряжать. Лезу тихонько с полатей, стал за ей, давай себе креститься. Как тут она обернись. Увидела меня и руками замахала: «Ты, — говорит, — что это делаешь?» — «А что, мол, — молитыця было похотел». — «Погоди», — говорит. — «Чего годить? — самая пора». — «Погоди, мол, после». Ну, после дак и после, опять я полез на полати. Отмолилась она, свечки погасила, убрала; гляжу опять: малое время погода, старче с печки лезет, свою икону тащит на божницу, свою и свечку зажигат. Я опять с полатей. Думаю, теперь и мне можно. Только нацелился лоб перекрестить, старичишка меня за руку лап! «Ты што это?» — «На вот!.. да я, мол, было молитыця целился». — «Погоди, — говорит, — не годится тебе». Вот оказия! Опять, видно, на полати лезть. Ну, чего будет!.. Тут опять молодича слезат, с молодым хозяином в боковушке свечку затеплили. У тех икон нету — одно распятьё. Я живым духом к ним, опять себе нацеливаюсь. Давай, думаю, хоть на распятьё помолюсь.

— Ну, допустили, что ль? — спросил один из заинтересованных слушателей, видя, что рассказчик остановился.

— Не! Што вы думаете? — и тут не допустили! Отмолились сами, потом зовут: теперь, говорят, иди, молись себе. Взошел я в боковушку, а там голые стены. Они и распятьё-то уволокли... Ах ты, шут вас задави! Что мне тут с вами грешить, думаю себе. Не надо! Я лучше, коли так, дорогой поеду, на солнышко господне помолюсь.

— Три веры в одном дому! — заметил солдат.

— Три и есть. Обедать время пришло. Ну, посадили меня, доброго молодца, честь-честью. Опять старики с дочкой вместе, нам с молодым хозяином на особицу, да еще, слышь, обоим чашки-те разные. Тут уж мне за беду стало. «Ах вы, — говорю, — такие не эдакие. Вы не то што меня бракуете, вы и своего-то мужика бракуете». — «А потому, — старуха бает, — и бракуем, што он по Русе ходит, с вашим братом,

со всяким поганим народом нахлебается...» Вот и поди ты, как они об нас понимают!

— Д-да, — подтвердил хозяин воза, лежавший уже с руками, заложенными за голову. — Видишь ты, какé грозны живут... А сами-те, бесстыдники! Тепериче у нас, поблизу, в деревне два брата; один, стало быть, в солдаты ушел, другой его бабу к себе взял. Это невестку-то, стало быть, да еще чи-жолую. Другой со службы вернулся, тоже долго не думал: родну-те сестру прежней жены к себе. Да слышь: два брата на двух сестрах женаты, да мальчонке-то солдат и дядей родным, да чуть ли и тяткой не приходится. Так вот этим не брезгуют. Охо-хо-хо-о... Не спать ли пора?

Водворилось ненадолго молчание.

— Смешица по Русё пошла, — раздался через минуту простодушный голос песочинца.

— Давно уж это, — сказал, укладываясь, солдат, — не со вчерашнего дни.

— Чё не давно? Вот теперича молокána опять...

— Ну, эти иная статья, другого роду. Спи-ложись, пустого не бай!

Но песочинец, объятый размышлением о «смешице», которая пошла «по святой Русе», долго еще не мог улечься. Он сидел, ковырял веткой в огне и, увидя, что я тоже не сплю, кивнул лукаво в сторону Ефима и произнес:

— Особа статья, говорит... Чего не особа статья! Сам с ними водитця, богам нашим молитьця не стал, молоко по пятницам жрет. Сам видывал, а то бы и баять не надо...

И он тоже стал прилаживаться на песочке.

## VIII

Я поднялся и посмотрел кругом.

Река скрылась в темной синеве вечера. Луна еще не подымалась, звезды тихо, задумчиво мигали над Ветлугой. Берега стояли во мгле, неясные, таинственные, как будто прислушиваясь к немолчному шороху все прибывающей реки. Поверхность ее была темна, не видно было даже «цвету», только кой-где мерцали, растягивались и тотчас исчезали на бегущих струях дрожащие отражения звезд, да порой игривая волна вскакивала на берег и бежала к нам, сверкая в темноте пеной, точно животное, которое резвится, пробегая мимо человека...

Артель все еще бушевала на другом берегу, но песня, видимо, угасала, как наш костер, в который никто не подбрасывал больше хворосту. Голосов становилось все меньше и меньше: очевидно, не одна уж удалая головушка полегла

на вырубке и в кустарнике. Порой какой-нибудь дикий голосина выносился удалее и громче, но ему не удавалось уже воспламенить остальных, и песня гасла.

Я тоже улегся рядом со спящими ветлугаями, любуясь звездным небом, начинавшим загораться золотыми отблесками подымавшейся за холмами луны. А с горы, тихо поскрипывая, спускался опять запоздалый воз, подходили пешеходы и, постояв на берегу или безнадежно выкрикнув раза два лодку, безропотно присоединялись к нашему табору, задержанному военной хитростью перевозчика Тюлина.

Огни в деревушке на холме давно погасли один за другим. Столб с надписью то выделялся, окрашенный огнем костра, то утопал в темноте.

На той стороне, за рекой, запевал соловей.

— Перево-óз!

— Перевоз, перевоз, перрево-ó-оз!

— Эй, перевоз-чик, живей — э-эй!

— Го-го-го-го-о-о!..

Громкие крики, раздавшиеся шумно, внезапно, резко и звонко, точно труба на заре, разбудили меня и весь наш табор, приютившийся у огонька. Крики наполняли, казалось, землю и небо, отдаваясь в мирно спавших лощинах и заводях Ветлуги. Ночные странники просыпались и протирали глаза; песочинец, которого вчера так сконфузил его собственный скромный оклик заснувшей реки, теперь глядел с каким-то испугом и спрашивал:

— Что такое? С нами крестная сила, что такое?

Начинало светать, река туманилась, наш костер потух. В сумерках по берегу виднелись странные группы каких-то людей. Одни стояли вокруг нас, другие у самой воды кричали перевозчика. Невдалеке стояла телега, запряженная круглою сытою лошадию, спокойно ждавшею перевоза.

Я тотчас же узнал уренеццев... Тут были и третьеводнишние скитницы в темных одеждах, и длинный субъект с мрачным лицом, и рябой нищий, и лохматый «юрод», и еще какие-то личности в том же роде.

Теперь они стояли вокруг нашего, лежавшего вповалку, табора, глядя на нас с бесцеремонным любопытством и явным пренебрежением. Мои спутники как-то сконфуженно пожимались и в свою очередь глядели на новоприбывших не без робости. Мне почему-то вдруг вспомнились английские пуритане и индипенденты времен Кромвеля. Вероятно, эти святые так же надменно смотрели на простодушных грешников своей страны, а те отвечали им такими же сконфуженными и безответными взглядами.



— Эй, вы, ветлугаи-водохлёбы! Где перевозчик?

— Перевоз, перевоз, перре-во-бз!..

Можно было подумать, что целая армия вторглась в мирные владения беспечного перевозчика. Голоса уренивцев гремели и раскатывались над рекой, которая теперь, казалось, быстро и сконфуженно убегала от погрома, вся опять желтовато-белая от цвету. Эхо долго и далеко перекатывало эти крики.

«Ну-ка, — думалось мне, — устоит ли и теперь тюлинский стоицизм?»

К моему удивлению, взглянув на реку, я увидел в утренней мгле лодочку Тюлина уже на середине. Очевидно, философ-перевозчик тоже находился под обаянием грозных уренивских богатырей и теперь греб изо всех сил. Когда он пристал к берегу, то на лице его виднелась сугубая угнетенность и похмельная скорбь; это не помешало ему, однако, быстро побежать на гору за длинными шестами.

Наш табор тоже зашевелился. Хозяева ночевавших возов вели за челки лошадей и торопливо запрягали, боясь, очевидно, что уренивцы не станут дожидаться, и они опять останутся на жертву тюлинского самовластия.

Через полчаса нагруженный паром отвалил от берега.

У потухшего костра мы остались вдвоем с Ефимом, который разгребал пальцами золу, чтобы закурить угольком носогрейку.

— А вы что же не переправились заодно?

— Ну их, не люблю, — ответил он, раскуривая. — Мне не к спеху — пойду себе по росе... А вот вам так, пожалуй, пора собираться: слышите, пароход сверху бежит.

Через минуту и я мог уже различить гулкие удары пароходных колес, а через четверть часа над мысом появился белый флаг, и «Николай» плавно выбежал на плёсо, мигая бледнеющими на рассвете огнями и ведя зачаленную сбоку большую баржу.

Солдат услужливо подал меня в тюлинской лодочке на борт парохода, и тотчас же сам вынырнул в ней из-за кормы, направляясь к тому берегу, где грузный паром высаживал уренивцев.

Солнце давно золотило верхушки приветлужских лесов, а я, бессонный, сидел на верхней палубе и любовался все новыми и новыми уголками, которые с каждым поворотом щедро открывала красавица-река, еще окутанная кое-где синеватою мглой.

И я думал: отчего же это так тяжело было мне там, на озере, среди книжных народных разговоров, среди «умственных» мужиков и начетчиков, и так легко, так свободно на

этой тихой реке, с этим стихийным, безалаберным, распущенным и вечно страждущим от похмельного недуга перевозчиком Тюлиным? Откуда это чувство тяготы и разочарования, с одной стороны, и облегчения — с другой? Отчего на меня, тоже книжного человека, от тех веет таким холодом и отчужденностью, а этот кажется таким близким и так хорошо знакомым, как будто в самом деле

Все это уж было когда-то,  
Но только не помню когда...

Милый Тюлин, милая, веселая, шаловливая взывравшая Ветлуга! Где же это и когда я видел вас раньше?

1891

## АТ-ДАВАН<sup>1</sup>

ИЗ СИБИРСКОЙ ЖИЗНИ

### I

— Ну-ну! Уж и дор-рога! — сказал мой спутник, Михайло Иванович Копыленков. — Самая эта проклятая путина, хуже которой уж и быть невозможно... Правду ли я говорю ай нет?

К сожалению, Михайло Иванович говорил совершенную правду. Мы ехали вниз<sup>2</sup> по Лене. По всей ширине ее торчали в разных направлениях огромные льдины, по-местному «торосья», которые сердитая быстрая река швыряла осенью друг на друга в борьбе со страшным сибирским морозом. Но мороз наконец победил. Река застыла, и только гигантские торосья, целый хаос огромных льдин, нагроможденных в беспорядке друг на друга, задавленных внизу или кинутых непонятным образом кверху, остался безмолвным свидетелем титанической борьбы да кое-где еще зияли длинные, никогда не замерзающие полыньи, в которых прорывались и кипели быстрые речные струи. Над ними тяжело колыхались холодные клубы пара, точно в полыньях действительно был кипяток.

А с обеих сторон над этим причудливым ледяным хаосом стояли молчаливые огромные Ленские горы. Жидкая

<sup>1</sup> А т-Д а в а н — станция на Лене, около трехсот верст выше Якутска. (Примеч. В. Г. Короленко.)

<sup>2</sup> Описка В. Г. Короленко. Правильно: вверх.

лиственень цеплялась по склонам, широко раскидывая корни, но камень не дает ей расти, и склоны усеяны сплошь густою древесною падалью. Ближе вы видите трупы деревьев, запорошенных снегом, с вырванными из почвы судорожно скрюченными корнями. Дальше эти подробности исчезают, а к вершине горы склон покрыт валежником, точно густой сеткой. Упавшие деревья кажутся бесчисленными иглами, точно хвои в сосновом лесу, а между ними, еще живые, тянутся такие же прямые, такие же тонкие и жалкие лиственницы, пытающие счастье над трупами предков. И только на ровной, будто обрезанной, вершине лес сразу становится гуще и тянется длинною темною, траурною каймой над белым скатом берега.

И так на десятки, на сотни верст!.. Целую неделю уже наш возок ныряет жалкою точкою между торосьями, колыхаясь, точно лодочка на бурном море... Целую неделю я гляжу на полосу бледного неба меж высокими берегами, на белые склоны с траурной каймой, на «па́ди» (ущелья), таинственно выползающие откуда-то из тунгузских<sup>1</sup> пустынь на простор великой реки, на холодные туманы, которые тянутся без конца, свиваются, разворачиваются, теснятся на сжатых скалами поворотах и бесшумно втягиваются в пасти ущелий, будто какая-то призрачная армия, расходящаяся на зимние квартиры. Тишина томит душу. И только по временам по реке ухнет вдруг тяжелым стоном треснувший лед, зашипит, как пролетающее ядро, отдастся эхом, как пушечный выстрел, пронесется куда-то далеко назад, в оставленные нами пустынные извилины Лены, и долго еще звенит отголосками и умирает, пугая воображение причудливыми, внезапно воскресающими дальними стонами...

Мне было грустно. Мой спутник томился и нервничал. Возок наш то и дело кидало с боку на бок, и уже не раз он опрокидывался совсем. При этом, к великой досаде Михайла Ивановича, случалось все как-то так, что валились мы неизменно в его сторону. Это было естественно, но все же причиняло ему большое неудовольствие. Однако случись иначе, мне грозила бы серьезная опасность, тем более что в таких случаях он, с своей стороны, не делал ни малейших усилий. Только крикнет, бывало, и деловито обращается к ямщику:

— Подымай!

Ямщик, как ни трудно, подымает, и мы едем далее.

Мне казалось, что уж месяц отделяет меня от Якутска, из которого мы выехали всего дней шесть назад, и чуть не целая

---

<sup>1</sup> Тунгу́зы (тунгусы) — устаревшее название народности эвенков.

жизнь — от ближайшей цели путешествия, Иркутска, до которого осталось более двух тысяч верст.

Едем мы тихо: сначала нас держали неистовые морозные метели, теперь держит Михайло Иванович. Дни коротки, но ночи светлы, полная луна то и дело глядит сквозь морозную мглу, да и лошади не могут сбиться с проторенной «по торосу» узкой дороги. И, однако, сделав станка<sup>1</sup> два или три, мой спутник, купчина сырой и рыхлый, начинает основательно разоблачаться перед камельком или железной печкой, без церемонии снимая с себя лишнюю и даже вовсе не лишнюю одежду.

— Что вы, Михайло Иванович! — пытаюсь я протестовать в таких случаях. — Станок бы еще можно сегодня...

— Куда, к шуту, торопиться-то? — отвечает Михайло Иванович. — Чайком ополоснуть утробу-те да на боковую.

Есть, «полоскаться» чаем и спать — все это Михайло Иванович мог производить в размерах поистине изумительных и все это совершал тщательно, с любовью, почти с благоговением.

Однако, кроме этого, у него были еще и другие соображения.

— Народ здесь, — говорил он таинственно, — на копейку до чрезвычайности, братец ты мой, жаден. Бедовый самый народ, потому что золотом набалован.

— Ну, золото-то далеко, да и не слышно ничего такого о здешних местах.

— А вот как нас с тобой ограбят, так и услышишь, да поздно... Чудак! — прибавлял он, быстро впадая в «сердце». — Какая это есть сторона, не знаешь, что ли? Эс тебе не Расея! Гора, да падь, да полынья, да пустыня... Самое гиблое место.

Вообще Михайлу Ивановичу «здесьняя сторона» не внушала ничего, кроме искреннего омерзения и брезгливости. Все здесь, начиная с угрюмой природы и людей и кончая бессловесною тварью, не избегало с его стороны самой придиричивой критики. Он знал только одно: здесь, если «пофартит», можно скоро и крупно разжиться («в день человеком сделаешься»), и поэтому жил здесь уже несколько лет, зорко выглядывая случай и стремясь неуклонно к неизвестному «пределу», после которого намеревался вернуться «во свою сторону», куда-то к Томску. В этом отношении он напоминал человека, которому за известное вознаграждение предложили пробежать голым по сильному морозу. Михайлс Иванович согласился, и вот теперь он бежит, ухая и

---

<sup>1</sup> Стáнок — почтовая станция.

пожимаясь, к своему пределу. Только бы добежать, только бы схватить, а там... пропадай хоть пропадом вся эта гиблая сторона — Михайло Иванович не пожалеет.

В данное время, кажется, он уже значительно приблизился к пределу и, быть может, именно поэтому ужасно нервничал: а что, дескать, ежели именно теперь кто-нибудь у него схваченное-то и вырвет?.. Михайло Иванович, о котором я слышал много рассказов, рекомендовавших в самом ярком свете его предприимчивость, доходившую до дерзости в начале здешней карьеры, теперь трусил как баба, и мне поневоле приходилось из-за этого проводить с ним скучнейшие вечера и долгие ночи на пустынных станках угрюмой и безлюдной Лены.

## II

В один из таких морозных вечеров я был разбужен испуганным восклицанием Михайла Ивановича. Оказалось, что мы оба заснули в возке, и когда проснулись, то увидели себя на льду, под каменистым берегом, в совершенно безлюдной местности. Колокольчика не было слышно, возок стоял неподвижно, лошади были распряжены, ящик исчез, и Михайло Иванович протирал глаза с испугом и удивлением.

Вскоре, однако, недоумение наше рассеялось. Я взгляделся в ровный каменный берег, уходивший стеной вдаль и искрившийся под лучами полного месяца. Невдалеке тропинка исчезла в расщелинах скал, а прямо над головой свесился высокий крест якутской могилы. Хотя могила на берегу, даже и совсем пустынном, не редкость в том краю, так как якут старается лечь на вечный покой непременно на возвышенности, у воды, в таких местах, где много дали и простора, — но все же я узнал Ат-Даванскую станцию, которую заметил уже в первую свою поездку. Красный сланец с причудливыми слоями, напоминавшими какие-то неведомые письма, ровный, будто искусственно сложенный обрыв, жидкие листовницы, якутская могила с крестом и срубом и, наконец, длинная пелена белого дыма, тихо нависшая с берега над рекой, — все это вспомнилось мне сразу. Здесь нет въезда, берег представляет отвесную стену, и потому зимой сани оставляют на реке, а лошадей приводят узкой тропой прямо на лед. Михайло Иванович тоже скоро успокоился, тем более что на тропинке уже мелькали фонари.

Через минуту мы были наверху, на станции.

Маленькая станционная комната была натоплена; от раскаленной железной печи так и пыхало сухим жаром. Две сальные свечки, оплывшие от теплоты, освещали

притязательную обстановку, полуякутской постройки, обращенной в станцию. Генералы и красавицы чередовались на стенках с объявлениями почтового ведомства и патентами в черных рамках, сильно засиженных мухами. Вся обстановка обнаруживала ясно, что станция кого-то ждала, и мы не имели оснований приписать все эти приготовления себе.

— Вот, братец ты мой, и чудесно! — радостно говорил Михайло Иванович, принимаясь за перемыты со всякою дорожною снедью. — Эка теплота-то благодатная! Тут уж, шабаш, ночуем беспременно! Эй, кто там!.. Писарь, что ли? Самоварчик бы нам да кипяточку для пельменей...

— Ну нет, Михайло Иванович, — попытался я возразить, — еще рано. До N. доедем, а там и ночлежничать можно.

— Лошадей, милостивый государь, нет, — услышался сзади меня дребезжащий, слащавый и как будто робеющий голос.

Я оглянулся. В комнату входил небольшой круглый человечек неопределенного возраста, одетый довольно оригинально. Кургузый сюртучок, клетчатые панталоны, пикейный жилет, сорочка с манжетами и даже старинною плойкой<sup>1</sup>, цветной галстук с золотыми мухами по зеленому полю — все это слегка уже полинявшее, слежалое, как будто надетое по случаю, напоминало о каких-то давно прошедших временах. На ногах у вошедшего были тяжелые валенки, наряду с которыми кургузый немецкий костюм выглядел очень комично. Впрочем, маленький человечек не сознавал, по-видимому, этого контраста и выступал щеголевато, мелкими, «щепоткими» шагами.

Физиономия незнакомца, как и вся фигура, была какая-то серенькая, тоже как будто слегка подержанная или лежалая, а теперь приглаженная и почищенная для случая. В улыбке, в серых глазах, в тоне голоса заметна была претензия на некоторую культурность. Маленький человечек как будто хотел показать, что он видал лучшие дни, знает «обращение» и при других обстоятельствах стоял бы с нами на равной ноге. Но вместе с тем он как-то сжимался и робел, как будто его слишком часто осаживали и он боялся того же от нас.

— Как же нет лошадей? — возразил я, посмотрев в книгу, выложенную, по-видимому, недавно на видном месте. — Две тройки должны быть на станции.

— Так точно, — покорно ответил он, — должны находиться. Только, собственно... как бы вам, милостивый государь, объяснить...

---

<sup>1</sup> П л ó й к а — сборка, складка.

Он замялся.

— Пожалейте меня, господа проезжающие, не требуйте, — произнес он вдруг чрезвычайно жалобным и приниженно-просящим голосом.

— Но почему же это? — удивился я.

— Экие вы, право! — с неудовольствием вмешался Михайло Иванович, успевший уже стащить с себя даже брюки. — Почему да почему? Ну куда вы торопитесь? Дети у вас, что ли, плачут?.. Видишь ведь, братец ты мой, человек слезно просит — значит, причина!

— Так точно-с, — обрадовался незнакомец и обратился к Копыленкову с сочувственной улыбкой, обдергивая полы своего пиджака, — так точно-с, как вы изволили заметить: неужели без причины стану чинить господам проезжающим задержку? Никогда-с!

Последнее слово он произнес как-то даже гордо, выпрямился при этом и обдернул пиджак.

— Ну, хорошо, — сказал я, сдаваясь тем охотнее, что понимал невозможность вытянуть моего быстро разоблачившегося спутника из этой теплой комнаты на трескучий вечерний мороз. — Но все же объясните вашу причину, если это не тайна...

Сочувственная улыбка озарила все лицо маленького человечка. Он увидел, что дело сладилось, и намеревался ответить мне с видимою благосклонностью, но вдруг насторожился. Снаружи, с реки, сквозь треск железной печурки слышался звон. Дверь отворилась, староста, полуякут по наружности, осторожно вошел в комнату, тщательно запер дверь и сказал:

— Почта келлэ<sup>1</sup>, Василь Спиридоныч...

— А, почта! — успокоился старичок. — Ну, бар-антах (ступай), чтоб живо!.. Сейчас иду, извините меня, почтенные господа...

Он вышел. Станция переполнилась движением. Хлопали двери, скрипели ступени, ящики таскали баулы и сумки, суетливый звон уводимых и перепрягаемых на льду троек теснился каждый раз в отворяемую дверь, ящики кричали друг на друга по-якутски и ругались на чистом русском диалекте, доказывая этим свое российское происхождение...

### III

Через несколько минут в комнату не вошел, а вбежал какой-то человек небольшого роста, в сильно потертой казенной шинели, в якутском малахае<sup>2</sup> и обвязанный шарфом. Он

<sup>1</sup> Почта пришла (якутск.).

<sup>2</sup> М а л а х а́ й — шапка с наушниками.

вбежал так торопливо, как будто за ним кто гонится, и тотчас же направился к железной печке.

Скинув шинель, он остался в какой-то жиденькой шубке на кроличьем меху, сильно похожей на женскую кацавейку; когда же снял и шубку, то под ней оказался старый, изорванный под мышками мундир почтового ведомства.

Действительно, это был почтальон, так торопливо убежавший от мороза, который на протяжении длинного перегона, видимо, одержал над ним значительные победы. Бедный молодой человек рвал с себя настывшие одеяния, как будто в них засел целый рой пчел, и, не снимая еще малахая и шарфа, быстро скинул с ног валенки, которые и уложил подошвами к печке. Снятие шарфа и малахая заняло более времени. Якуты и карымы<sup>1</sup> не носят бороды и усов. Это вошло уже в эстетические привычки, но объясняется чисто климатическими условиями; бедняга почтальон, по-видимому, дорожил этими атрибутами, и теперь жидкая бороденка и такие же усики, которыми он, быть может, пленял где-нибудь в Киренске какую-нибудь заезжую невесту из семьи состоятельного поселенца, превратились в одну сосульку, плотно соединившую его голову с малахаем и шарфом. Нужно было немало времени, пока наконец представитель почтового ведомства, совавший голову чуть не в самое пламя и разминавший льдины полузастывшими пальцами, предстал перед нами в своем настоящем виде: молодое, но значительно отекавшее лицо, беспокойные, но тусклые глаза, испуганная подвижность во всей фигуре, короткий и узкий мундир, лопнувший по швам, и заячьи чулки на ногах.

— Че! — отряхнулся он. — Тьмны берть, мороз улахан (очень холодно, большой мороз)... Дозвольте рюмочку, господа!

— Угощайся, — ответил Копыленков благодушно. — Несчастный ты самый человек.

Глаза молодого человека как-то опять испуганно заморгали. Холодное сожаление купца только ярче напомнило ему холод дороги, и проглоченная рюмка пролетела будто льдинка. Вследствие этого он налил другую и отправил вслед за первой. Только тогда испуганное выражение начало исчезать с лица бедного малого.

— Верно, — сказал он. — Собачья жизнь... Да и морозы же стоят, удивительное дело...

— Одежка у тебя — ой-ой плоха. Не по здешнему месту.

---

<sup>1</sup> Карымы — потомки смешанных браков русских с коренными жителями Сибири: бурятами, якутами, эвенками.



— Одежда ничего. А впрочем... на восемь рублей не очень нашеголяешь...

Почта пробегает по этому огромному тракту один раз в неделю. Зимой трехтысячный путь она делает в девятнадцать дней, летом, конечно, дольше. Осенью и весной, когда Лена еще не стала или уже тронулась и ледоход мешает движению лодок, почту везут в переметных сумах верхами. Целый караван вьючных лошадей жметя тогда между рекой и каменными горами, то огибая, по брюхо лошади в воде, какую-нибудь выдавшуюся скалу, то карабкаясь по каменистым тропинкам, то мелькая на вершинах чуть не под облаками. Трудно себе представить занятие, требующее большей выносливости, присутствия духа, терпения и здоровья... Три тысячи верст!.. Ямщикам тоже трудно, но ямщики давно вернулись по домам и отдыхают в ожидании редкого проезжающего порой даже до следующей почты, а почтальон опять трясется в седле, или качается на бурной волне огромной реки, или коченеет, забившись меж кожаными баулами в санях. И это при обычных почтовых окладах...

Правда, почтальон изобретает еще посторонние средства. В Иркутске он запасается бочонком дешевой водки, которую продает на станках писарям и ямщикам, купит только что вышедшие календари, возьмет на комиссию пачку лубочных картин. Все художественные произведения, обильно украшающие стены станков, ему обязаны доставкой своей в эти далекие страны. Он совершенствует эстетические взгляды полуякутов-станочников, водворяя на стенах гравированные портреты получивших где-то премию красавиц, он содействует популярности генералов, он же развенчивает их, заменяя старых героев новейшими... Однако эта полезная деятельность мало скрашивает судьбу горемыки почтальона, и если он остается жив в своей плохой одежонке среди необычайных морозов, то приписывает это главным и даже исключительным образом водке, которой выпивает на каждой станции огромное количество без всяких видимых последствий, благо она достается ему дешево и доставляет даже некоторый — право же, невинный при этих условиях — доход...

От него же главным образом этот трехтысячный тракт, с его почти единственными обитателями-станочниками, узнает новости, совершающиеся в далеком мире.

Такой-то подвижник почтового ведомства стоял теперь у железной печки, с подогнутыми от холода ногами, протянув руки к пламени и кидая жадные взгляды на наши бутылки.

— А это у вас коньяк?.. Коньячку я еще хвачу, — произносил он вдруг с робкою фамильярностью, подбегал

к столу, наливал, опрокидывал и опять убегал к огню все с тем же видом человека, испуганного внутренним ознобом.

— Слышь, почта, давай чайком побалуемся, — предложил Копыленков.

— Невозможно, господа почтенные, — тороплюсь. Слушай, парень, — дружески обратился он к вошедшему в эту минуту писарю, — поберегайся! Едет ведь...

Старичок вздохнул:

— Что бог даст! Ждем давно, хоть бы уж как-нибудь скорее...

— Теперь живо. Мне бы вот как-нибудь улететь, не напороться бы. Да где, не уйти — догонит! Хорошо, если на дороге где-нибудь...

— Тебе-то что?

— Да все от греха подальше. А слышь, парень, про жалобы-то узнал ведь...

— Ну?

— То-то... Сказывают, осатанел — беда!

— Авось бог милостив. Мы не жаловались...

— Да вы это про кого? — спросил Копыленков.

— Арабин, курьер... Теперь из Верхоянска обращается.

— Так, так, так! Вот почему у тебя и лошадей-то не оказалось. Понял! А вдруг бы мы у тебя лошадей-то последних и взяли...

— Совершенно верно-с... Судите сами — приедут они сюда, и вдруг я им объявлю: нет лошадей! Что же это-с... Ведь тогда им здесь ночевать-с...

Копыленков захохотал.

— Ну, он тебя, братец, за ночь-то съест и с пиджаком с твоим.

Почтальон тоже засмеялся, как-то порывисто, закинув голову назад. Старичок постарался улыбнуться, но больше из вежливости. Глаза его были задумчивы и озабоченны.

— Бог знает, бог знает... Прошлый раз уберегла царица небесная... Скотиной все-таки назвал.

— Удостоил?

— Да-с. Это что ж... Конечно, по прежнему времени, состоявши в чине коллежского секретаря<sup>1</sup>, мог обижаться... Ну, между прочим, в настоящем ничтожном положении обязан терпеть... Вы самоварчик изволили приказывать? — спохватился он вдруг. — Ах, боже мой, что же я-с... Сейчас

---

<sup>1</sup> Коллѣжскій секретарь — гражданский чин десятого класса. По табели о рангах (чинах), введенной при Петре I, все военные и гражданские чины делились на четырнадцать разрядов (классов). Первые пять классов были высшими, четырнадцатый класс был низшим.

будет готово — два самовара у нас. Ежели в случае приедет, и ему подадим... Сейчас...

#### IV

Через несколько минут не старая еще и довольно красивая женщина, при входе которой почтальон опять закинул голову и засмеялся своим прерывистым смехом, а писарь стал как-то особенно серьезен, — внесла небольшой самоварчик и принялась уставлять чайную посуду. Мы пригласили к чаю старичка и почтальона. Последний отказался и так же быстро, как прежде скидал с себя, стал натягивать свои не совсем высохшие одеяния. Писарь тоже пытался отказаться из приличия, но затем на вторичное приглашение согласился, видимо польщенный:

— С превеликим удовольствием разделю компанию, — сказал он и затем, застегнув пиджак на все пуговицы и взявшись рукой за спинку стула, поклонился и произнес: — В таком случае считаю за честь рекомендоваться: Кругликов Василий Спиридонов, бывший коллежский секретарь... Приятно приобрести знакомство.

— Значит, служил? — спросил Копыленков.

— Так точно-с, по комиссариатской части<sup>1</sup>, во флоте-с.

Почтальон облачился, сунул нам всем на прощание руку, еще раз сказал: «А это спирт у вас? Хвачу-ка еще спирту!» — хватил и торопливо выбежал на мороз. Я оделся и вышел за ним.

Нужно было подойти к обрыву у могилы с наклонившимся крестом, чтоб увидеть почту внизу.

Река, загроможденная белым торосом, слегка искрилась под серебристым и грустным светом луны, стоявшей над горами. С того берега, удаленного версты на четыре, ложилась густая неопределенная тень, вдали неясно виднелись береговые сопки, покрытые лесом, уходившие все дальше и дальше, сопровождая плавные повороты Лены... Становилось и жутко и грустно при виде этой огромной ледяной пустыни.

Почта — три тройки — двинулась, колокольчики сразу как-то сбивчиво и шумно заговорили под моими погами, как будто ободряя друг друга. Три черных пятна, точно фантастические многосоставные животные, шевельнулись по снегу и замелькали между торосьями, становясь все меньше и меньше. Их давно уже не было видно, а звон все стоял такой

---

<sup>1</sup> Комиссариатская часть — отделение военного министерства, ведавшее снабжением войск одеждой, продовольствием.

же ясный в морозном, точно стеклянном, воздухе... Каждый колокольчик говорил по-своему: расстояние уменьшало только силу, но не ясность звука. Потом все исчезло внезапно, только торосья искрились фантастическим хаосом, да сопки тихо спали в тени, и какие-то неясные грезы передвигались под дальними берегами.

Чуть не все население станка провожало почту... На бедном Ат-Даване, приютившемся под каменными горами, этот пролет редкой почты — целое событие.

Но станок ждал и томился ожиданием еще другого события.

Когда почта исчезла и звон затих, гурьба ямщиков, тихо подымавшихся с реки, прошла мимо меня, разговаривая по-якутски. Мне трудно было разобрать эти тихие речи, однако я понял, что говорят они не о том, кто уехал, а о ком-то, кто должен приехать сверху. При этом имя «Арабын-тойона» раза два коснулось моего слуха.

Я остался еще на берегу, привлекаемый грустным очарованием. Воздух был неподвижен и полон какой-то чуткой кристаллической ясности, не нарушаемый теперь ни одним звуком, но как будто застывший в пугливом ожидании. Стоит опять треснуть льдине, и морозная ночь вся содрогнется, и загудит, и застонет. Камень оборвется из-под моей ноги — и опять надолго наполнит чуткое молчание сухими и резкими отголосками...

Мороз все крепчал. Здание станции, которое наполовину состояло из юрты и только наполовину из русского сруба, сияло огнями. Из трубы над юртой целый веник искр торопливо мотался в воздухе, а белый густой дым поднимался сначала кверху, потом отгибался к реке и тянулся далеко, до самой ее середины... Льдины, вставленные в окна, казалось, горели сами, переливаясь радужными оттенками пламени...

Я еще раз окинул взглядом окружающую картину, полную захватывающей грусти, и пошел в избу.

## V

В ямщицкой огромный камелек, плотно сбитый из глины, зиял, точно раскрытая огненная пасть сказочного чудовища. Огонь с невероятной силой рвался в трубу, как будто целая река пламени струилась кверху. Наклонные стены юрты то тесно сдвигались, охваченные багряным отблеском, то утопали чуть заметно во тьме; тогда юрта казалась огромною пещерой с темными сводами. Группа огненных же фигур, будто только что отлитых из не остывшего еще металла,

сомкнулась полукругом около камина. В середине, уставившись на огонь задумчивыми глазами и опершись подбородком на руки, сидел молодой станочник с резко инородческими чертами, представитель этого странного, наполовину якутешшего населения средней Лены. Из горла его лились, примешиваясь к шипению и треску пламени, странные — то протяжные, то истерически-прерывистые — звуки. Это была якутская песня-импровизация, — песня, в которой только привычное ухо может уловить признаки своеобразной гармонии. «Господи боже, — подумал я невольно, — как только не выражается человеческое чувство!..» Но так как красота все-таки в самом чувстве, то есть своя доля красоты и в этом диком, гортанном, прерывистом завывании, похожем то на плач, то на шум ветра в диком ущелье... Достаточно было взглянуть на бронзовые лица станочников Ат-Давана, чтобы убедиться в присутствии захватывающего и поглощающего душевного движения, царившего в грязной неприветливой юрте.

Молодой станочник пел, остальные слушали, изредка поощряя певца резкими, произвольными короткими восклицаниями. Мы имеем свои песни, записанные, положенные на ноты, в которых более сложное чувство кристаллизовалось в постоянную форму. Дикая тайга, каменные тропинки над Леной, угрюмый и сиротливый Ат-Даван имеют свои песни. Они не записаны, не выработаны, негармоничны и довольно грубы, но зато каждая из них рождается по первому призыву, отзывается, как эолова арфа<sup>1</sup>, своею незаконченною и незакругленною гармонией на каждое дуновение горного ветра, на каждое движение суровой природы, на каждое трепетание бедной впечатлениями жизни... Певец-станочник пел об усилившемся морозе, о том, что Лена стреляет, что лошади забились под утесы, что в камине горит яркий огонь, что они, очередные ямщики, собрались в числе десяти человек, что шестерка коней стоит у коновязей, что Ат-Даван ждет Арабын-тойона, что с севера, от великого города, надвигается гроза и Ат-Даван содрогается и трепещет...

Песенный якутский язык отличается от обиходного приблизительно так же, как наш славянский от нынешнего разговорного. Песенный язык родился где-то далеко, в неведомых глубинах Средней Азии, откуда великое смешение народов бросило жалкий осколок какого-то племени на даль-

---

<sup>1</sup> Э́лова арфа — по мифологическому сказанию, арфа бога ветров Эола. В реальном смысле — натянутые струны, которые мелодично звенят от дуновения ветра.

ний северо-восток. Он сохранил на севере пылкие образы и краски далекого юга... От севера же, от пугливого морозного воздуха, в котором треск льдины вырастает в пушечный выстрел, а падение ничтожного камня гремит как обвал, песня приобрела пугливую наклонность к чудовищным гиперболам, к гигантским, устрашающим преувеличениям. Вот почему, надо думать, якутский Иванушка, бедный сиротина Эр-Соготох, в своих горестных странствиях натывается то и дело на сказочных молодцов, самый меньший из которых обладает икрами в обхват старой лиственницы, а глаза его весят по пяти фунтов.

Я стал в тени, незамеченный, и слушал песню станочника об Арабын-тойоне... Арабин, Арабин!.. Я где-то слышал эту фамилию. Мне стоило значительного усилия отодвинуть от себя сказочную фигуру, и из-за нее в моей памяти выдвинулась другая. В Иркутске, в знакомом доме, я несколько раз встречал — правда, мимолетно — казацкого хорунжего<sup>1</sup> с этой фамилией. Это был человек ничем не выдававшийся, молчаливый, слегка даже застенчивый тою особою застенчивостью, которою отличаются болезненно самолюбивые люди. Я едва заметил его тогда, но потом слышал, что он чем-то обратил на себя внимание тогдашнего генерал-губернатора<sup>2</sup> и что его употребляют для «особых поручений». Неужели это он? Неужели это о нем я слышу теперь по всему пути, — о нем, чье имя едва различалось в иркутской толпе?.. Он уже третий раз пролетает по Лене в качестве курьера, и каждый раз толки о нем долго не смолкают на пустынной реке. На станциях он вел себя как человек, на единичные усилия которого возложено усмирение бунтующего края. Врывался как ураган, бушевал, наводил панический ужас, грозил пистолетом и... забывал всюду платить курьерские прогоны<sup>3</sup>. Вероятно, благодаря этим приемам он исполнял поручения в сроки, удивлявшие самых привычных людей, и начальство отличало его еще более. «Курьер» стало кличкой и чуть не постоянной профессией Арабина. Скромный и застенчивый в Иркутске, он становился совершенно другим, лишь только выезжал из города. Быть искренне убежденным, что *всякая* власть сильнее *всякого* закона, и чувствовать себя целые недели единственным представителем власти на огром-

<sup>1</sup> Хорунжий — первый (низший) офицерский чин в дореволюционных казачьих войсках.

<sup>2</sup> Генерал-губернатор — в дореволюционной России облеченный особыми полномочиями начальник областей, обычно совпадавших с военным округом.

<sup>3</sup> Прогон — деньги, выдававшиеся чиновниками для уплаты за езду на почтовых лошадях по делам службы.

ных пространствах, не встречая нигде ни малейшего сопротивления, — от этого может закружиться голова и по сильнее головы казачьего хорунжего.

И она действительно кружилась. В последний проезд он уже скакал через редкие города (Киренск, Верхоленск и Олекму), стоя в повозке и размахивая над головой красным флагом. В этом было что-то фантастическое: две тройки мчались как птицы, с смертельным ужасом в глазах, ямщик походил на мертвеца, застывшего на облучке с вожжами в руках; седок стоял, сверкал глазами и размахивал флагом... Местные власти покачивали головами, обыватели разбежались. В этот проезд Арабин отметил свой путь таким количеством павших лошадей, воплей и жалоб, прорвавшихся наконец наружу, что почтовое начальство сочло необходимым вмешаться. Забегая вперед, скажу только, что из-за Арабина поссорились два ведомства, что непосредственное начальство курьера вынуждено было все-таки отказать от его услуг, но, снабженный отличными рекомендациями, он перешел на службу еще дальше на восток и там, на Амуре, застрелил, наконец, наповал станционного смотрителя. Тогда об Арабын-тойоне заговорили даже в России, и только тогда узнали, что судить, в сущности, некого, так как знаменитый курьер был уже... вполне сумасшедшим.

Такова дальнейшая история грозного и несчастного Арабын-тойона, ожидаемого в эту ночь на далеком Ат-Даване. Вот о ком скрипела и завывала унылая якутская песня в ямщицкой юрте.

## VI

В станционной комнате Михайло Иванович в одном белье сидел за столом. Кругликов помещался напротив в позе, значительно более свободной, чем прежде. По наивному оживлению, сверкавшему в простодушно-хищных глазах моего спутника, я сразу увидел, что ему удалось уже завязать один из тех разговоров, до которых он был великий охотник. Это были именно разговоры чисто биографического и отчасти стяжательного характера: кто, где и каким образом сумел нажить деньгу. Все подробности наживательских драм имели для него какую-то особенную, обаятельную прелесть. Кругликов давал эти подробности охотно и с объективным спокойствием человека, глядящего на все это со стороны, глазами наблюдателя.

— Так, говоришь, прогорел? — спрашивал Михайло Иванович, наклонясь через стол.

— До основания-с! — ответил Кругликов и подул на

блюдечко с чаем. — Совсем-с, так что, с позволения вашего сказать, в рубашке одной остался, да и та чужая.

— Ах ты, братец мой, какой человек пропал!

— Пропал? Ну, это зачем же-с! Где же этакому человеку пропасть! По здешним-то местам, я говорю, да этакой голове...

— Действительно, шельма естественная. Говоришь, поправился?

— Да еще как поправился!..

— Ну, дела!.. Чем же он взялся-то?

Кругликов поставил блюдечко и загнул палец:

— Первым делом — женится он вторично на вдове с капиталцем. Капитал, положим, ничтожный...

— Постой! Говоришь: женится! А первая-то померла, что ли?

— Живехонька-с! Это ничего не составляет.

— Ай-ай-ай!.. Н-н-ну-с? Что ты, братец, мямлишь, говори далее!

Ну-с, и стал легонечко поторговывать на приисках спиртом.

— Спир-том?.. Ну нет, ноне, брат, на спирту далеко не уедешь. Ноне, брат, на спиртовом-то деле тюрьму себе заработаешь, а богат не станешь. Не прежние времена...

— Ах, нет, позвольте-с, это вы напрасно! Спиртовое дело, оно само по себе, а ежели при этом *пшеничка*...<sup>1</sup>

— Ну, вот это так! Ежели ловкому человеку...

— Этот ловок. Шире-дале, шире-дале, и взошел он в копейку настоящую.

Михайло Иванов хлопнул себя рукой по колену.

— Ах ты, братец мой! Вот голова, так голова... Пей еще! — предложил он радушно, когда г-н Кругликов положил пустой стакан на блюдечко в знак того, что он доволен, но выпьет еще, если его попросят (опрокинуть стакан и положить на него огрызок сахару значило бы отказаться окончательно). — Пей! А что касающее должности, не сомневайся. Определю, будешь доволен. Я, братец, люблю разговорчивых людей. Только уж ты скажи мне по правде-истине: хмелем зашибаешься?

Г-н Кругликов посмотрел ему прямо в глаза ясным взглядом и ответил:

— Пью-с... Пьяницей или, сказать, пропойцей себя не полагаю-с, а пью-с... Но спросите: почему пью? — потому, что нахожусь в горести после прежней благополучной жизни. Вот

---

<sup>1</sup> Золотой песок. «Торговать пшеничкой» — скупать тайным образом подъемное золото у приисковых рабочих. (Примеч. В. Г. Короленко.)







и Иван Александрович — наверно, изволите знать, приски у него богатейшие были — говорит, бывало: «Зачем, Кругликов, пьешь? Тебе бы, при твоём уме, вовсе бы касаться не надо... Почерк имеешь прекрасный, экипирован прилично, сам себя ведешь аккуратно... Тебе бы какое место можно занимать, только не касайся вина!» Так вот нет, сердце не позволяет... «Иван Александрович», — говорю ему...

Г-н Кругликов заволновался. По-видимому, он забыл, кому и по какому поводу он делал эти излияния, и, ударив себя в грудь, продолжал:

— «Иван Александрович, благодетель, не суди! Господи! Да я бы смолу — понимаешь ты? — с-смолу бы кипящую пил, ежели бы мог иной раз себе облегчение получить — забвение горести!» Смолу-у!.. Боже мой, создатель! За что ты судьбу мою в эту гиблущую сторону закинул?.. Хлеба пуд — четыре с полтиной, говядина — восемь рублей! Ни покою, ни пищи...

— Это верно, — поддержал Михайло Иванович, — корма-то здесь дороги, нечего говорить.

— Эх, нет, не то! — с тоской заговорил вдруг маленький писарь, и эта тоска глубоко щемящею нотой прорвалась в его голосе, промелькнула в лице, изменила всю несколько комичную его фигуру. — Не то-с... Сердце закипает во мне, размышление одолевает...

— Задумываешься? — перебил Михайло Иванович с каким-то пугливым участием.

— Бывает! — угрюмо сознался Кругликов.

— Ах, братец! Ты как-нибудь тово... брось... Самое это плохое дело. У меня, брат, смолу тоже было; насилиу отец-покойник выгнал. После женитьбы и то еще, бывало, нет-нет да и засосет... На свет не глядел бы от мыслей этих... Последнее дело!

— Чего хуже! Поверите, иной раз ночью проснешься, опомнишься: «А где-то ты рожден, Василий Спиридонов, в коих местах юность свою провел?.. А ныне где жизнь влачишь?..» Морозище трещит за стеной или вьюга воеет... к окну — а в окне слепая льдина... Отойдешь — и сейчас к шкапу. Наливаю, пью...

— Легче?

— В голову ударит, ну и омрачит отчасти... Затуманит, потому — настойка у меня... Водка настоена крепчайшая... А настоящего облегчения не вижу.

— Вот оно дело какое! И верно, что лучше бросить... Займись делом, оно, брат, тоже по голове-то ударит не хуже настойки... А скажи ты мне вот что: за что тебя сюда-то уперли?

Этот вопрос, предложенный с такою грубою внезапностью, прошел еще раз по всей фигуре г-на Кругликова, и еще раз она преобразилась, теряя в моих глазах прежний оттенок комизма. Казалось, какая-то искра пробивается из-под давно потухшего, но еще не остывшего вполне пепелища.

Он как-то подернулся, потупился, и его голос, когда он спросил позволения налить себе рюмку, стал глуше.

— Дозволите?

— Угощайся!

Он налил, осмотрел рюмку на свет, как будто ища там ответа на мучительный вопрос, выпил ее залпом и сказал:

— За любовь-с.

Михайло Иванович разинул рот от удивления. Я должен сказать, что заявление г-на Кругликова, высказанное с такою краткою решительностью, было так неожиданно, что заставило и меня взглянуть на него с удивлением. Кругликов, казалось, и сам понимал, что своими словами произвел значительную сенсацию.

— Да говори ты, братец, толком! — сказал наконец Михайло Иванович с досадой.

— Что ж, я правду говорю, — ответил Кругликов, — так как, собственно, из любви к одной девице в начальника своего, статского советника<sup>1</sup> Латкина, дважды из пистолета палил.

Это было уже слишком.

Михайло Иванович окаменел и смотрел на своего собеседника какими-то бессмысленными, мутными глазами. Он походил на путника, который, побеседовав часа два с самым любезным, хотя и случайно встреченным попутчиком и совершенно очарованный его прекрасными качествами, вдруг узнает, что перед ним не кто другой, как *celebrissime*<sup>2</sup> Ринальдо-Ринальдини<sup>3</sup>.

— Из пистолета? — протянул он растерянно. — Как же это так? Да ты верно ли говоришь: из пистолета?

— Так точно-с. Пистолет настоящий.

— Палил?

— Два раза.

— Да ведь это, братец ты мой, такое дело, такое... самое, сказать тебе, политическое...

— Что тут поделаете! Судите меня как знаете... Любовь-с.

---

<sup>1</sup> Стáтский советник — гражданский чин пятого класса, последний перед генеральским в гражданской службе.

<sup>2</sup> Прославленный (лат.).

<sup>3</sup> Ринальдо-Ринальдини — легендарный разбойник, герой одноименного романа немецкого писателя Вульпиуса (1762—1827).

— Да вы расскажите, Василий Спиридонович, как эта вся история вышла... — обратился я к г-ну Кругликову.

— Да, — поддержал мою просьбу и Копыленков, — что ж, братец, расскажи, расскажи, ничего! Что уж тут... Удивительно!

## VII

Г-н Кругликов, отхлебнув последний глоток чаю, опрокинул стакан, положил на донышко кусок сахара и отодвинул все это от себя. После этих приготовлений налил себе рюмку и опять посмотрел на свет. Я сожалел в эту минуту, что я не живописец и не могу изобразить сложных ощущений, совместившихся на оригинальном лице ат-даванского стационарного писаря, освещенном оплывшими сальными свечами. Круглый облик, пепельные, аккуратно причесанные волосы с чем-то вроде кока впереди, подстриженные котлетками бакенбарды и бритый подбородок. В серых глазах, внимательно глядевших рюмку на свет, можно было бы прочесть и предвкушаемое удовольствие, и тщеславную гордость заинтересовавшего слушателей рассказчика, и искреннюю горечь разбитой жизни и жгучих воспоминаний. Он, запрокинув голову, выцедил рюмку коньяку, поставил ее на стол, обтер губы истрепанным фуляровым<sup>1</sup> платком и обратился к рассказу:

— Моя биография жизни, почтенные господа, очень печальная... Чувствительный человек может окончательно все понимать, а другие смеются-с... Впрочем, это все равно-с...

Он горько улыбнулся, все еще несколько рисуясь, и затем спросил:

— Не случилось ли кому из вас, почтенные господа, бывать в Кронштадте?

— Это где? — спросил Копыленков.

— Вблизи Петербурга, часа два паровой езды-с, портовый город.

— Я бывал, — сорвалось у меня.

— Бывали-с? В самом Кронштадте-с?

Кругликов живо повернулся ко мне, и глаза его сверкнули оживлением.

— Да, бывал и даже жил несколько месяцев.

— Великолепный город! Порт, крепость, твердыня-с, оплот, окно в Европу-с... Превосходный город, уголок Санкт-Петербурга!

— Да, город хороший.

---

<sup>1</sup> Ф у л я р — шелковая ткань.

— Ах, как можно, как можно! Этакого другого города... да где вы найдете? Помилуйте. А правда ли-с, что теперь, говорил мне как-то проезжий офицер, на Екатерининской улице чугунная мостовая положена?

— Верно.

— Красота, должно быть!.. А пристани-с, Купеческая стенка, форт Павел, форт Константин...

Он увлекался. Моя мысль тоже как-то мгновенно перенеслась с угрюмой Лены в Кронштадт, где я провел несколько радостных месяцев еще студентом... Меня, как и Кругликова, охватили воспоминания: плескала морская волна, сливающаяся с невскою, свистел пароход, длинная дамба гудела под копытами извозчичьих лошадей, везущих публику с только что приставшего парохода, сновали катера, баркасы, дымилась пароходы... Белые ялики с стройно взмахивающими веслами, грузные броненосцы, шпиц немецкой кирки, улицы, перерезанные каналами доков, где среди зданий, точно киты, неведомо как попавшие в средину города, стоят огромные морские громады с толстыми мачтами, каменные дома, бульвары, казармы, блеск и роскошь уголка столицы... И опять — лес мачт в синем небе, Купеческая гавань, отлогая коса и шум морского прибоя... Синяя даль, сверкающие гребни волн и грузные форты, выступившие далеко в море... Облака, чайки с белыми крыльями, легкий катер с сильно наклонившимся парусом, тяжелая чухонская лайба<sup>1</sup>, со скрипом и стоном режущая волну, и дымок парохода там, далеко, из-за Толбухина маяка, уходящего в синюю западную даль... в Европу!..

Иллюзию нарушил, во-первых, новый выстрел замерзшей реки. Должно быть, мороз принимался к ночи не на шутку. Звук был так силен, что ясно слышался сквозь стены станционной избушки, хотя и смягченный. Казалось, будто какая-то чудовищная птица летит со страшной быстротой над рекою и стонет... Стон приближается, растет, проносится мимо и с слабеющими взмахами гигантских крыльев замирает вдали.

Копыленков нервно вздрогнул и затем, как это часто бывает после испуга, с досадой накинудся на Кругликова.

— Ну так что же, — сказал он нетерпеливо, — родом ты, что ли, из этого самого городу? Начал, так уж говори толком, не мямли!

— Да-с, родом, — отрезал Кругликов с гордостью. — На Сайдашной улице и свет увидел. Сайдашную изволите знать? У отца моего в этой улице собственный дом находился,

---

<sup>1</sup> Л а й б а (финск.) — большая лодка с палубой и мачтами.

может, стоит еще и поныне. А родитель мой, надо сказать, хотя и из ластовых<sup>1</sup> был, но место имел доходное и, понятное дело, сыну тоже дал порядочного ходу. Образованием не очень увлекался, ограничиваясь начатками грамоты и почерком, но, как и сам я был молодой человек аккуратный, по службе исполнительен и у начальства несколько на виду по причине родителя, то и стоял я, могу сказать, на лучшей линии... Да-с, по началу судьбы моей не того можно было ожидать, чем я ныне постигнут. Ясное утро и печальный закат-с...

— Не ропщи! — наставительно произнес Копыленков.

— Ну-с, итак... сказал я вам, милостивые мои государи, что у родителя был собственный дом на Сайдашной улице. А в этой же улице, насупротив, несколько этак наискосок, проживал товарищ моего отца, тоже из ластовых, и по выслуге занимал место и еще того доходнее...

— А какое? — не вытерпел Михайло Иванович.

— В порту, где происходят ремонт и постройка морского флота судов. Оклады тогда шли не очень чтобы сказать большие, но сторонний доход по тому времени выпадал обильно — просто было! Можете судить по тому, что с должности редкий день уходили, не обмотавшись...

— То есть это что же, насчет чего?.. — недоумевающе спросил Копыленков, для которого, как знатока по части самых разнообразных доходов, эта форма оказалась непонятной.

— Это, видите, в чем состоит. Судно морского флота не то что ваши паузки<sup>2</sup>. Наружность само собой, крепление там, ванты<sup>3</sup>, рангоут<sup>4</sup> и прочее, но еще внутренняя отделка требует материалу дорогого и тонкого. Великолепие, блеск и даже, можно сказать, комфорт... Ну-с, так вот, в материальных складах материй этих — лионского бархату, аглицких разных шелков — горы... Теперь представьте: надо ему уходить с должности домой; снимает он сюртук, берет кусок шелковой материи, обернет вокруг корпуса, опять одевается, уходит. Пришел домой, разматывает его жена, как катушку какую, — вот и приобрел!

— Важная штука!.. Только как же их там не щупают, на выходе-то?

— Как можно! Рабочих, конечно, обыскивают у ворот, а с господами и обращение другое, на доверчивом начале.

---

<sup>1</sup> Л а с т о в ы е — моряки небольших судов, курсировавших в порту.

<sup>2</sup> П а у з к и — небольшие речные суда.

<sup>3</sup> В а н т ы — канаты, служащие для укрепления мачт.

<sup>4</sup> Р а н г о у т — оснастка парусного судна, служащая для установки парусов.

— Ничего, можно дела делать... Только надо умному быть. Ежели на жадного человека, который не знает меры, — живо пропасть можно. Все-таки ведь казна!

— Будьте добры, продолжайте, — в свою очередь перебил я, видя, что теперь увлекается уж Копыленков.

— Да-с, конечно, дело не в этом. А что просто было — это верно. Просто, просто, а только что просвещения было в нашем кругу мало, а дикости много... Из-за этого я и крест теперь несу. Видите ли, была у этого папашина товарища дочка, на два года меня моложе, по восемнадцатому году, красавица! И умна... Отец в ней души не чаял, и даже ходил к ней студент — обучением занимался. Сама напросилась — ну а отец любимому детищу не перечил. Подвернулся студент, человек умный, учёный, и цену взял недорогою — учи!

— Напрасно, — сказал вскользь Копыленков. — Баловство! Женскому полу это ни к чему...

— Ну-с, а я был той девице, Раисе Павловне, нареченный жених. Родители наши приятели были, мы почти что и выросли вместе, и задумали отцы между собою так, чтобы непременно меня на ней женить. И мы, с своей стороны, имели друг к другу чувствительное расположение. Сначала-то, знаете, дружба, играем, бывало, вместе, а потом уж и серьезно. От родителей препятствия не видели и имели постоянно друг с дружкой обращение.

— Грех вышел? — забежал вперед Михайло Иванович.

— Никакого греха! — отрезал Кругликов холодно. — И в мыслях не было — оба младенцы чистые. Рая до чтения была охотница, так вот в этом больше и время проводили. Сначала Гуаки там, рыцари разные, Францыль Венецыян — чувствительные истории!. Пустяки, конечно, а нравилось: маркграфиня, например, бранденбургская, принцесса баварская, и при всем этом свирепый сераскир...<sup>1</sup> Все такое-такое... Возвышенные персоны-с, и все насчет любви и верности упражняются и претерпевают приключения... Конечно, головы молодые! У меня все-таки служба, а она управится по домашности, как минута свободная — сейчас в комнате своей с ногами на диванчик, в платочек завернется и читает. Под вечер я с должности вернусь — гулять идем, под ручку-с. В Кронштадте, известно, какое гулянье: на крепост-

<sup>1</sup> Гуаки, Францыль Венецыян, маркграфиня бранденбургская, принцесса баварская, свирепый сераскир — действующие лица популярных в свое время рыцарских романов и повестей: «Гуак, или Непреоборимая верность», «История о храбром рыцаре Францыле Венециане и о прекрасной королеве Ренцьвене», «Повесть о приключении английского милорда Георга и о бранденбургской маркграфине Лвизе». Сераскир (*тур.*) — в старину турецкий военачальник.



той вал, на Купеческую стенку, бывало, ходим, на море смотрим... Она мне рассказывает, что за день-то прочитала. Говорит-говорит, потом и задумается.

«Вот, Васенька, говорит, какие на свете бывали любовники... Вот бы и нам с тобой этак же. Можешь ли ты в испытании, например, верность сохранить?.. Вдруг бы ко мне какой-нибудь свирепый сераскир присватался?»

Ну, я, конечно, с своей стороны:

«Могу-то я могу, да только ведь нам, говорю, не к чему, если нас хоть завтра по родительскому приказу в соборе обвенчают...»

Смеюсь, конечно, потому что каждый день в канцелярию хожу, так и то обращение в свете имею, а она — дитё.

«Видишь, говорит, вон у маяка парусок бежит?»

«Вижу, бриг из-за границы идет.»

«А что, говорит, может, на этом корабле пират едет; кинется вдруг, город спалит, тебе копьём грудь пронзит, меня в плен...»

Задрожит сама, испугается, жметя ко мне. Ну, я ее опять успокою:

«Что ты, бог с тобой! Это бриг идет голландский или там английскй, с хлопком. Мало ли их, эгличей<sup>1</sup> этих, и сейчас по улицам ходит. Конечно, буянят иной раз, так ведь и в участок недолго.»

«Да, — говорит и Рая, — наша жизнь есть совсем другая... Вот и студент, Дмитрий Орестович, тоже все смеется... А мне, говорит, что-то скучно...» И вздохнет.

Ну, подошло время уже и о свадьбе думать. Начали отцы о приданом поговаривать. Вот раз мой отец и говорит: «Женить так женить, нечего откладывать! Я, говорит, своему даю шесть тысяч, ты сколько?»

«И я, — Раин родитель отвечает, — столько же, вместе составитя двенадцать — куда им больше?»

«Нет, — мой опять говорит, — не так! Сам подумай: мой Вася может время от времени в чины взойти, а твоя дочь какая есть, такая и останется, только что стареть будет. Тебе бы по-настоящему и десять тысяч дать не обидно...»

Слово за слово — заспорили. Тот человек горячий, а уже моего-то родителя будто муха укусила: укрепился на своем, и только. Гвоздит одно, не спускает ни копейки. Ну, тот, разумеется, осердился...

«Когда так, говорит, когда ты своего щенка над моей Раичкой на целые четыре тысячи превознес, так не надо

---

<sup>1</sup> Э г л и ч — искаженное «англичанин».

ничего! За генерала дочку отдам, не твоему пашенку<sup>1</sup> чета!»

— Нашла, значит, коса на камень, — засмеялся Копыленков.

Кругликов взглянул на него с каким-то удивлением, как будто не расслышал, и продолжал:

— Ох-хо-хо! Так-то вот из пустяков началось. Надо же вам сказать, что начальник наш действительно на Раю начал умильным оком поглядывать. Он хотя, скажем, не полный генерал был, да мы-то в правлении всегда его вашим превосходительством звали. Сам приказал: «Для чужих я, говорит, может, и меньше полковника, а своим подчиненным я бог и царь!»

— А что ты думаешь?.. И верно! — опять вставил Копыленков. — До бога высоко, до царя далеко, а он тебя тут завсегда ухватит... Это он правильно!

— В летах он был преклонных, бездетный вдовец, и заметьте, сколько ни сватал из равных себе, никто за него не отдавал: наружности был самой скаредной... Ну и пала ему на глаз моя Раичка. Разумеется, она и не знала, тем более что я уж считался женихом. Из себя — дело прошлое — был хорош, росту хоть небольшого, да лицом приятен, усики там, волосы всегда напомажены и щегольнуть любил... Да и отец-то ее сначала все-таки жалел единственную дочку. А тут как забрало его за живое, встал на дыбы, захрапел и сейчас мне от дому отказ, как шест, а генералу надежду подал... О-ох! И стала у нас в Сайдашной улице генеральская карета прокатываться...

Глаза Кругликова стали влажны, искра из-под пепла пробилась ярнее. К сожалению, он тотчас же залил ее новой рюмкой водки. Рука, подносящая рюмку, сильно дрожала, водка плескалась и капала на пикейную жилетку.

— А там и чаще! Пешком уж стал захаживать и подарки носить. А уж я-то на порог сунуться не смею: вдруг я туда, а генерал там сидит... Убиваюсь... Вот однажды иду с должности мимо одного дома, где студент этот, учитель, квартировал, — жил он во флигелечке, книгу сочинял да чучелы делал. Только, гляжу, сидит на крылечке, трубочку сосет. И теперь, рассказывают, в цинах уже больших по своей части, а все трубки этой из рта не выпускает... Станный, конечно, народ ученые люди...

Кругликов улыбнулся тихой улыбкой, встал, пошарил в какой-то шкатулке в своей темной клетушке и вынес старую книгу.

— Вот, — сказал он, — посмотрите...

---

<sup>1</sup> П а ш е н о к — щенок, молокосос.

Я взглянул, и на меня пахнуло давно прошедшим. Книга была издания 60-х годов, полуспециального содержания, по естествознанию. Она целиком принадлежала тому общественному настроению, когда молодое у нас изучение природы гордо выступало на завоевание мира. Мир остался незавоеванным, но из-под схлынувшей свежей волны взросло все-таки много побегов. Между прочим, движение это дало нам немало славных имен. Одно из этих имен, хотя, быть может, и не из первых рядов, стояло на обложке книги.

— Они-с, Дмитрий Орестович, сочинили, — сказал Кругликов, тщательно завертывая книгу в какой-то почтовый бланк. Очевидно, он хранил ее с гордостью, как одно из своих самых лестных воспоминаний о невозвратном прошлом.

Да, так иду мимо него, слышу, окликает: «Эй вы, господин Венецыян, подите-ка сюда!»

Подошел я: вижу, что меня зовет... Шутник был.

«Что вам угодно-с?»

«Что вы это, говорит, маркграфиню-то бранденбургскую совсем, что ли, бросили? Ведь убивается... — Посмотрел на меня этак с головы до ног... — И то, говорит, как об этаким храбром рыцаре не убиваться...»

Вижу я, что это насмешка, а все-таки человек он был души добрейшей. Рая тоже сначала очень его боялась, потому что все больше смешком да срывом, а после очень хвалила. Я не обижаюсь и говорю ему:

«Что мне делать, Дмитрий Орестович, научите!»

«А вы, говорит, не знаете?»

«То-то, не знаю».

«Ну так и я тоже не знаю... А все-таки должен вам передать, что Раиса Павловна ждет вас сегодня в сумерки у себя. Отца не будет, свирепый сераскир тоже в Тамбов уехал. Прощайте!»

«Посоветуйте, Дмитрий Орестович, как мне быть!»

«Ну нет, говорит, я вам в этом деле не советчик. Я вот советовал Раисе Павловне, чтоб она бросила за окно всех сераскиров, да и Венецыяна одного кстати туда же... Не слушает; а вам что и советовать...»

Грустно мне тогда, признаться, сделалось. «Что, думаю, ему в самом-то деле надо мною смеяться? Чем же я хуже других-прочих женихов, только что вот несчастлив: невеста моя начальнику приглянулась. Так опять это вина не моя». Ну, потом вспомнил, что идти вечером с Раей повидаться, и повеселел.

В сумерки пробрался к ней... Кинулась мне Раиса Павловна на шею и заплакала. Посмотрел я на нее, не узнал. И та — и не та. Побледнела, осунулась, глаза большие,

смотрит совсем по-иному. А красота... неописанная! Стукнуло у меня сердце-то. Не моя это Раинька, другая девица какая-то. А обнимает: «Вася, говорит, ми...лый, же...ланый, говорит, пришел, не за...был, не... бр...»

Внезапно прилив слез подступил к глазам Кругликова, горло его сжалось спазмами. Он встал, отошел к стене и простоял несколько времени лицом к какому-то почтовому объявлению.

Взглянув на Михаила Ивановича, я с великим изумлением заметил, что и без того рыхлые черты этого не особенно сентиментального человека тоже как-то размякли, распустились и глаза усиленно моргали.

— Что уж это, — произнес он растроганно, — до чего чувствительная, право, история!.. Ну-ка ты, бедняга, чебурахни стаканчик! Ничего, брат, что делать! Жизнь наша, братец, юдоль...<sup>1</sup>

Кругликов стыдливо подошел, налил, выпил и обтер лицо фуляром.

— Простите, господа почтенные, не могу... В последний раз я тогда Раичку свою обнимал. С этих пор уже она для меня Раиса Павловна стала, рукой не достать... воспомина-ние и святыня-с... Недостоин...

— Ну, ну, — защищался Копыленков от нового припадка чувствительности, — ты уж, братец, как-нибудь того, как-нибудь досказывай, дальше. Что уже тут...

— Ну, просидели мы вечер этот. Раиса Павловна повеселела маленько.

«Полно, говорит, кого это мы, в самом деле, хороним. Ничего! Укрепляйся, Васенька! Видно, и наше время настало. Помнишь ли, говорит, наш разговор на валу? Вот оно по-моему и вышло: свирепый-то сераскир — ведь это, говорит, сам Латкин и есть».

И засмеялась, а за нею я... Часто это у нас бывало: она как солнышко из-за тучи просветлеет — ну и я, на нее глядя...

«Смотри, говорит, Васенька, укрепись; покажем, какая может быть наша любовь; ты только не сдавайся, а уж я-то не сдамся. Погоди, какую я вещь наемни купила...»

Вынимает из комода пистолетик. Так, небольшая штучка, ну, да ведь все-таки оружие огнестрельное, не шутка. У меня даже в пятки вступило... Вот под конец вечера я эту штучку-то у нее из стола взял да тихончко в пальто, в карман боковой, и спрятал... Спрятал, да так и забыл, да и она-то не хватилась... Сам на следующий день иду к родителю. Сидел он у себя, чертежи делал, судно они новое строили... Увидел

<sup>1</sup> Ю д о л ь — жребий, участь.

меня, повернулся, в глаза не смотрит... Э-эх! Чужая ведь, что сына губит из-за гордости своей... Да, видно, судьба!..

«Что, говорит, надо?»

Я в ноги. Куда тут! И слушать не хочет. Встал я тогда и говорю:

«Ну, когда так, то я нахожусь в совершенных моих летах. Женюсь без приданого».

А родитель у меня, надо заметить, хладнокровен был. Шею имел покойник короткую, и доктора сказали, что может ему от волнения крови произойти внезапная кончина. Поэтому кричать там или ругаться шибко не любили. Только, бывало, лицо нальется, а голос и не дрогнет.

«Вот, говорит, что: дурак ты, Васька, право, дурак! Говоришь, а не сделаешь... А я скажу, так уж будет по-моему. Помни это: при твоих совершенных летах я тебя отдеру, как сидорову козу...».

«Не может быть, говорю, я чиновник».

«Не веришь? Ладно».

Отворил окно, поманил пальцем... Жили у нас во дворе, во флигелечке, два брата — бомбардиры<sup>1</sup> отставные, здоровенные, подлецы, усищи у каждого по аршину, морды красные... Сапожничали: где починить, где подметку подкинуть, где и новую пару сшить, а более насчет пьянства. Вошли в комнату, стали у косяков, только усами водят как тараканы: не перепадет ли? Отец подносит по рюмочке.

«Вот, говорит, вам, господа бомбардиры, шнапсу<sup>2</sup> на первый раз. Посмотрите вот на этого молодца хорошенько. Можете ли вы его моей родительской рукой высечь?..»

Посмотрел тут младший бомбардир на старшего, а тот отвечает:

«Родительской рукой завсегда можно — закон дозволяет».

«Ну, имейте в виду на будущее время. Как сигнал выкину — сейчас вы, говорит, его на буксир, клади в дрейф, грузи с кормовой части!.. Ну, ступайте все трое!»

Прихожу после того на службу, а там говорят: начальник звал. Вхожу. Сидит на кресле один в кабинете, искоса на меня смотрит, пальцами по столу этак барабанит, молчит. Потом повернулся, поманил к себе ближе, опять на меня смотрит.

«Вы, говорит, что это... мечтаете?»

«Помилуйте, отвечаю, ваше превосходительство, кажется, со всем усердием служу и ничуть не мечтаю. Смею ли я?..»

«Нет, говорит, я не превосходительство вовсе... Не стесняйтесь, молодой человек. Нынче это, говорит, в моде-с.

<sup>1</sup> Б о м б а р д и р — солдатский чин в артиллерии.

<sup>2</sup> Ш н а п с (нем.) — выпивка, водка.

Такие времена, что начальство нипочем! Вы, кажется, имеете намерение жениться?»

«Это, говорю, ваше превосходительство, в моем возрасте и притом с дозволения начальства дело законное».

«Так, так... А кого имеете в виду?»

Замаялся я. Погрозил он пальцем и говорит:

«Вот видишь, Кругликов, совесть у тебя против начальства не чиста — небось замаялся... Ну, брось, забудь об этой девице думать, отринь, говорит, всякое помышление — лучше тебя жених найдется. Ступай!»

Вышел я из кабинета, слезы у меня так и текут. В канцелярии и то удивляются. Должно быть, говорят, ведомости перепутал. А уж какие тут ведомости — свет мне не мил: тут — начальник, домой придешь — бомбардиры выбегают из флигеля, на окно к отцу смотрят, нет ли сигналу... Просто некуда стало податься, и что мне делать, не знаю, потому что выходу себе не вижу. Извожусь... Отец уж сам стал замечать и бомбардирам запретил меня тревожить. Выскочили они раз за сигнал, так я весь задрожал, рухнулся оземь, изо рта пена пошла. Ну, отец видит, что испортил меня тиранством, велел оставить, подумывать стал, сделался осторожнее. А гордость-то все-таки осталась... Царствие небесное! Пока жив был, не оставлял меня. Писал три раза в год и деньги сюда посылал. Перед смертью письмом прислал: «Простишь ли, сын мой, что я тебя несчастным сделал?..» Бог простит, конечно. Меня-то вот... меня-то никто не простил...

— Ну? — прервал опять Копыленков тяжелое, хотя и недолгое молчание.

И Кругликов продолжал рассказ:

Враг-то мой видит, что я ослаб, тут и вздумал насесть. Через неделю этак или маленько поболее зовут меня к начальнику. Встречает серьезно.

«Одевайся! Помни, говорит, Кругликов, что мне нужны подчиненные, которые бы со всею преданностью... А кто, говорит, не предан, такие терпимы быть не могут...»

— Понятное дело! — одобрил эту сентенцию Копыленков.

Кругликов опять пропустил это замечание мимо ушей и продолжал:

— Ну, сели мы... сели-с и поехали... А куда именно поехали, так этого я, милостивые мои господа, и подумать не мог... В Сайдашнюю улицу, к Раисе Павловне...

— Зачем? — невольно вырвалось у меня.

Кругликов посмотрел на меня с выражением, в котором смешивалась старая печаль и тщеславие.

— Сватом-с, — ответил он не без гордости.

— Бог знает, что вы это рассказываете нам, Василий Спиридонович!

— Нет, не бог знает что-с, а истинную правду... Потому что, видите ли-с... Раиса Павловна пожелала. «Если же, говорит, вы можете так утверждать, что он от меня отступился, то присылайте его сватом...»

— Ну и девка же... Ах, бедовая! — не выдержал опять Копыленков.

— И вы пошли? — спросил я с невольной укоризной.

— Да ведь повез... — застенчиво ответил рассказчик и затем с внезапною резкостью повернулся к Копыленкову: — А вы, милостивый государь, не можете ничего понимать! Замечания делаете, а понятия чувств не имеете-с.

— Очень нужно еще и понимать-то тебя, — отразил неожиданную атаку озадаченный купец.

— Ну и м-м-малчи-те-с, — отрезал Кругликов каким-то скрипучим голосом и опять повернулся ко мне: — Да, милостивый государь... Как изволите справедливо говорить-с, я и поехал... по-е-хал-с... После тоже везли меня для объявления приговора... называется публичная казнь, на площади-с... А было мне все-таки легче. Верьте мне, легче было... А все-таки поехал-с. Люди видели, как мы оба в Сайдашной улице выходили из кареты. Генерал были сумрачны, а уж на мне-то и лица не было... Да!.. И все-таки поехал-с, милостивый государь! Судите об этом, как ваше понятие дозволяет, а поехал-с... Что делать!.. Только входим мы в переднюю, а на встречу как раз Дмитрий Орестович, студент. Увидел нас, остановился, поглядел на меня и говорит: «Ну, так и знал. Хорошо, нечего сказать, принц венецианский... И свирепый сераскир тут же», — это про генерала.

Кругликов вздохнул и улыбнулся.

— Резкий человек был, бесстрашной породы. Генерал так даже позеленел и говорит ему: «Я вам, молодой человек, не сераскир! Не сераскир-с, а государя моего статский советник! Прошу не забывать-с...» Дмитрий Орестович повели этак плечом и говорят: «Ну, там какой бы ни было, а что напрасно беспокоитесь, это верно». И вышел, а генерал повернулся ко мне: «Помни, говорит, ты это: никогда я тебе этого не забуду, ни-когда-с...» Вот, милостивые господа, какова правда на свете... Студент нагрубил, а Кругликов отвечай!..

Однако между тем прошли мы гостиную, входим к Раисе Павловне... Сидит моя Рая, генеральская невеста, глаза наплаканные, большие, прямо так на меня и уставились... Опустил я глаза... Неужто, думаю, это она, моя Раинька? Нет, не она, или вот на горе стоит, на какой-нибудь высочайшей... Ну, стал я у порога, а генерал к ручке подошел. «Вот,

говорит, вы, королева моя, сомневались, а он и приехал!..»

Приподнялась она, оперлась руками на столик, глядит на меня, будто узнать не может. Генерал тоже повернулся, смотрят оба, а я... стою в Раиной комнате... у порога-с.

«Васенька...» — хотела, видно, сказать что-то, потом откинулась на кушетку и засмеялась...

«А что, говорит, можете вы его в лакеи к себе определить?» Генерал и обрадовался:

«Могу, говорит, если вы, моя королева, пожелаете...»

«Что ж, говорит, возьмите, только жалованьем, говорит, не обижайте...»

У г-на Кругликова что-то вдруг сдавило горло. Он опустил голову, скрывая от нас лицо, и в комнате водворилось молчание. Даже Копыленков только глядел на писаря широко открытыми, как будто удивленными глазами, не смея нарушить тишину, наполненную тяжким сознанием глубокого человеческого унижения...

Наконец Кругликов перевел дух и посмотрел на меня каким-то свинцовым, тусклым взглядом.

— Вот тут-то, — сказал он с расстановкой, — вот в эту самую минуту, в меня, милостивый государь, и вступило. Точно я ото сна очнулся. Гляжу: комната знакомая, будто сейчас еще мы в ней, с Раичкой, вечером сидели. На кушетке сидит сама она, лицо закрыла, перед ней генерал семенит, а рядом столик открытый... И вспомнилось мне вдруг, как я оттуда пистолетик вынул. Да ведь он, думаю, и теперь в пальто у меня в кармане лежит... Повернулся тихонечко, вышел в переднюю. Пистолетик в боковом кармане прикорнул, будто вот дожидается. Вынул я его и, помню, даже засмеялся.

Пошел опять назад, тороплюсь, как бы, думаю, генерал-то лицом к двери не повернулся... Повернись он, кажись, ничего бы этого не было. Да нет, Раиса Павловна плачут, лицо закрыли, генерал руки от лица отымают. Вошел я, Раиса Павловна отняла руку, взглянула да так и замерла. А я... ступил два шага... только бы, думаю, не повернулся... И раз-раз в него... сзади...

— Убил? — в ужасе приподнялся Копыленков.

— Нет, не убил, — с вздохом облегчения, как будто весь рассказ лежал на нем тяжелым бременем, произнес Кругликов. — По великой ко мне милости господней, выстрелы-то оказались слабые и притом в мягкие части-с... Упал он, конечно, закричал, забарахтался, завизжал... Раиса к нему кинулась, потом видит, что он живой, только ранен, и отошла. Хотела ко мне подойти... «Васенька, говорит, бедный... Что ты наделал?.. — потом от меня... кинулась в кресло и заплака-



ла. — Господи, говорит, сзади... подкрался... какая низость... Уйдите, говорит, оба, оставьте меня...» И все пуще да пуще плачет, и смеется... Истерика! А тут и люди сбежались. Ну, дальше-то известно что: арестовали.

— Ну, выпьем! — сказал Копыленков. — Все, что ли? Очень уж страшно. Ах, братец ты мой! И отчаянные же вы, право, отчаянные!.. Как это вы можете только...

— Сужден старым судом<sup>1</sup>, без снисхождения. Может быть, теперь бы... муку бы мою во внимание взяли, что я был человек измученный... А тогда всякая вина виновата. Услали. Отец в год постарел на десять лет, осунулся, здоровьем ослаб, места лишился, а я вот тут пропадаю.

— А Раиса Павловна?

Г-н Кругликов встал, вошел в свою каморку, снял со стены какой-то портрет в вычурной рамке, сделанной с очевидно нарочитым старанием каким-нибудь искусным поселенцем, и принес его к нам. На портрете, значительно уже выцветшем от времени, я увидел группу: красивая молодая женщина, мужчина с резкими, характерными чертами лица, с умным взглядом серых глаз, в очках и двое детей.

— Неужели это...

— Они-с, — сказал Кругликов почтительно. — Раиса Павловна. А это их супруг, Дмитрий Орестович. Не забывают. К Новому году жду письма-с. И портрет этот прислали по униженной моей просьбе, да и.. деньгами когда... то же самое...

Он говорил почтительно, как будто это была не та Рая, с которой он некогда читал о королевнах Ренцевенах и Францьях Венецианских. Только когда он указывал на старшую девочку, тоненькую, светловолосую, с большими мечтательными глазами, то голос его опять слегка дрогнул.

— Похожа... две капли воды Раиса Павловна девочкой-с.

Он быстро взял портрет, к которому потянулся было заинтересованный Копыленков, унес в свою комнату и долго стоял там у стены, как прежде перед почтовым объявлением.

Вся фигура в кургузом пиджачке нервно вздрагивала...

## VIII

После этого никакие уже разговоры не клеились. Сторож принес в печку дров, в ямщицкой юрте огромный камелек тоже весь заставили дровами, так как огонь разводится на всю ночь. Пламя разгорелось и трещало. В приоткрытую

---

<sup>1</sup> Старый суд — имеется в виду суд до судебной реформы 1864 года.

дверь все еще виднелись у огня фигуры ямщиков, лежавших вокруг камелька на скамьях.

Ат-Даван успокоился на ночь.

Г-н Кругликов отвел нам соседнюю комнату, где Копыленков тотчас же заснул. Станционная комната осталась незанятой.

— Для Арабина? — спросил я.

— Да, — как-то особенно угрюмо ответил Кругликов.

Женщина, прислуживавшая нам, вероятно, давно спала; поэтому г-н Кругликов хлопотал сам: он накидал в самовар мелкого льду, бросил углей и поставил его, на случай, у камелька. Потом принялся убирать со стола, причем не преминул, уставляя бутылки, выпить еще рюмку какого-то напитка. Он становился все более мрачен, но, казалось, сон совсем не имел над ним власти.

Наконец на Ат-Даване все смолкло. Только по временам снаружи трещал мороз да в потемневших комнатах, по которым пробегали только трепетные красноватые отблески пламени, слышались глухие шаги и шлепание валенок, а порой тихо звенела рюмка и булькала наливаемая жидкость. Г-н Кругликов, которому расшевелившиеся воспоминания, по-видимому, не давали заснуть, как-то тоскливо совался по станции, вздыхал, молился или ворчал что-то про себя.

Я забылся...

. . . . .

Когда я очнулся, была все еще глухая ночь, но Ат-Даван весь опять жил, сиял и двигался. Со двора несся звон, хлопали двери, бегали ямщики, фыркали и стучали копытами по скрипучему снегу быстро проводимые под стенами лошади, тревожно звенели дуги с колокольцами, и все это каким-то шумным потоком стремилось со станции к реке.

В соседней комнате г-н Кругликов не торопясь зажигал свечи; серная спичка сначала кинула синеватый, мертвенный свет, потом вдруг загорелась и осветила комнату.

Г-н Кругликов поднес ее к светильне, зажег свечу и повернулся. Перед ним невдалеке стояла новая фигура: человек в оленьей дохе с капюшоном, запорошенный снегом. Из-под оленьего мешка глядели два черных глаза, слегка скошенных, как у карыма, виднелось бледное лицо, тонкий нос и длинные черные, опущенные книзу усы. По этим чертам я узнал Арабын-тойона, которого с таким тихим трепетом и смиренным ждал Ат-Даван уже несколько дней. И в то же время это был мой знакомый, казацкий хорунжий, незначительный и застенчивый в Иркутске.

По-видимому, первый выход обещал, что все сойдет благополучно. Арабин, очевидно, сильно устал, может быть от дороги, а может быть также от роли грозного Арабынтайна... Казалось, он хочет просто отдохнуть, напиться чаю, прилечь... Теперь он стоял, слегка опустившись, с сонным лицом, в ожидании света. Только по временам в мутных глазах загоралось нетерпение... Зато с г-ном Кругликовым произошла резкая перемена: он совсем не был похож на того маленького, невзрачного и смешного человечка, который еще вчера униженно просил пожалеть его и не требовать лошадей. Теперь он был угрюм, серьезен и сдержан. Движения его были неторопливы и полны какой-то решимости. Он даже как будто вырос. По-видимому, вчерашний рассказ, большое количество водки, пары которой только проходили через его голову, разгоряченную старыми растревоженными воспоминаниями, и ночь без сна — все это не прошло для г-на Кругликова даром.

— Черт возьми! — произнес Арабин нетерпеливо. — Шевелись там!

— Покорнейше прошу потише, здесь проезжающие, — спокойно отвечал Кругликов.

Арабин снимал свою шапку, и когда снял ее, то в его черных глазах сверкнуло что-то вроде изумления. Однако он все еще, по-видимому, старался удержаться.

— Самовар! — буркнул он, кидая доху и садясь к столу.

— Готов.

— Лошадей!

— Пожалуйте прогоны.

Голова Арабина, низко остриженная, с тонкими, слегка торчащими по-монгольски ушами, повернулась тревожно и живо. В глазах сверкнуло уже что-то порезче простого удивления. Он поднялся и произнес опять:

— Лошадей, живо!

— Прогоны пожалуйста, — с каким-то вызывающим спокойствием отрезал г-н Кругликов.

Вблизи меня что-то зашевелилось. Проснувшийся Копыленков, полусидя на кровати, старался без шума натянуть какую-то принадлежность костюма с таким видом, будто на станции начинался пожар или неприятельское нашествие. Его шея была вытянута, простодушно-хитрые глаза сверкали в полутьме от испуга и любопытства.

— Н-ну, что-то будет, — наклонясь вдруг ко мне, прошептал он, — беда!.. И отчаянный же этот Кругликов... Помни, братец ты мой, мы с тобой ничего не видали, — в свидетели еще попадешь...

Только теперь, после этих слов, я сообразил положение вещей. Спрашивать у г-на Арабина, известного и грозного Арабын-тойона, прогоны, да еще таким решительным тоном, да еще как условие подачи лошадей, — это было со стороны смиренного, приютившегося под дикими горами Ат-Давана неслыханная дерзость. Арабин вскочил, сердито дернул к себе сумку, выхватил какую-то бумагу и порывисто швырнул ее Кругликову. По всему было видно, что он, усталый и разбитый, хочет удержаться в известных пределах, что ему теперь тяжела и неприятна роль грозного Арабын-тойона в этот поздний час, на теплом и освещенном Ат-Даване. Но он не хотел также платить прогоны, тем более что эта тихая, смиренная Лена имеет одну особенность: заплати г-н Арабин на Ат-Даване — и его престиж<sup>1</sup> сразу падет, и уже всюду, на протяжении трех тысяч верст, ямщики от станка до станка разнесут известие, что улахán Арабын-тойон<sup>2</sup> сдался и платит... И всюду уже с него неотступно потребуют тоже прогонов. Он, вероятно, надеялся еще, что Кругликов забыл, кто он такой, и бумага ему напомнит. Но вышло еще хуже.

Кругликов, все так же не торопясь, развернул бумагу, прочитал ее внимательно, долго переводил глаза от строки к строке и потом сказал:

— Здесь вот сказано: «На четверку лошадей за установленные прогоны». А вы берете шестерку под две повозки и не изволите платить прогонов. Незаконно-с...

Голос его звучал тоже спокойно, но он как будто разнесся по всему Ат-Давану. Шум, которым был полон станок, приостановился, ямщики теснились с робким интересом к дверям, ведущим из ямщицкой в горницы<sup>3</sup>. Копыленков притаил дыхание.

Арабин встрепенулся, окинул станок вспыхнувшим взглядом, выпрямился, стукнул кулаком по столу, и по лицу его пробежало зловещее выражение.

— Молчать! — крикнул он. — Это что... бунт?

— Никакого бунту-с, а по закону. По указу его императорского величества. Что, в самом деле, до коих пор...

Кругликов не успел окончить. Сильный удар свалил его с ног... Арабин кинулся было к лежащему...

Я вбежал в ту комнату и остановился. Арабин стоял против меня, удивленный моим неожиданным появлением. Это, вероятно, спасло и Кругликова и самого Арабина от дальнейших последствий его исступления. Бледное лицо его

<sup>1</sup> Пр е с т ы ж — уважение, влияние, авторитет.

<sup>2</sup> У л а х á н А р а б ы н - т о й о н (якутск.) — большой начальник Арабин.

<sup>3</sup> Г о р н и ц а — комната.

подергивалось, в глазах бегало что-то беспокойное и больное. Казалось, казацкий хорунжий, забывший на Лене о том, что он только казацкий хорунжий, и сам уже отвык представлять себя иначе, как Арабын-тойоном, могучим и грозным, с головой выше приленских сопок. И вдруг мое появление перенесло его в Иркутск, в низкую комнату, где голова хорунжего далеко не достигала потолка и не поднималась выше десятков других, самых обыкновенных голов.

Однако Ат-Даван не заметил ни этой растерянности, ни этого душевного движения. Он видел только удар, видел, что писарь лежал на полу. Двери из ямской захлопнулись, на дворе опять началась беготня. Из нашей комнаты слышался притворный храп Михаила Ивановича...

Очевидно, бунт в Ат-Даване прекратился, и Арабын-тойон остался для Ат-Давана тем же могучим и грозным, о котором недавно пела песня.

Через несколько мгновений Кругликов поднялся с полу, и тотчас же мои глаза встретились с его глазами. Я невольно отвернулся. Во взгляде Кругликова было что-то до такой степени жалкое, что у меня сжалось сердце, — так смотрят только у нас на Руси!.. Он встал, отошел к стене и, прислонясь плечом, закрыл лицо руками. Фигура опять была вчерашняя, только еще более убитая, приниженная и жалкая.

Женщина торопливо внесла самовар, искося и с жалостью кинув на хозяина быстрый взгляд... Арабин, тяжело дыша, уселся за самовар.

— Я вам пок-кажу бунтовать! — ворчал он. Дальше раз-обратъ было трудно. Слышно было, однако, какое-то упоминание о «свидетелях», которым г-н Арабин советовал отправиться ко всем чертям, о чести мундира и еще что-то в том же роде.

## IX

Между тем в полутьме нашей комнаты Михайло Иванович Копыленков спешно заканчивал свой туалет. Через несколько минут он появился в дверях, одетый, застегиваясь, покашливая и стараясь изобразить на лице приветливую улыбку.

Арабин взглянул на это неожиданное появление с выражением сердитого недоумения. По-видимому, он не мог понять сразу, что нужно этому улыбающемуся, подпрыгивающему на ходу и кланяющемуся незнакомцу, однако приязненные улыбки и поклоны озадачивали его и предупреждали вспышку не утихшей еще свирепости. Он подносил слегка дрожащею рукой блюдце с горячим чаем и искося недоброжелательно следил за маневрами Копыленкова.

— Вам что надо? — вдруг отчеканил он резко, ставя блюдо на стол.

Копыленков чуть-чуть дрогнул, но тотчас же опять принял прежнее выражение подловатой любезности.

— Собственно, ничего-с. Почтение засвидетельствовать... Не изволили признать, видно... У Лев Степановича, у горного исправника, если изволите вспомнить, имели разговор и даже-с... дельце одно происходило...

— А-а!.. Ну, так, — произнес Арабин, опять принимаясь за чай. — Теперь помню.

— Именно-с, — обрадовался Копыленков. — А могу побеспокоить вопросом, по какому поручению изволите?..

— Не ваше дело!

— Это справедливо, — смиренно согласился Михайло Иванович. — Может, касающее секрету...

Бедняга не мог понять, что самое упоминание об Иркутске, о горном исправнике, обо всех этих будничных делах не могло быть приятно Арабын-тойону, все еще находившемуся в эпическом, сказочном мире.

— Справедливо-с, — в раздумье еще раз произнес Копыленков и, чтобы удержать свою позицию, прибавил: — Сердиться изволили тут мало-мало... Да уж истинно, что в здешних местах ангел и тот рассердится. Верно.

Он покосился в сторону Кругликова и вздохнул:

— Необразованность!

Однако и это не помогло. Арабин не обратил на него внимания, допил стакан, вынул книжку, что-то записал в ней, потом торопливо оделся, рванулся к двери, потом остановился, взглянул, нет ли в дверях кого-либо из ямщиков, и, будто обдумав что-то, вдруг резким движением швырнул деньги. Две бумажки мелькнули в воздухе, серебро со звоном покатилося на пол. Арабин исчез за дверью, и через минуту колокольчики бешено забились на реке под обрывом.

Все это было сделано так неожиданно и быстро, что все мы, трое безмолвных свидетелей этой сцены, не сразу сообразили, что это значит. Как всегда в денежных вопросах, первый, однако, догадался Копыленков.

— Уплатил! — произнес он с величайшим изумлением. — Слышь ты, Кругликов? Ведь это, смотри, прогоны. Ах ты, братец мой!.. Вот так история!

Из ямщиков никто не был свидетелем этой уступки со стороны грозного Арабын-тойона.

## Х

Поздним утром следующего дня мы с Копыленковым опять усаживались в свой возок. Мороз не уменьшался. Из-за

гор, синевших в морозном тумане за рекой, бледными столбами прорывались лучи восходящего солнца. Лошади бились, и ямщики с трудом удерживали озябшую тройку.

На Ат-Даване было грустно, серо и тихо. Кругликов, подавленный обрушившеюся вчера невзгодой, угнетенный и приниженный, проводил нас до саней, вздрагивая от холода, похмелья и печали. Он с каким-то подобострастием подсаживал Копыленкова, запахивал его ноги кошмой<sup>1</sup>, задерживал пологом.

— Михаил Иванович, — произнес он с робкою мольбой, — будьте благодетель, не забудьте насчет местечка-то. Теперь уж мне здесь не служить! Сами видели, грех какой вышел...

— Хорошо, хорошо, братец! — как-то неохотно ответил Копыленков.

В эту минуту ямщики, державшие лошадей, расскочились в стороны, тройка подхватила с места, и мы понеслись по ледяной дороге. Обрывистый берег убежал назад, туманные сопки, на которые я глядел вчера, — таинственные и фантастические под сиянием луны, — надвигались на нас теперь — хмурые и холодные.

— Ну что ж, Михаил Иваныч, — спросил я, когда тройка побежала ровнее, — доставите вы ему место?

— Нет, — ответил Копыленков равнодушно.

— Но почему же?

— Вредный человек-с, самый опасный, д-да!.. Вы вот рассудите-ка об его поступках. Ну, захотел он тогда, в Кронштадте-то в этом, начальника уважить — и уважь! Отказался бы вчистую от невесты и был бы век свой счастлив. Мало ли их, невестов этих. От одной отступился — взял другую, только и было. А его бы за это человеком сделали. Нет, он вот посмотрите, как уважил... из пистолета! Ты, братец, суди по человечеству: ну кому это может быть приятно? И что это за поведение за такое?.. Сегодня он вас так уважил, а завтра меня.

— Да ведь это давно было. Теперь он не тот.

— Нет, не скажи! Слышал, чай, как он вчера с Арабиным-то разговаривал?..

— Я слышал: требовал прогоны — это его обязанность.

Копыленков повернулся с досадой ко мне:

— Ведь вот умный ты человек, а простого дела не понимаешь. Прогоны!.. Нешто он ему одному не платил? Чай, он, может, сколько тысячей верст ехал, нигде не платил. На вот, ему одному подавай, велика птица!

---

<sup>1</sup> Кошма́ — войлок.

— Обязан платить.

— Обязан! Кто его обязал-то, не вы ли с Кругликовым со своим?

— Закон, Михайло Иванович.

— За-а-кóн... То-то вот и он вчера заладил: закон. Да он знает ли еще, какое это слово: «закон»?

— Какое?

— А такое: раз ты его скажи, десять раз про себя поддержи, пока не спросят. А то, вишь ты, развеличался: «Закон, по закону!..» Дубина ты, а не закон тебе! Нашелся тоже большой человек — начальнику законы указывать...

Видя, что Михайло Иванович начинает сердиться свыше всякой меры, и опасаясь, чтоб окончательно не испортить дела, я попробовал зайти, в интересе Кругликова, с другой стороны.

— Однако, вспомните, Михаил Иванович, ведь вы ему обещали.

— Мало ли что обещал... Разжалобился, оттого и обещал... Подымай! — крикнул вдруг Михайло Иванович, так как возок, скользя с наклонной льдины, опять опрокинулся, и опять Михайло Иванович очутился подо мной.

Пришлось выйти. Вероятно, в этом месте борьба реки с морозом была особенно сильна: огромные белые холодные льдины обступили нас кругом, закрывая перспективу реки. Только по сторонам дикие и даже страшные в своем величии горы выступили резко из тумана да вдали, над хаотически нагроможденным торосом, тянулась едва заметная белая струйка дыма...

Это, должно быть, и был Ат-Даван.

1892

## ПОСЛЕДНИЙ ЛУЧ

Ньюский станок<sup>1</sup> расположен на небольшой полянке, на берегу Лены. Несколько убогих избушек задами прижимаются к отвесным скалам, как бы пятась от сердитой реки. Лена в этом месте узка, необыкновенно быстра и очень угрюма. Подошвы гор противоположного берега стоят в воде, и здесь, больше чем где-либо, Лена заслуживает свое название «Проклятой щели». Действительно, это как будто гигантская трещина, по дну которой клубится темная река, обставленная угрюмыми скалами, обрывами, ущельями. В ней надолго

---

<sup>1</sup> Станок (сиб.) — почтовая станция.



останавливаются туманы, стоит холодная сырость и почти непрерывные сумерки. Население этого станка даже среди остальных приленских жителей поражает своею вялостью, худосочием и безнадежной апатией. Унылый гул лиственниц на горных хребтах составляет вечный аккомпанемент к этому печальному существованию...

Приехав на этот станок ночью, усталый и озябший, я проснулся утром, по-видимому довольно рано.

Было тихо. В окна глядел не то тусклый рассвет, не то поздний вечер — что-то заполненное бесформенной и сумеречной мглой. Ветер дул в «щели», как в трубе, и гнал по ней ночные туманы. Взглянув из окна кверху, я мог видеть клочки ясного неба. Значит, на всем свете зарождалось уже яркое солнечное утро. А мимо станка все продолжала нестись клубами холодная мгла... Было сумрачно, тихо, серо и печально.

В избушке, где я ночевал, на столе горела еще простая керосиновая лампочка, примешивая к сумеркам комнаты свой убогий желтоватый свет. Комната была довольно чистая, деревянные перегородки, отделявшие спальню, были оклеены газетной бумагой. В переднем углу, около божницы, густо пестрели картинки из иллюстрации — главным образом портреты генералов. Один из них был Муравьев-Амурский, большой и в регалиях<sup>1</sup>, а рядом еще вчера я разглядел два небольших, скромных портрета декабристов.

Лежа на своей постели, я мог видеть из-за перегородки стол с лампой у противоположной стены. За столом сидел старик, с довольно красивым, но бледным лицом. Борода у него была серая, с ровной густой сединой, высокий обнаженный лоб отливал желтизной воска, редкие на темени волосы — сзади были длинны и слегка волнисты. В общем, фигура напоминала духовного, даже, пожалуй, одного из евангелистов, но цвет лица был неприятно бледный и нездоровый, глаза мне казались тусклыми. На шее виднелись, как опухоль, признаки зоба — болезнь, очень распространенная на Лене, которую приписывают ленской воде.

Рядом с ним сидел мальчик лет около восьми. Мне была видна только его наклоненная голова, с тонкими, как лен, белокурыми волосами. Старик, шуря сквозь очки свои подслеповатые глаза, водил указкой по странице лежавшей на столе книги, а мальчик с напряженным вниманием читал по складам. Когда ему не удавалось, старик поправлял его с ласковым терпением.

— Люди-он...ло... веди-есть, и краткое...

---

<sup>1</sup> Регалии. До революции так называли иногда ордена, медали и другие знаки отличия царского правительства.

Мальчик остановился. Незнакомое слово, очевидно, не давалось... Старик сощурился и помог:

— Соловей, — прочел он.

— Соловей, — добросовестно повторил ученик и, подняв недоумевающие глаза на учителя, спросил:

— Со-ло-вей... Что такое?

— Птица, — сказал старик.

— Птица... — И он продолжал чтение: — Слово-иже, *си*, добро-ять-люди, *дел*... Соловей сидел... на че... на чере... на че-ре-му-хе...

— Что такое? — опять вопросительно прозвучал, как будто деревянный, безучастный голос ребенка.

— На черемухе. Черемуха, стало быть, дерево. Он и сидел.

— Сидел... Зачем сидел?.. Большая птица?

— Махонькая, поет хорошо.

— Поет хорошо.

Мальчик перестал читать и задумался. В избушке стало совсем тихо. Стучал маятник, за окном плыли туманы... Клок неба вверху приводил на память яркий день где-то в других местах, где весной поют соловьи на черемухах... «Что это за жалкое детство! — думал я невольно под однотонные звуки этого детского голоса. — Без соловьев, без цветущей весны... Только вода да камень, заграждающий взгляду простор божьего мира. Из птиц — чуть ли не одна ворона, по склонам — скучная лиственница да изредка сосна...»

Мальчик прочел еще какую-то фразу все тем же тусклым, непонимающим голосом и вдруг остановился.

— А что, дед, — спросил он, — нам не пора ли, гляди?.. — На этот раз в его голосе слышались уже живые, взволнованные ноты, и светлые глаза, освещенные огнем лампы, с видимым любопытством обратились на деда.

Тот посмотрел на часы, равнодушно тикавшие маятником, потом на окно с клубившеюся за стеклами мглой и ответил спокойно:

— Рано еще. Только половина!..

— Может, дедушка, часы-то испортились.

— Ну, ну... темно еще... Да оно, глупый, нам же лучше. Вишь, ветер... может, мороки-те прогонит, а то ничего и не увидишь, как третьёводни.

— Лучше, — повторил мальчик своим прежним покорным голосом, и чтение продолжалось.

Прошло минут двадцать. Старик взглянул на часы, потом в окно и задул лампочку. В комнате разлился голубоватый полусвет.

— Одевайся, — сказал старик и прибавил: — Тихонько, чтоб Таня не услышала.

Мальчик живо соскочил со стула.

— А ее не возьмем? — спросил он шепотом.

— Не... куда ей... И то кашляет... Пусть спит.

Мальчик принялся одеваться с осторожной торопливостью, и вскоре обе фигуры — деда и внука — промелькнули в сумерках комнаты. На мальчике было надето что-то вроде пальто городского покроя, на ногах большие валенки, шея закутана женским шарфом. Дед был в полушубке. Дверь скрипнула, и оба вышли наружу.

Я остался один. За перегородкой слышались тихое дыхание девочки и хриплое постукивание маятника. Движение за окном все усиливалось, туманы проносились все быстрее, разрывались чаще, и в промежутках все шире проглядывали суровые пятна темных скал и ущелий. Комната то светлела, то опять погружалась в сумрак.

Мой сон прошел. Молчаливая печаль этого места начинала захватывать меня, и я ждал почти с нетерпением, когда скрипнет дверь и старик с мальчиком вернутся.

Но их все не было.

Тогда я решил посмотреть, что это их выманило из избы в туман и холод. Спал я одетый, поэтому мне не нужно было много времени, чтобы натянуть сапоги и пальто и выйти...

Оба — старик и мальчик — стояли на крыльце, заложив руки в рукава и как будто чего-то ожидая.

Местность показалась мне теперь еще угрюмее, чем из окна. Вверху туман рассеялся, и вершины гор рисовались отчетливо и сурово на посветлевшем небе. На темном фоне гор проносились только отдельные горизонтальные клочья тумана, но внизу все еще стояли холодные сумерки. Ленские струи, еще не замерзшие, но уже тяжелые и темные, сталкивались в тесном русле, заворачивались воронками и омутами. Казалось, река в немом отчаянии кипит и рвется, стараясь пробиться на волю из мрачной щели... Холодный предупредительный ветер, прогонявший остатки ночного тумана, трепал нашу одежду и сердито мчался дальше...

Дома станка, неопределенными кучками раскиданные по каменной площадке, начинали просыпаться. Кое-где тянулся дымок, кое-где мерцали окна; высокий худой ящик в рваном полушубке, зевая, провел в поводу пару лошадей к водопою и скоро стусеивался в тени берегового спуска. Все было буднично и уныло.

— Что это вы ждете? — спросил я у старика.

— Да вот, внуку охота солнушко посмотреть, — ответил он и спросил в свою очередь: — Вы чьи? Российские?

— Да.

Старик хотел спросить еще что-то, но в это время мальчик резко задвигался и тронул его за рукав...

Я невольно тоже взглянул на вершину утеса, стоявшего на нашей стороне, у поворота Лены...

До сих пор это место казалось каким-то темным жерлом, откуда все еще продолжали выползать туманы. Теперь над нами, в вышине, на остроконечной вершине каменного утеса, внезапно как будто вспыхнула и засветилась верхушка сосны и нескольких уже обнаженных лиственниц. Прорвавшись откуда-то из-за гор противоположного берега, первый луч еще не изошедшего для нас солнца уже коснулся этого каменного выступа и группы деревьев, выросших в его расселинах. Над холодными синими тенями нашей щели они стояли как будто в облаках и тихо сияли, радуясь первой ласке утра.

Все мы молча смотрели на эту вершину, как будто боясь спугнуть торжественно-тихую радость одинокого камня и кучки лиственниц. Мальчик стоял неподвижно, держась за рукав деда. Его глаза были расширены, бледное лицо оживилось и засветилось восторгом. Между тем в вышине что-то опять дрогнуло, затрепетало, и другой утес, до сих пор утопавший в общей синеве угрюмого фона горы, загорелся, присоединившись к освещенной группе. Еще недавно безлично сливавшиеся с отдаленными склонами, теперь они смело выступали вперед, а их фон стал как будто еще отдаленнее, мглистее и темнее.

Мальчик опять дернул деда за рукав, и его лицо уже совершенно преобразилось. Глаза сверкали, губы улыбались, на бледно-желтых щеках, казалось, проступал румянец.

На противоположной стороне реки тоже произошла перемена. Горы все еще скрывали за собой взошедшее солнце, но небо над ними совсем посветлело и очертания хребта рисовались резко и отчетливо, образуя между двумя вершинами значительную впадину. По темным еще склонам, обращенным к нам, сползали вниз струи молочно-белого тумана и как будто искали места потемнее и посырее... А вверху небо расцвечивалось золотом, и ряды лиственниц на гребне выступали на светлом фоне отчетливыми фиолетовыми силуэтами. За ними, казалось, шевелится что-то — радостное, неугомонное и живое. В углублении от горы к горе проплыла легкая тучка, вся в огне, и исчезла за соседней вершиной. За ней — другая, третья, целая стая... За горами совершалось что-то ликующее и радостное. Дно расселины все разгорелось. Казалось, солнце подымается с той стороны по склонам хребта, чтобы заглянуть сюда, в эту убогую щель, на эту темную реку, на эти сиротливые избушки, на старика с бледным мальчиком, ждавших его появления.

И вот оно появилось. Несколько ярко-золотистых лучей брызнули беспорядочно в глубине расщелины между двумя горами, пробив отверстия в густой стене леса. Огненные искры посыпались пучками вниз, на темные пади и ущелья, вырывая из синего холодного сумрака то отдельное дерево, то верхушку сланцевого утеса, то небольшую горную полянку... Под ними все задвигалось и засуетилось. Группы деревьев, казалось, перебежали с места на место, скалы выступали вперед и опять тонули во мгле, полянки светились и гасли... Полосы тумана змеились внизу тревожнее и быстрее.

Потом на несколько мгновений засветилась даже темная река... Вспыхнули верхушки зыбких волн, бежавших к нашему берегу, засверкал береговой песок с черными пятнами ямщицких лодок и группами людей и лошадей у водопоя. Косые лучи скользнули по убогим лачугам, отразились в слюдяных окнах, ласково коснулись бледного, восхищенного лица мальчика...

А в расщелине между горами уже ясно продвигалась часть огненного солнечного круга, и на нашей стороне весь берег радовался и светился, сверкая, искрясь и переливаясь разноцветными слоями сланцевых пород и зеленью пушистых сосен...

Но это была лишь недолгая ласка утра. Еще несколько секунд, и дно долины опять стало холодно и сине. Река погасла и мчалась опять в своем темном русле, бешено крутя водоворотами, слюдяные окна померкли, тени подымались все выше, горы задержали недавнее разнообразие своих склонов одноцветною синюю мглю. Еще несколько секунд горела на нашей стороне одинокая вершина, точно угасающий факел над темными туманами... Потом и она померкла. В расщелине закрылись все отверстия, леса сомкнулись по-прежнему сплошной траурной каймой, и только два-три остальных облачка продвигались над ними, обесцвеченные и холодные...

— Все, — сказал мальчик грустно. И, подняв на деда свои печальные померкшие глаза, прибавил вопросительно: — Больше не будет?

— Не будет, чай, — ответил тот. — Сам ты видел: только край солнушка показался. Завтра уже пойдет низом.

— Кончал, брат! — крикнул возвращавшийся с реки ямщик. — Здравствуйте, дед со внуком!..

Повернувшись, я увидел, что у других избушек тоже кое-где виднелись зрители. Скрипели двери, ямщики уходили в избы, станок утопал опять в обесцвечивающем холодном тумане.

И это уже на долгие месяцы!.. Старик рассказал мне, что летом солнце ходит у них над вершинами, к осени оно

опускается все ниже и скрывается за широким хребтом, бес- сильное уже подняться над его обрезом. Но затем точка восхода передвигается к югу, и тогда на несколько дней оно опять показывается по утрам в расселине между двумя гора- ми. Сначала оно переходит от вершины к вершине, потом все ниже, наконец лишь на несколько мгновений золотые лучи сверкают на самом дне впадины. Это и было сегодня.

Ньюский станок прощался с солнцем на всю зиму. Ям- щики, конечно, увидят его во время своих разъездов, но ста- рики и дети не увидят до самой весны или, вернее, до лета...

Последние отблески исчезли... За горами был полный день, но внизу опять сгущался туман, склоны гор задерну- лись мутной одноцветной дымкой. Рассеянный свет про- сачивался из-за гор, холодный и неприветливый...

1900

## МГНОВЕНИЕ

### I

— Будет буря, товарищ.

— Да, капрал<sup>1</sup>, будет сильная буря. Я хорошо знаю этот восточный ветер. Ночь на море будет очень беспокойная.

— Святой Иосиф пусть хранит наших моряков. Рыбаки успели все убраться...

— Однако посмотрите: вон там, кажется, я видел парус.

— Нет, это мелькнуло крыло птицы. От ветра можешь скрыться за зубцами стены... Прощай. Смена через два часа...

Капрал ушел, часовой остался на стене небольшого форта<sup>1</sup>, со всех сторон окруженного колыхающимися валами.

Действительно, близилась буря. Солнце садилось, ветер все крепчал, закат разгорался пурпуром, и, по мере того как пламя разливалось по небу, синева моря становилась все глубже и холоднее. Кое-где темную поверхность его уже про- резали белые гребни валов, и тогда казалось, что это таинственная глубь океана пытается выглянуть наружу, зловещая и бледная от долго сдержанного гнева.

На небе тоже водворялась торопливая тревога. Облака, вытянувшись длинными полосами, летели от востока к западу и там загорались одно за другим, как будто ураган кидал их в жерло огромной раскаленной печи.

Дыхание близкой грозы уже веяло над океаном.

---

<sup>1</sup> Капрал — младший унтер-офицер в некоторых иностранных армиях.

<sup>2</sup> Форт — небольшая крепость или отдельное самостоятельное укрепление.

Над темной зыбью, точно крыло испуганной птицы, мелькал парус. Запоздалый рыбак, убегая перед бурей, видимо, не надеялся уже достигнуть отдаленного берега и направил свою лодку к форту.

Дальний берег давно утонул в тумане, брызгах и сумерках приближавшегося вечера. Море ревело глубоко и протяжно, и вал за валом катился вдале к озаренному еще горизонту. Парус мелькал, то исчезая, то появляясь. Лодка лавировала, трудно побеждая волны и медленно приближаясь к островку. Часовому, который глядел на нее со стены форта, казалось, что сумерки в море с грозной сознательностью торопятся покрыть это единственное суденышко мглою, гибелью, плеском своих пустынных валов.

В стенке форта вспыхнул огонек, другой, третий. Лодки уже не было видно, но рыбак мог видеть огни — несколько трепетных искр над беспредельным взволнованным океаном.

## II

— Стой! Кто идет?

Часовой со стены окликает лодку и берет ее на прицел.

Но море страшнее этой угрозы. Рыбаку нельзя оставить руль, потому что волны мгновенно бросят лодку на камни... К тому же старые испанские ружья не очень метки. Лодка осторожно, словно плавающая птица, выжидает прибой, поворачивается на самом гребне волны и вдруг опускает парус... Прибоем ее кинуло вперед, и киль скользнул по щебню в маленькой бухте.

— Кто идет? — опять громко кричит часовой, с участием следивший за опасными эволюциями лодки.

— Брат! — отвечает рыбак. — Отворите ворота, ради святого Иосифа. Видишь, какая буря!

— Погоди, сейчас придет капрал.

На стене задвигались тени, потом открылась тяжелая дверь, мелькнул фонарь, послышались разговоры. Испанцы приняли рыбака. За стеной, в солдатской казарме, он найдет приют и тепло на всю ночь. Хорошо будет вспомнить на покое о сердитом океане и о грозной темноте над бездной, где еще так недавно качалась его лодка.

Дверь захлопнулась, как будто форт заперся от моря, по которому, таинственно поблескивая вспышками фосфорической пены, набегал уже первый шквал широкою, во все море, грядюю.

А в окне угловой башни неуверенно светил огонек, и лодка, введенная в бухту, мерно качалась и тихо взвизгивала под ударами отраженной и разбитой, но все еще крепкой волны.

### III

В угловой башне была келья испанской военной тюрьмы. На одно мгновение красный огонек, светивший из ее окна, затмился и за решеткой силуэтом обрисовалась фигура человека. Кто-то посмотрел оттуда на темное море и отошел.

Огонек опять заколебался красными отражениями на верхушках валов.

Это был Хуан-Мария-Хозе-Мигуэль Диац, инсургент<sup>1</sup>. В прошлое восстание испанцы взяли его в плен и приговорили к смерти, но затем, по прихоти чьего-то милосердия, он был помилован. Ему подарили жизнь, то есть привезли на этот остров и посадили в башню. Здесь с него сняли оковы. Они были не нужны: стены были из камня, в окне — толстая железная решетка, за окном — море. Его жизнь состояла в том, что он мог смотреть в окно на далекий берег... И вспоминать... И, может быть, еще — надеяться.

Первое время, в светлые дни, когда солнце сверкало на верхушках синих волн и выдвигало далекий берег, он подолгу смотрел туда, вглядываясь в очертания родных гор, в выступавшие неясными извилинами ущелья, в чуть заметные пятнышки далеких деревень... Угадывал бухты, дороги, горные тропинки, по которым, казалось ему, бродят легкие тени и среди них одна, когда-то близкая ему... Он ждал, что в горах опять засверкают огоньки выстрелов с клубками дыма, что по волнам оттуда, с дальнего берега, понесутся паруса с родным флагом возмущения и свободы. Он готовился к этому и терпеливо, осторожно, настойчиво долбил камень около ржавой решетки.

Но годы шли. На берегу все было спокойно, в ущельях лежала синяя мгла, от берега отделялся лишь небольшой испанский сторожевой катер, да мирные рыбацкие суда сновали по морю, как морские чайки за добычей...

Понемногу все прошлое становилось для него как сон. Как во сне, дремал в золотистом тумане усмирившийся берег, и во сне же бродили по нем призрачные тени давно прошедшего... А когда от берега отделялся дымок и, разрезая волны, бежал военный катер, он знал: это везут на остров новую смену тюремщиков и стражи...

И еще годы прошли в этой летаргии<sup>2</sup>. Хуан-Мария-Хозе Диац успокоился и стал забывать даже свои сны. Даже на дальний берег он смотрел уже с тупым равнодушием и давно уже перестал долбить решетку... К чему?..

<sup>1</sup> Инсургент — участник вооруженного восстания, повстанец.

<sup>2</sup> Летаргия — длительный сон, близкий к смерти. В переносном смысле — неподвижность, умственная бездеятельность.



Только когда поднимался восточный ветер, особенно сильный в этих местах, и волны начинали шевелить камни на откосе маленького острова, — в глубине его души, как эти камни на дне моря, начинала глухо шевелиться тоска, неясная и тупая. От затянутого мглою берега, казалось ему, опять отделяются какие-то тени и несутся над морскими валами и кричат о чем-то громко, торопливо, жалобно, тревожно... Он знал, что это кричит только море, но не мог не прислушиваться невольно к этим крикам... И в глубине его души поднималось тяжелое, темное волнение.

В его камерке от угла к углу, по диагонали, была обозначена в каменном полу углубленная дорожка. Это он вытоптал босыми ногами камень, бегая в бурные ночи по своей клетке. Порой в такие ночи он опять царапал стену около решетки. Но в первое же утро, когда море, успокоившись, ласково лизало каменные уступы острова, он также успокаивался и забывал минуты исступления...

Он знал, что его держит здесь не решетка... Его держало это коварное, то сердитое, то ласковое, море, и еще... сонное спокойствие отдаленного берега, лениво и тупо дремавшего в своих туманах...

#### IV

Так прошли еще годы, которые казались уже днями. Время сна не существует для сознания, а его жизнь уже вся была сном, тупым, тяжелым и бесследным.

Однако с некоторых пор в этом сне опять начинали мелькать странные видения. В очень светлые дни на берегу поднимался дым костров или пожаров. В форте происходило необычайное движение: испанцы принялись чинить старые стены; изъяны, образовавшиеся в годы безмятежной тишины, торопливо заделывались; чаще прежнего мелькали между берегом и островом паровые баркасы с военным испанским флагом. Раза два, точно грузные спины морских чудовищ, тяжело проползли мониторы<sup>1</sup> с башенками над самой водой. Диак смотрел на них тусклым взглядом, в котором порой пробивалось удивление. Один раз ему показалось даже, что в ущелье и по уступам знакомой горы, в этот день ярко освещенной солнцем, встают белые дымки от выстрелов, маленькие, как булабочные головки, выплывают внезапно и ярко на темно-зеленом фоне и тихо тают в светлом воздухе. Один раз длинная черная полоса монитора продвинулась к дальнему берегу, и несколько коротких, оборванных ударов толкнулось

---

<sup>1</sup> М о н и т о р ы — бронированные военные корабли, предназначенные для плавания по мелководью — вдоль берегов.

с моря в его окно. Он схватился руками за решетку и крепко затряс ее. Она звякнула и задрожала. Щебенка и мусор посыпались из гнезд, где железные полосы были вделаны в стены...

Но прошло еще несколько дней... Берег опять затих и задремал; море было пусто, волны тихо, задумчиво накатывались одна на другую и, как будто от нечего делать, хлопали в каменный берег... И он подумал, что это опять был только сон...

Но в этот день с утра море начинало опять раздражать его. Несколько валов уже перекаатилось через волнолом, отделяющий бухту, и слева было слышно, как камни лезут со дна на откосы берега... К вечеру в четырехугольнике окна то и дело мелькали сверкающие брызги пены. Прибой заводил свою глубокую песню, берег отвечал глубокими стонами и гулом.

Диак только повел плечами и решил лечь пораньше. Пусть море говорит что хочет; пусть как хочет выбирается из беспорядочной груды валов и эта запоздалая лодка, которую он заметил в окно. Рабья лодка с рабского берега... Ему нет дела ни до нее, ни до голосов моря.

Он лег на свой матрац.

Когда сторож-испанец в обычный час принес фонарь и вставил его из коридора в отверстие над запертой дверью, то свет его озарил лежащую фигуру и бледное лицо с закрытыми глазами. Казалось, Диак спал спокойно; только по временам брови его сжимались и по лицу проходило выражение тупого страдания, как будто в глубине усыпленного сознания шевелилось что-то глухо и тяжело, как эти прибрежные камни в морской глубине...

Но вдруг он сразу проснулся, точно кто назвал его по имени. Это шквал, перелетев целиком через волнолом, ударил в самую стену. За окном неслись в темноте белые клочья фосфорической пены, и, даже когда грохот стих, камера была полна шипением и свистом. Отголоски проникли за запертую дверь и понеслись по коридорам. Казалось, что-то сознательно грозное пролетело над островом и затихает и замирает вдали...

Диак сразу стал на ноги. Ему казалось, что он спал лишь несколько секунд, и он взглянул в окно, ожидая еще увидеть вдали белый парусок лодки. Но в окне было темно, море бесновалось в полной тьме, и были слышны смешанные крики убежавшего шквала.

Хотя такие бури бывали не часто, но все же он хорошо знал и этот грохот, и свист, и шипение, и подземное дрожание каменного берега. Но теперь, когда этот разнузданный гул

стал убывать, под ним послышался еще какой-то новый звук, что-то тихое, ласковое и незнакомое...

Он кинулся в окно и, опять ухватившись руками за решетку, заглянул в темноту. Море было бесформенно и дико. Дальний берег весь был поглощен тяжелой мглой. Только на несколько мгновений между ним и тучей продвинулся красный затуманенный месяц. Далекие неуверенные отблески беспорядочно заколебались на гребнях бешеных валов и погасли... Остался только шум, могучий, дико сознательный, суетливый и радостно зовущий...

Хозе-Мария-Мигуэль Диац почувствовал, что все внутри его дрожит и волнуется как море. Душа просыпается от долгого сна, проясняется сознание, оживают давно угасшие желания... И вдруг он вспомнил ясно то, что видел на берегу несколько дней назад... Ведь это был не сон! Как мог он считать это сном? Это было движение, это были выстрелы... Это было восстание!..

Налетел еще шквал, опять пронеслись сверкающие брызги, и опять из-под шипения и плеска послышался прежний звук, незнакомый и ласковый. Диац кинулся к решетке и в порыве странного одушевления сильно затряс ее. Посыпались опять известь и щебенка, разъеденные солеными брызгами, упало несколько камней, и решетка свободно вынулась из амбразуры<sup>1</sup>.

А под окном, в бухте, качалась и визжала лодка...

## V

На стене в это время сменился караул.

— Святой Иосиф... Святая Мария! — пробормотал новый часовой и, покрыв голову капюшоном, скрылся за выступ стены. По морю во всю ширину, вставая и падая, поблескивая в темноте гребнями пены, летел новый шквал. Ветер, казалось, сходил с ума, остров вперед уже вздрагивал и стонал. Со дна, как бледные призраки, лезли на откосы огромные камни, целыми годами лежавшие в глубине.

Шквал налетел как раз в ту минуту, когда Диац выскочил из окна. Его сразу залило водой, оглушило и сшибло с ног... Несколько секунд он лежал без сознания, с одним ужасом на душе, озябший и несчастный, а над ним с воем несло что-то огромное, дикое, враждебное...

Когда грохот несколько стих, он открыл глаза. По небу неслись темные тучи, без просветов, без очертаний. Скорее

---

<sup>1</sup> Амбразура — отверстие для стрельбы в стене; здесь: ниша для окна.

чувствовалось, чем виделось движение этих громад, которые все так же неудержимо неслись на запад. А вдалеке опять вставало что-то невидимое, но грозное и гудело угрюмо, зловеще, непрерывно.

Только каменные стены форта оставались неподвижными и спокойными среди общего движения. В темноте можно было различить жерла пушек, выступившие из амбразур... Из дальней казармы в промежуток сравнительного затишья доносились звуки вечерней молитвы, барабан пробил последнюю зорю... Там, за стенами, казалось, замкнулось спокойствие. Огонек в его башне светился ровным, немигающим светом.

Диац поднялся и, точно прибитая собака, пошел к этому огоньку... Нет, море обманчиво и ужасно. Он войдет в свою тихую келью, наложит решетку, ляжет в своем углу на свой матрац и заснет тяжелым, но безопасным сном неволи.

Надо будет только тщательно заделать решетку, чтобы не заметил патруль... Могут еще подумать, что он хотел убежать в эту бурную ночь... Нет, он не хочет бежать... На море гибель...

Он схватился руками за карниз, поднялся к окну и остановился...

В камере было пусто и сравнительно тихо. Ровный желтоватый свет фонаря падал на стены, на вытопанный пол, на матрац, лежавший в глу...

Над изголовьем, вырезанная глубоко в камне, виднелась надпись:

«Хуан-Мария-Хозе-Мигуэль Диац, инсургент. Да здравствует свобода!»

И всюду по стенам, крупные и мелкие, глубокие и едва намеченные, мелькали те же надписи:

«Хуан-Мигуэль Диац... Мигуэль Диац...»

И — цифры...

Сначала он отмечал время днями, неделями, потом месяцами... «Мать божия, уже два года...» «Три года... Господи, сохрани мой разум... Диац... Диац...»

Десятый год отмечен просто цифрой, без восклицаний... Далее счет прекращался... Только имя продолжало мелькать, вырезанное слабеющей и ленивой рукой... И на все это бесстрастно и ровно падал желтоватый свет фонаря...

И вдруг Диацу представилось, что на его постели лежит человек и спит тяжелым сном. Грудь подымается тихо, с тупым спокойствием... Это он? Тот Диац, который вошел сюда полным сил и любви к жизни и свободе?..

Новый шквал с воем и грохотом налетал на остров... Диац

отпустил руки и опять спрыгнул на берег. Шквал пронесся и стал затихать... Ровный огонек опять светил из окна в темноту.

## VI

Часовой на стене, повернувшись спиной к ветру и охватив руками ружье, чтоб его не вырвало ураганом, читал про себя молитвы, прислушиваясь к адскому грохоту моря и неистовому свисту ветра. Небо еще потемнело; казалось, весь мир поглотила уже эта бесформенная тьма, охватившая одинаково и тучи, и воздух, и море.

Лишь по временам среди шума, грохота, плеска с пугающей внезапностью обозначались белые гребни и волна кидалась на остров, далеко отбрасывая брызги через низкие стены.

Прочитав все, какие знал, молитвы, часовой повернулся к морю и замер в удивлении. Вдоль бухты, среди сравнительного затишья, чуть заметная в темноте, двигалась лодка, приближаясь к тому месту, где уже не защищенное от ветра море кипело и металось во мраке. Внезапно белый парус взвился и надулся ветром. Лодка качнулась, поднялась и исчезла...

В это мгновение Диац взглянул назад, и ему показалось, что темный островок колыхнулся и упал в бездну вместе с ровным огоньком, который до этого мгновения следил за ним своим мертвым светом. Впереди были только хаос и буря. Кипучий восторг переполнил его застывшую душу. Он крепче сжал руль, натянул парус и громко крикнул... Это был крик неуправляемой радости, безграничного восторга, пробудившейся и сознавшей себя жизни... Сзади раздался заглушенный ружейный выстрел, потом гул пушечного выстрела понесся вдаль, разорванный и разметанный ураганом. Сбоку набегал шквал, подхватывая лодку... Она поднималась, поднималась... казалось, целую вечность... Хозе-Мария-Мигуэль Диац с сжатыми бровями, твердым взглядом глядел только вперед, и тот же восторг переполнял его грудь... Он знал, что он свободен, что никто в целом мире теперь не сравняется с ним, потому что все хотят жизни... А он... Он хочет только свободы.

Лодка встала на самой вершине вала, дрогнула, колыхнулась и начала опускаться... Со стены ее видели в последний раз... Но еще долго маленький форт посылал с промежутками выстрел за выстрелом бушующему морю...

## VII

А наутро солнце опять взошло в ясной синеве. Последние клочки туч беспорядочно неслись еще по небу; море стихало,

колыхаясь и как будто стыдясь своего ночного разгула... Синие тяжелые волны все тише бились о камни, сверкая на солнце яркими веселыми брызгами.

Дальний берег, освеженный и омытый грозой, рисовался в прозрачном воздухе. Всюду смеялась жизнь, проснувшаяся после бурной ночи.

Небольшой пароход крейсировал<sup>1</sup> вдоль берега, расстилая по волнам длинный хвост бурого дыма. Кучка испанцев следила за ним со стены форта.

— Наверное, погиб, — сказал один. — Это было чистое безумие... Как вы думаете, дон Фернандо?

Молодой офицер повернул к говорившему задумчивое лицо.

— Да, вероятно, погиб, — сказал он. — А может быть, смотрит на свою тюрьму с этих гор. Во всяком случае, море дало ему несколько мгновений свободы. А кто знает, не стоит ли один миг настоящей жизни целых годов прозябания!..

— Однако что это там? Посмотрите... — И офицер указал на южную оконечность гористого берега. На одном из крайних мысов, занятых лагерем инсургентов, в синеющей полосе замелькали кучками белые вспышки дыма. Звука не было слышно, только суетливые дымки появлялись и гасли, странно оживляя пустынные ущелья. С моря в ответ отрывисто грянул пушечный выстрел, и, когда дым весь лег на сверкающие искрами волны, все опять стихло. И берег и море молчали...

Офицеры переглянулись... Что значило это непонятное оживление на позициях восставших туземцев?.. Ответ ли это на вопрос об участии беглеца? Или просто случайная перестрелка внезапной тревоги?..

Ответа не было...

Сверкающие волны загадочно смеялись, набегая на берег и звонко разбиваясь о камни...

1900

## ОГОНЬКИ

Как-то давно, темным осенним вечером, случилось мне плыть по угрюмой сибирской реке. Вдруг на повороте реки, впереди, под темными горами, мелькнул огонек.

Мелькнул ярко, сильно, совсем близко...

---

<sup>1</sup> Крейсировать, крейсерство — плавание военного судна в определенном районе с целью разведки, охраны берегов.

— Ну, слава богу! — сказал я с радостью. — Близко ночлег!

Гребец повернулся, посмотрел через плечо на огонь и опять апатично налег на весла.

— Далече!

Я не поверил: огонек так и стоял, выступая вперед из неопределенной тьмы. Но гребец был прав: оказалось действительно далеко.

Свойство этих ночных огней — приближаться, побеждая тьму, и сверкать, и обещать, и манить своею близостью. Кажется, вот-вот еще два-три удара веслом — и путь кончен. А между тем — далеко!..

И долго еще мы плыли по темной, как чернила, реке. Ущелья и скалы выплывали, надвигались и уплывали, оставаясь назади и теряясь, казалось, в бесконечной дали, а огонек все стоял впереди, переливаясь и маня, — все так же близко и все так же далеко...

Мне часто вспоминается теперь и эта темная река, затененная скалистыми горами, и этот живой огонек. Много огней и раньше и после манили не одного меня своею близостью. Но жизнь течет все в тех же угрюмых берегах, а огни еще далеко. И опять приходится налегать на весла...

Но все-таки... все-таки впереди — огни!..

## КОММЕНТАРИИ

Составившие книгу произведения перепечатаются из Собрания сочинений В. Г. Короленко в десяти томах (М.: ГИХЛ, 1953—1956), тт. 1, 2, 3, 8. При написании комментариев использованы материалы «Примечаний», имеющиеся в этом издании.

### Пугачевская легенда на Урале

Написана осенью 1900 года и должна была войти четвертой главой в очерки Короленко «У казаков». Однако, когда очерки уже были сданы в печать, набраны и даже сверстаны, автор изъял из них «Легенду» и до революции не печатал. Только в 1918 году он передал текст «Пугачевской легенды на Урале» журналу «Голос минувшего», где они появились в 1922 году, в книге 10, то есть после смерти писателя.

Интерес к личности Пугачева и пугачевскому движению в целом возник у Короленко еще в конце 80-х годов. Но участие в помощи голодающим (1892—1893), поездка в Америку (1893), участие в Мултанском деле (1895—1896), переезд в Петербург, текущие литературные и общественные дела постоянно отвлекали Короленко от работы над исторической повестью о пугачевском движении. Жалуясь в письме к жене от 4 июня 1899 года на суетоку столичной жизни, Короленко пишет: «Единственным утешением за все это время служил мне только Емелька. Как только урывался свободный часок, я сейчас же за книги и свои записные книжки».

Записные книжки Короленко содержат библиографические указания, по которым можно установить, что им было прочитано множество исторических сочинений, относящихся ко времени Пугачева. Иногда Короленко заносил в них выписки из исторических источников, краткие конспекты глав и картин своей будущей повести «Набеглый царь». При чтении исторических работ Короленко внимательно отмечал черты художественного образа Пугачева: его мужество и силу воли, независимость и нелюбовь к «советникам и указчикам», черты великодушия, а вместе с тем и наивного хвастовства, нарочитую театральность его парадных выходов и т. п. Везде Короленко прослеживал крайнюю жестокость правительственных мер против участников восстания. В библиотеке писателя сохранились три тома книги Н. Дубровина «Пугачев и его сообщники» (СПб., 1884) с пометками Короленко, которых насчитывается более четырехсот.



Развитие замысла исторической повести о Пугачеве вызвало необходимость поехать в те места, где возникло и окрепло с первых же шагов мощное народное движение, потрясшее основы помещичье-крепостнической России. Предания о крестьянских восстаниях писатель собирал и во время поездки летом 1890 года в Арзамас; в июне 1891 года он ездил в Уфу; лето и раннюю осень 1900 года он провел в Области уральского войска.

Работая в Уральском войсковом архиве, Короленко внимательно вчитывался в старинные дела, делал обширные выписки, стараясь восстановить широкую картину жизни и нравов XVIII века на окраине России перед восстанием, уяснить себе исторические особенности Южного Урала и разобраться в деталях пугачевского движения в тех местах. В письме к Н. Ф. Анненскому 16 августа 1900 года Короленко, в частности, сообщал, что «среди множества дел... почти совсем не встречается преступлений пугачевцев, тогда как верные слуги Екатерины — были народ ой-ой вороватый... познакомился с природой, людьми и их будничными делишками».

Чуть позже, 29 августа того же года, Короленко писал жене: «Читаю дела и выписываю. С первым томом пугачевских бумаг справился дня в дватри. Второй том оказался гораздо содержательнее. Выписок приходится делать много. Это задерживает. Зато картина встает довольно полная... Канва для моей будущей работы все расширяется. Мелочи и крупные факты действительных событий все более и более выясняются. Это, конечно, именно только канва, своего рода рамка, на которой придется вышить свой узор. Но некоторые детали уж теперь просятся на бумагу почти в готовом виде. А вторых, знаю, что в историческом отношении теперь не навру, колорит времени и места передам, а в некоторых подробностях, быть может, будет кое-что новое даже и для историков... Картина человеческой неправды и подлости, с одной стороны, неясные инстинкты дикой воли, с другой стороны, и среди этих темных разбушевавшихся сил — мечта о какой-то будущей правде, как звезда среди туч, — вот как мне рисуется основная нота моей повести. Но в плане все еще много неясного. И работы много. Придется отрываться часто для других вещей. И читать еще, читать много. Нужно ознакомиться с бытовыми мелочами скатернинского времени».

Много интересного и яркого материала дали Короленко поездки по казачьим станицам, где он беседовал с казаками, фотографировал исторические места. В письме к матери от 20 июля 1900 года он писал: «Езжу по окрестностям Уральска и по ближним станицам. Вчера почти 1/2 дня провел в казачьей станице, окруженный самыми типичными уральцами-раскольниками. Народ суровый, решительный и упорный... Этот день в «Свистуне» (так называется слобода) объяснил мне не меньше, чем, может быть, неделя чтения источников».

Короленко побывал на реке Таловой, где стоял умет (постоялый двор) казака Оболяева, куда к Пугачеву явились первые участники восстания. «Поездка в общем вышла очень удачная, — писал он Е. С. Короленко 28 августа 1900 года. — Место «умета» разыскал с полной точностью и третьего дня стоял над речкой Таловой, на том самом клочке земли, где был постоялый двор и где Пугачев начинал свое дело. Остановились мы на ночлег

на постоянном дворе в поселке, и я снял внутренний вид и наружность этих дворов, самого первобытного и очень оригинального вида. Более чем вероятно, что умет Оболяева имел такой же вид, ни на какие российские заезжие дворы не похожий. Жизнь этого поселка тоже очень оригинальная, и все вместе сильно действует на воображение». Доказательством этого воздействия на воображение явилось продолжение письма, в котором Короленко дал сцену первой встречи Пугачева, переодетого купцом, с казачьим старшиной Мартемьяном Бородиным.

Среди материалов Короленко к повести «Набеглый царь» сохранились отрывки, по которым можно проследить развитие замысла писателя. Он намеревался показать Пугачева еще в период Прусской войны; наметил образ одного из главных героев — интеллигента екатерининского времени молодого офицера Скаловского, выступающего с критикой беспорядков русской армии и присоединяющегося к пугачевскому восстанию. Особое внимание Короленко уделял роли в восстании угнетенных национальностей окраинной России. В план писателя входило показать Петербург того времени, Екатерину и ее окружение для того, чтобы связать жизнь центра с событиями на Урале и Поволжье. Произведение должно было широко и полно представить разные стороны общественной, экономической и политической жизни России XVIII века, дать картину крупнейшего народного восстания и поновому раскрыть образ его руководителя Е. И. Пугачева.

Поселившись в Полтаве с осени 1900 года, Короленко в первые годы продолжал собирание исторических материалов; в 1903—1904 годах писал разным лицам в Уфу и Оренбург, делал запросы об архивных данных, касающихся Пугачевского восстания; пытался получить ответы на ряд вопросов от престарелого участника Пугачевского восстания, жившего в Тобольске.

Большой подготовительный материал, однако, остался неиспользованным: писатель все более отходил от своего замысла к другим художественным темам, а, начав с 1905 года работу над «Историей моего современника», вынужден был окончательно отказаться от повести «Набеглый царь».

Материалы к повести «Набеглый царь» опубликованы в «Записных книжках 1880—1900» (Гослитиздат, 1935) и «Избранных письмах», т. 3 (Гослитиздат, 1936).

Траубенберг — генерал-майор, в декабре 1771 года прибыл из Оренбурга в Яицкий городок (Уральск) для следствия о казаках, отказавшихся выполнять очередную воинскую повинность, и произвел над ними жестокую расправу. Был убит восставшими яицкими казаками 13 января 1772 года.

### Слепой музыкант

«Слепой музыкант», с подзаголовком «этюд», впервые был опубликован в десяти номерах газеты «Русские ведомости» в 1886 году. Неожиданно для автора редакция газеты начала печатать данное ей для просмотра начало, когда не было еще написано продолжение, и это заставило Короленко

работать над произведением с чрезвычайной поспешностью. Некоторые главы за недостатком времени он писал прямо набело. «Слепой музыкант» имел большой успех: повесть еще не была полностью напечатана в газете, а редакция журнала «Русская мысль» предложила перепечатать ее в журнале. Высказывая свои колебания на этот счет, Короленко писал Г. А. Мачтегу: «Без сомнения, рассказ придется сильно сгладить и переделать кое-что, но за крупную перестройку не имею мужества взяться». Все же Короленко значительно переработал «Слепого музыканта» для журнала. В первое отдельное издание, вышедшее в 1888 году, автор опять ввел изменения (вычеркнул, в частности, названия отдельных глав и переработал заключительную главу). При жизни автора «Слепой музыкант» выходил более чем в пятнадцати изданиях, и в каждое он вносил те или иные поправки. Особенно значительные дополнения Короленко ввел в шестое издание, в 1898 году, снабдил его предисловием «От автора», которое при дальнейших изданиях неизменно перепечатывалось.

Психология слепых занимала Короленко с давних пор. «По отношению к интересующему Вас произведению, — пишет он 9 ноября 1894 года переводчику Л. Гольшману, — могу прибавить, что здесь (то есть в Ровно), еще мальчиком я познакомился впервые с слепой девушкой. Это была взрослая уже племянница нашей домовладелицы, слепорожденная. У нее было необыкновенно развитое осязание. Она очень любила шупать материи, покупаемые ее знакомыми и подругами, часто оценивала их с точки зрения красоты и раздражалась до слез, когда ей говорили, что она об этом не имеет понятия. Эпизод с падучей звездой вечером... приведен целиком из детских воспоминаний об этой бедной девушке. Кроме нее, я наблюдал еще мальчика, постепенно терявшего зрение, затем — молодого человека, ослепшего в первые дни после рождения. Он был отчасти музыкант. Наконец слепой звонарь в Саровской пустыни, слепорожденный, рассказами о своих ощущениях подтвердил ту сторону моих наблюдений, которая касается беспредметной и жгучей тоски, истекающей из давления неосуществленной и смутной потребности света. Он рассказывал мне, как он молится, чтобы бог дал ему «увидеть свет-радость хоть в сонном видении». Это было на верхушке высокой колокольни, куда он привел меня по узкой темной лестнице. Снизу доносился шум монастырского движения, полного богомольцев, вверху нас обдувал ветер, приносивший свежесть и аромат окружающего бора, и бедный слепец, разнеженный и растроганный, выкладывал передо мной свою наболевшую и подавленную душу. Мне говорили часто и говорят еще теперь, что человек может тосковать лишь о том, что он испытал. Слепорожденный не знал света и не может тосковать по нем. Я вывожу это чувство из давления внутренней потребности, случайно не находящей приложения. Концевой аппарат испорчен — но весь внутренний аппарат, реагирующий на свет у бесчисленных предков, остался и требует своей доли света. Саровский звонарь своими бесхитростными рассказами убедил меня окончательно в верности этого взгляда».

В 1916 году профессор психологии А. М. Щербина (слепой с двухлетнего возраста) выступал с лекцией о «Слепому музыканте», изданной им отдель-

ной брошюрой, под заглавием: «Слепой музыкант» Короленко, как попытка зрячих проникнуть в психологию слепых (в свете моих собственных наблюдений)». Щербина оспаривал точку зрения Короленко о неизбежности тоски по недостижимому у слепорожденных, приводя в пример самого себя, не знавшего света и тем не менее счастливого и удовлетворенного своей жизнью. «Щербина человек очень почтенный и прямо замечательный, — писал Короленко А. Г. Горнфельду 14 февраля 1916 года, — если принять во внимание огромную силу, употребленную на преодоление трудностей, не существующих для зрячих, Щербина — позитивист до мозга костей. Он или судьба за него сделали то, что хотел сделать мой Максим. Разбил задачу на массу деталей, последовательных этапов, разрешил их одну за другой, получил от этой суммы определенных слагаемых удовлетворение «достижения», и это закрыло от него дразнящую тайну недостижимого светящегося мира. И он успокоился... в сознании. И уверяет, что он доволен и счастлив без полноты существования. Доволен — да. Счастлив — наверное нет».

### Чудная

Очерк «Чудная» написан Короленко в марте 1880 года в вышневолоцкой пересыльной тюрьме, где ему пришлось пробыть несколько месяцев, ожидая дальнейшей отправки в Сибирь. В основу очерка положен рассказ жандарма-конвоира, перевозившего Короленко из Березовских починков в Вятку. В образе девушки-революционерки, «которую можно сломить, а согнуть нельзя», отразились черты Е. Л. Улановской, с которой Короленко встречался в Березовских починках. Известно, что одно время он хотел посвятить ей «Чудную». (О знакомстве Короленко с Е. Л. Улановской см. «Историю моего современника», кн. III, ч. I, гл. VIII). Очерк Короленко писал украдкой, так как иметь в камере письменные принадлежности заключенным было строго запрещено. Однако у него всегда была при себе бумага и карандаш, которыми он прятал в своих густых волосах. (О порядках в вышневолоцкой тюрьме см. «Историю моего современника», кн. III, ч. 2. «Вышневолоцкая политическая тюрьма»). Товарищ Короленко по заключению С. П. Швецов рассказывает, в каких условиях писалась «Чудная»: «Как он ухитрился это сделать, живя в «большой» камере с ее вечной сутолокой, среди несмолкаемого гомона, — я совершенно не постигаю. Сделал он это, сидя на кровати, забравшись на нее с ногами и прижавшись в угол так, чтобы можно было писать на развернутой книге, положенной на согнутые колени... «Чудную» он прочел нам на одном из наших собраний, где присутствовала вся тюрьма, в той же «большой» камере... Впечатление было огромное».

Рукопись «Чудной» Короленко передал на волю через А. Н. Анненскую, приходившую на свидания к своему мужу. По цензурным условиям в России она не могла быть напечатана, но ходила в списках по рукам. Читал ее и Г. И. Успенский, он просил передать автору, чтобы он продолжал писать. О поощрении любимого писателя Короленко узнал уже в якутской ссылке.

Без ведома автора «Чудная» была передана за границу и там печаталась несколько раз (изд-е «Фонда вольной русской прессы», Лондон, 1893, и др.).

Впоследствии нелегально выходила в России. В легальной русской прессе она появилась впервые только в 1905 году под заглавием «Командировка» в журнале «Русское богатство», кн. 9. В последующих публикациях автор вернул очерку его прежнее название — «Чудная».

### Сон Макара

Написан зимой 1883 года в слободе Амга Якутской области; имеет подзаголовок «святочный рассказ». Короленко жил тогда в избе крестьянина Захара Цыкунова, который и явился прототипом героя рассказа. В первоначальных черновиках Макара и называется Захаром, а его слобода — Амгой.

Вспоминая свою ссылную жизнь в Амге, Короленко писал Г. И. Успенскому 16 сентября 1888 года: «Я тогда как раз решил, что из моих попыток ничего не выйдет, и хотя писал по временам, повинуюсь внутреннему побуждению, но сам не придавал своей работе значения и смотрел на нее, как на дилетантские шалости. В это время, через третьи руки, мне пишут, что Гл. Ив. Успенский читал где-то в кружке мою «Чудную» и просит передать автору, чтобы он продолжал. Я по несколько раз снимал с полки в своей юрте это письмо, и перечитывал эти строки, и мое воображение оживлялось. Когда я задумал и писал «Сон Макара», то Ваш хороший отзыв все мелькал у меня в уме» (Короленко В. Г. Избр. письма, т. III, Гослитиздат, 1936).

«Сон Макара» — первый рассказ Короленко, появившийся в печати после его возвращения из ссылки (журн. «Русская мысль», 1885, кн. 3). Он сразу обратил на себя внимание и читателей и критиков и поставил автора в первые ряды современных ему беллетристов.

### Соколинец

Рассказ написан в 1885 году в Нижнем-Новгороде. Но первые наброски к нему были сделаны еще в слободе Амга, где Короленко встретил поселенца, совершившего вместе с 12-ю товарищами побег с острова Сахалина, и с его слов сделал краткие записи, которые легли в основу рассказа. В первой публикации заглавие было такое: «Рассказы о бродягах. Рассказ первый. Соколинец. (Из очерков сибирского туриста)». Впоследствии просто: «Соколинец (из рассказов о бродягах)».

Рассказ имел большой успех. А. П. Чехов писал Короленко в 1888 году: «Ваш «Соколинец», мне кажется, самое выдающееся произведение последнего времени. Он написан, как хорошая музыкальная композиция, по всем тем правилам, которые подсказываются художнику его инстинктом».

### В дурном обществе

Рассказ написан почти полностью в годы пребывания Короленко в якутской ссылке (1881—1884). Позже автор работал над ним в 1885 году в Петербурге, в доме предварительного заключения, где ему пришлось просидеть несколько дней. В том же году рассказ был напечатан в журнале «Русская мысль», № 10.

В одной из своих кратких автобиографий Короленко, касаясь этого рассказа, говорит: «Многие черты взяты с натуры, и, между прочим, самое место действия описано совершенно точно с города, где мне пришлось оканчивать курс». Здесь имеется в виду город Ровно (названный в рассказе «Князь-Вено»), где Короленко учился, начиная с третьего класса реальной гимназии. В образе судьи автор воспроизвел некоторые черты своего отца.

В адаптированном виде, под названием «Дети подземелья», вошел почти во все школьные хрестоматии по родной литературе.

### Река играет

Первоначальный набросок рассказа был сделан Короленко в записной книжке летом 1889 года на берегу реки Ветлуги, когда он возвращался из своего путешествия на озеро Светлояр (см. «В. Г. Короленко. Записные книжки», Гослитиздат, 1935). Окончательно рассказ был написан осенью 1891 года, после возвращения из поездки в Уфу.

Впервые напечатан в 1892 году в сборнике «Помощь голодающим», изданном газетой «Русские ведомости»; в 1893 году автор включил его во вторую книгу своих «Очерков и рассказов» (изд. «Русская мысль») с незначительными изменениями, главным образом, сокращениями. Впоследствии рассказ многократно выходил отдельными изданиями, печатался во всех собраниях сочинений писателя.

В записной книжке Короленко 1889 года находим ответ на заключительные слова рассказа: «Милый Тюлин, милая, веселая, шаловливая взывавшаяся Ветлуга! Где же это и когда я видел вас раньше?». Вот он: «Это было в 1879 году. Мы с Перчиком переправлялись через Ветлугу, отправляясь в ссылку (здесь у Короленко вкралась неточность: отправляясь в 1879 году в ссылку в город Глазов, он с братом переправлялся не через Ветлугу, а через Унжу.). Река так же прибывала, внезапно и торопливо, и так же кудрявилась зелень на том берегу, и колокольня выглядывала из-за холма. Я переехал благополучно, а Перчика на другом пароме подхватило стрежнем и несло вниз. Гребцы не могли выгребть, и паром все уменьшался, а мы с моим жандармом смотрели на тщетные усилия паромщиков. Помню, как я старался разглядеть фигуру брата в кучке людей на пароме, — и какая-то глупая тревога вставала в сердце... В таких обстоятельствах тревожиться легче и любишь сильнее... Так вот почему я встретил и здесь Ветлугу, точно родную реку. Мое прошлое, грустное и дорогое, несло в воспоминании так же быстро, как эти струи».

### Ат-Даван

Рассказ был написан в 1892 году и тогда же опубликован в «Русском богатстве». Вскоре после появления его в журнале в редакцию явился некто Алабин и с угрозами против Короленко и редакции требовал своей реабилитации, узнав себя в личности Арабина. Он требовал, чтобы автор в письменной форме признал свою фабулу вымышленной. Редакция в письме

просила Короленко удовлетворить эту просьбу Алабина, но он не согласился. В ответном письме Короленко объяснил, что Ат-Даван — правдивая история преступлений Алабина и что он сначала подошел к ней как публицист и написал статью «Адъютант его превосходительства (Комментарий к недавнему событию)», в которой открыто разоблачал преступную деятельность Алабина на сибирских станках. Он имел целью довести дело до суда. Но Алабин пользовался покровительством приамурского генерал-губернатора, и ему все сходило с рук, а статья Короленко не была принята к печати ни одной газетой. Как публицист Короленко оказался бессилён, но считал себя вправе изобразить в художественном произведении самые поступки, изменив имя и внешность Алабина. «Я отлично знаю, — писал Короленко, — пределы, за которыми кончаются права литературы и начинается неприкосновенность частных лиц, и меня самого возмущают приемы писателей, берущих внешние черты известных лиц и навязывающих им всякие гнусности, которых они не совершали в действительности, или же врывающихся в частную интимную жизнь. Я поступил как раз наоборот: я взял «общественные» деяния г. Алабина, которые имел право и желание ранее огласить в корреспонденции с полной фамилией г. Алабина и своей, — но в рассказе приписал их совсем другому по внешности человеку. Чувствую себя поэтому глубоко правым и никаких авансов делать не намерен». Но если Алабин узнал себя в этом образе, говорит далее Короленко, и обратится за реабилитацией к суду, то он, как автор, будет очень рад. (См. письмо Короленко к С. Н. Кривенко от 28 ноября 1892 года в сборнике: Короленко В. Г. Избранные письма, т. 2. Общественные выступления. Изд. «Мир», 1933).

### Последний луч

Рассказ написан в 1900 году. В записной книжке Короленко этого года 7 ноября есть пометка: «Написал рассказ «Последний луч» (начал и кончил)». Перед напечатанием рукопись подверглась значительной переработке. Впервые рассказ напечатан в «Русском богатстве» за 1901 год, кн. I, вместе с рассказом «Мороз». Через некоторое время племянница З. Г. Чернышова, о которой идет речь в рассказе «Последний луч», Н. Г. Малиновская, прислала Короленко письмо, опровергая легенду, слышанную им о Чернышове на Ньюском станке. Публикуя «Последний луч» в полном собрании сочинений (изд-е А. Ф. Маркса, 1914), Короленко несколько переработал последнюю главу и внес указание Малиновской, что З. Г. Чернышов из Сибири возвратился и жил в России, умер же за границей.

### Мгновение

Рукопись очерка в первоначальном виде носила заглавие «Море». Под этим названием очерк был впервые опубликован в газете «Волжский вестник» в 1886 году, № 286. Затем, значительно переработанный, под названием «Мгновение», он вошел в сборник «На славном посту», вышедший в 1900 году.

## Огоньки

Очерк написан экспромтом 4 мая 1900 года на вечере писательницы М. В. Ватсон, ей в альбом. Впервые был опубликован в сборнике «Помощь евреям, пострадавшим от неурожая» (Петербург, 1901). Это стихотворение в прозе имело большой успех. Оно много раз переиздавалось, вошло во все собрания сочинений писателя и часто читалось с эстрады на литературных вечерах.

В ответном письме одной читательнице, спрашивавшей, что писатель хотел сказать своими «Огоньками», Короленко говорит: «В очерке «Огоньки» я не имел в виду сказать, что после трудного перехода предстоит окончательный покой и общее счастье. Нет, — там опять начнется другая станция. Жизнь состоит в постоянном стремлении, достижении и новом стремлении» (См. письмо к А. А. Чернушкиной от 9 августа 1912 года в сборнике: Короленко В. Г. Избр. письма, т.2. изд. «Мир», 1933).



## СОДЕРЖАНИЕ

<i>М. Рахимкулов. Уфимские страницы Короленко</i> . . . . .	5
Пугачевская легенда на Урале . . . . .	16
Слепой музыкант . . . . .	31
Чудная . . . . .	143
Сон Макара . . . . .	160
Соколинец . . . . .	185
В дурном обществе . . . . .	225
Река играет . . . . .	277
Ат-Даван . . . . .	303
Последний луч . . . . .	341
Мгновение . . . . .	347
Огоньки . . . . .	355
Комментарии . . . . .	357

**Короленко В. Г.**

К-68 Повести и рассказы. Уфа: Башкирское книжное издательство, 1987. 368 с. — (Серия: «Золотые родники»).

В книге представлены наиболее значительные произведения выдающегося русского писателя В. Г. Короленко: «Слепой музыкант», «Чудная», «Сон Макара», «Соколинца», «В дурном обществе», «Река играет», «Ат-Даван», «Последний луч», «Мороз», «Мгновение», «Огоньки», а также редко персиздающаяся «Пугачевская легенда на Урале».

4702010100—80

К ~~\_\_\_\_\_~~ 64—87  
М 121(03)—87

84P1

**Владимир Галактионович Короленко**

## **Повести и рассказы**

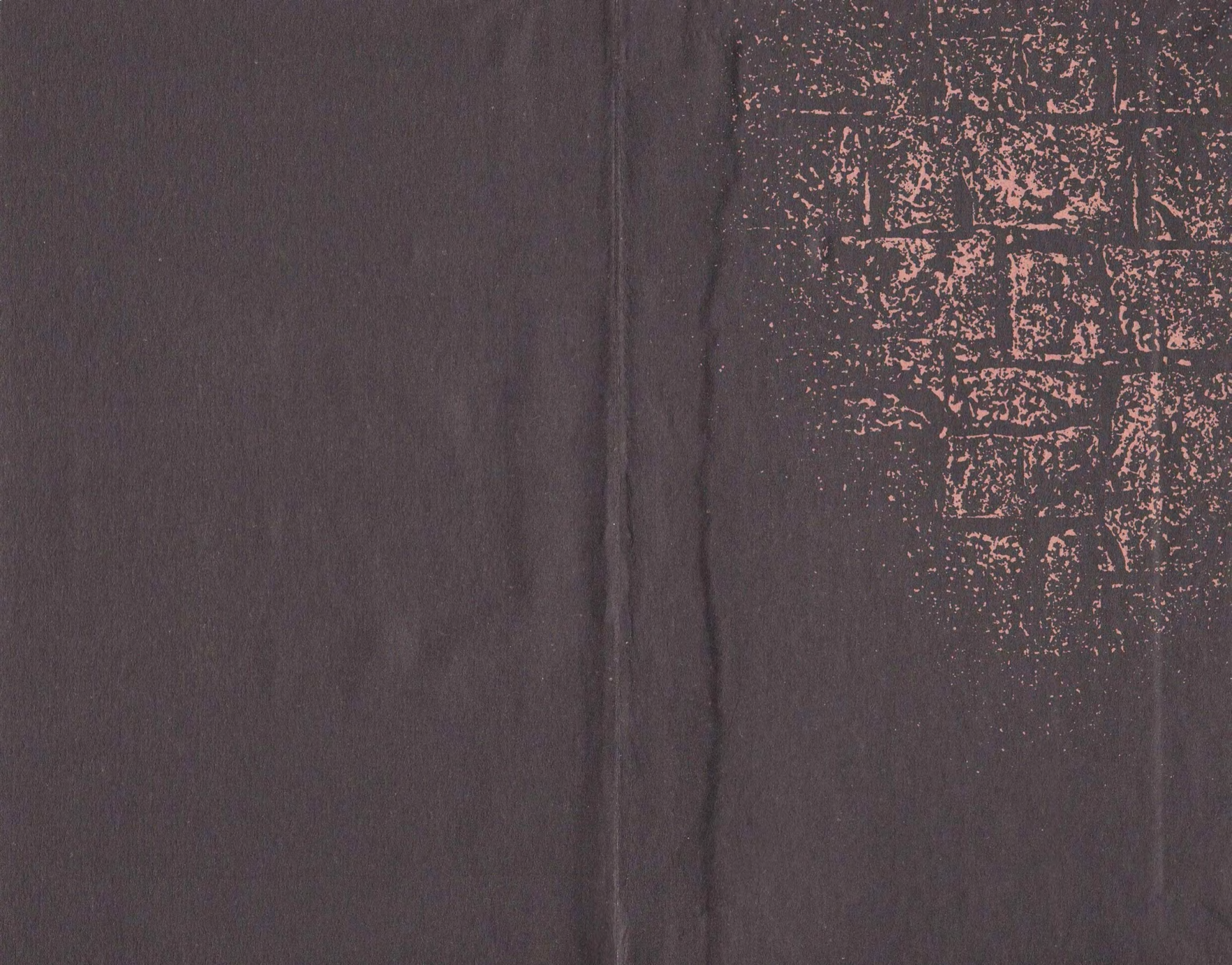
Редактор *Ю. Андрианов*  
Художник *С. Маджар*  
Художественный редактор *В. Ковалев*  
Технический редактор *И. Зарипова*  
Корректоры *Л. Семенова, И. Пастушкова*

**ИБ**

Сдано в набор 16.12.86. Подписано к печати 22.06.87.  
Формат бумаги 84×108<sup>1</sup>/<sub>32</sub>. Бумага тип. № 3. Гарнитура  
литературная. Печать высокая. Условн. печ. л. 19,32.  
Условн. кр. отг. 20,37. Учетн.-издат. л. 21,63. Тираж  
150 000 экз. Заказ № 850. Цена 1 руб. 90 коп.

Башкирское книжное издательство. 450000, Уфа-центр,  
ул. Советская, 18. Уфимский полиграфкомбинат Госком-  
издата Башкирской АССР. 450001, Уфа, проспект Ок-  
тября, 2.

Scan Kreyder - 17.11.2019 - STERLITAMAK



1р.90к.